

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС

АНТИ-ДЮРИНГ

*

ГОСПОЛИТИЗДАТ·1950

ОТ ИНСТИТУТА МАРКСА — ЭНГЕЛЬСА — ЛЕНИНА при ЦК ВКП(б)

Книга Энгельса «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом», или «Анти-Дюринг», принадлежит к числу крупнейших произведений основоположников научного коммунизма. В этой книге, говорит Ленин, «разобраны величайшие вопросы из области философии, естествознания и общественных наук... Это удивительно содержательная и поучительная книга»¹.

В основу настоящего издания «Анти-Дюринга» было положено третье издание этой книги на немецком языке². Проверка десятой главы отдела «Политическая экономия», написанной Марксом, производилась по находящейся в ИМЭЛ фотоконпии рукописи Маркса.

Весь текст дан в заново проверенном и переработанном переводе. Предшествующие русские издания «Анти-Дюринга» (в том числе изд. 1931 г. — в т. XIV Сочинений Маркса и Энгельса — и изд. 1938 г.) содержали ряд серьезных ошибок, которые необходимо было устранить.

На протяжении всего текста проведена терминология, которая дана Лениным в его работах. Те места из «Анти-Дюринга», которые цитируются Лениным, включены в текст в ленинском переводе.

Основное название книги — «Анти-Дюринг» — соответствует ее названию в переписке Энгельса и наиболее часто встречающемуся наименованию этой книги у Ленина.

В приложениях к книге даны: избранные отрывки из подготовительных работ к «Анти-Дюрингу», старое предисловие, отнесенное Энгельсом впоследствии к материалам подготовлявшегося им труда «Диалектика природы», и «Примечания» Энгельса к «Анти-Дюрингу».

¹ В. И. Ленин, Сочинения, 4 изд., том 2, стр. 11.

² «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» von Friedrich Engels. Dritte, durchgesehene und vermehrte Auflage. Stuttgart. Verlag von J. H. W. Dietz. 1894.

В настоящем издании впервые публикуются на русском языке статья Энгельса «Тактика пехоты и ее материальные основы» и некоторые новые отрывки раздела «Из подготовительных работ к «Анти-Дюрингу»». Наиболее важные формулировки из чернового наброска «Введения» приведены в настоящем издании, в соответствующих местах «Введения», в виде примечаний.

Текст «Приложений» заново проверен и уточнен по фотокопиям рукописей Энгельса.

Добавления, внесенные Энгельсом в те главы книги, из которых он составил брошюру «Развитие социализма от утопии к науке», заключены в настоящем издании в квадратные скобки.

Настоящее издание подготовлено *И. И. Прейсом* под редакцией *В. М. Познера*.

ПРЕДИСЛОВИЯ К ТРЕМ ИЗДАНИЯМ

I

Предлагаемая работа отнюдь не есть плод какого-либо «внутреннего побуждения». Напротив.

Когда три года тому назад г. Дюринг, в качестве адепта социализма и одновременно его реформатора, внезапно бросил вызов своему веку, мои друзья в Германии стали обращаться ко мне с настойчивой просьбой, чтобы я критически осветил новую социалистическую теорию в тогдашнем центральном органе социал-демократической партии — «Volksstaat». Они считали это крайне необходимым, чтобы не дать молодой и только недавно окончательно объединившейся партии нового повода к сектантскому расколу и к замешательству. Они могли лучше, чем я, судить о положении дел в Германии; я был обязан, следовательно, верить им. При этом оказалось, что новообращенный был принят одной частью социалистической печати с сердечностью, которая, правда, относилась только к доброй воле г. Дюринга, но в то же время давала основания думать, что эта часть партийной прессы не прочь, именно ввиду доброй воли г. Дюринга, заодно принять на веру и дюринговскую доктрину. Нашлись даже люди, которые уже готовились распространять эту доктрину в популярной форме среди рабочих. И, наконец, г. Дюринг и его маленькая секта пустили в ход все ухищрения рекламы и интриги, чтобы принудить «Volksstaat» занять решительную позицию по отношению к выступившему с такими громадными претензиями новому учению.

Несмотря на все это, прошел целый год, пока я мог решиться отложить в сторону другие работы и приняться за этот кислый плод. А плод этот был такого свойства, что, отведав его, пришлось поневоле съесть его целиком. К тому же он был не только очень кислый, но и изрядной величины. Новая социалистическая теория выступила как конечный практический

результат некоторой новой философской системы. Нужно было поэтому исследовать ее во внутренней связи этой системы, а значит подвергнуть разбору и самую эту систему. Нужно было последовать за г. Дюрингом в ту обширную область, где он толкует обо всех возможных вещах и еще кое о чем сверх того. Так возник ряд статей, которые печатались с начала 1877 г. в лейпцигском «Vorwärts'e», преемнике «Volksstaat'a», и предлагаются здесь в связанном виде.

Таким образом, характер самого предмета принудил критику к такой обстоятельности, которая крайне непропорциональна научному содержанию этого предмета, т. е. содержанию сочинений г. Дюринга. Впрочем, еще два других соображения могут оправдать эту обстоятельность. С одной стороны, она дала мне возможность в положительной форме развить в весьма различных затрагиваемых здесь областях знания мое понимание спорных вопросов, имеющих в настоящее время общий научный или практический интерес. Это имело место в каждой отдельной главе, и как бы мало это сочинение ни преследовало цель противопоставить «системе» г. Дюринга другую систему, все же, надо надеяться, от читателя не ускользнет внутренняя связь в выдвинутых мной воззрениях. У меня уже теперь имеется достаточно доказательств, что в этом отношении мой труд не оказался совершенно бесплодным.

С другой стороны, «системосозидающий» г. Дюринг не представляет собой единичного явления в современной немецкой действительности. С некоторых пор системы космогонии и натур-философии вообще, системы политики, политической экономики и т. д. растут в Германии, как грибы после дождя. Самый ничтожный доктор философии, даже студент, не возьмется за что-либо меньшее, чем создание целой «системы». Подобно тому как в современном государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, по которым ему приходится подавать свой голос; подобно тому как в политической экономике исходят из предположения, что каждый потребитель является основательным знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода, — подобно этому считается, что и в науке следует придерживаться такого же предположения. Свобода науки означает, что люди пишут обо всем, чего они не изучали, и это выдается за единственный строго научный метод. А г. Дюринг представляет собой один из характернейших типов этой заносчивой лженауки, которая в наши дни в Германии повсюду лезет на передний план и все заглушает громом своего высокопарного пустозвонства. Высокопарное пустозвонство в поэзии, в философии, в политике, в политической экономике, в исторической науке, пустозвонство с кафедры и трибуны, пустозвонство везде, высокопарное пустозвонство с претензией на превосходство

и глубокомыслие, в отличие от простого плоско-вульгарного пустозвонства других наций, высокопарное пустозвонство как характернейший и наиболее массовый продукт немецкой интеллектуальной индустрии, с девизом: «дешево, да гнило», — совсем как другие немецкие фабрики, рядом с которыми оно, к сожалению, не было представлено на Филадельфийской выставке. Даже немецкий социализм, — особенно со времени благого примера, поданного г. Дюрингом, — весьма усердно промышляет в наши дни высокопарным пустозвонством и выдвигает разных субъектов, кичащихся «наукой», в области которой они «действительно ничему не научились». Мы имеем здесь дело с детской болезнью, которая свидетельствует о начинающемся переходе немецкого студизма на сторону социал-демократии, и хотя эта болезнь неотделима от данного процесса, но наши рабочие при своей замечательно здоровой натуре несомненно ее преодолеют.

Не по моей вине я вынужден был следовать за г. Дюрингом в такие области, где в лучшем случае могу выступать лишь в качестве дилетанта. В таких случаях я по большей части ограничивался тем, что противопоставлял ложным или превратным утверждениям моего противника верные и неоспоримые факты. Так я поступал в юридической области и в некоторых вопросах естествознания. В других случаях дело шло об общих воззрениях, относящихся к теоретическому естествознанию, следовательно, дело шло о той сфере, в которой и специалист-естествоиспытателю приходится выходить за рамки своей специальности и переходить в смежные области, где, по признанию г. Вирхова, он, этот специалист, является таким же «полузнайкой», как и прочие смертные. Надеюсь, что к небольшим неточностям и недочетам в изложении отнесутся с тем же снисхождением, которое принято в таких случаях среди представителей различных специальностей.

Когда я заканчивал это предисловие, мне попало на глаза составленное г. Дюрингом объявление книгоиздательства о выходе в свет нового «руководящего» сочинения г. Дюринга «*Neue Grundgesetze zur rationellen Physik und Chemie*»¹. Вполне сознавая недостаточность своих знаний в области физики и химии, я все же думаю, что знаю достаточно нашего г. Дюринга, и потому, даже не видя названного сочинения, могу предсказать, что установленные в нем «законы» физики и химии по своей ошибочности или тривиальности достойны того, чтобы занять место рядом с прежними законами политической экономии, мировой схематики и т. д., открытыми г. Дюрингом и разобранными в моем сочинении, и что сконструированный г. Дюрингом

«ригометр», или инструмент для измерения очень низких температур, послужит не для измерения температур, высоких или низких, а единственно только для измерения невежественной заносчивости г. Дюринга.

Лондон, 11 июня 1878 г.

II

Для меня явилось неожиданностью, что настоящее сочинение должно выйти новым изданием. Объект его критики в настоящее время почти что забыт; само оно не только печаталось частями для многих тысяч читателей в лейпцигском «Vogwärts'e» за 1877 и 1878 гг., но появилось и отдельным изданием в большом количестве экземпляров. Кого же еще может интересовать то, что я писал несколько лет назад о г. Дюринге?

В первую очередь я обязан этим, надо полагать, тому обстоятельству, что это произведение было тотчас после издания исключительного закона против социалистов запрещено в Германии, как и все почти другие мои сочинения, находившиеся еще тогда в обращении. Для всякого, кто не закоснел окончательно в наследственных бюрократических предрассудках стран Священного союза, было ясно, каков будет результат этой меры: двойной и тройной сбыт запрещенных книг, выставляющий напоказ бессилие берлинских господ, которые, издавая запрещения, не могут проводить их в жизнь. В самом деле, благодаря любезности имперского правительства мои небольшие работы появляются в большем количестве изданий, чем я могу осилить; у меня нет времени просматривать как следует их текст, и я принужден большей частью просто перепечатывать их.

К этому присоединяется еще другое обстоятельство. Разобранная здесь «система» г. Дюринга охватывает очень широкую теоретическую область, и это вынудило и меня следовать за ним повсюду и противопоставлять его взглядам свои собственные. Отрицательная критика стала благодаря этому положительной; полемика превратилась в более или менее связанное изложение диалектического метода и коммунистического мировоззрения, представляемых Марксом и мной, — изложение, охватывающее притом довольно много областей знания. Это наше мировоззрение, впервые выступившее перед миром в «Misère de la Philosophie»¹ Маркса и в «Коммунистическом Манифесте», пережило более чем двадцатилетний инкубационный период, пока с появлением «Капитала» оно не стало захватывать с возрастающей быстротой все более и более широкие круги. В настоящее время оно вызывает к себе большое внима-

¹ «Нищета философии». Ред.

ние и имеет последователей далеко за пределами Европы, во всех странах, где, с одной стороны, имеются пролетарии, а с другой — бесстрашные ученые-теоретики. Таким образом, существует, повидимому, публика, интересующаяся вопросом настолько, чтобы ради положительного содержания книги примириться с полемикой против дюринговских положений, которая теперь стала уже во многих отношениях беспредметной.

Замечу мимоходом, что так как излагаемое в настоящей книге мировоззрение в значительнейшей своей части было обосновано и развито Марксом и только в самой незначительной части мной, то само собой разумелось, что это мое сочинение не могло появиться без его ведома. Я прочел ему всю рукопись перед тем, как отдать ее в печать, а 10-я глава отдела, трактующего о политической экономии («Из критической истории»), написана Марксом, и только по внешним соображениям мне пришлось, к сожалению, несколько сократить ее. Таков уж был издавна наш обычай: помогать друг другу в специальных областях.

Настоящее новое издание представляет собой, за исключением одной главы, перепечатку — в неизменном виде — первого издания. С одной стороны, у меня не было времени для основательного пересмотра его, как бы я сам ни желал изменить кое-что в изложении. Дело в том, что на мне лежит долг подготовить к печати оставшиеся рукописи Маркса, а это гораздо важнее, чем все прочее. Кроме того, совесть моя восстает против каких-либо изменений текста. Сочинение мое — полемическое, и я думаю, что по отношению к своему противнику я обязан не исправлять ничего, раз он ничего не может исправить. Я мог бы только претендовать на право выступить с возражениями на ответ г. Дюринга. Но я не читал и без особой надобности не стану читать того, что г. Дюринг писал против моей полемики: теоретические счеты с ним я покончил. Впрочем, я тем более должен соблюдать по отношению к нему все правила чести, принятые в литературной борьбе, что уже после издания моей книги берлинский университет поступил с ним постыдно несправедливо. Правда, университет был за это достаточно наказан. Университет, который идет на то, чтобы, при известных всем обстоятельствах, лишить г. Дюринга свободы преподавания, не вправе удивляться, если ему, при столь же известных всем обстоятельствах, навязывают г. Швенингера.

Единственная глава, в которой я себе позволил сделать добавления пояснительного характера, это вторая глава третьего отдела: «Очерк теории». Здесь, где речь идет исключительно об изложении основного ядра защищаемого мной воззрения, мой противник не может сетовать на меня за то, что я старался писать более популярно и делал дополнения для большей связи. К тому же для этого оказался и внешний повод. Три главы

книги (первую главу «Введения» и первую и вторую главы третьего отдела) я переработал в самостоятельную брошюру для моего друга Лафарга, с тем чтобы издать ее во французском переводе, и после того как французское издание послужило основой для итальянского и польского, я выпустил немецкое издание под названием «Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft»¹. Эта брошюра в течение нескольких месяцев выдержала три издания и появилась также в русском и датском переводах. Во всех этих изданиях дополнена была только одна указанная глава, и было бы педантизмом с моей стороны при новом издании оригинала связывать себя первоначальным текстом, раз существует позднейший текст его, ставший международным.

Но, кроме того, мне хотелось бы еще сделать изменения главным образом в двух пунктах. Во-первых, в отношении первобытной истории человечества, ключ к пониманию которой Морган дал нам только в 1877 г. Но так как я с тех пор имел случай в своей книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства» (Цюрих 1884) использовать ставший мне доступным за это время материал, то достаточно будет указания на эту более позднюю работу.

Во-вторых, хотелось бы изменить ту часть, которая трактует о теоретическом естествознании. Здесь царит большая тяжеловесность в изложении, и многое можно было бы выразить в настоящее время более ясно и определенно. И если я не считаю себя вправе вносить в данном случае улучшения, то тем самым я обязан подвергнуть здесь самого себя критике.

Маркс и я были едва ли не единственными людьми, которые спасли из немецкой идеалистической философии сознательную диалектику и перевели ее в материалистическое понимание природы и истории. Но для диалектического и вместе с тем материалистического понимания природы необходимо знакомство с математикой и естествознанием. Маркс был основательным знатоком математики, но естественными науками мы могли заниматься только нерегулярно, урывками, спорадически. Поэтому, когда я, покинув коммерческую контору и переселившись в Лондон, приобрел необходимый для этого досуг, то, насколько это было возможно, подверг себя в области математики и естествознания процессу полного «линяния», как выражается Либих, и в течение восьми лет затратил на это большую часть своего времени. Как раз в самый разгар этого процесса мне пришлось заняться так называемой натурфилософией г. Дюринга. Вполне естественно поэтому, если мне иной раз не удавалось подобрать надлежащего технического выражения и если я вообще с некоторой неловкостью ориентировался в области

¹ «Развитие социализма от утопии к науке». *Ред.*

теоретического естествознания. Но, с другой стороны, сознание своей неуверенности, которую мне не удалось тогда еще преодолеть, сделало меня осторожным; никому не удастся найти у меня действительных прегрешений против известных в то время фактов, а также и неправильностей в изложении принятых в то время теорий. В этом отношении только один непризнанный великий математик письменно жаловался Марксу, будто я дерзновенно затронул честь $\sqrt{-1}$.

Само собой разумеется, что при этом подытоживании моих занятий в области математики и естественных наук дело шло о том, чтобы и на частностях убедиться в той истине, которая в общем не вызывала у меня никаких сомнений, а именно, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений пробивают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий, — те самые законы, которые, проходя красной нитью и через историю развития человеческого мышления, постепенно доходят до сознания мыслящих людей; законы эти были впервые развиты всеобъемлющим образом, но в мистифицированной форме, Гегелем. И одним из наших стремлений было извлечь их из этой мистической формы и ясно представить во всей их простоте и всеобщности. Само собой разумеется, что старая натурфилософия, — как бы много действительно хорошего в ней ни было и сколько бы благотворных зачатков она ни содержала¹, — не

¹ Гораздо легче вместе со скудоумной посредственностью, на манер Карла Фогта, обрушиваться на старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение. В ней много нелепостей и фантастики, но не больше, чем в современных ей нефилософских теориях естествоиспытателей-эмпириков, а что она заключала в себе много осмысленного и разумного, это начинают понимать с тех пор, как стала распространяться теория эволюции. Так, Геккель с полным правом признал заслуги Тревирануса и Окена. Окен в своей концепции первичной слизи и первичного пузырька выставляет в качестве постулата биологии то, что было потом действительно открыто как протоплазма и клетка. Что касается специально Гегеля, то он во многих отношениях стоит гораздо выше современных ему эмпириков, которые думали, что объяснили все необъясненные еще явления, подставив под них какую-нибудь силу — силу тяжести, плавательную силу, электрическую контактную силу и т. д., или же, где это никак не подходило, какое-нибудь неизвестное вещество: световое, тепловое, электрическое и т. д. Эти воображаемые вещества теперь можно считать устраненными, но та опекуляция силами, против которой боролся Гегель, появляется как забавный призрак, например, еще в 1869 г. в инсбрукской речи Гельмгольца (*Helmholtz, Populäre Vorlesungen*, II, Heft, 1871, S. 190) [*Гельмгольц, Популярные лекции*, 2-я тетрадь, 1871, стр. 190. *Ред.*]. В противовес унаследованному от французов XVIII века обожествлению Ньютона, которого Англия осыпала почестями и богатством, Гегель утверждал, что Кеплер, которому Германия дала умереть с голоду, является настоящим основателем современной небесной механики и что ньютонов закон тяготения уже содержится во всех трех законах Кеплера, а в третьем выражен вполне определенно. То, что Гегель доказывает в своей *Naturphilosophie* [*«Философия природы»*, *Ред.*] § 270 и добавления (*Hegels Werke*, 1842, VII. Band, S. 98 u. 113—115) [*Соч.*

могла нас удовлетворить. Как это более подробно доказывается в настоящей книге, натурфилософия, особенно в ее гегелевской форме, грешила в том отношении, что она не признавала у природы никакого развития во времени, никакого следования одного за другим, а признавала только сосуществование одного рядом с другим. Такой взгляд коренился, с одной стороны, в самой системе Гегеля, которая приписывала прогрессивное историческое развитие только «духу», с другой же стороны — в тогдашнем общем состоянии естествознания. Таким образом, Гегель в этом случае оказался значительно позади Канта, который своей небулярной теорией уже выдвинул положение о возникновении солнечной системы, а открытием замедляющего влияния морских приливов на вращение земли указал на неизбежную гибель этой системы. Наконец, для меня дело могло идти не о том, чтобы внести диалектические законы в природу извне, а о том, чтобы отыскать их в ней, вывести их из нее.

Однако выполнить это систематически и в каждой отдельной области представляет гигантский труд. А область, которую приходится исследовать, почти необъятна, и к тому же само естествознание переживает здесь такой грандиозный процесс преобразования, что за ним вряд ли мог бы уследить даже тот, кто располагает для этого всем своим свободным временем. Между тем, с тех пор, как умер Карл Маркс, все мое время было поглощено более настоятельными обязанностями, и я должен был потому прервать свою работу в области естествознания. В данный момент я вынужден ограничиться набросками, содержащимися в предлагаемой работе, и ждать в будущем случая, который позволил бы мне собрать и опубликовать добытые результаты, — быть может, вместе с оставшимися после Маркса рукописями по математике, имеющими в высшей степени важное значение.

Но может статься, что прогресс теоретического естествознания сделает мой труд, в большей его части или целиком, излишним, так как революция, к которой теоретическое естествознание вынуждается простой необходимостью систематизировать массу накапливающихся чисто эмпирических открытий, должна привести даже самого упрямого эмпирика к осознанию диалектического характера процессов природы. Прежние неизменные противоположности и резкие, непреходимые разграничитель-

Гегеля, 1842, т. VII, стр. 98 и 113—115. *Ред.*] несколькими простыми уравнениями, мы находим снова, как результат новейшей математической механики, у Густава Кирхгофа («Vorlesungen über mathematische Physik», 2. Auflage, Leipzig, 1877, S. 10) [«Лекции по математической физике», изд. 2-е, Лейпциг, 1877, стр. 10. *Ред.*] и по существу — в той же, впервые развитой Гегелем, простой математической форме. Натурфилософы находятся в таком же отношении к сознательно-диалектическому естествознанию, в каком утописты — к современному коммунизму. [*Примечание Энгельса.*]

ные линии все более и более исчезают. С тех пор, как было достигнуто сжижение последних «истинных» газов, как было установлено, что тело может быть приведено в такое состояние, в котором капельно-жидкая и газообразная формы неразличимы, — агрегатные состояния потеряли последний остаток своего прежнего абсолютного характера. Когда кинетической теорией газов было установлено, что в совершенных газах квадраты скоростей, с которыми движутся отдельные газовые молекулы, обратно пропорциональны, при равной температуре, молекулярному весу, — теплота перешла прямо в разряд форм движения, которые непосредственно как таковые являются измеримыми. Если еще десять лет тому назад новооткрытый великий основной закон движения понимался лишь как простой закон *сохранения* энергии, как простое выражение того, что движение не может быть уничтожено или создано, т. е. понимался только с количественной стороны, то это узкое, отрицательное выражение все более вытесняется положительным выражением в виде закона *превращения* энергии, где впервые вступает в свои права качественное содержание процесса и стирается последнее воспоминание о внемировом творце. Теперь уже не нужно проповедывать как нечто новое, что количество движения (так называемой энергии) не изменяется, когда оно из кинетической энергии (так называемой механической силы) превращается в электричество, теплоту, потенциальную энергию положения и т. д., и обратно; мысль эта служит добытой раз навсегда основой гораздо более содержательного отныне исследования самого процесса превращения, того великого основного процесса, в понимании которого находит свое обобщение все познание природы. А с тех пор, как биологию стали разрабатывать в свете эволюционной теории, в области органической природы также начали исчезать одна за другой застывшие разграничительные линии классификации; с каждым днем множатся почти не поддающиеся классификации промежуточные звенья, более точное исследование перебрасывает организмы из одного класса в другой, и отличительные признаки, ставшие почти символом веры, теряют свое безусловное значение: мы знаем теперь, что существуют млекопитающие, кладущие яйца, и если подтвердится сообщение, то существуют и птицы, ходящие на четвереньках. Если уж много лет назад Вирхов вынужден был вследствие открытия клетки разложить единство животного индивида на федерацию клеточных государств, — что имело скорее прогрессистский¹, чем естественно-научный и диалектический характер, — то понятие животной (а следовательно, и человеческой) индивидуальности становится еще

¹ Намек на принадлежность Вирхова к либеральной «прогрессистской» партии. *Ред.*

гораздо более сложным после открытия белых кровяных клеток, амeboобразно передвигающихся в организме высших животных. Между тем именно эти, считавшиеся непримиримыми и неразрешимыми полярные противоположности, эти насильственно фиксированные, неподвижные разграничительные линии и отличительные признаки классов и придавали современному естествознанию его ограниченно-метафизический характер. Центральным пунктом диалектического понимания природы является признание той истины, что эти противоположности и различия, хотя и существуют в природе, но имеют только относительное значение, и что, напротив, их воображаемая неподвижность и абсолютное значение привнесены в природу только нашей рефлексией. К диалектическому пониманию можно прийти, будучи вынужденным к этому накапливающимся фактическим материалом естествознания; но его можно легче достигнуть, если к диалектическому характеру естественно-научных фактов подойти с пониманием законов диалектического мышления. Во всяком случае естествознание подвинулось настолько, что оно не может уже избежать диалектического обобщения. Но оно облегчит себе этот процесс, если не будет забывать, что результаты, в которых обобщаются данные опыта, суть понятия и что искусство оперировать понятиями не есть что-либо врожденное и не дается вместе с обыденным, повседневным сознанием, а требует действительного мышления, которое тоже имеет за собой долгую эмпирическую историю, столь же длительную, как и история эмпирического естествознания. Именно усвоив себе результаты, достигнутые развитием философии в течение двух с половиной тысячелетий, оно избавится, с одной стороны, от всякой особой, вне его и над ним стоящей натурфилософии, с другой — от своего собственного, унаследованного от английского эмпиризма, ограниченного метода мышления.

Лондон, 23 сентября 1885 г.

III

Настоящее новое издание, за исключением некоторых очень незначительных стилистических изменений, является перепечаткой предыдущего. Только в одной главе, десятой главе второго отдела («Из критической истории»), я позволил себе сделать существенные дополнения, исходя именно из следующих соображений.

Как уже упомянуто в предисловии ко второму изданию, все наиболее существенное в этой главе принадлежит Марксу. В первой редакции, предназначенной для журнальной статьи, я вынужден был значительно сократить рукопись Маркса и как раз в тех частях, где критика дюринговских положений отсту-

пает на задний план по сравнению с изложением собственных взглядов Маркса в области истории политической экономии. Между тем эта-то часть рукописи представляет еще в настоящее время величайший и непреходящий интерес. Я считаю своим долгом привести как можно более полно и дословно те рассуждения Маркса, в которых он отводит таким людям, как Петти, Норс, Локк, Юм, подобающее им место в процессе возникновения классической политической экономии; еще более необходимым я считаю привести данное Марксом объяснение «Экономической таблицы» Кенэ, этой загадки сфинкса, которая оставалась до сих пор неразрешимой для всей современной политической экономии. Напротив, то, что относилось исключительно к произведениям г. Дюринга, я опустил, поскольку это не нарушало общей связи.

В заключение я могу выразить свое полное удовлетворение по поводу того, что идеи, отстаиваемые в настоящем сочинении, получили со времени последнего его издания широкое распространение в общественном сознании научных кругов и рабочего класса — и притом во всех цивилизованных странах мира.

Ф. Энгельс.

Лондон, 23 мая 1894 г.

ВВЕДЕНИЕ

I

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Современный социализм по своему содержанию является прежде всего результатом наблюдения, с одной стороны, господствующих в современном обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими, наемными рабочими и буржуа, а с другой — царящей в производстве анархии. Но по своей теоретической форме он выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века¹. Как всякая новая теория, социализм должен был исходить прежде всего из накопленного до него идейного материала, хотя его корни лежали глубоко в [материальных] экономических фактах.

Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно. Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признавали. Религия, понимание природы, общество, государственный порядок — все было подвергнуто самой беспощадной критике; все должно было предстать пред судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилom всего существующего. Это было то время, когда, по выражению Гегеля,

¹ В черновом наброске «Введения» эти строки были даны в следующей редакции: «Современный социализм, хотя он по существу дела возник из наблюдения существующих в обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими, рабочими и эксплуататорами, но по своей теоретической форме он выступает сначала как более последовательное, дальнейшее развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века, — ведь первые представители социализма, Морелли и Мабли, также принадлежали к числу просветителей». *Ред.*

мир был поставлен на голову¹, сначала в том смысле, что человеческая голова и те положения, которые она открывала посредством своего мышления, выступали с требованием, чтобы их признали основой всех человеческих действий и общественных отношений, а затем и в том более широком смысле, что действительность, противоречащая этим положениям, была фактически перевернута сверху донизу. Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все его прошлое достойно лишь сожаления и презрения. Теперь впервые вошло солнце [наступило царство разума], и с этих пор суеверие, несправедливость, привилегии и угнетение должны уступить место вечной истине, вечной справедливости, равенству, вытекающему из самой природы, и неотъемлемым правам человека.

Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным, как идеализированным царством буржуазии, что вечная справедливость нашла свое осуществление в буржуазной юстиции, что равенство свелось к буржуазному равенству перед законом, а одним из самых существенных прав человека провозглашена была — буржуазная собственность. Разумное государство, — «общественный договор» Руссо, — оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Великие мыслители XVIII века, так же как и все их предшественники, не могли выйти из рамок, которые им ставила их собственная эпоха.

Но наряду с противоположностью между феодальным дворянством и буржуазией [выступавшей в качестве представительницы всего остального общества] существовала общая противоположность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, богатыми туеядцами и трудящимися бедняками. Именно это обстоятельство дало возможность представителям буржуазии выступать

¹ [Вот что говорит Гегель о французской революции: «Мысль о праве — его понятие — сразу завоевала себе признание, ветхие опоры бесправия не могли оказать ей никакого сопротивления. Мысль о праве положена была в основу конституции, и теперь все должно опираться на нее. С тех пор, как на небе светит солнце и вокруг него вращаются планеты, еще не было видно, чтобы человек становился на голову, т. е. опирался на мысль и сообразно с мыслью строил действительность. Анаксагор первый сказал, что *Nús*, т. е. разум, управляет миром, но только теперь впервые человек дошел до признания, что мысль должна управлять духовной действительностью. Это был величественный восход солнца. Все мыслящие существа радостно приветствовали наступление новой эпохи. Возвышенный восторг властвовал в это время, и весь мир проникся энтузиазмом духа, как будто совершилось впервые примирение божественного начала с миром» (*Hegel, Philosophie der Geschichte*, 1840, S. 535) [*Гегель, Философия истории*, 1840, стр. 535. *Ред.*]. Не пора ли, наконец, против такого опасного, ниспровергающего общественные устои учения покойного профессора Гегеля пустить в ход закон о социалистах?] [*Примечание Энгельса.*]

в роли представителей не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества. Более того. Буржуазия с момента своего возникновения была обременена своей собственной противоположностью: капиталисты не могут существовать без наемных рабочих, и соответственно тому, как средневековый цеховой мастер развивался в современного буржуа, цеховой подмастерье и внецеховой поденщик развивались в пролетариев. И хотя в общем и целом буржуазия в борьбе с дворянством имела известное право считать себя также представительницей интересов различных трудящихся классов того времени, тем не менее при каждом крупном буржуазном движении вспыхивали самостоятельные движения того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата. Таково было движение [анабаптистов¹ и] Томаса Мюнцера во время реформации и крестьянских войн в Германии, левелеров² — во время великой английской революции, Бабефа — во время великой французской революции. Эти революционные вооруженные выступления еще не созревшего класса сопровождались соответствующими теоретическими выступлениями; таковы утопические изображения идеального общественного строя в XVI и XVII столетиях³, а в XVIII столетии — уже прямо коммунистические теории (Морелли и Мабли). Требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялось на общественное положение каждой отдельной личности; доказывалась необходимость уничтожения не только классовых привилегий, но и самих классовых различий. Аскетически суровый, спартанский коммунизм [запрещавший всякое наслаждение жизнью] был первой формой проявления нового учения. Потом явились три великих утописта: «Сен-Симон, у которого рядом с пролетарским направлением сохраняло еще известное значение направление буржуазное, Фурье и Оуэн, который в стране наиболее развитого капиталистического производства и под впечатлением порожденных им противоположностей разработал ряд проектов устранения классовых различий в виде систем, непосредственно примыкавшей к французскому материализму.

Общим для всех троих является то, что они не выступают как представители интересов исторически порожденного к тому времени пролетариата. Подобно просветителям, они хотят [сразу же] освободить все человечество, а не какой-либо опре-

¹ Анабаптисты (перекрещенцы) — религиозная секта во время реформации XVI века. *Ред.*

² Левелеры (в переводе: *уравнители*) — название представителей движения плебейских элементов города и деревни, выдвигавших во время революции 1648 г. в Англии наиболее радикальные демократические требования. *Ред.*

³ Энгельс имеет в виду произведения представителей утопического коммунизма — Томаса Мора (XVI в.) и Кампанеллы (XVII в.). *Ред.*

деленный общественный класс [в первую очередь]. Как и те, они хотят установить царство разума и вечной справедливости; но их царство, как небо от земли, отличается от царства разума французских просветителей. Буржуазный мир, построенный сообразно принципам этих просветителей, так же неразумен и несправедлив и поэтому должен быть так же выброшен на свалку, как феодализм и все прежние общественные порядки. Истинный разум и истинная справедливость до сих пор не господствовали в мире только потому, что они не были еще правильно познаны. Не было просто того гениального человека, который явился теперь и который познал истину. Что он теперь появился, что истина раскрылась именно теперь, — это вовсе не является необходимым результатом общего хода исторического развития, неизбежным событием, а просто счастливой случайностью. Этот гениальный человек мог бы с таким же успехом родиться пятьсот лет тому назад и он тогда избавил бы человечество от пяти веков заблуждений, борьбы и страданий.

Этот образ мыслей глубоко характерен для всех английских, французских и первых немецких социалистов, включая Вейтлинга¹. Социализм [для них всех] есть выражение абсолютной истины, разума и справедливости, и стоит только его открыть, чтобы он собственной силой покорил весь мир; а так как абсолютная истина не зависит от времени, пространства и исторического развития человечества, то это уже дело чистой случайности, когда и где она будет открыта. При этом абсолютная истина, разум и справедливость опять-таки различны у каждого основателя школы; особый вид абсолютной истины, разума и справедливости у каждого основателя школы обусловлен опять-таки его субъективным рассудком, жизненными условиями, объемом познаний и степенью развития мышления. Поэтому при столкновении подобных абсолютных истин разрешение конфликта возможно лишь путем сглаживания их взаимных противоречий. Из этого не могло выработаться ничего, кроме особого рода эклектического межеумочного социализма, который действительно господствует до сих пор в головах большинства социалистов-рабочих Франции и Англии. Этот эклектический социализм представляет собой в высшей степени пеструю, избыточную всевозможными оттенками смесь из менее ярких критических замечаний, экономических положений и представлений различных основателей сект о будущем обществе, — смесь, которая получается тем легче, чем скорее ее отдельные составные

¹ В «Развитии социализма от утопии к науке» эта мысль дана в следующем изложении: «Образ мыслей утопистов долго господствовал над социалистическими воззрениями XIX века и отчасти господствует еще и поныне. Его придерживались до недавнего времени все французские и английские социалисты, а также прежний немецкий коммунизм, включая Вейтлинга». *Ред.*

части утрачивают в потоке споров, как камешки в ручье, свои острые углы и грани. Чтобы превратить социализм в науку, необходимо было прежде всего поставить его на реальную почву.

Между тем, рядом с французской философией XVIII века и вслед за нею развилась новейшая немецкая философия, нашедшая свое завершение в Гегеле. Ее величайшей заслугой было возвращение к диалектике как высшей форме мышления. Древние греческие философы были все прирожденными, стихийными диалектиками, и Аристотель, самая универсальная голова среди них, исследовал уже существеннейшие формы диалектического мышления¹. Новая философия, хотя и в ней диалектика имела блестящих представителей (например, Декарт и Спиноза), напротив, все более и более погрязала, особенно под влиянием английской философии, в так называемом метафизическом способе мышления, почти исключительно овладевшем также французами XVIII века, по крайней мере в их специально философских трудах. Однако вне пределов философии в собственном смысле слова они смогли оставить нам высокие образцы диалектики; припомним только «Племянника Рамо» Дидро и сочинение Руссо «О происхождении неравенства между людьми». — Остановимся здесь вкратце на существовании обоих методов мышления; нам еще придется более подробно заняться этим вопросом.

Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю человечества, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения связей и взаимодействий, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все движется, изменяется, возникает и исчезает. [Таким образом, мы видим сперва общую картину, в которой частности пока более или менее отступают на задний план, мы больше обращаем внимание на движение, на переходы и связи, чем на то, что именно движется, переходит, находится в связи.] Этот первоначальный, наивный, но по сути дела, правильный взгляд на мир был присущ древнегреческой философии и впервые ясно выражен Гераклитом: все существует и в то же время не существует, так как все *течет*, все постоянно изменяется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, он все же недостаточен для объяснения частных, из которых она складывается, а пока мы не знаем их, нам не ясна и общая картина. Чтобы познавать отдельные стороны (частности), мы вынуждены вырывать их из

¹ В черновом наброске «Введения» это место было сформулировано следующим образом: «Древние греческие философы были все прирожденными стихийными диалектиками, и Аристотель, Гегель древнего мира, исследовал уже существеннейшие формы диалектического мышления». *Ред.*

их естественной или исторической связи и исследовать каждую в отдельности по ее свойствам, по ее особым причинам и следствиям и т. д. В этом состоит прежде всего задача естествознания и исторического исследования, т. е. тех отраслей науки, которые, по вполне понятной причине, занимали у греков классических времен лишь второстепенное место, потому что грекам нужно было раньше накопить необходимый [для этого] материал. [Только после того как естественно-научный и исторический материал был в известной степени собран, можно было приступить к критическому отбору, сравнению, а сообразно с этим и разделению на классы, порядки и виды.] Поэтому начатки точного исследования природы стали развиваться впервые лишь у греков александрийского периода, а затем, в средние века, развивались дальше арабами.. Настоящее же естествознание начинается только со второй половины XV века, и с этого времени оно непрерывно делает все более быстрые успехи. Разложение природы на ее отдельные части, разделение различных процессов природы и природных вещей на определенные классы, исследование внутреннего строения органических тел по их многообразным анатомическим формам — все это было основным условием тех исполинских успехов, которыми ознаменовалось развитие естествознания за последние четыре столетия. Но тот же способ изучения оставил нам привычку рассматривать вещи и процессы природы в их обособленности, вне их великой общей связи, и в силу этого — не в движении, а в неподвижном состоянии, не как изменяющиеся существенным образом, а как вечно неизменные, не живыми, а мертвыми. Перенесенный Бэконом и Локком из естествознания в философию, этот способ понимания создал специфическую ограниченность последних столетий — метафизический способ мышления.

Для метафизика вещи и их мысленные отображения, т. е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит сплошными непосредственными противоположностями; речь его состоит из «да — да, нет — нет; что сверх того, то от лукавого». Для него вещь или существует или не существует, и точно так же вещь не может быть самой собой и в то же время иной.. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга; причина и действие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности. Этот способ мышления кажется нам на первый взгляд совершенно очевидным потому, что он присущ так называемому здравому смыслу. Но здравый человеческий смысл, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования. Метафизический образ мышления, хотя и

является правомерным и даже необходимым в известных областях, более или менее обширных, смотря по характеру предмета, рано или поздно достигает тех пределов, за которыми он становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за отдельными вещами он не видит их взаимной связи, за их бытием — их возникновения и исчезновения, из-за их покоя забывает их движение, за деревьями не видит леса. Мы, например, в обыденной жизни можем с уверенностью сказать, существует ли данное животное или нет, но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени сложная вещь, как это очень хорошо известно юристам, которые тщетно бились над тем, чтобы открыть рациональную границу, за которой умерщвление ребенка в утробе матери нужно считать убийством. Невозможно точно так же определить и момент смерти, так как физиология установила, что смерть есть не внезапный, мгновенный акт, а очень длительный процесс. Равным образом и всякое органическое существо в каждое данное мгновение является тем же самым и не тем же самым; в каждое мгновение оно перерабатывает получаемые им извне вещества и выделяет из себя другие вещества, одни клетки его организма отмирают, другие нарождаются, так что спустя известный период времени вещество данного организма вполне обновляется, заменяется другим составом атомов. Вот почему каждое органическое существо всегда то же и, однако, не то же. При более точном исследовании мы находим также, что оба полюса какой-нибудь противоположности — положительный и отрицательный — столь же неотделимы один от другого, как и противоположны, и что они, несмотря на всю противоположность между ними, взаимно проникают друг друга. Мы видим далее, что причина и следствие суть представления, которые имеют значение, как таковые, только в применении к данному отдельному случаю; но как только мы будем рассматривать этот отдельный случай в его общей связи со всем мировым целым, эти представления сходятся и переплетаются в представлении универсального взаимодействия, в котором причины и следствия постоянно меняются местами; то, что здесь или теперь является причиной, становится там или тогда следствием и наоборот.

Все эти процессы и все эти методы мышления не вмещаются в рамки метафизического мышления. Для диалектики же, которая берет вещи и их умственные отражения главным образом в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении, такие явления, как вышеприведенные, напротив, подтверждают лишь ее собственный метод исследования. Природа есть пробный камень диалектики, и современное естествознание, представившее для этой пробы чрезвычайно богатый, с каждым днем увеличивающийся мате-

риал, тем самым доказало, что в природе, в конце концов, все совершается диалектически, а не метафизически [что она движется не в вечно однородном, постоянно сызнова повторяющемся круге, а переживает действительную историю. Здесь прежде всего следует указать на Дарвина, который нанес сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, доказав, что весь современный органический мир, растения и животные, а, следовательно, также и человек, есть продукт процесса развития, длившегося миллионы лет]. Но так как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то этот конфликт между достигнутыми результатами и укоренившимся способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и читателей.

Итак, точное представление о вселенной, о ее развитии и о развитии человечества, равно как и об отражении этого развития в головах людей, может быть приобретено только диалектическим путем, при постоянном внимании к общему взаимодействию между возникновением и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессивными. И в этом именно духе выступила сразу же новейшая немецкая философия. Кант начал свою научную деятельность с того, что он превратил ньютонову солнечную систему, вечную и неизменную, — после того как был однажды дан пресловутый первый толчок, — в исторический процесс, в процесс возникновения солнца и всех планет из вращающейся туманной массы. При этом он уже пришел к тому выводу, что возникновение солнечной системы предполагает и ее будущую неизбежную гибель. Спустя полстолетия его взгляд был математически обоснован Лапласом, а еще полустолетием позже спектроскоп доказал существование в мировом пространстве таких раскаленных газовых масс различных степеней сгущения.

Свое завершение эта новейшая немецкая философия нашла в системе Гегеля, великая заслуга которого состоит в том, что он впервые представил весь естественный, исторический и духовный мир в виде процесса, т. е. в непрерывном движении, изменении, преобразовании и развитии, и пытался раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития¹. С этой точки

¹ В черновом наброске «Введения» гегелевская философия характеризуется следующим образом: «Гегелевская система была последней, самой законченной формой философии, поскольку она мыслится как особая наука, стоящая над всеми другими науками. Вместе с ней потерпела крушение вся философия. Остались только диалектический способ мышления и понимание всего естественного, исторического и интеллектуального мира, как мира бесконечно движущегося, изменяющегося, находящегося в постоянном процессе возник-

зрения история человечества уже перестала казаться нелепым клубком бессмысленных насилий, в равной мере достойных — перед судом созревшего ныне философского разума — лишь осуждения и скорейшего забвения; она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей.

Для нас здесь безразлично, что Гегель не разрешил этой задачи. Его историческая заслуга состояла в том, что он поставил ее. Задача же эта такова, что она никогда не может быть разрешена отдельным человеком. Хотя Гегель, наряду с Сен-Симоном, был самым универсальным умом своего времени, но он все-таки был ограничен, во-первых, неизбежными пределами своих собственных знаний, а во-вторых, знаниями и воззрениями своей эпохи, точно так же ограниченными в отношении объема и глубины. К этому присоединилось еще третье обстоятельство. Гегель был идеалист, т. е. для него мысли нашей головы были не отражениями, более или менее абстрактными, действительных вещей и процессов, а, наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля лишь воплотившимися отражениями какой-то «идеи», существовавшей где-то еще до возникновения мира. Таким образом, все было поставлено на голову, и действительная связь мировых явлений была совершенно извращена. И [поэтому], как бы верно и гениально ни были схвачены Гегелем некоторые отдельные связи явлений, все же многое и в частности его системы должно было по упомянутым причинам оказаться натянутым, искусственным, надуманным, словом — извращенным. Гегелевская система как таковая была колоссальным недоноском, но зато и последним в своем роде. А именно, она еще страдала неизлечимым внутренним противоречием: с одной стороны, ее существенной предпосылкой было воззрение на человеческую историю как на процесс развития, который по самой своей природе не может найти умственного завершения в открытии так называемой абсолютной истины; но, с другой стороны, его система претендует быть именно завершением этой абсолютной истины. Всеобъемлющая, раз навсегда законченная система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического мышления, но это, однако, отнюдь не исключает, а, напротив, предполагает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать гигантские успехи с каждым поколением.

новения и уничтожения. Теперь не только перед философией, но и перед *всеми* науками было поставлено требование открыть законы движения этого вечного процесса преобразования в каждой отдельной области. И в этом заключалось наследие, оставленное гегелевской философией своим преемникам». *Ред.*

Уразумение того, что господствовавший до тех пор в Германии идеализм совершенно ложен, неизбежно привело к материализму, но, конечно, не просто к метафизическому, исключительно механическому материализму XVIII века. В противоположность наивно-революционному, простому отбрасыванию всей протекшей истории, современный материализм видит в истории процесс развития человечества, причем его задачей является открытие законов движения этого процесса. Как у французов XVIII века, так еще и у Гегеля господствовало представление о природе, как о всегда равном себе целом, движущемся в одних и тех же опраниченных кругах с вечными мировыми телами, как учил Ньютон, и с неизменными видами органических существ, как учил Линней; в противоположность этому представлению о природе современный материализм обобщает новейшие успехи естествознания, согласно которым природа тоже имеет свою историю во времени, небесные тела возникают и исчезают, как и все те виды организмов, которые при благоприятных условиях населяют эти тела, а круговороты, поскольку они вообще могут иметь место, приобретают бесконечно более грандиозные размеры. В обоих случаях материализм является по существу диалектическим и не нуждается больше в стоящей над прочими науками философии. Как только перед каждой отдельной наукой ставится требование выснить свое место во всеобщей связи вещей и знаний о вещах, какая-либо особая наука об этой совокупной их связи становится излишней. И тогда из всей прежней философии самостоятельное значение сохраняет еще учение о мышлении и его законах — формальная логика и диалектика. Все остальное входит в положительные науки о природе и истории.

Но в то время как указанный переворот в воззрениях на природу мог совершаться лишь по мере того, как исследования доставляли соответствующий положительный материал для познания, — уже значительно раньше совершились исторические события, которые вызвали решительный поворот в понимании истории. В 1831 г. в Лионе произошло первое рабочее восстание; в период с 1838 по 1842 г. первое национальное рабочее движение, движение английских чартистов, достигло своей высшей точки. Классовая борьба между пролетариатом и буржуазией выступала на первый план в истории наиболее развитых стран Европы, по мере того как там развивались, с одной стороны, крупная промышленность, а с другой — недавно завоеванное политическое господство буржуазии. Факты все с большей и большей наглядностью показывали всю лживость учения буржуазной экономии о тождестве интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и о всеобщем благополучии народа, которые будто бы должны явиться следствием свободной

конкуренции¹. Невозможно уже было не считаться с этими фактами, равно как и с французским и английским социализмом, который являлся их теоретическим, хотя и крайне несовершенным, выражением. Но старое, еще не вытесненное, идеалистическое понимание истории не знало никакой классовой борьбы, основанной на материальных интересах, и вообще никаких материальных интересов. Производство и все экономические отношения упоминались лишь между прочим, как второстепенные элементы «истории культуры». Новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследованию, и тогда выяснилось, что *вся* прежняя история [за исключением первобытного состояния] была историей борьбы классов, что эти борющиеся друг с другом общественные классы являются в каждый данный момент продуктом отношений производства и обмена, словом — *экономических* отношений своей эпохи; следовательно, выяснилось, что экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, которою и объясняется в последнем счете вся надстройка правовых и политических учреждений, равно как религиозных, философских и других воззрений каждого данного исторического периода. [Гегель освободил от метафизики понимание истории, он сделал его диалектическим, но его понимание истории было по своей сущности идеалистическим.] Теперь идеализм был изгнан из своего последнего убежища, из понимания истории; теперь понимание истории стало материалистическим, и был найден путь для объяснения сознания людей из их бытия вместо прежнего объяснения их бытия из их сознания.

[Поэтому социализм теперь уже рассматривается не как случайное открытие того или другого гениального ума, а как необходимый результат борьбы двух исторически возникших классов — пролетариата и буржуазии. Его задача заключается уже не в том, чтобы сконструировать возможно более совершенную систему общества, а в том, чтобы исследовать историко-экономический процесс, необходимым следствием которого явились названные классы с их взаимной борьбой, и чтобы в экономическом положении, созданном этим процессом, найти средства для разрешения конфликта.]

Но прежний социализм был так же несовместим с этим материалистическим пониманием истории, как несовместимо было

¹ В черновом наброске «Введения» за этими словами следовали строки: «Во Франции лионское восстание 1835 [1834] г. также провозгласило борьбу пролетариата против буржуазии. Английские и французские социалистические теории приобрели историческое значение и должны были найти отклик также в Германии и вызвать критику, хотя там промышленность едва лишь начинала развиваться из мелкого производства. Теоретический социализм, образовавшийся теперь, — не столько в Германии, как среди немцев, — должен был, следовательно, импортировать весь свой материал...» *Ред.*

с диалектикой и с новейшим естествознанием понимание природы французскими материалистами. Прежний социализм, хотя и критиковал существующий капиталистический способ производства и его последствия, но он не мог объяснить его, а следовательно, не в состоянии был справиться с ним, — он мог лишь просто объявить его никуда негодным. [Чем более возмущался он неизбежной при этом способе производства эксплуатацией рабочего класса, тем менее был он в состоянии отчетливо понять, в чем состоит эта эксплуатация и как она возникает.] Но задача заключалась в том, чтобы, с одной стороны, объяснить неизбежность возникновения капиталистического способа производства в его исторической связи и необходимость его для определенного исторического периода, а поэтому и неизбежность его гибели, а с другой — в том, чтобы обнажить также внутренних, до сих пор еще не раскрытый характер этого способа производства, так как прежняя критика направлялась больше на вредные последствия, чем на существо самого дела. Это было сделано благодаря открытию *прибавочной стоимости*. Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и совершаемой им эксплуатации рабочих; что даже в том случае, когда капиталист покупает рабочую силу по полной стоимости, какую она в качестве товара имеет на товарном рынке, он все же выколачивает из нее стоимость больше той, которую он заплатил за нее, и что эта прибавочная стоимость в конце концов и образует ту сумму стоимости, из которой накапливается в руках имущих классов постоянно возрастающая масса капитала. Таким образом, было объяснено, как совершается капиталистическое производство, а также как производится сам капитал.

Этими двумя великими открытиями — материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического производства посредством прибавочной стоимости — мы обязаны *Марксу*. Благодаря этим открытиям социализм стал наукой, и теперь дело прежде всего в том, чтобы разработать ее дальше во всех ее частностях [и взаимосвязях].

Приблизительно так обстояли дела в области теоретического социализма и ныне покойной философии, когда г. Евгений Дюринг с изрядным шумом выскочил на сцену и возвестил о произведенном им подном перевороте в философии, политической экономии и социализме.

Посмотрим же, что обещает нам г. Дюринг и... как он выполняет свои обещания.

II

ЧТО ОБЕЩАЕТ г. ДЮРИНГ

Ближайшее отношение к нашему вопросу имеют следующие сочинения г. Дюринга — его «Kursus der Philosophie»¹, «Kursus der National- und Sozialökonomie»² и «Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus»³. Нас интересует прежде всего и главным образом его первое сочинение.

На первой же странице г. Дюринг возвещает о себе, что он «тот, кто выступает с *притязанием* на *представительство* этой силы (философии) для своего времени и для ближайшего обозримого развития». Он провозглашает себя, таким образом, единственным истинным философом настоящего времени и «обозримого» будущего. Кто расходится с г. Дюрингом, тот расходится с истиной. Немало людей, еще до г. Дюринга, *думали* о себе в таком же духе, но, за исключением Рихарда Вагнера, он, пожалуй, первый, кто, насколько не смущаясь, говорит так о себе самом. И притом истина, о которой у него идет речь, это — «окончательная истина в последней инстанции».

Философия г. Дюринга есть «естественная система или философия действительности... Действительность мыслится в этой системе таким способом, который *исключает всякое поползновение* к какому-либо мечтательному и субъективно ограниченному представлению о мире». Таким образом, философия эта такого свойства, что она выводит г. Дюринга за границы его личной, субъективной ограниченности, которых он сам не может отрицать. Это, разумеется, необходимо, чтобы он мог устанавливать окончательные истины в последней инстанции, хотя мы до сих пор не уразумели еще, как должно совершиться это чудо.

Эта «естественная система знания, самого по себе ценного для духа», «твердо установила основные формы бытия, не жертвуя несколько глубиной мысли». Со своей «действительно критической точки зрения» она предлагает нашему вниманию «элементы действительной философии, сообразно с этим направленной на действительность природы и жизни, — философии, которая не признает никакого просто видимого горизонта, но в своем мощном, все опрокидывающем на своем пути движении развертывает все земли и все небеса внешней и внутренней природы». Здесь перед нами «новый способ мышления», а его результаты представляют собой «в самой основе своеобразные

¹ «Курс философии». 1875 г. *Ред.*

² «Курс национальной и социальной экономики». 1876 г. *Ред.*

³ «Критическая история национальной экономики и социализма». 1875 г. *Ред.*

выводы и воззрения... системосозидающие идеи... твердо установленные истины». В лице этой системы мы имеем перед собой «труд, который должен черпать свою силу в концентрированной инициативе» (что бы сие ни означало)... «исследование, *проникающее до самых корней... радикально-основательную науку, строго научное* понимание вещей и людей... работу мысли, *все-сторонне пронизывающую свой предмет... творческое* развертывание предпосылок и выводов, доступных власти мысли... нечто *абсолютно фундаментальное*». В политико-экономической области он не только дает нам «в историческом и систематическом отношении обширные труды», — среди них исторические работы вдобавок отмечены еще *«моей историографией в высоком стиле»*, а в экономической науке они проложили пути к «творческим поворотам». Но, кроме того, он заканчивает собственным, вполне разработанным социалистическим планом будущего общества, который представляет собой «практический плод *ясной и до последних корней проникающей теории*», а потому этот план является столь же непогрешимым и единоспасующим, как и философия г. Дюринга; ибо *«только в той социалистической системе, которую я охарактеризовал в своем «Курсе национальной и социальной экономии», истинно «собственное» может занять место только кажущейся и предварительной или же насильственной собственности»*. И с этим должно сообразоваться будущее.

Этот букет восхвалений, который г. Дюринг преподносит самому же г. Дюрингу, легко мог бы быть увеличен в десять раз. Приведенного, впрочем, достаточно, чтобы уже теперь возбудить в читателе некоторые сомнения, действительно ли он имеет дело с философом или же имеет дело с... — мы должны, однако, просить читателя отложить свой приговор до ближайшего ознакомления с вышеотмеченной способностью проникновения до последних корней. Мы даем этот букет только для того, чтобы показать, что перед нами не обыкновенный философ и социалист, высказывающий просто свои мысли и предоставляющий истории решить вопрос об их ценности, а совершенно необыкновенное существо, претендующее не менее как на папскую непогрешимость, — человек, единоспасующее учение которого приходится просто-напросто принять, если не желаешь впасть в преступнейшую ересь. Таким образом, мы отнюдь не имеем здесь дело с одной из тех работ, какими изобилует социалистическая литература всех стран, в последнее время и немецкая, — работ, где люди самого различного калибра искреннейшим образом стараются уяснить себе вопросы, для разрешения которых у них, быть может, нехватает, в большей или меньшей степени, материала; в этих работах, каковы бы ни были их научные и литературные недостатки, заслуживает уже признания их социалистическая добрая воля. Напротив,

г. Дюринг преподносит нам положения, которые он провозглашает «окончательными истинами в последней инстанции», рядом с которыми всякое иное мнение объявляется, таким образом, уже заранее ложным. Обладатель исключительной истины, г. Дюринг обладает также единственным строго научным методом исследования, рядом с которым все другие методы не научны. Либо он прав, и тогда перед нами величайший гений всех времен, первый сверхчеловек, ибо человек этот совершенно непогрешим; либо он неправ, и в таком случае, каков бы ни был наш приговор, всякая благожелательная снисходительность к г. Дюрингу, во внимание к его возможным добрым намерениям, была бы все-таки для него смертельнейшим оскорблением.

Когда обладаешь окончательной истиной в последней инстанции и единственно строгой научностью, то, само собой разумеется, приходится питать изрядное презрение к прочему заблуждающемуся и непричастному к науке человечеству. Нас не должно поэтому удивлять, что г. Дюринг говорит о своих предшественниках крайне пренебрежительно и что его «проникающая до корней» основательность смилостивилась лишь над немногими великими людьми, в виде исключения возведенными самим г. Дюрингом в это звание.

Послушаем сначала его мнение о философах: «Лишенный всяких честных убеждений *Лейбниц*, этот лучший из всех возможных философствующих придворных». *Кант* еще с грехом пополам может быть терпим, но после него все пошло вверх дном: появился «дикий бред и в такой же мере нелепый, как и пустой вздор ближайших элигонов, в особенности таких господ, как *Фихте* и *Шеллинг*... чудовищные карикатуры невежественной натурфилософической галиматии... послекантовские чудовищности» и «горячечный бред», который увенчал «некий *Гегель*». Этот последний говорил на «гегелевском жаргоне» и распространял «гегелевскую заразу» посредством своей «вдобавок еще и по форме ненаучной манеры» и своих «неудобоваримых идей».

Естествоиспытателям достается не меньше, но из них назван по имени только Дарвин, и потому мы принуждены ограничиться им одним: «Дарвинистская полупозиция и фокусы с метаморфозами, с их грубо чувственной узостью понимания и притупленной способностью различения... По нашему мнению, специфический дарвинизм, из которого, разумеется, следует исключить построения Ламарка, представляет собой *изрядную дозу зверства, направленного против человечности*».

Но хуже всего достается социалистам. За исключением разве только Луи Блана, самого незначительного из всех, все они грешники и не заслуживают славы, которую им воздавали предпочтительно перед г. Дюрингом (или хотя бы на втором месте после него). И не только с точки зрения истины или научности, — нет, но и с точки зрения личного характера. За

исключением Бабефа и некоторых коммунаров 1871 г., все они не были «мужами». Три утописта окрещены «социальными алхимиками». Из них Сен-Симон третируется еще снисходительно, поскольку ему делается только упрек в «экзальтированности», причем с соболезнованием отмечается, что он страдал религиозным помешательством. Зато, когда речь заходит о Фурье, то г. Дюринг совершенно теряет терпение, ибо Фурье «обнаружил все элементы безумия... идеи, которые, вообще, скорее всего можно найти в психиатрических больницах, самые дикие бредни... порождения безумия... Невыразимо нелепый Фурье», эта «детская головка», этот «идиот» — «добавок даже и не социалист; в его фаланстере нет и кусочка рационального социализма, это — «уродливое построение, сфабрикованное по обычному торговому шаблону». И, наконец: «тот, для кого эти необузданные нападки (в отзывах Фурье о Ньюtone)... представляются еще недостаточными, чтобы убедиться, что в имени Фурье и во всем фурьеризме истинного только и есть, что первый слог (foi — сумасшедший), тот сам подлежит зачислению в какую-либо категорию идиотов». Наконец, Роберт Оуэн «имел тусклые и скудные идеи... его столь грубое в вопросе о морали мышление... несколько трафаретных идей, выродившихся в нелепость... противоречащий здравому смыслу и грубый способ понимания... ход идей Оуэна едва ли заслуживает серьезной критики... его тщеславие» и т. д. Если, таким образом, г. Дюринг чрезвычайно остроумно характеризует утопистов по их именам: Сен-Симон — saint (блаженный), Фурье — foi (сумасшедший), Анфантен — enfant (ребяческий), то остается только прибавить: Оуэн — увы! (o weh!), и целый, очень значительный период в истории социализма попросту разгромлен в четырех словах. А если кто в этом усомнится, «тот сам подлежит зачислению в какую-либо категорию идиотов».

Из суждений Дюринга о позднейших социалистах мы, краткости ради, извлечем только относящиеся к Лассалю и Марксу.

Лассаль: «Педантически-крохоборческие попытки популяризации... дебри схоластики... чудовищная смесь общей теории и пустяковых мелочей... гегельянское суеверие — без формы и смысла... устрашающий пример... свойственная ему ограниченность... важничание ничтожнейшим хламом... наш иудейский герой... памфлетный писака... заурядный... внутренняя шаткость воззрений на жизнь и мир».

Маркс: «Узость взглядов... его труды и результаты сами по себе, т. е. рассматриваемые чисто теоретически, не имеют длительного значения для нашей области (критической истории социализма), а в общей истории умственных течений должны быть упомянуты только как симптомы влияния одной отрасли новейшей сектантской схоластики... бессилие концентрирующих и систематизирующих способностей... бесформенность идей и

стиля, недостойные аллюры языка... англизированное тщеславие... одурачивание... дикие концепции, которые в действительности являются лишь убожествами исторической и логической фантастики... вводящий в заблуждение оборот... личное тщеславие... скверное манерничанье... несносный... шуточки и прибауточки с претензией на остроумие... китайская ученость... философская и научная отсталость».

И так далее, и так далее, ибо все приведенное выше — лишь небольшой, наскоро собранный букет из дюринговского цветника. Само собой разумеется, что в данный момент мы не касаемся того, насколько являются окончательными истинами в последней инстанции эти любезные ругательства, которые при некоторой воспитанности не должны были бы позволить г. Дюрингу находить *что бы то ни было* скверным и несносным. Точно так же мы пока остерегаемся, чтобы у нас как-нибудь не вывалось сомнение в коренной основательности этих любезностей г. Дюринга, так как в противном случае нам, быть может, запрещено было бы даже выбрать ту категорию идиотов, к которой мы принадлежим. Мы сочли только своим долгом, с одной стороны, дать пример того, что г. Дюринг называет «образцами деликатного и истинно скромного способа выражения», а с другой — констатировать, что для г. Дюринга негодность его предшественников есть нечто столь же твердо установленное, как его собственная непогрешимость. Засим, мы в самом глубоком благоговении умолкаем перед этим величайшим гением всех времен... если, конечно, все обстоит именно так.

Отдел первый

ФИЛОСОФИЯ

III

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. АПРИОРИЗМ

Философия, по г. Дюрингу, есть развитие высшей формы сознания мира и жизни, а в более широком смысле она обнимает *принципы* всякого знания и воли. Везде, где только для человеческого сознания возникает вопрос о каком-либо ряде познаний и стимулов или же о какой-нибудь группе форм существования, — *принципы* этих явлений должны быть предметом философии. Эти принципы представляют собой простые — или предполагаемые по настоящее время простыми — элементы, из которых может быть составлено все многообразное содержание знания и воли. Подобно химическому составу тел, общее устройство вещей также может быть сведено к основным формам и основным элементам. Эти последние элементы или принципы, будучи раз найдены, имеют значение не только для всего того, что непосредственно известно и доступно, но также и для неизвестного и недоступного нам мира. Таким образом, философские принципы составляют последнее дополнение, в котором нуждаются науки, чтобы стать единой системой объяснения природы и человеческой жизни. Кроме основных форм всего существующего, философия имеет только два настоящих объекта исследования, а именно — природу и человеческий мир. Таким образом, для упорядочения нашего материала совершенно *непринужденно* получают три группы, именно: всеобщая мировая схематика, учение о принципах природы и, наконец, учение о человеке. В этой последовательности заключается в то же время известный *внутренний логический порядок*, ибо формальные принципы, имеющие значение для всякого бытия, идут впереди, а области тех объектов, к которым эти положения должны *применяться*, следуют за ними в той градации, в какой одна область подчинена другой. Вот что утверждает г. Дюринг — и почти сплошь в дословной передаче.

Стало быть, речь идет у него о *принципах*, выведенных из *мышления*, а не из внешнего мира, о формальных основных положениях, которые должны применяться к природе и человечеству, с которыми должны, следовательно, сообразоваться природа и человек. Но откуда берет мышление эти принципы? Из

себя самого? Нет, ибо сам г. Дюринг говорит: область чисто идеального ограничивается логическими схемами и математическими формами (последнее, как мы увидим, вдобавок неверно). Но ведь логические схемы могут относиться только к *формам мышления*, здесь же речь идет только о формах *бытия*, о формах внешнего мира, а эти формы мышление никогда не может почерпать и выводить из себя самого, а только из внешнего мира. Таким образом, все соотношение оказывается прямо противоположным: принципы не исходный пункт исследования, а его заключительный результат; эти принципы не применяются к природе и к человеческой истории, а абстрагируются из них; не природа, не человечество сообразуется с принципами, а, наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории. Таково единственно материалистическое воззрение на предмет, а противоположный взгляд г. Дюринга есть идеалистический взгляд, переворачивающий вверх ногами действительное соотношение, конструирующий действительный мир из мыслей, из предшествующих миру и существующих где-то от века схем, теней или категорий, точъ в точъ как это делает — *некий Гегель*.

Действительно, сопоставим «Энциклопедию» Гегеля и весь ее горячечный бред с дюринговскими окончательными истинами в последней инстанции. У г. Дюринга мы имеем, во-первых, всеобщую мировую схематику, которая у Гегеля носит название *логики*. Затем мы имеем у обоих приложение этих схем, — соответственно, логических категорий — к природе, что дает натурфилософию; паконец, применение их к человечеству — то, что Гегель называет философией духа. Таким образом, «внутренний логический порядок» дюринговского ряда приводит нас «совершенно непринужденно» обратно к «Энциклопедии» Гегеля, откуда этот порядок заимствован с верностью, которая способна тронуть до слез вечного жида гегелевской школы, профессора Михелета в Берлине.

Так бывает всегда, когда принимают «сознание», «мышление» вполне натуралистически, просто как нечто данное, заранее противопоставляемое бытию, природе. В таком случае должно показаться чрезвычайно удивительным то обстоятельство, что сознание и природа, мышление и бытие, законы мышления и законы природы до такой степени согласуются между собой. Но если, далее, поставить вопрос, что же такое мышление и сознание, откуда они берутся, то мы увидим, что они — продукты человеческого мозга и что сам человек — продукт природы, развившийся в известной природной обстановке и вместе с ней. Само собой разумеется в силу этого, что продукты человеческого мозга, являющиеся в последнем счете тоже продуктами природы, не противоречат остальной связи природы, а соответствуют ей.

Но г. Дюринг не может позволить себе такой простой трактовки предмета. Ведь г. Дюринг мыслит не только от имени человечества, что уже само по себе было бы немаловажным делом, а от имени сознательных и мыслящих существ всех небесных тел. В самом деле, «было бы принижением основных форм сознания и знания, если бы мы, прибавив к ним эпитет «человеческие», захотели отвергнуть или даже только взять под сомнение их суверенное значение и безусловное право на истинность». Таким образом, дабы не появилось подозрение, что на какой-нибудь другой планете дважды два составляет пять, г. Дюринг лишает себя права называть мышление «человеческим» и вынужден поэтому оторвать его от единственной реальной основы, на которой мы его находим, т. е. от человека и природы. Вместе с этим г. Дюринг безнадежно тонет в такой идеологии, которая превращает его в эпигона — того самого Гегеля, которого он обозвал «эпигоном». Впрочем, нам еще не раз придется приветствовать г. Дюринга на других небесных телах.

Само собой понятно, что на такой идеологической основе невозможно построить никакого материалистического учения. Мы увидим впоследствии, что г. Дюринг вынужден неоднократно подсовывать природе сознательный образ действия, т. е. попросту говоря — бога.

Впрочем, у нашего философа действительности были еще и другие мотивы к тому, чтобы основу всей действительности перенести из мира действительного в мир идей. Ведь наука об этой всеобщей мировой схематике, об этих формальных принципах бытия, — ведь именно она-то и составляет основу философии г. Дюринга. Если схематику мира выводить не из головы, а только *при помощи* головы из действительного мира, если принципы бытия выводить из того, что есть, — то для этого нам нужна не философия, а положительные знания о мире и о том, что в нем происходит; то, что получается в результате такой работы, также не есть философия, а положительная наука. Но в таком случае весь том сочинений г. Дюринга оказался бы не более, как даром потраченным трудом.

Далее, если не нужно больше философии как таковой, то не нужно и никакой системы, даже и естественной системы философии. Осознание того, что вся совокупность явлений природы находится в систематической связи, побуждает науку доказывать эту систематическую связь повсюду, как в частностях, так и в целом. Но совершенно соответствующее своему предмету, исчерпывающее научное изображение этой связи, построение точного мысленного отображения мировой системы, в которой мы живем, остается как для нашего времени, так и на все времена делом невозможным. Если бы в какой-нибудь

момент развития человечества была построена подобная окончательная система всех мировых связей, как физических, так и духовных и исторических, то тем самым область человеческого познания была бы завершена и дальнейшее историческое развитие превратилось бы с того момента, как общество было бы устроено в соответствии с этой системой, что было бы абсурдом, чистой бессмыслицей. Таким образом, оказывается, что люди стоят перед противоречием: с одной стороны, перед ними задача — познать исчерпывающим образом систему мира в ее всеобщей связи, а с другой стороны, их собственная природа, как и природа мировой системы, не позволяет им когда-либо полностью разрешить эту задачу. Но это противоречие не только лежит в природе обоих факторов, мира и людей, оно является также главным рычагом всего умственного прогресса и разрешается каждодневно и постоянно в бесконечном прогрессивном развитии человечества — совершенно так, как, например, известные математические задачи находят свое решение в бесконечном ряде или непрерывной дроби. Фактически каждое мысленное отображение мировой системы остается ограниченным, объективно — историческими условиями, субъективно — физической и духовной организацией его автора. Но г. Дюринг заранее объявляет свой способ мышления таким, который исключает какое бы то ни было популярирование к субъективно-ограниченному представлению о мире. Мы уже видели раньше, что г. Дюринг вездесущ, присутствуя на всех возможных небесных телах. Теперь мы видим также, что он и всеведущ. Он разрешил последние задачи науки и, таким образом, наглухо заколотил для всей науки дверь, ведущую в будущее.

Подобно основным формам бытия, г. Дюринг считает также возможным вывести всю чистую математику непосредственно из головы, априорно, т. е. не прибегая к опыту, который мы получаем из внешнего мира. В чистой математике разум имеет дело с «продуктами своего собственного свободного творчества и воображения»; понятия числа и фигуры представляют «достаточный для нее и создаваемый ею самой объект», и потому она имеет «значение, независимое от *особого* опыта и от *реального* содержания мира».

Что чистая математика имеет значение, независимое от *особого* опыта каждой отдельной личности, это, конечно, верно, но то же самое можно сказать о всех твердо установленных фактах любой науки и даже о всех фактах вообще. Магнитная полярность, состав воды из водорода и кислорода, тот факт, что Гегель умер, а г. Дюринг жив, — все это имеет значение независимо от моего опыта или опыта других отдельных личностей, даже независимо от опыта г. Дюринга, когда последний спит сном праведника. Но совершенно неверно, будто в чистой математике разум имеет дело только с продуктами собственного

творчества и воображения. Понятия числа и фигуры взяты не откуда-нибудь, а только из действительного мира. Десять пальцев, на которых люди учились считать, т. е. производить первую арифметическую операцию, представляют собой все, что угодно, только не продукт свободного творчества разума. Чтобы считать, надо иметь не только предметы, подлежащие счету, но обладать уже способностью отвлекаться при рассматривании этих предметов от всех прочих их свойств кроме числа, а эта способность есть результат долгого, опирающегося на опыт, исторического развития. Как понятие числа, так и понятие фигуры заимствованы исключительно из внешнего мира, а не возникли в голове из чистого мышления. Должны были существовать вещи, имеющие определенную форму, и эти формы должны были подвергаться сравнению, прежде чем можно было прийти до понятия фигуры. Чистая математика имеет своим объектом пространственные формы и количественные отношения действительного мира, стало быть — весьма реальный материал. Тот факт, что этот материал принимает чрезвычайно абстрактную форму, может лишь слабо затушевать его происхождение из внешнего мира. Но чтобы быть в состоянии исследовать эти формы и отношения в чистом виде, необходимо совершенно отделить их от их содержания, оставить это последнее в стороне как нечто безразличное; таким путем мы получаем точки, лишенные измерений, линии, лишенные толщины и ширины, разные a и b , x и y , постоянные и переменные величины, и только в самом конце мы доходим до продуктов свободного творчества и воображения самого разума, а именно — до мнимых величин. Точно так же выведение математических величин друг из друга, кажущееся априорным, доказывает не их априорное происхождение, а только их рациональную взаимную связь. Прежде чем прийти к мысли выводить *форму* цилиндра из вращений прямоугольника вокруг одной из его сторон, нужно было исследовать некоторое количество реальных прямоугольников и цилиндров, хотя бы и в очень несовершенных формах. Как и все другие науки, математика возникла из *практических нужд* людей: из измерения площадей земельных участков и вместимости сосудов, из счисления времени и из механики. Но, как и во всех других областях мышления, законы, абстрагированные от реального мира, на известной ступени развития отрываются от реального мира, противопоставляются ему как нечто самостоятельное, как явившиеся извне законы, с которыми мир должен сообразоваться. Так было с обществом и государством, так, а не иначе, чистая математика *применяется* впоследствии к миру, хотя она заимствована из этого самого мира и только выражает часть существующих ему форм связей, — и собственно *только поэтому* может вообще применяться.

Подобно тому как г. Дюринг воображает, что из математических аксиом, «которые и с чисто логической точки зрения не допускают обоснования, да и не нуждаются в нем», можно без всякой примеси опыта вывести всю чистую математику, а затем применить ее к миру, точно так же он воображает, что в состоянии сначала создать из головы основные формы бытия, простые составные элементы всякого знания, аксиомы философии, из них вывести всю философию, или мировую схематику, и затем высочайше даровать эту свою конституцию природе и человечеству. К сожалению, природа вовсе не состоит из мантейфелевских пруссаков 1850 г.¹, а человечество состоит из них лишь в самой ничтожной части.

Математические аксиомы представляют собой выражения крайне скудного умственного содержания, которое математике приходится заимствовать у логики. Их можно свести к двум следующим аксиомам:

1. Целое больше части. Это положение является чистой тавтологией, ибо взятое в количественном смысле представление «часть» уже заранее относится определенным образом к представлению «целое», именно так, что «часть» означает попросту, что количественное «целое» состоит из нескольких количественных «частей». Оттого, что так называемая аксиома вполне определенно это констатирует, мы ни на шаг не подвинулись вперед. Эту тавтологию можно даже до известной степени *доказать*, рассуждая так: целое есть то, что состоит из нескольких частей; часть есть то, что, будучи взято несколько раз, составляет целое; следовательно, часть меньше целого, — причем пустота содержания еще резче подчеркивается пустотой повторения.

2. Если две величины порознь равны третьей, то они равны между собой. Как уже доказал Гегель, это положение представляет собой заключение, за правильность которого ручается логика, — которое, стало быть, доказано, хотя и вне области чистой математики. Прочие аксиомы о равенстве и неравенстве представляют только логическое развитие этого заключения.

Этими тощими положениями ни в математике, ни где-либо вообще никого не соблазнишь. Чтобы подвинуться дальше, мы должны привлечь реальные отношения, отношения и пространственные формы, отвлеченные от действительных тел. Представления о линиях, поверхностях, углах, многоугольниках, кубах, шарах и т. д. — все они отвлечены от действительности, и нужна изрядная доза идеологической наивности, чтобы поверить математикам, будто первая линия получилась от движения точки в пространстве, первая поверхность — от движения линии,

¹ — намек на рабскую покорность пруссаков, принявших конституцию 1850 г., в составлении которой участвовал реакционный министр Мантейфель. *Ред.*

первое тело — от движения поверхности и т. д. Даже язык восстает против этого. Математическая фигура трех измерений называется телом, *corpus solidum* по-латыни, следовательно — даже осязаемым телом, и, таким образом, она носит название, взятое отнюдь не из свободного воображения ума, а из грубой действительности.

Но к чему все эти пространные рассуждения? После того, как г. Дюринг на стр. 42—43 вдохновенно воспел независимость чистой математики от эмпирического мира, ее априорность, ее оперирование продуктами свободного творчества и воображения ума, он на стр. 63 заявляет: «легко упускают из виду, что эти математические элементы (число, величина, время, пространство и геометрическое движение) *идеальны только по своей форме... абсолютны величины*, какого бы рода они ни были, представляют поэтому нечто совершенно *эмпирическое*... Однако «математические схемы допускают характеристику, которая *обособлена* от опыта и тем не менее является достаточной», что более или менее применимо ко *всякой* абстракции, но вовсе не доказывает, что последняя абстрагирована не из действительности. В мировой схематике чистая математика возникла из чистого мышления; в натурфилософии она — нечто совершенно эмпирическое, нечто такое, что было взято из внешнего мира и потом подверглось обособлению. Чему же мы должны верить?

IV

МИРОВАЯ СХЕМАТИКА

«Всеобъемлющее бытие *единственно*. Будучи самодовлеющим, оно не допускает ничего рядом с собой или над собой. Присоединить к нему второе бытие значило бы сделать его тем, чем оно не может быть, а именно — сделать его частью или элементом более обширного целого. Благодаря тому, что мы словно рамой охватываем все нашей *единой* мыслью, — ничто из того, что необходимо входит в это мысленное *единство*, не может сохранить в себе какую-либо двойственность. Но ничто не может также остаться вне этого мысленного единства... сущность всякого мышления состоит в объединении элементов сознания в *единство*... Оно — тот пункт объединения, благодаря которому возникает *неделимое понятие о мире*, а *universum*¹, как показывает уже само слово, признается чем-то таким, в чем все объединено в некое *единство*».

Так говорит г. Дюринг. Математический метод, согласно которому «всякий вопрос должен быть решаем *аксиоматически* на простых основных формах, как если бы дело шло о простых...

¹ — вселенная. *Ред.*

основных положениях математики», — этот метод применен здесь впервые.

«Всеобъемлющее бытие единственно». Если тавтология, простое повторение в сказуемом того, что уже было высказано в подлежащем, — если это составляет аксиому, то мы имеем здесь перед собой аксиому чистейшей воды. В подлежащем г. Дюринг говорит нам, что бытие охватывает все, а в сказуемом он бесстрашно утверждает, что в таком случае ничто не существует вне этого бытия. Какая колоссальная «системосозидающая идея»!

И в самом деле — «системосозидающая». Не успели мы прочитать и шести строк, как г. Дюринг посредством «нашей единой мысли» превратил уже *единственность* бытия в его *единство*. Так как сущность всякого мышления состоит в объединении в некоторое единство, то бытие — уже в силу того, что оно мыслится, — может мыслиться только как единое, и понятие о мире становится неделимым; а раз *мыслимое* бытие, *понятие о мире*, едино, то и действительное бытие, действительный мир, также составляет неделимое единство. И поэтому-то «для потусторонностей не остается уже никакого места с того момента, как дух научается охватывать бытие в его однородной универсальности».

Перед нами военный поход, который совершенно затмевает собой Аустерлиц и Иену, Кениггрец и Седан. В каких-нибудь двух-трех положениях, через какую-нибудь страничку, — считая с того места, где мы мобилизовали первую аксиому, — мы успели уже отменить, устранить, уничтожить все потустороннее, бога, небесное воинство, небеса, ад и чистилище, вместе с бесмертием души.

Каким образом мы от единственности бытия приходим к его единству? Тем путем, что мы вообще представляем себе это бытие. Едва мы, словно рамой, охватили единственное бытие своей единой мыслью, как единственное бытие стало уже в мысли единым бытием, стало мысленным единством, ибо сущность *всякого* мышления состоит в том, что оно объединяет элементы сознания в некое единство.

Последнее положение просто неверно. Во-первых, мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их элементы, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в единство. Без анализа нет синтеза. Во-вторых, мысль, если она не делает промахов, может объединить элементы сознания в единство лишь в том случае, если в них или в их реальных прообразах это единство уже *до этого существовало*. От того, что сапожную щетку мы зачистим в единую категорию с млекопитающими, — от этого у нее еще не вырастут молочные железы. Таким образом, единство бытия и, соответственно, оправдание понимания бытия как единства и есть

как раз то, что нужно было доказать. И если г. Дюринг уверяет нас, что он представляет себе бытие единым, а не, скажем, двойственным, то он этим высказывает лишь свое личное, ни для кого не обязательное мнение.

Если мы захотим представить ход его идей в чистом виде, то он будет таков: «Я начинаю с бытия. Следовательно, я мыслю себе бытие. Мысль о бытии едина. Но мышление и бытие должны находиться во взаимном согласии, они соответствуют друг другу, «друг друга покрывают». Стало быть, бытие в действительности также едино. Стало быть, не существует никаких «потусторонностей»». — Но если бы г. Дюринг говорил так откровенно, вместо того чтобы угощать нас приведенными оркульскими изречениями, то его идеологический подход обнаружился бы с полной ясностью. Пытаться доказать реальность какого-либо результата мышления из тождества мышления и бытия, — вот именно это и было одной из самых безумных горячечных фантазий — некоего Гегеля.

Если бы даже вся аргументация г. Дюринга была правильна, то и тогда он не отвоевал бы и пяди земли у спиритуалистов. Последние ответят ему коротко: «мир и для нас *есть* нечто нераздельное; распадение мира на земной и потусторонний существует только для нашей специфически земной, отягченной первородным грехом точки зрения; само по себе, т. е. в боге, все бытие едино». И они последуют за г. Дюрингом на его излюбленные другие небесные тела и покажут ему одно или несколько среди них, где не было грехопадения, где, стало быть, нет противоположности между посюсторонним и потусторонним миром, а единство мира является догматом веры.

Самое комичное во всем этом то, что г. Дюринг, желая из понятия бытия вывести доказательство того, что бога нет, применяет известное онтологическое доказательство бытия бога. Это доказательство гласит: когда мы мыслим бога, то мы мыслим его как совокупность всех совершенств. Но к этой совокупности совершенств принадлежит прежде всего существование, ибо существо, не имеющее существования, по необходимости несовершенно. Следовательно, в число совершенств бога мы должны включить и существование. Следовательно, бог непременно существует. Точно так же рассуждает и г. Дюринг: когда мы мыслим себе бытие, мы мыслим его как *одно* понятие. То, что охватывается одним понятием, — едино. Таким образом, бытие не соответствовало бы своему понятию, если бы оно не было едино. Следовательно, оно должно быть единым. Следовательно, бога не существует и т. д.

Когда мы говорим о *бытии* и *только* о бытии, то единство может заключаться лишь в том, что все предметы, о которых идет речь, *суть*, существуют. В единстве этого бытия, — а не в каком-либо ином единстве, — они объединяются мыслью, и

общее утверждение, что все они *существуют*, не только не может придать им никаких иных, общих или необщих, свойств, но на первых порах исключает из рассмотрения все такие свойства. Ибо как только мы от простого основного факта, что всем этим вещам обще бытие, удалимся хотя бы на один миллиметр, тотчас же перед нашим взором начинают выступать *различия* в этих вещах. Состоят ли эти различия в том, что одни вещи белы, другие черны, одни одушевлены, другие неодушевлены, одни принадлежат, скажем, к миру земному, другие к потустороннему, — обо всем этом мы не можем заключать только на основании того, что всем вещам приписывается равномерно одно лишь свойство существования.

Единство мира состоит не в его бытии, хотя его бытие есть предпосылка его единства, ибо сначала мир должен *существовать*, прежде чем он может быть *единым*. Бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той границы, где прекращается наше поле зрения. Действительное единство мира состоит в его материальности, а эта последняя доказывается не парой фокуснических фраз, а длинным и трудным развитием философии и естествознания.

Пойдем дальше. *Бытие*, о котором повествует г. Дюринг, не есть «то чистое бытие, которое, будучи равным самому себе, лишено всяких особых определений и в действительности представляет собой только аналог мысленного *ничто*, или иначе — отсутствия мысли». Но мы очень скоро увидим, что мир г. Дюринга на самом деле начинается с такого именно бытия, которое лишено всяких внутренних различий, всякого движения и изменения и, следовательно, фактически является аналогом мысленного ничто, стало быть, представляет собой действительное ничто. Лишь из этого *бытия-ничто* развивается теперешнее дифференцированное, изменчивое состояние мира, представляющее собой развитие, *становление*, и лишь после того, как мы это поняли, мы оказываемся в состоянии под этим вечным превращением «удержать как равное самому себе понятие универсального бытия». Таким образом, мы теперь имеем понятие бытия на высшей ступени, на которой оно заключается в себе как постоянство, так и изменение, как бытие, так и становление. Достигнув этого пункта, мы находим, что «род и вид, или вообще — общее и особенное, являются простейшими средствами различения, без которых нельзя понять устройство вещей». Но все это только средства различения *качества*; рассмотрев их, мы идем дальше: «роду противостоит понятие величины, как того однородного, в чем уже нет больше никаких видовых различий», т. е. от *качества* мы переходим к *количеству*, а это последнее всегда «измеримо».

Сравним же теперь эти «строго очерченные всеобщие схемы действительности» и их «истинно критическую точку зрения»

с неудобоваримыми идеями, диким бредом и горячечными фантазиями некоего Гегеля. Мы найдем, что логика Гегеля начинается с *бытия*, — как это делает и г. Дюринг; что бытие раскрывает себя как *ничто*, — как и у г. Дюринга; что от этого «бытия-ничто» совершается переход к *становлению*, а результатом становления является наличное бытие (*Dasein*), т. е. более высокая, более заполненная форма бытия (*Sein*), — совсем как у г. Дюринга. Наличное бытие приводит к *качеству*, качество — к *количеству*, — опять-таки совсем как у г. Дюринга. И чтобы не было недостатка ни в одном существенном элементе, г. Дюринг, по другому поводу, рассказывает нам: «Переход из сферы бесчувственности в сферу ощущения совершается, несмотря на всю количественную постепенность, только посредством *качественного скачка*, о котором мы... можем утверждать, что он бесконечно отличается от простой градации одного и того же свойства». Это ведь гегелевская узловая линия отношений меры, где чисто количественное увеличение или уменьшение вызывает в определенных узловых пунктах *качественный скачок*, как, например, в случае нагревания или охлаждения воды, где точки кипения и замерзания являются теми узлами, в которых совершается — при нормальном давлении — скачок в новое агрегатное состояние, где, следовательно, количество переходит в качество.

Наше исследование также пыталось дойти до корня вещей, и в корне проникающих в корень дюринговских основных схем оно находит — «горячечные фантазии» некоего Гегеля, находит категории гегелевской «Логики» (часть I, учение о бытии) в строгой, старогегелевской «последовательности» и почти без всякой попытки замаскировать плагиат!

Но, не довольствуясь тем, что он заимствовал у своего, так оклеветанного им, предшественника всю его схематику бытия, г. Дюринг — после того, как он сам дал приведенный выше пример скачкообразного перехода количества в качество, — нисколько не смущаясь, заявляет о Марксе: «Какой комичной оказывается, например, ссылка (Маркса) на гегелевское *путаное и туманное представление*, что *количество превращается в качество!*»

Путаное, туманное представление! Кто здесь превращается и кто здесь оказывается комичным, г. Дюринг?

Таким образом, все эти славные вещицы не только не «решены аксиоматически», как предписано, но просто привнесены извне, т. е. из «Логики» Гегеля. Да еще так, что во всей главе нет даже тени внутренней связи, поскольку эта связь не заимствована также у Гегеля, и все в конце концов сводится к бессодержательному мудрствованию о пространстве и времени, о постоянстве и изменчивости.

От бытия Гегель переходит к сущности, к диалектике. Здесь

он рассматривает определения рефлексии, их внутренние *противоположности* и противоречия, — например, положительное и отрицательное, — затем переходит к *причинности*, или к отношению причины и действия, и заканчивает *необходимостью*. То же мы видим и у г. Дюринга. То, что Гегель называет учением о сущности, г. Дюринг переводит на свой язык словами — «логические свойства бытия». Последние же заключаются прежде всего в «антагонизме сил», в *противоположностях*. Но что касается противоречия, то его, напротив, г. Дюринг радикально отрицает; к этому вопросу мы еще вернемся. Далее он переходит к *причинности*, а от нее к *необходимости*. Если, следовательно, г. Дюринг говорит о себе: «мы, которые не философствуем *из клетки*», то это, очевидно, надо понимать так, что он философствует в клетке, а именно — в клетке гегелевского схематизма категорий.

V

НАТУРФИЛОСОФИЯ. ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

Перейдем теперь к *натурфилософии*. Здесь г. Дюринг имеет опять все основания быть недовольным своими предшественниками. Натурфилософия «пала так низко, что превратилась в какую-то пустую лжепоэзию, покоящуюся на невежестве», и «стала уделом prostituiрованного философствования некоего Шеллинга и ему подобных молодцов, выступающих со своим хламом в роли жрецов абсолюта и мистифицирующих публику». Усталость спасла нас от этих «уродств», но пока она расчистила почву только для «шатаний»; «что же касается широкой публики, то тут, как известно, уход более крупного шарлатана часто дает лишь повод более мелкому, но более ловкому в этих делах преемнику воспроизводить под новой вывеской все штуки первого». Сами естествоиспытатели не проявляют большой «склонности к экскурсиям в царство миро-объемлющих идей» и потому дают в теоретической области одни лишь «несвязные скороспелые обобщения». Одним словом, здесь настоятельно необходима помощь, и, к счастью, г. Дюринг находится на своем посту.

Чтобы правильно оценить следующие за сим откровения о развитии мира во времени и его ограниченности в пространстве, мы должны вернуться вновь к некоторым местам «мировой схематики».

Бытию, опять-таки в согласии с Гегелем (Энциклопедия, § 93), приписывается бесконечность — то, что Гегель именует *дурной* бесконечностью, которая затем и исследуется. «Наиболее отчетливой формой бесконечности, мыслимой *без противоречий*, является неограниченное накопление чисел в числовом ряде... подобно тому, как мы к каждому числу можем прибав-

вить следующую единицу, не исчерпывая никогда возможности дальнейшего счета, так и к каждому состоянию бытия примыкает следующее состояние, и в неограниченном порождении этих состояний и заключается бесконечность. Эта *точно мыслимая* бесконечность имеет поэтому лишь одну основную форму с одним единственным направлением. Ибо, если для нашего мышления и безразлично, представить ли накопление изменяющихся состояний и в противоположном направлении, все же такая идущая назад бесконечность — не что иное, как образ, созданный слишком поспешным представлением. В самом деле, так как эта бесконечность должна была бы в действительности быть пройденной в *обратном* направлении, то в каждом отдельном своем состоянии она имела бы позади себя бесконечный ряд чисел. Но тогда мы получили бы недопустимое противоречие отсчитанного бесконечного ряда чисел; поэтому предположить еще второе направление бесконечности оказывается бессмысленным».

Первое следствие, которое выводится из этого понимания бесконечности, состоит в том, что сцепление причин и следствий в мире должно было иметь некогда свое начало: «бесконечное число причин, уже примкнувших одна к другой, немислимо уже потому, что оно предполагает бесчисленность сосчитанную». Стало быть, доказано существование *конечной причины*.

Вторым следствием является «закон определенности каждого данного числа: накопление тождественных элементов какого-либо реального рода самостоятельных объектов мыслимо только в виде образования определенного числа». Само по себе определенным должно быть в каждый данный момент не только наличное число небесных тел, но и общее число всех существующих в мире мельчайших самостоятельных частей материи. Эта последняя необходимость есть истинное основание того, почему никакое соединение нельзя мыслить без атомов. Всякая реальная разделенность всегда обладает конечной определенностью и должна ею обладать, ибо иначе получится противоречие сосчитанной бесчисленности. По той же причине не только должно быть определенным число сделанных уже землей оборотов вокруг солнца, хотя это число и неизвестно нам, но и все периодические процессы природы должны были иметь какое-нибудь начало; всякая дифференциация, все следующие друг за другом многообразия природы должны корениться в некотором *равном самому себе состоянии*. Такое состояние может без противоречия мыслиться существовавшим от века, но и это представление было бы исключено, если бы время само по себе состояло из реальных частей, а не делилось, — напротив, произвольно нашим рассудком, путем одного только идеального полагания возможностей. Иначе обстоит дело

с реальным и внутренне-неоднородным содержанием времени; это действительное наполнение времени разнородными фактами, а также формы существования этой области принадлежат — именно благодаря своей различности — к тому, что поддается счету. Если мы вообразим себе такое состояние, которое лишено изменений и в своем равенстве самому себе не проявляет никаких различий в следовании, то и более специальное понятие времени превратится в более общую идею бытия. Что должно означать это накопление пустой длительности, этого нельзя себе даже представить. — Так говорит г. Дюринг, немало гордящийся важностью своих открытий. Сначала он выражает только надежду, что их «признают, по меньшей мере, немаловажной истиной», но дальше мы читаем у него: «напомним о тех *крайне простых* приемах, посредством которых *мы* доставили понятиям бесконечности и их критике *доселе неведомое значение*... Вспомним элементы универсального понимания пространства и времени, столь *просто* построенные благодаря современному углублению и заострению».

Мы доставили! Современное углубление и заострение! Кто же это — мы, и когда разыгрывается эта современность? Кто углубляет и заостряет?

«Тезис. Мир имеет начало во времени, и в пространстве он также заключен в границы. — Доказательство. В самом деле, если мы допустим, что мир не имеет начала во времени, то до всякого данного момента времени прошла вечность — и, следовательно, истек бесконечный ряд последовательных состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда именно в том и состоит, что он никогда не может быть закончен путем последовательного синтеза. Следовательно, бесконечный протекший мировой ряд невозможен; значит, начало мира есть необходимое условие его существования, — это первое, что требовалось доказать. Что касается второй половины тезиса, допустим опять противоположное утверждение, что мир есть бесконечное данное целое из одновременно существующих вещей. Но величину такого количества, которое не дано в известных границах какого бы то ни было наглядного представления, мы можем мыслить не иначе, как только посредством синтеза частей, а целостность такого количества — только посредством законченного синтеза, или посредством повторного присоединения единицы к самой себе. Поэтому, чтобы мыслить как целое мир, наполняющий все пространства, необходимо было бы рассматривать последовательный синтез частей бесконечного мира как заверченный, т. е. пришлось бы рассматривать бесконечное время, необходимое для исчисления всех сосуществующих вещей, как протекшее, что невозможно. Итак, бесконечный агрегат действительных вещей не может быть рассматриваем как данное целое, а следовательно, он не может быть рассматриваем также и как данный *одновременно*.

Следовательно, мир по своему протяжению в пространстве не бесконечен, а заключен в свои границы, — это второе, что требовалось доказать».

Эти положения буквально списаны с одной хорошо известной книги, впервые появившейся в 1781 г. и озаглавленной: «Иммануил Кант. Критика чистого разума», где каждый может их прочитать в I части 2-го отд. 2-й кн., гл. II, § 2: Первая антиномия чистого разума. Г-ну Дюрингу принадлежит только та слава, что к мысли, выраженной Кантом, он приклеил название «закон определенности каждого данного числа» и открыл, что было такое время, когда еще не было никакого времени, хотя уже существовал мир. Что же касается всего прочего, т. е. всего, что в рассуждениях г. Дюринга еще имеет какой-либо смысл, то отметим следующее: «мы» — это Иммануил Кант, а «современности» всего-навсего девяносто пять лет. Бесспорно, «крайне просто». Замечательное «доселе неведомое значение»!

Между тем Кант вовсе не утверждает, что приведенные положения окончательно установлены этим его доказательством. Напротив, на странице, помещенной тут же рядом, он утверждает и доказывает противоположное: что мир не имеет начала во времени и конца в пространстве. И именно в том, что первое из этих положений так же доказуемо, как и второе, Кант усматривает антиномию, неразрешимое противоречие. Люди меньшего калибра, быть может, несколько призадумались бы над тем, что «некий Кант» нашел здесь неразрешимую трудность. Но не таков наш смелый изготовитель «своеобразных в самой основе выводов и воззрений»: то, что ему может пригодиться из антиномии Канта, он прилежно списывает, а остальное отбрасывает в сторону.

Вопрос сам по себе разрешается очень просто. Вечность во времени, бесконечность в пространстве, — как это ясно с первого же взгляда и соответствует прямому смыслу этих слов, — состоят в том, что они не имеют конца ни в какую сторону, — ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево. Эта бесконечность совершенно иная, чем та, которая присуща бесконечному ряду, ибо последний всегда начинается прямо с единицы, с первого члена ряда. Неприменимость этого представления о ряде к нашему предмету обнаруживается тотчас же, как только мы пробуем применить его к пространству. Бесконечный ряд, в применении к пространству, это — линия, которая из определенной точки в определенном направлении проводится в бесконечность. Выражается ли этим хотя бы в отдаленной степени бесконечность пространства? Отнюдь нет: требуется, напротив, не менее шести линий, проведенных из одной точки в трояко противоположных направлениях, чтобы дать представление об измерениях пространства; в таком случае мы получили бы шесть таких измерений. Кант настолько хорошо

понимал это, что только косвенно, обходным путем переносил свой числовой ряд на пространственность мира. Г-н Дюринг, напротив, заставляет нас принять шесть измерений в пространстве и тотчас же вслед за этим не находит достаточно слов для выражения своего негодования по поводу математического мистицизма Гаусса, который не хотел довольствоваться тремя обычными измерениями пространства.

В применении ко времени бесконечная в обе стороны линия, или бесконечный в обе стороны ряд единиц, имеет известный образный смысл. Но если мы представляем себе время как ряд, начинающийся с *единицы*, или как линию, выходящую из определенной *точки*, то мы тем самым уже заранее говорим, что время имеет начало; мы предполагаем как раз то, что должны доказать. Мы придаем бесконечности времени односторонний, головинчатый характер; но односторонняя, разделенная пополам бесконечность есть также противоречие в себе, есть прямая противоположность «бесконечности, мыслимой без противоречий». Избежать такого противоречия можно лишь приняв, что единицей, с которой мы начинаем считать ряд, точкой, отправляясь от которой мы производим измерение линии, может быть любая единица в ряде, любая точка на линии и что для линии или ряда безразлично, где мы поместим эту единицу или эту точку.

Но как быть с противоречием «отсчитанного бесконечного числового ряда»? Его мы сможем исследовать ближе в том случае, если г. Дюринг покажет нам кунштюк, *как отсчитать этот бесконечный ряд*. Когда он справится с таким делом, как счет от $-\infty$ (минус бесконечность) до нуля, тогда пусть он явится к нам. Очевидно, ведь, что откуда бы он ни начал свой счет, он оставит за собой бесконечный ряд, а вместе с ним и ту задачу, которую ему надо решить. Пусть он обернет свой собственный бесконечный ряд $1 + 2 + 3 + 4...$ и попытается вновь считать от бесконечного конца назад до единицы; совершенно ясно, что это попытка человека, который не видит даже, в чем суть дела. Более того. Если г. Дюринг утверждает, что бесконечный ряд протекшего времени отсчитан, то он тем самым утверждает, что время имеет начало, ибо иначе он вовсе не мог бы начать «отсчитывать». Он, стало быть, опять подсовывает в виде предпосылки то, что должен доказать. Таким образом, представление об отсчитанном бесконечном ряде, другими словами, мирообъемлющий дюринговский закон определенности каждого данного числа есть *contradictio in adjecto*¹, содержит в себе самом противоречие, притом *абсурдное* противоречие.

¹ — противоречие в прилагательном, т. е. между предметом и его определением (например, «деревянное железо», «круглый квадрат» и т. п.). *Ред.*

Ясно следующее: бесконечность, имеющая конец, но не имеющая начала, не более и не менее бесконечна, чем та, которая имеет начало, но не имеет конца. Малейшая диалектическая пронизательность должна была бы подсказать г. Дюрингу, что конец и начало необходимо связаны друг с другом, как северный и южный полюсы, и что когда отбрасывают конец, то начало становится концом, тем *единственным* концом, который имеется у ряда, — и наоборот. Вся иллюзия была бы немислима без математической привычки оперировать бесконечными рядами. Так как в математике мы, в силу необходимости, исходим из определенного, конечного, чтобы притти к неопределенному, не имеющему конца, то все математические ряды, положительные или отрицательные, должны начинаться с единицы, иначе никакие выкладки тут невозможны. Но идеальная потребность математика вовсе не есть принудительный закон для реального мира.

Впрочем, г. Дюрингу никогда не удастся представить себе действительную бесконечность лишенной противоречий. Бесконечность *есть* противоречие, и она полна противоречий. Противоречием является уже то, что бесконечность складывается из одних только конечных величин, а между тем это именно так. Ограниченность материального мира приводит к не меньшим противоречиям, чем его безграничность, и всякая попытка устранить эти противоречия ведет, как мы видели, к новым и худшим противоречиям. Именно *потому*, что бесконечность *есть* противоречие, она представляет собой бесконечный, без конца развертывающийся во времени и пространстве процесс. Уничтожение этого противоречия было бы концом бесконечности. Это уже совершенно правильно понял Гегель, почему он и отзывается с заслуженным презрением о господах, мудрствующих по поводу этого противоречия.

Пойдем дальше. Итак, время имело начало. А что было до этого начала? Мир, находящийся в неизменном, самому себе равном состоянии. И так как в этом состоянии не происходит никаких последовательных изменений, то более частное понятие времени изменяется в более общую идею *бытия*. Во-первых, нам здесь совершенно нет дела до того, какие понятия изменяются в голове г. Дюринга. Речь идет не о *понятии* времени, а о *действительном* времени, от которого г. Дюрингу так дешево ни в каком случае не отделаться. Во-вторых, сколько бы понятие времени ни изменялось в более общую идею бытия, мы от этого не подвигаемся, однако, ни на шаг дальше. Ибо основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства. Гегелевское «бесвременно протекающее бытие» и ново-шеллинговское «предвечное бытие» являются еще рациональными представлениями по сравнению с этим

бытием вне времени. Поэтому г. Дюринг и приступает очень осторожно к делу: собственно говоря, это, пожалуй, — время, но такое время, которое нельзя в сущности назвать временем, ибо само по себе время не состоит ведь из реальных частей и лишь произвольно делится на части нашим разумом; только действительное наполнение времени подающимися различению фактами принадлежит к тому, что доступно счету; а что должно означать накопление пустой длительности, — этого нельзя себе даже представить. Что должно означать это накопление, для нас здесь совершенно безразлично; спрашивается: длится ли мир в предположенном здесь состоянии, испытывает ли он длительность во времени? Что от измерения подобной, лишенной содержания длительности ничего не получится, как и в том случае, если бы мы принялись без смысла и цели производить измерения в пустом пространстве, — это мы знаем давно, и Гегель, именно вследствие скудного характера такого рода занятия, называет эту бесконечность *дурной*. Согласно г. Дюрингу, время существует только вследствие изменения, а не изменение существует во времени и при посредстве времени. Именно потому, что время отлично, независимо от изменения, его можно измерять посредством изменения, ибо для измерения всегда требуется нечто отличное от того, что подлежит измерению. Затем, время, в течение которого не происходит никаких заметных изменений, далеко от того, чтобы *совсем не быть* временем; оно, напротив, есть *чистое*, не затронутое никакими чуждыми примесями, следовательно, истинное время, время *как таковое*. Действительно, если мы хотим уловить понятие времени во всей его чистоте, отделенным от всех чуждых и посторонних примесей, то мы вынуждены оставить в стороне, как сюда не относящиеся, все различные события, которые происходят рядом или последовательно во времени, — другими словами, представить себе время, в котором не происходит ничего. Действуя таким путем, мы, следовательно, вовсе не даем понятию времени потонуть в общей идее бытия, а лишь впервые приходим к чистому понятию времени.

Однако все эти противоречия и несообразности представляют еще детскую забаву по сравнению с той путаницей, в которую впадает г. Дюринг со своим равным самому себе первоначальным состоянием мира. Если мир был некогда в таком состоянии, когда в нем не происходило абсолютно никакого изменения, то как он мог перейти от этого состояния к изменениям? То, что абсолютно лишено изменений, если оно еще вдобавок от века пребывает в таком состоянии, не может ни в каком случае само собой выйти из этого состояния, перейти в состояние движения и изменения. Стало быть, первый толчок, который привел мир в движение, должен был притти извне, из потустороннего мира. Но «первый толчок» есть, как известно,

только другое выражение для обозначения бога. Г-н Дюринг, уверявший нас, что в своей мировой схематике он начисто разделался с богом и потусторонним миром, здесь сам же вводит их опять, более заостренными и углубленными, в натурфилософию.

Далее, г. Дюринг говорит: «Там, где величина принадлежит постоянному элементу бытия, она остается неизменной в своей определенности. Это положение справедливо... относительно материи и механической силы». Первое предложение представляет, между прочим, прекрасный образчик широковещательной аксиоматически-тавтологической манеры выражения г. Дюринга: там, где известная величина не изменяется, она остается той же самой. Итак, количество механической силы, которое имеется в мире, остается вечно тем же самым. Мы оставляем в стороне тот факт, что, поскольку сказанное правильно, оно в философии было известно и сформулировано почти уже триста лет тому назад Декартом, что во всех областях естествознания вот уже двадцать лет владеет умами учение о сохранении силы и что, ограничивая его *механической* силой, г. Дюринг отнюдь не улучшает его. Но где же была механическая сила во время неизменного состояния мира? На этот вопрос г. Дюринг упорно отказывается дать какой-либо ответ.

Где, г. Дюринг, была тогда вечно остающаяся равной себе механическая сила и что она приводила в движение? Ответ: «Изначальное состояние вселенной или, выражаясь яснее, бытия материи, лишенного изменений, не заключающего в себе никакого накопления изменений. во времени, — это вопрос, отмахнуться от которого может лишь ум, видящий верх мудрости в самоуродовании своей производительной способности». Стало быть: либо вы принимаете без рассуждений мое неизменное изначальное состояние, либо я, наделенный производительной способностью Евгений Дюринг, объявляю вас духовными евреями. Это, конечно, может кое-кого испугать. Но мы, уже видевшие несколько образцов производительной способности г. Дюринга, позволим себе оставить пока изящное ругательство г. Дюринга без ответа и спросить еще раз: однако, г. Дюринг, с вашего позволения, как обстоит дело с механической силой?

Г-н Дюринг тотчас же приходит в замешательство. Действительно, — бормочет он, — «абсолютное тождество этого первоначального предельного состояния само по себе не дает никакого принципа перехода. Вспомним, однако, что в сущности такое же затруднение имеется по отношению ко всякому, даже самому малому новому звену в хорошо известной нам цепи бытия. Поэтому тот, кто хочет найти затруднения в данном главном случае, не должен позволять себе обходить их в случаях менее заметных. Сверх того, перед нами возможность включения промежуточных состояний, в последовательной градации, и вместе с тем мост непрерывности, чтобы, идя назад, притти

к полному угасанию изменений. Правда, чисто логически эта непрерывность не устраняет главного затруднения, но она является для нас основной формой всякой закономерности и всякого известного нам вообще перехода, так что мы имеем право воспользоваться ею и как посредствующим звеном между упомянутыми первоначальным равновесием и его нарушением. Но если бы мы захотели представить себе это, так сказать (!), неподвижное равновесие, в соответствии с теми понятиями, которые допускаются без особых возражений (!) в современной механике, то совершенно нельзя было бы объяснить себе, каким образом материя могла дойти до состояния изменчивости». Но кроме механики масс существует еще, говорит г. Дюринг, превращение движения масс в движение мельчайших частиц; однако как оно происходит, «для этого мы до сих пор не располагаем никаким общим принципом и не должны поэтому удивляться, если эти явления несколько уходят в *темную область*».

Вот и все, что может сказать г. Дюринг. И в самом деле, мы должны были бы видеть верх мудрости не только в «самоуродовании производительной способности», но и в слепой и темной вере, если бы захотели удовлетвориться этими поистине жалкими, пустыми увертками и фразами. Что абсолютное тождество не может само собой притти к изменению, это признает сам г. Дюринг. Нет также никакого средства, с помощью которого абсолютное равновесие само собой могло бы перейти в движение. Что же остается в таком случае? Три ложных жалких выверта.

Во-первых: столь же трудно, по взгляду г. Дюринга, установить переход от всякого, самого малого звена хорошо известной нам цепи бытия к следующему звену. — Г-н Дюринг считает, повидимому, своих читателей младенцами. Известно, что установление отдельных переходов и связей мельчайших звеньев в цепи бытия и составляет содержание естествознания, и если при этом кое-где дело не ладится, то никому, даже г. Дюрингу, не приходится в голову объяснять происшедшее движение из «ничего», а всегда, напротив, предполагается, что это движение является результатом перенесения, преобразования или продолжения какого-нибудь предшествующего движения. Здесь же, как он сам признает, дело идет о том, чтобы выводить движение из неподвижности, т. е. *из ничего*.

Во-вторых: мы имеем «мост непрерывности». Правда, он не помогает нам найти выход из затруднения чисто логическим путем, но все же мы вправе *воспользоваться* этим мостом как посредствующим звеном между неподвижностью и движением. К сожалению, непрерывность неподвижности состоит в том, чтобы *не двигаться*, поэтому вопрос, каким образом создать при ее помощи движение, остается еще более таинственным, чем когда-либо. И сколько бы г. Дюринг ни разлагал на

бесконечно малые частицы свой переход от полного отсутствия движения к универсальному движению и какой бы долгий период он ни приписывал ему, все же мы не сдвинемся с места ни на одну десятичную долю миллиметра. Без акта творения мы уж, конечно, никак не можем перейти от ничего к чему-то, хотя бы это «что-то» было не больше математического дифференциала. Таким образом, мост непрерывности — даже не ослиный мост¹; пройти по такому мосту может только г. Дюринг.

В-третьих: пока сохраняет значение современная механика, — а она, по г. Дюрингу, является одним из важнейших орудий для развития мышления, — совершенно нельзя объяснить, каким образом можно перейти от неподвижности к движению. Но механическая теория теплоты показывает нам, что движение масс при известных обстоятельствах превращается в молекулярное движение (хотя и в этом случае движение возникает из другого движения, но никогда не возникает из неподвижности), и это, намекает робко г. Дюринг, могло бы, быть может, послужить нам мостом между строго статическим (находящимся в равновесии) и динамическим (движущимся). Но эти явления «несколько уходят в темную область». И г. Дюринг так и оставляет нас сидеть впотьмах.

Вот куда мы пришли после всего углубления и заострения: все глубже погружаясь во все более глубокую бессмыслицу, мы, наконец, причалили туда, куда необходимо должны были причалить, — к «темной для нас области». Это, однако, мало смущает г. Дюринга. Уже на следующей странице он имеет дерзость утверждать, что ему «удалось наполнить понятие равного самому себе постоянства реальным содержанием, исходя непосредственно из действий самой материи и механических сил». И этот человек называет других людей «шарлатанами»!

К счастью, при всей этой путанице и беспомощном блуждании «впотьмах», у нас остается еще одно бесспорно возвышающее дух утешение: «Математика обитателей других небесных тел не может основываться ни на каких иных аксиомах, кроме наших!».

VI

НАТУРФИЛОСОФИЯ. КОСМОГОНИЯ, ФИЗИКА, ХИМИЯ

В дальнейшем мы приходим к теориям о том, каким способом образовался нынешний мир. Состояние всеобщего рассеяния материи было, по Дюрингу, исходным представлением уже у ионийских философов, но особенно со времени Канта гипотеза

¹ В подлиннике игра слов: по-немецки Eselsbrücke (ослиный мост) означает пособие для тупых или ленивых школьников (нечто вроде «шпаргалки»). *Ред.*

первоначальной туманности стала играть новую роль, причем тяготение и тепловое лучеиспускание послужили для объяснения постепенного образования отдельных твердых небесных тел. Современная механическая теория теплоты, рассуждает он далее, позволяет придать выводам о прежних состояниях вселенной гораздо более определенный характер. Но при всем том «состояние газообразного рассеяния может быть исходным пунктом для выводов, имеющих серьезное значение, в том лишь случае, если предварительно представляется возможность определеннее охарактеризовать данную в нем механическую систему. В противном случае не только эта идея фактически остается весьма туманной, но и первоначальная туманность, по мере дальнейших выводов, становится действительно все более густой и непроницаемой; ...пока же все остается еще в смутном и бесформенном состоянии идеи рассеяния, не допускающей более точного определения», и, таким образом, мы имеем «в лице этой газообразной вселенной только весьма воздушную концепцию».

Кантовская теория возникновения всех теперешних небесных тел из вращающихся туманных масс была величайшим завоеванием астрономии со времени Коперника. Впервые было поколеблено представление, что природа не имеет никакой истории во времени. До тех пор признавалось, что небесные тела движутся изначально по одним и тем же орбитам и пребывают в тех же состояниях; и если на отдельных планетах органические индивиды вымирали, то роды и виды все же признавались неизменными. Было, конечно, очевидно для всех, что природа находится в постоянном движении, но это движение представлялось как непрестанное повторение одних и тех же процессов. В этом представлении, вполне соответствовавшем метафизическому способу мышления, Кант пробил первую брешь и притом сделал это столь научным образом, что большинство приведенных им аргументов сохраняет свою силу и поныне. Разумеется, теория Канта и до сих пор еще является, строго говоря, только гипотезой. Но и коперникова система мира также остается доныне не более, чем гипотезой¹. А после того, как существование раскаленных газовых масс на звездном небе было установлено спектроскопически с убедительностью, разбивающей всякие возражения, замолкла и научная оппозиция против теории Канта.

¹ О коперниковой системе Энгельс в 1888 г. в своем произведении «Людвиг Фейербах» говорит следующее: «Солнечная система Коперника в течение трехсот лет оставалась гипотезой, в высшей степени вероятной, но все-таки гипотезой. Когда же Леверье, на основании данных этой системы, не только доказал, что должна существовать еще одна, неизвестная до тех пор, планета, но и определил посредством вычисления место, занимаемое ею в небесном пространстве, и когда после этого Галле действительно нашел эту планету, система Коперника была доказана». См. *Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах* (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. произв., т. II, 1948, стр. 352). *Ред.*

Сам г. Дюринг тоже не может справиться со своей конструкцией мира, не прибегая к этой стадии туманного состояния, но — в отместку за это — он выдвигает требование, чтобы ему показали в этом туманном состоянии известную механическую систему, а во-вторых, так как это невыполнимо, награждает это туманное состояние всякого рода пренебрежительными эпитетами. Современная наука не может, к сожалению, охарактеризовать эту систему так, чтобы вполне удовлетворить г. Дюринга. Но столь же мало она может ответить и на многие другие вопросы. На вопрос, почему жабы не имеют хвоста, наука доселе может ответить: «потому что они его утратили». Если же у кого-нибудь явилась бы охота погорячиться по поводу такого ответа и сказать, что, в таком случае, все остается в смутном и бесформенном состоянии идеи утраты, не допускающей более точного определения, и что все это представляет собой крайне воздушную концепцию, то от подобного применения морали к естествознанию мы не подвинулись бы ни на шаг вперед. Такого рода нелюбезности и изъяснения неудовольствия могли бы всегда и везде иметь место, и именно потому они никогда и нигде неуместны. И кто, наконец, мешает г. Дюрингу самому найти механическую систему первоначальной туманности?

К счастью, мы узнаем теперь, что кантова туманная масса «далеко не совпадает с вполне тождественным состоянием мировой среды или, выражаясь иначе, с равным самому себе состоянием материи». Истинное счастье для Канта, что, найдя обратный путь от существующих ныне небесных тел к туманному шару, он мог этим удовлетвориться и что ему даже в голову не приходила мысль о равном самому себе состоянии материи. Заметим мимоходом, что если в современном естествознании туманный шар Канта называется первоначальной туманностью, то это, само собой разумеется, надо понимать лишь относительно. Эта туманность является первоначальной, с одной стороны, как начало существующих небесных тел, а с другой, как самая ранняя форма материи, к которой мы имеем возможность восходить в настоящее время. Это отнюдь не исключает, а, напротив, требует предположения, что материя до этой первоначальной туманности прошла через бесконечный ряд других форм.

Г-н Дюринг усматривает здесь свое преимущество. Там, где мы, вместе с наукой, останавливаемся пока на существовавшей когда-то первоначальной туманности, ему его наука наук помогает гораздо глубже уйти в прошлое, — вплоть до того «состояния мировой среды, которое нельзя постигнуть ни как чисто статическое, в современном смысле этого представления, ни как динамическое», которого, следовательно, вообще нельзя понять. «Единство материи и механической силы, которое мы называем

мировой средой, есть, так сказать, логически-реальная формула, имеющая целью указать на равное самому себе состояние материи как на предпосылку всех исчислимых стадий развития».

Очевидно, мы далеко еще не отделались от этого равного самому себе первоначального состояния материи. Здесь оно называется единством материи и механической силы, а сие единство именуется «логически-реальной формулой» и т. д. Как только, следовательно, прекращается единство материи и механической силы, начинается движение.

Эта логически-реальная формула представляет не что иное, как бессильную попытку воспользоваться для философии действительности гегелевскими категориями «в себе» (Ansich) и «для себя» (Fürsich). По Гегелю, бытие в себе содержит первоначальное тождество неразвитых противоположностей, скрытых в какой-либо вещи, в каком-либо процессе, в каком-либо понятии; в бытии для себя выступает различение и обособление этих скрытых элементов и начинается их взаимная борьба. Мы, стало быть, должны представить себе неподвижное первоначальное состояние в виде единства материи и механической силы, а переход к движению — в виде их разделения и противоположения. Но этим способом представления не доказывается реальность дюринговского фантастического первоначального состояния, а только то, что это состояние может быть подведено под гегелевскую категорию «в себе», а столь же фантастическое прекращение этого состояния — под категорию «для себя». Гегель, выручай!

Материя, — говорит г. Дюринг, — есть носитель всего действительного, почему и не может существовать никакой механической силы вне материи. Далее, механическая сила есть некоторое состояние материи. И вот, в первоначальном состоянии, когда ничего не происходило, материя и ее состояние, т. е. механическая сила, представляли нечто единое. Следовательно, потом, когда что-то начало совершаться, состояние должно было, конечно, стать отличным от материи. Значит, мы должны позволить потчевать нас подобными мистическими фразами, да еще уверением, что равное самому себе состояние не было ни статическим, ни динамическим, что оно не находилось ни в равновесии, ни в движении. Мы все еще не знаем, где была механическая сила во время этого состояния и как нам без толчка извне, т. е. без бога, перейти от абсолютной неподвижности к движению.

Материалисты говорили о материи и движении до г. Дюринга. Г-н Дюринг сводит движение к механической силе, как к его якобы основной форме, и тем лишает себя возможности понять действительную связь между материей и движением, которая, впрочем, была неясна и всем прежним материалистам. Между тем дело это довольно просто. *Движение есть форма бытия*

материш. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение менее значительных масс на отдельных небесных телах, колебание молекул в качестве теплоты или в качестве электрического или магнитного тока, химическое разложение и соединение, органическая жизнь — вот те формы движения, в которых — в одной или в нескольких сразу — находится каждый отдельный атом вещества в мире в каждый данный момент. Всякий покой, всякое равновесие только относительны, они имеют смысл только по отношению к той или другой определенной форме движения. Так, например, известное тело может находиться на земле в состоянии механического равновесия, т. е. в механическом смысле — в состоянии покоя, но это не мешает тому, чтобы данное тело принимало участие в движении земли и в движении всей солнечной системы, как это совершенно не мешает его мельчайшим физическим частицам совершать обусловленные его температурой колебания или же атомам его вещества — совершать известный химический процесс. Материя без движения так же немыслима, как и движение без материи. Движение поэтому так же несотворимо и неразруσιμο, как и сама материя — мысль, которую прежняя философия (Декарт) выражала так: количество имеющегося в мире движения остается всегда одним и тем же. Следовательно, движение не может быть создано, оно может быть только перенесено. Когда движение переносится с одного тела на другое, то, поскольку движение переходит, поскольку оно активно, его можно рассматривать как причину переносимого движения, поскольку это последнее является перенесенным, пассивным. Это активное движение мы называем *силой*, пассивное же — *проявлением силы*. Отсюда ясно как день, что сила имеет ту же величину, как и ее проявление, ибо в них обоих совершается ведь *одно и то же* движение.

Таким образом, лишенное движения состояние материи оказывается одним из самых пустых, нелепых представлений, настоящим «горячечным бредом». Чтобы притти к нему, нужно представить себе относительное механическое равновесие, в котором может пребывать то или иное тело на нашей земле, как абсолютный покой, и затем это представление перенести на всю вселенную в целом. Такое перенесение облегчается, конечно, если сводить универсальное движение к одной только механической силе. И тогда подобное ограничение движения одной механической силой имеет еще то преимущество, что оно позволяет представить себе силу покоящейся, связанной, следовательно, в данный момент бездействующей. Именно, если перенос движения, как это бывает очень часто, представляет сколько-нибудь сложный процесс, в который входят различные промежуточные звенья, то действительный перенос можно

отложить до любого момента, опуская последнее звено цепи. Так дело происходит, например, в том случае, если, зарядив ружье, мы оставляем за собой выбор момента, когда будет спущен курок и вследствие этого совершится разряжение, т. е. будет перенесено освободившееся благодаря воспламенению пороха движение. Можно поэтому представить себе, что во время неподвижного, равного самому себе состояния материя была заряжена силой, — это и разумеет, повидимому, г. Дюринг, если он вообще что-либо разумеет, под единством материи и механической силы. Но такое представление бессмысленно, ибо на вселенную в целом оно переносит, как нечто абсолютное, такое состояние, которое по самой природе своей относительно и которому, следовательно, может быть подвержена в каждый данный момент всегда только *часть* материи. Но если даже оставить в стороне это обстоятельство, то все же остается еще затруднение: во-первых, каким образом мир оказался заряженным, ибо в наши дни ружья не заряжаются сами собой, а, во-вторых, чей палец затем спустил курок? Мы можем вертеться и изворачиваться, как нам угодно, но под руководством г. Дюринга мы каждый раз опять возвращаемся — к персту божию.

От астрономии наш философ действительности переходит к механике и физике, причем сетует, что механическая теория теплоты за целое поколение, прошедшее со времени ее открытия, недалеко ушла от того пункта, до которого ее довел постепенно сам Роберт Майер. Кроме того, все это дело еще, дескать, очень темное: мы вынуждены «вновь напомнить, что вместе с состояниями движения материи даны и статические отношения и что эти последние не имеют никакой меры в механической работе... если мы раньше называли природу великой работницей и будем теперь строго придерживаться этого выражения, то мы должны еще прибавить, что равные самим себе состояния и покоящиеся отношения не представляют никакой механической работы. Таким образом, у нас опять нет моста от статического к динамическому, и если так называемая скрытая теплота до сих пор остается камнем преткновения для теории, то мы и здесь должны констатировать пробел, наличность которого всего менее следовало бы отрицать в космических применениях теории».

Все это оракульское разглагольствование представляет опять-таки не что иное, как излияние нечистой совести, которая очень хорошо чувствует, что этим своим порождением движения из абсолютной неподвижности она безнадежно запуталась, но все же стыдится апеллировать к единственному спасителю, а именно — к создателю неба и земли. Если даже в механике, включая сюда механику теплоты, нельзя найти моста от статического к динамическому, от равновесия к движению, то почему г. Дюринг обязан отыскивать мост от своего непо-

движного состояния к движению? А тогда он счастливо выпутался бы таким способом из беды.

В обыкновенной механике мостом от статического к динамическому является толчок извне. Если камень весом в центнер поднять на высоту десяти метров и свободно подвешен так, что остается там в равном самому себе состоянии и покоящемся отношении, то нужно апеллировать к публике из грудных младенцев, чтобы утверждать, будто теперешнее положение этого тела не выражает никакой механической работы или что состояние, на котором оно находится от своего прежнего положения, не имеет никакой меры в механической работе. Каждый встречный без труда разъяснит г. Дюрингу, что камень не сам собой попал туда, вверх, на веревку, и любой учебник механики может указать ему, что если этому камню дать вновь упасть, то он произведет при падении ровно столько механической работы, сколько нужно было ее затратить, чтобы поднять его на высоту десяти метров. Даже тот весьма простой факт, что камень висит там, наверху, выражает уже механическую работу, ибо если он будет висеть достаточно долгое время, то веревка оборвется, как только она, вследствие химического разложения, окажется недостаточно крепкой, чтобы поддерживать камень. Но к таким «простым основным формам», употребляя выражение г. Дюринга, можно свести все механические процессы, и надо еще родиться такому инженеру, который не сумел бы провести мост от статического состояния к динамическому, располагая надлежащим внешним толчком.

Бесспорно, что для нашего метафизика является твердым орешком и горькой пилюлей тот факт, что движение должно находить свою меру в своей противоположности, в покое. Ведь это — вопиющее противоречие, а всякое *противоречие*, по мнению г. Дюринга, есть *бессмыслица*¹. Тем не менее это факт, что висящий камень представляет определенное количество механического движения, которое может быть точно измерено по весу камня и его удаленности от поверхности земли и может быть использовано как угодно, различным образом (например, посредством прямого падения, спуска по наклонной плоскости, вращения какого-нибудь вала); и точно так же обстоит дело с заряженным ружьем. Для диалектического понимания эта возможность выразить движение в его противоположности, в покое, не представляет решительно никакого затруднения. Для него вся эта противоположность является, как мы видели, только относительной; абсолютного покоя, безусловного равновесия не существует. Отдельное движение стремится к равновесию, совокупное движение снова нарушает равновесие.

¹ По-немецки неприводимая игра слов: Widerspruch — противоречие, Widersinn — бессмыслица. *Ред.*

Таким образом, покой и равновесие там, где они имеют место, являются результатом ограниченного движения, и само собой понятно, что это движение может быть измеряемо своим результатом, может выражаться в нем и вновь из него получаться в той или иной форме. Но удовлетвориться столь простым изложением дела г. Дюринг не может. Как это и подобает настоящему метафизику, он сначала создает между движением и равновесием не существующую в действительности зияющую пропасть и затем удивляется, что не может через эту, им же самым сфабрикованную пропасть построить мост. Он с таким же успехом мог бы сесть на своего метафизического Росинанта¹ и погнаться за кантовской «вещью в себе», ибо именно она, а не что-либо другое, скрывается в конце концов за этим недостижимым мостом.

Но как обстоит дело с механической теорией теплоты и со связанной, или скрытой, теплотой, которая для этой теории «остается камнем преткновения»?

Если фунт льда при температуре точки замерзания и при нормальном атмосферном давлении превратить путем нагревания в фунт воды той же температуры, то исчезает количество теплоты, которого было бы достаточно, чтобы нагреть тот же фунт воды от нуля до 79,4° Ц или чтобы нагреть 79,4 фунта воды на 1°. Если, далее, этот фунт воды нагреть до точки кипения, т. е. до 100°, то, пока вода совершенно превратится в пар температурой в 100°, исчезает почти в семь раз большее количество теплоты — такое количество ее, которого достаточно, чтобы повысить на 1° температуру 537,2 фунта воды. Эту исчезнувшую теплоту называют *связанной*. Если путем охлаждения превратить пар снова в воду и воду снова в лед, то количество теплоты, которое прежде приведено было в связанное состояние, вновь *освобождается*, т. е. оно становится ощущаемым и измеримым в качестве теплоты. Это высвобождение теплоты при сгущении пара и при замерзании воды есть причина того, что пар, охлажденный до 100°, лишь постепенно превращается в воду и что масса воды, имеющая температуру точки замерзания, лишь очень медленно превращается в лед. Таковы факты. Теперь спрашивается: что происходит с теплотой в то время, когда она находится в связанном состоянии?

Механическая теория теплоты, согласно которой теплота заключается в большем или меньшем, смотря по температуре и агрегатному состоянию, колебании мельчайших физически деятельных частиц тела (молекул), — колебании, способном при определенных условиях превратиться в любую другую форму движения, — эта теория объясняет дело тем, что исчезнувшая теплота произвела определенную работу, превратилась в работу.

¹ — конь Дон-Кихота в романе Сервантеса «Дон-Кихот». Ред.

При таянии льда прекращается тесная, крепкая связь отдельных молекул между собой, превращаясь в свободное расположение соприкасающихся частиц; при превращении воды в пар в точке кипения возникает такое состояние, в котором отдельные молекулы не оказывают никакого заметного влияния друг на друга и под действием теплоты даже разлетаются по всем направлениям. Ясно, что отдельные молекулы какого-либо тела в газообразном состоянии обладают гораздо большей энергией, чем в жидком, а в жидком состоянии — опять-таки большей, чем в твердом. Таким образом, связанная теплота не исчезла, — она просто преобразовалась и приняла форму молекулярного напряжения. Как только прекращается условие, при котором отдельные молекулы могут сохранять в отношении друг друга эту абсолютную или относительную свободу, т. е. как только температура опускается ниже минимума в 100° или ниже 0° , — это напряжение ослабевает, молекулы опять стремятся друг к другу с той же силой, с какой они раньше оторвались друг от друга, и эта сила исчезает, но лишь для того, чтобы вновь обнаружиться в виде теплоты, и притом в таком же точь в точь количестве, которое прежде было связанным. Это объяснение представляет собой, конечно, только гипотезу, как и вся механическая теория теплоты, поскольку никто никогда не видел молекулы, не говоря уже о ее колебаниях. Она поэтому несомненно полна пробелов, как и вообще вся эта еще очень молодая теория, но, по крайней мере, может объяснить данный процесс, не вступая в какое бы то ни было противоречие с неуничтожимостью и несотворимостью движения, и эта гипотеза в состоянии даже дать точный отчет о том, куда девается теплота во время ее превращения. Следовательно, скрытая или связанная теплота вовсе не является камнем преткновения для механической теории теплоты. Напротив, эта теория впервые дает рациональное объяснение процесса, а камнем преткновения может служить разве лишь то, что физики продолжают называть теплоту, превращенную в другую форму молекулярной энергии, устарелым и уже неподходящим выражением «связанной» теплоты.

Итак, в равных самим себе состояниях и покоящихся отношениях твердого, капельно-жидкого и газообразного агрегатного состояния выражена, во всяком случае, механическая работа, поскольку эта последняя является мерой теплоты. Как в твердой земной коре, так и в воде океана в их теперешнем агрегатном состоянии выражено совершенно определенное количество освободившейся теплоты, которому, само собой разумеется, соответствует столь же определенное количество механической силы. При переходе газообразного шара, из которого возникла земля, в капельно-жидкое, а позднее — в преимущественно твердое агрегатное состояние определенное количество молекулярной энергии было излучено в мировое пространство.

в виде теплоты. Следовательно, того затруднения, о котором таинственно бормочет г. Дюринг, не существует; и даже имея дело с явлениями космического порядка, мы хотя и наталкиваемся здесь на недостатки и пробелы, обусловленные несовершенством наших познавательных средств, но нигде не встречаемся с теоретически непреодолимыми препятствиями. Мостом от статического к динамическому является и здесь толчок извне — охлаждение или нагревание, вызванное другими телами, которые действуют на предмет, находящийся в равновесии. Чем более мы углубляемся в дюринговскую натурфилософию, тем больше обнаруживается безнадежность всех попыток объяснить движение из неподвижности или найти мост, по которому чисто статическое, покоящееся может *само собой* перейти в динамическое, в движение.

А теперь мы как будто счастливо избавились на некоторое время от равного самому себе первоначального состояния. Г-н Дюринг переходит к химии и по этому случаю раскрывает перед нами три закона постоянства природы, добытые до сих пор философией действительности, а именно:

1) количество всей вообще материи, 2) количество простых (химических) элементов и 3) количество механической силы — все они представляют собой постоянные величины.

Итак, несотворимость и неразрушимость материи и ее простых составных частей, поскольку она состоит из них, а равно несотворимость и неразрушимость движения — эти старые общеизвестные факты, крайне неудовлетворительно выраженные, — вот единственно положительное, что г. Дюринг может преподнести нам как результат своей натурфилософии неорганического мира. Но ведь все это — давным-давно известные нам вещи. Оставалось для нас неизвестным лишь одно: что это — «законы постоянства» и что как таковые они представляют «схематические свойства системы вещей». Получается та же история, какую мы раньше видели в отношении Канта: г. Дюринг берет какое-нибудь общеизвестное старье, приклеивает к нему дюринговскую этикетку и называет это «в самой основе своеобразными результатами и воззрениями... системосозидающими идеями... проникающей до корней наукой».

Однако это еще отнюдь не должно приводить нас в отчаяние. Какими бы недостатками ни страдала самая коренная из всех наук и предлагаемое г. Дюрингом наилучшее общественное устройство, одно г. Дюринг может утверждать с полной определенностью, — что «имеющееся во вселенной золото необходимо представляло всегда одно и то же количество и, подобно всеобщей материи, не могло быть ни увеличено, ни уменьшено». К сожалению, г. Дюринг не сообщает нам, что именно мы можем купить себе на это «имеющееся золото».

VII

НАТУРФИЛОСОФИЯ. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР

«От механики давления и толчка до связи ощущений и мыслей идет единообразная и единственная последовательность промежуточных ступеней». Этим уверением г. Дюринг избавляет себя от необходимости сказать что-либо более определенное относительно возникновения жизни, хотя, казалось бы, от мыслителя, который проследил развитие мира до равного самому себе состояния и который чувствует себя совсем как дома на других небесных телах, можно было бы ожидать, что он и это дело знает в точности. Впрочем, приведенное утверждение г. Дюринга верно лишь наполовину, пока оно не дополнено упомянутой уже гегелевской узловым линией отношений меры. При всей постепенности, переход от одной формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков переход от механики небесных тел к механике небольших масс на отдельных небесных телах; таков же переход от механики масс к механике молекул, которая охватывает движения, составляющие предмет исследования физики в собственном смысле слова: теплоту, свет, электричество, магнетизм. Точно так же и переход от физики молекул к физике атомов — к химии — совершается опять-таки посредством решительного скачка; в еще большей степени это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белков, который мы называем жизнью. В пределах сферы жизни скачки становятся затем все более редкими и незаметными. Итак, опять Гегелю приходится поправлять г. Дюринга.

Для логического перехода к органическому миру г. Дюрингу служит понятие цели. И это опять-таки заимствовано у Гегеля, который в своей «Логике» — в учении о понятии — совершает переход от химизма к жизни при посредстве телеологии, т. е. учения о цели. Куда мы ни посмотрим, везде мы наталкиваемся у г. Дюринга на какую-нибудь гегелевскую «неудобаримую идею», которую он без малейшего стеснения выдает за свою собственную, «до корней проникающую науку». Мы зашли бы слишком далеко, если бы занялись здесь исследованием того, в какой степени правильно и уместно применение представления о цели и средствах к органическому миру. Во всяком случае, даже применение гегелевской «внутренней цели», т. е. такой цели, которая не привносится в природу намеренно действующим сторонним элементом, например, мудростью провидения, но которая заложена в необходимости самого предмета, — даже такое применение понятия цели постоянно приводит людей, не прошедших основательной философской школы, к бессмысленному навязыванию природе сознательных и намеренных

действий. Тот самый г. Дюринг, который при малейших «спиритических» поползновениях других впадает в величайшее нравственное негодование, уверяет «с полной определенностью, что инстинкты созданы главным образом ради того удовлетворения, которое связано с их игрой». Он рассказывает нам, что бедная природа «должна постоянно, все снова и снова, приводить в порядок предметный мир» и что сверх того у нее еще много других дел, «которые требуют от природы большей утонченности, чем принято думать». Но природа не только *знает*, почему она создает то или другое, ей не только приходится выполнять работу домашней служанки, она не только обладает утонченностью, что уже само по себе представляет весьма порядочное совершенство в субъективном сознательном мышлении, — она имеет еще и волю; ибо дополнительную роль инстинктов, — то, что они мимоходом осуществляют реальные естественные функции: питание, размножение и т. д., — «мы вправе представить себе не как прямо, а лишь как косвенно *желаемое*». Таким образом, мы пришли к сознательно мыслящей и сознательно действующей природе, следовательно, мы стоим уже на «мосту», ведущем, правда, не от статического к динамическому, но все же от пантеизма к деизму. Или, может быть, г. Дюрингу хочется и самому немного заняться «натурфилософской полупоэзией»?

Нет, этого не может быть. Все, что наш философ действительно умеет сказать нам об органической природе, ограничивается походом против этой «натурфилософской полупоэзии», против «шарлатанства с его легкомысленной поверхностностью и, так сказать, научными мистификациями», против «поэтизирующих черт» *дарвинизма*.

Прежде всего Дарвину ставится в упрек, что он перенес теорию народонаселения Мальтуса из политической экономии в естествознание, что он находится во власти понятий животновода, что в своей теории борьбы за существование он предается ненаучной полупоэзии и что весь дарвинизм, за вычетом того, что заимствовано им у Ламарка, представляет изрядную дозу зверства, направленного против человечности.

Дарвин вынес из своих научных путешествий мнение, что виды растений и животных не постоянны, а изменчивы. Чтобы у себя дома развить эту мысль дальше, ему не представлялось лучшего поля для наблюдений, чем искусственное разведение животных и растений. Именно в этом отношении Англия является классической страной; достижения других стран, например Германии, не могут даже в отдаленной степени сравниться по своему масштабу с тем, что в этом отношении сделано Англией. Сверх того, большая часть успехов, достигнутых в указанной области, относящаяся к последнему столетию, так что констатирование фактов не представляет больших затруднений.

Дарвин нашел, что отбор вызвал искусственно у животных и растений одного и того же вида различия более значительные, чем те, которые встречаются у видов, всеми признаваемых разными. Таким образом, с одной стороны, была до известной степени доказана изменчивость видов, а с другой — было доказано, что могут быть общие предки у организмов, обладающих неодинаковыми видовыми признаками. Дарвин исследовал затем, нельзя ли найти в самой природе таких причин, которые должны были с течением времени — без всякого сознательного и намеренного воздействия человека — вызвать в живых организмах изменения, подобные тем, которые создаются искусственным отбором. Причины эти он нашел в несоответствии между громадным числом создаваемых природой зародышей и незначительным количеством организмов, фактически достигающих зрелости. Так как каждый зародыш стремится к развитию, то необходимо возникает борьба за существование, которая проявляется не только в виде непосредственной физической борьбы или пожирания, но и в виде борьбы за пространство и свет, наблюдаемой даже у растений. Ясно, что в этой борьбе имеют наибольшие шансы достичь зрелости и размножиться те особи, которые обладают какой-либо, хотя бы и незначительной, но выгодной в борьбе за существование индивидуальной особенностью. Эти индивидуальные особенности имеют, таким образом, тенденцию передаваться по наследству, а если они встречаются у многих особей одного и того же вида, то и тенденция усиливается в однажды принятом направлении путем накопленной наследственности. Напротив, особи, не обладающие такими особенностями, легче погибают в борьбе за существование и постепенно исчезают. Таким образом, происходит изменение вида путем естественного отбора, путем выживания наиболее приспособленных.

Против этой-то дарвиновской теории г. Дюринг возражает, что по признанию самого Дарвина происхождение идеи борьбы за существование следует искать в обобщении взглядов экономиста, теоретика народонаселения, Мальтуса. Таким образом, названная теория страдает, согласно г. Дюрингу, всеми теми недостатками, которые свойственны поповско-мальтузианским воззрениям в вопросе о перенаселении. Между тем Дарвину вовсе не приходило в голову говорить, что *происхождение* идеи борьбы за существование следует искать у Мальтуса. Он говорит только, что его теория борьбы за существование есть теория Мальтуса, примененная ко всему миру растений и животных. И как бы велик ни был промах Дарвина, столь наивно принявшего без критики учение Мальтуса, все же каждый может с первого взгляда заметить, что не требуется мальтусовских очков, чтобы увидеть в природе борьбу за существование, увидеть в ней противоречие между бесчисленным множеством

зародышей, которые расточительно производит природа, и незначительным количеством тех из них, которые вообще могут достичь зрелости, — противоречие, которое действительно разрешается большей частью борьбой за существование, подчас крайне жестокой. И подобно тому как закон заработной платы сохранил свое значение и после того, как давно уже заглохли мальтузианские доводы, которыми его обосновывал Рикардо, точно так же и борьба за существование может происходить в природе помимо какого бы то ни было мальтузианского ее истолкования. Впрочем, организмы в природе также имеют свои законы населения, еще почти совершенно не исследованные; установление их несомненно будет иметь решающее значение для теории развития видов. А кто дал и в этом направлении решающий толчок? Не кто иной, как Дарвин.

Г-н Дюринг благоразумно остерегается вдаваться в эту положительную сторону вопроса. Вместо этого должна все время быть в ответе теория борьбы за существование. По его мнению, возможность борьбы за существование между лишенными сознания растениями и кроткими травоядными заранее исключена: «в строго определенном смысле слова борьба за существование имеет место в зверином мире лишь постольку, поскольку питание совершается здесь путем хищничества и пожирания». Введя понятие борьбы за существование в такие узкие границы, он может уже дать полную волю своему возмущению по поводу зверского характера того понятия, в которое он сам же вложил этот смысл. Однако стрелы этого нравственного возмущения попадают только в самого г. Дюринга, который является единственным автором борьбы за существование в этом ограниченном смысле, а потому он один и ответствен за нее. Стало быть, не Дарвин «ищет законов и понимания всякой деятельности природы среди зверья», — Дарвин, напротив, включил в сферу борьбы за существование всю органическую природу, — а сфабрикованное самим г. Дюрингом некое фантастическое пугало. Впрочем, *название* борьбы за существование мы можем охотно принести в жертву высоко нравственному гневу г. Дюринга. А что самый *факт* такой борьбы существует даже среди растений, — это может доказать г. Дюрингу каждый луг, каждое хлебное поле, каждый лес; и дело не в названии, не в том, следует ли говорить: «борьба за существование» или же: «недостатки условий существования и механические воздействия»; дело в том, как этот факт влияет на сохранение или изменение видов. Относительно этого вопроса г. Дюринг пребывает в упорном, равном самому себе молчании. Следовательно, с естественным отбором все остается пока по-старому.

Но дарвинизм «производит свои превращения и различия из ничего». Действительно, когда Дарвин говорит об естественном отборе, то он отвлекается от тех *причин*, которые вызвали изме-

нения в отдельных особях, и трактует прежде всего о том, каким образом подобные индивидуальные отклонения мало-помалу становятся признаками известной расы, разновидности или вида. Для Дарвина дело идет прежде всего не столько о том, чтобы найти эти причины, — они до сих пор частью вовсе неизвестны, частью же могут быть указаны лишь в самых общих чертах, — сколько о том, чтобы найти рациональную форму, в которой их результаты закрепляются, приобретают прочное значение. Дарвин, действительно, приписывал при этом своему открытию чрезмерно широкую сферу действия, он придал ему значение единственного рычага в процессе изменения видов и пренебрег вопросом о причинах повторяющихся индивидуальных изменений ради вопроса о форме, в которой они становятся всеобщими. Это — недостаток, который Дарвин разделяет с большинством людей, действительно двигающих науку вперед. К тому же, если Дарвин производит индивидуальные превращения из ничего и при этом применяет исключительно «мудрость животновода», то выходит, что всякий животновод и селекционер также производит *из ничего* превращения животных и растительных форм, и притом превращения действительные, а не только воображаемые. Однако толчок к исследованию вопроса, откуда собственно возникают эти превращения и различия, дал опять-таки не кто иной, как Дарвин.

В новейшее время представление об естественном отборе было расширено, особенно благодаря Геккелю, и изменчивость видов стала рассматриваться как результат взаимодействия между приспособлением и наследственностью, причем приспособление изображается как та сторона процесса, которая производит изменения, а наследственность — как сохраняющая их сторона. Но и это не нравится г. Дюрингу: «Настоящее приспособление к условиям жизни, как они даны или отняты природой, предполагает такие стимулы и формы деятельности, которые определяются представлениями. Иначе приспособление — одна лишь видимость, и действующая в этом случае причинность не возвышается над низшими ступенями физического, химического и растительно-физиологического». Название — вот что опять рассердило г. Дюринга. Между тем, как бы он ни называл этот процесс, вопрос заключается здесь в следующем: вызываются ли подобными процессами изменения в видах организмов или нет? И г. Дюринг снова не дает никакого ответа.

«Когда какое-нибудь растение в своем росте избирает путь, на котором оно получает наибольшее количество света, то этот результат раздражения представляет собой не более как комбинацию физических сил и химических агентов, и если в этом случае хотят говорить о приспособлении не метафорически, а в собственном смысле слова, то это должно внести в понятия *спиритическую* путаницу». Так строг по отношению к другим тот самый человек, который знает совершенно точно, по чьей воле природа

делает то или другое, который толкует об *утонченности* природы и даже о ее *воле*. Действительно, спиритическая путаница, — только у кого: у Геккеля или у г. Дюринга?

И не только спиритическая, но и логическая путаница. Мы видели, что г. Дюринг изо всех сил настаивает на том, что понятие цели имеет силу и для природы: «отношение между средством и целью нисколько не предполагает сознательного намерения». Но что же представляет собой приспособление без сознательного намерения и без посредства представлений, столь решительно им отвергаемое, как не такую именно бессознательную целесообразную деятельность?

Если, следовательно, древесная лягушка или насекомое, питающееся листьями, имеет зеленую окраску, если животные пустынь имеют окраску песочножелтую, а полярные животные — преимущественно снежнобелую, то, конечно, они приобрели такую окраску не намеренно и не руководствуясь какими-либо представлениями: напротив, эта окраска объясняется только действием физических сил и химических факторов. И все-таки бесспорно, что эти животные благодаря такой окраске целесообразно *приспособлены* к среде, в которой они живут, и именно так, что они становятся вследствие этого гораздо менее заметными для своих врагов. Точно так же, те органы, при помощи которых некоторые растения улавливают и поедают опускающихся на них насекомых, приспособлены — и даже целесообразно приспособлены — к такому действию. Следовательно, если г. Дюринг настаивает на том, что приспособление может быть вызвано только действием представлений, то он говорит лишь другими словами, что целесообразная деятельность также должна совершаться посредством представлений, должна быть сознательной, намеренной. Тем самым мы, как водится в философии действительности, опять благополучно пришли к творцу, осуществляющему свои цели, т. е. к богу. «Прежде такое объяснение называлось деизмом, и оно не было в почете (говорит г. Дюринг), но теперь, по-видимому, и в этом отношении развитие пошло вспять».

От приспособления мы переходим к наследственности. И здесь дарвинизм, по мнению г. Дюринга, находится на совершенно ложном пути. Дарвин будто бы утверждает, что весь органический мир ведет свое происхождение от одного прародителя, представляет собой, так сказать, потомство одного единственного существа. Самостоятельные параллельные ряды однородных созданий природы, не связанных посредством общности происхождения, якобы вовсе не существуют для Дарвина, и он поэтому тотчас же попадает в тулик со своими обращенными в прошлое воззрениями, как только у него обрывается нить рождения или иного способа размножения.

Утверждение, будто Дарвин выводит все живущие теперь организмы от *одного* прародителя, представляет собой, чтобы

выразиться вежливо, «продукт собственного свободного творчества и воображения» г. Дюринга. На предпоследней странице «Origin of Species»¹ (6-е издание) Дарвин прямо говорит, что он рассматривает «все живые существа не как обособленные творения, а как потомков, происходящих, по прямой линии, от нескольких немногих существ». Геккель идет еще гораздо дальше и допускает «одно совершенно самостоятельное генеалогическое дерево для растительного царства и другое — для животного царства», а между ними обоими — «некоторое число самостоятельных рядов поколений протистов, причем каждый такой ряд, совершенно независимо от первых двух, развился из собственной архигонной² формы монаеры» («Schöpfungsgeschichte»³, стр. 397). Этот прародитель был изобретен г. Дюрингом лишь для того, чтобы, елико возможно, скомпрометировать его путем сопоставления с пранудеем Адамом, причем, к несчастью для него, т. е. для г. Дюринга, ему осталось неизвестным, что благодаря ассирийским изысканиям Смита этот пранудей оказался прасемитом и что все библейское повествование о сотворении мира и потопе является не более как отрывком из цикла древнеязыческих религиозных сказаний, общего для иудеев, вавилонян, халдеев и ассирийян.

Правда, упрек по адресу Дарвина в том, что он тотчас же попадает в тупик там, где у него обрывается генеалогическая нить, суров, но неопровержим. К сожалению, этого упрека заслуживает все наше естествознание. Там, где обрывается нить происхождения, оно попадает «в тупик». Оно до сих пор не дошло еще до создания органических существ иначе, как путем воспроизведения от других существ: оно даже не может получить до сих пор из химических элементов простой протоплазмы или других белковых веществ. Следовательно, о возникновении жизни естествознание может пока определенно утверждать только то, что жизнь должна была возникнуть химическим путем. Но, может быть, философия действительности в состоянии помочь нам в этом случае, так как она располагает самостоятельными параллельными рядами созданий природы, которые не связаны между собой посредством общности происхождения? Как возникли эти создания? Путем самозарождения? Но до сих пор даже самые рьяные сторонники самозарождения не претендовали на то, чтобы этим путем создавалось что-либо, кроме бактерий, грибных зародышей и других весьма примитивных организмов, но отнюдь не насекомые, рыбы, птицы и млекопитающие. Если же эти однородные создания природы (разумеется, органические, только о них и идет здесь речь) не связаны между собой общим происхождением, то там, «где обрывается нить происхождения», они, или каждый из их предков, должны были появиться на свет не иначе,

¹ «Происхождение видов», *Ред.*

² — первородной. *Ред.*

³ «История творения». *Ред.*

как путем отдельного акта творения. Таким образом, мы опять возвращаемся к творцу и к тому, что называют деизмом.

Далее, г. Дюринг усматривает большую поверхностность Дарвина в том, что Дарвин «возводит простой акт половой композиции особенностей в фундаментальный принцип возникновения этих особенностей». Опять-таки это — продукт свободного творчества и воображения нашего философа, проникающего в корень вещей. Дарвин, напротив, определенно заявляет: выражение «естественный отбор» охватывает только *сохранение* изменений, а не их возникновение (стр. 63). Эта новая подтасовка положений, которых Дарвин никогда не высказывал, нужна, однако, для того, чтобы подвести нас к следующему глубокомысленному заявлению г. Дюринга: «Если бы во внутреннем схематизме полового размножения удалось отыскать какой-либо принцип самостоятельного изменения, то эта идея была бы совершенно рациональна, ибо вполне естественна мысль объединить принцип всеобщего генезиса с принципом полового размножения в одно целое и рассматривать с высшей точки зрения так называемое самозарождение не как абсолютную противоположность воспроизведения, а именно как зарождение». И человек, который способен был сочинить подобную галиматю, не стесняется упрекать Гегеля за его «жаргон»!

Однако довольно с нас раздражительного, противоречивого брюзжания и ворчания, выражающих только досаду г. Дюринга по поводу колоссального подъема, которым естествознание обязано толчку, полученному от теории Дарвина. Ни Дарвин, ни его последователи среди естествоиспытателей не думают о том, чтобы как-нибудь умалить великие заслуги Ламарка: ведь именно Дарвин и его последователи были первые, кто вновь поднял его на щит. Но мы не должны упускать из виду, что во времена Ламарка наука отнюдь еще не располагала достаточным материалом для того, чтобы ответить на вопрос о происхождении видов иначе, как предвосхищая будущее, — так сказать, пророчески. Между тем со времени Ламарка был не только накоплен огромный материал из области как описательной, так и анатомической ботаники и зоологии, но и появились две совершенно новые отрасли науки, которые имеют здесь решающее значение, а именно: исследование развития растительных и животных зародышей (эмбриология) и исследование органических остатков, сохранившихся в различных слоях земной поверхности (палеонтология). Обнаруживается именно характерное соответствие между постепенным развитием органических зародышей в зрелые организмы и последовательным рядом растений и животных, появлявшихся одни за другими в истории земли. Как раз это соответствие дало надежнейшую опору для теории развития. Но сама теория развития еще очень молода, и потому несомненно, что дальнейшее исследование должно весьма значительно моди-

фицировать нынешние, в том числе и строго дарвинистические, представления о процессе развития видов.

Но что же положительного может сказать нам философия действительности по поводу развития органической жизни?

«Изменчивость видов представляет приемлемую гипотезу». Но рядом с ней имеет силу и «самостоятельное параллельное существование однородных созданий природы, не связанных между собой общностью происхождения». На основании этого следовало бы думать, что неоднородные создания природы, — т. е. изменяющиеся виды, — происходят одно от другого, однородные же — нет. Но и это не совсем так, ибо и относительно изменяющихся видов мы читаем, что «связь посредством общности происхождения является, наоборот, лишь весьма второстепенным актом природы». Стало быть, все-таки речь идет о происхождении, хотя и «второго класса». Однако будем рады и тому, что г. Дюринг в конце концов вновь выпустил происхождение с черного хода, после того как он наговорил об этом происхождении так много плохого и темного. Точно так же обстоит дело и с естественным отбором, ибо после всего нравственного негодования против борьбы за существование, посредством которой и совершается ведь естественный отбор, мы вдруг читаем: «более глубокая основа совокупности свойств органических образований заключается, таким образом, в условиях жизни и в космических отношениях, тогда как подчеркиваемый Дарвином естественный отбор может приниматься в расчет лишь во вторую очередь». Стало быть, все-таки естественный отбор, хотя и второго класса. Но вместе с естественным отбором признается и борьба за существование, а следовательно, и поповско-мальтузианское перенаселение! — Вот и все, — в остальном г. Дюринг отсылает нас к Ламарку.

Наконец, г. Дюринг предостерегает нас против злоупотребления словами: метаморфоза и развитие. Метаморфоза, говорит он, представляет собой неясное понятие, а понятие развития допустимо лишь постольку, поскольку здесь действительно могут быть установлены законы развития. Вместо того и другого мы должны говорить «композиция», и тогда все будет в порядке. Опять старая история: вещи остаются такими, какими они были, и г. Дюринг вполне доволен, лишь бы только были изменены названия. Когда мы говорим о развитии цыпленка из яйца, то этим создаем путаницу, так как мы лишь в недостаточной степени можем установить здесь законы развития. Но если мы будем говорить о «композиции» цыпленка, то все становится ясно. Следовательно, отныне мы не будем больше говорить: «это дитя великолепно развивается», а «дитя находится в процессе замечательной композиции», и нам остается поздравить г. Дюринга с тем, что он с полным достоинством стал рядом с творцом «Кольца Нибелунгов» — не только в смысле благородной самооценки, но и в качестве композитора будущего.

VIII

НАТУРФИЛОСОФИЯ. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР (окончание)

«Пусть взвесят... какие положительные знания требуются для того, чтобы снабдить наш натурфилософский отдел всеми его научными предпосылками. В основе его лежат прежде всего все существенные завоевания математики, затем главные положения точного знания в механике, физике и химии, а также вообще естественно-научные итоги физиологии, зоологии и аналогичных отраслей исследования».

Так уверенно и решительно отзывается г. Дюринг о математической и естественно-исторической учености г. Дюринга. Однако по этому тощему разделу, а в особенности по еще более скудным его результатам не видно, чтобы за ними скрывалось проникающее в корень положительное знание. Во всяком случае, чтобы сочинить дюринговские оракульские изречения о физике и химии, не требуется знать из физики ничего, кроме уравнения, выражающего механический эквивалент теплоты, а из химии достаточно знать только то, что все тела разделяются на элементы и соединения элементов. К тому же, кто, подобно г. Дюрингу (стр. 131), способен говорить о «тяготеющих атомах», тем самым доказывает, что он еще совершенно «бродит впотьмах» по вопросу о различии между атомом и молекулой. Как известно, атомами объясняется не тяготение или какая-либо механическая или физическая форма движения, а только химическое действие. Когда же читаешь главу об органической природе, с ее пустым, противоречивым, а по решающему вопросу оракульски бессмысленным разглагольствованием о том и о сем, с абсолютно ничтожным конечным результатом, — то уже с самого начала трудно удержаться от предположения, что г. Дюринг толкует здесь о вещах, о которых он знает поразительно мало. Это предположение превращается в уверенность, когда читатель доходит до предложения г. Дюринга говорить впредь в учении об органической жизни (биологии) о композиции, вместо развития. Кто может предложить нечто подобное, доказывает тем самым, что он не имеет ни малейшего представления об образовании органических тел.

Все органические тела, за исключением самых низших, состоят из клеток — маленьких, видимых только при сильном увеличении комочков белкового вещества с клеточным ядром внутри. Обыкновенно клетка образует и внешнюю оболочку, и тогда ее содержание оказывается более или менее жидким. Простейшие клеточные организмы состоят из *одной* клетки; промадное же большинство органических существ являются многоклеточными, представляя собой связный комплекс многих клеток, которые, будучи еще однородными у низших организмов, становятся у высших все более и более разнообразными по своей форме, группи-

ровке и деятельности. Так, например, в человеческом организме кости, мышцы, нервы, сухожилия, связки, хрящи, кожа — одним словом, все ткани состоят из клеток или же развились из них. Но для всех органических клеточных образований, от амёбы, составляющей простой комочек белкового вещества с клеточным ядром внутри, болъшую часть своей жизни лишенный оболочки, вплоть до человека, и от самой малой одноклеточной десмидиевой водоросли до самого высокоразвитого растения, — для всех них общим способом размножения клеток является деление. Клеточное ядро сначала перетягивается в середине, это перетягивание, разделяющее обе половины ядра, становится все сильнее; наконец, они отделяются совсем и образуют два клеточных ядра. Тот же процесс происходит в самой клетке; каждое из обоих ядер становится центром скопления клеточного вещества, которое связано с другой половиной все больше и больше суживающейся перетяжкой, пока, наконец, обе половины не отделятся одна от другой, продолжая уже жить в виде самостоятельных клеток. Путем такого многократного деления клетки из зародышевого пузырька животного яйца, после того как оно было оплодотворено, постепенно развивается вполне зрелое животное, и точно так же совершается в зрелом организме замещение изношенных тканей. Называть подобный процесс композицией, а обозначение его как развитие — «чистой фантазией», на это способен, конечно, лишь тот, кто — как ни трудно допустить это в наше время — ровно ничего не знает об этом процессе; здесь происходит, и притом в самом буквальном смысле слова, *только* развитие, композиции же здесь нет решительно никакой!

О том, что г. Дюринг вообще понимает под жизнью, нам придется еще кое-что добавить ниже. В частности же он под жизнью разумеет следующее: «неорганический мир тоже представляет систему самосовершающихся движений; но только там, где начинается действительное расчленение и циркуляция веществ осуществляется через особые каналы из одного внутреннего пункта по зародышевой схеме, допускающей перенос на меньшее образование, — только там можно решиться говорить о действительной жизни в более тесном и строгом смысле этого слова».

Не говоря уже о беспомощном, запутанном грамматическом строе фразы, предложение это, как его ни толковать, есть в точном и строгом смысле слова «система самосовершающихся движений» (что бы сии вещи ни означали) бессмыслицы. Если жизнь начинается лишь там, где наступает действительное расчленение, тогда мы должны объявить мертвым все геккелевское царство протистов и, может быть, еще многое сверх того, смотря по тому, что мы будем понимать под расчленением. Если жизнь начинается только там, где это расчленение доступно передаче посредством меньшей зародышевой схемы, то нельзя признать живыми существами, по меньшей мере, все низшие организмы,

до одноклеточных включительно. Если признаком жизни является циркуляция веществ посредством особых каналов, то мы должны, сверх вышеупомянутых, вычеркнуть из ряда живых организмов еще весь высший класс кишечнополостных, за исключением, впрочем, медуз, следовательно, — должны вычеркнуть всех полипов и другие животное-растения. Если же существенным признаком жизни считать циркуляцию веществ посредством особых каналов из одного внутреннего пункта, то мы должны объявить мертвыми всех тех животных, которые не имеют сердца или же имеют несколько сердец. Сюда, кроме вышеупомянутых, относятся еще все черви, морские звезды и коловратки (*Annuloida* и *Annulosa*, по классификации Гексли), часть ракообразных (раки) и, наконец, даже одно позвоночное — ланцетник (*Amphioxus*). Сюда же относятся и все растения.

Итак, желая охарактеризовать жизнь в собственном, более тесном и строгом смысле слова, г. Дюринг дает четыре совершенно противоречащих друг другу признака жизни, из которых один осуждает на вечную смерть не только все растительное, но и почти половину животного царства. В самом деле, никто не может сказать, что г. Дюринг обманывал нас, когда обещал дать «своеобразные в самой основе результаты и воззрения»!

В другом месте у него говорится: «в природе мы также видим, что в основе всех организаций, от низшей до высшей, лежит простой тип», и этот тип «в своей общей сущности наблюдается целиком и полностью уже в самом второстепенном движении самого несовершенного растения». Это утверждение опять-таки представляет «целиком и полностью» бессмыслицу. Наипростейшим типом, наблюдаемым во всей органической природе, является клетка, и она, действительно, лежит в основе высших организаций. Но среди низших организмов мы находим множество таких, которые стоят еще значительно ниже клетки, например, протамеба, простой комочек белкового вещества, без всякой дифференциации, затем целый ряд других монер и все трубчатые водоросли (*Siphonaeae*). Все они связаны с высшими организмами лишь тем, что их существенной составной частью является белок и что поэтому они исполняют свойственные белку функции, т. е. живут и умирают.

Далее г. Дюринг рассказывает нам: «Физиологически ощущение связано с существованием какого-либо, хотя бы и очень простого, нервного аппарата. Поэтому характерным для всех животных форм признаком является их способность к ощущению, т. е. к субъективно-сознательному восприятию своих состояний. Резкая граница между растением и животным лежит там, где совершается скачок к ощущению. Факт существования общеизвестных переходных форм не только не стирает этой границы, но эта последняя становится логической потребностью именно благодаря этим внешне неразрешимым или не поддающимся разреше-

нию формам». И далее: «напротив того, растения совершенно и навсегда лишены самого слабого подобия ощущения и даже всякой способности к нему».

Во-первых, Гегель («Naturphilosophie»¹, § 351, Добавление) говорит, что «ощущение есть *differentia specifica*, т. е. абсолютно отличительный признак животного». Стало быть, опять «неудобоваримая идея» Гегеля, которая путем простой аннексии со стороны г. Дюринга возведена в благородное звание окончательной истины в последней инстанции.

Во-вторых, мы здесь впервые слышим о переходных формах, о внешне неразрешимых или не поддающихся разрешению формах (ну и тарабарский же язык!), лежащих между растением и животным. Тот факт, что такие промежуточные формы существуют и что бывают организмы, о которых мы не можем так просто сказать, растения это или животные, что мы вообще не можем, таким образом, провести строгую грань между растением и животным, — этот факт создает для г. Дюринга логическую потребность установить различающий их признак, который он тут же, не переводя духа, сам признает не выдерживающим критики. Но нам нет даже надобности обращаться к спорной области промежуточных форм между растениями и животными; разве чувствительные растения, свертывающие при самом слабом прикосновении к ним свои листья или свои цветы, разве насекомоядные растения — лишены самого слабого подобия ощущения и даже всякой способности к ощущению? Этого не может утверждать ведь и г. Дюринг, не впадая в «ненаучную полупоэзию».

В-третьих, опять-таки продуктом свободного творчества и воображения г. Дюринга является его утверждение, будто ощущение физиологически связано с существованием какого-либо, хотя бы и очень простого, нервного аппарата. Не только все простейшие животные, но еще и животное-растения — по крайней мере, большинство их — не обнаруживают никаких следов нервного аппарата. Только начиная с червей впервые встречается, в виде общего правила, нервный аппарат, и г. Дюринг первый выступает с утверждением, что перечисленные животные организмы лишены ощущения, так как не имеют нервов. Ощущение связано необходимым образом не с нервами, но, конечно, с некоторыми, до сих пор не установленными более точно, белковыми телами.

Впрочем, биологические познания г. Дюринга достаточно характеризуются вопросом, который он бесстрашно выдвигает против Дарвина: «Неужели животное развилось из растения?». Такой вопрос может задать только тот, кто не имеет ни малейшего понятия ни о животных, ни о растениях.

О жизни вообще г. Дюринг может сообщить нам только

¹ «Философия природы». Ред.

следующее: «Обмен веществ, который совершается посредством пластически формирующего схематизирования (что это еще за диковина?), остается всегда отличительным признаком процесса жизни в собственном смысле слова».

Вот и все, что мы узнаем о жизни, причем мы вдобавок, по случаю «пластически формирующего схематизирования», увязаем по колено в бессмысленной тарабаршине чистейшего дюринговского жаргона. Следовательно, если мы хотим знать, что такое жизнь, мы сами должны глубже вникнуть в этот вопрос.

За последние тридцать лет физиолого-химиками и химико-физиологами повторялось несчетное число раз, что органический обмен веществ представляет собой наиболее общее и характерное явление жизни, и г. Дюринг попросту перевел это утверждение на свой собственный изысканный и ясный язык. Но определять жизнь как органический обмен веществ — это значит определять жизнь как... жизнь, ибо органический обмен веществ, или обмен веществ с помощью «пластически формирующего схематизирования», и представляет собой как раз такое выражение, которое в свою очередь нуждается в объяснении — при посредстве жизни, объяснении при посредстве различия между органическим и неорганическим, т. е. между живым и неживым. Следовательно, при таком объяснении мы не двигаемся с места.

Обмен веществ как таковой имеет место и помимо жизни. Существует целый ряд химических процессов, которые при достаточном притоке сырых материалов снова и снова создают условия для своего возобновления, притом так, что носителем процесса является здесь определенное тело. Так, например, бывает при изготовлении серной кислоты посредством сжигания серы. При этом получается двуокись серы, SO_2 , и если ввести водяные пары и азотную кислоту, то двуокись серы поглощает водород и кислород и превращается в серную кислоту, H_2SO_4 . Азотная кислота отдает при этом часть кислорода и превращается в окись азота; эта окись азота тотчас же опять поглощает из воздуха новый кислород и превращается в высшие окислы азота, но лишь затем, чтобы тотчас же вновь отдать этот кислород двуокиси серы и снова проделать тот же процесс, так что, теоретически, бесконечно малого количества азотной кислоты достаточно, чтобы превратить неограниченное количество двуокиси серы, кислорода и воды в серную кислоту. — Далее, обмен веществ происходит при просачивании жидкостей сквозь мертвые органические и даже неорганические перепонки, а равно в искусственных клетках Траубе. И здесь опять-таки оказывается, что с обменом веществ мы не подвигаемся ни на шаг вперед, ибо тот своеобразный обмен веществ, который должен объяснить жизнь, в свою очередь нуждается сам в объяснении при посредстве жизни. Следовательно, приходится искать иного объяснения.

Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел.

Белковое тело понимается здесь в смысле современной химии, которая этим термином охватывает все тела, аналогичные по составу с обыкновенным белком и называемые также протеиновыми телами. Термин неудачен, так как из всех родственных ему веществ обыкновенный белок играет наиболее безжизненную, наиболее пассивную роль: наряду с желтком белок служит исключительно питательным веществом для развивающегося зародыша. Однако, пока о химическом составе белковых тел известно так немного, этот термин, как более общий, все еще заслуживает предпочтения перед всеми другими.

Повсюду, где мы встречаем жизнь, мы находим, что она связана с каким-либо белковым телом, и повсюду, где мы встречаем какое-либо белковое тело, которое не находится в процессе разложения, мы без исключения встречаем и явления жизни. Конечно, в живом организме необходимо должны быть также и другие химические соединения, которые и вызывают особые процессы дифференциации этих явлений жизни, но для жизни, в ее простейшей форме, они не необходимы, или же необходимы лишь постольку, поскольку они поступают в организм в виде пищи и превращаются в белки. Самые низшие живые существа, какие мы знаем, представляют собой не более как простые комочки белкового вещества, и они обнаруживают уже все существенные явления жизни.

Но в чем же состоят эти явления жизни, одинаково встречающиеся у всех живых существ? Прежде всего в том, что белковое тело извлекает из окружающей среды другие подходящие вещества и ассимилирует их, тогда как более старые частицы тела разлагаются и выделяются. Другие, неживые тела тоже изменяются, разлагаются или комбинируются в ходе естественного процесса, но они при этом перестают быть тем, чем были раньше. Скала, которая подверглась выветриванию, уже больше не скала; металл в результате окисления превращается в ржавчину. Но то, что в мертвых телах является причиной разрушения, у белка становится *основным условием существования*. Как только в белковом теле прекращается это непрерывное превращение составных частей, эта постоянная смена питания и выделения, — с этого момента само белковое тело прекращает свое существование, оно разлагается, т. е. *умирает*. Жизнь — способ существования белкового тела — состоит, следовательно, прежде всего в том, что белковое тело в каждый данный момент является самим собой и в то же время — иным и что это происходит не вследствие какого-либо процесса, которому оно подвергается извне, как это бывает и с мертвыми телами. Напротив, жизнь, обмен веществ, происходящий путем питания и выделения, есть самосовершаю-

щийся процесс, присущий, прирожденный своему носителю — белку, процесс, без которого не может быть жизни. А отсюда следует, что если химии удастся когда-нибудь искусственно создать белок, то этот последний должен будет обнаружить явления жизни, хотя бы и самые слабые. Конечно, еще вопрос, сумеет ли химия открыть одновременно также и надлежащую пищу для этого белка.

Из обмена веществ посредством питания и выделения, — обмена, составляющего существенную функцию белка, — и из свойственной белку пластичности вытекают все прочие простейшие факторы жизни: раздражимость, которая заключается уже во взаимодействии между белком и его пищей; сокращаемость, обнаруживающаяся уже на очень низкой ступени при поглощении пищи; способность к росту, которая на самой низшей ступени включает размножение путем деления; внутреннее движение, без которого невозможно ни поглощение, ни ассимилирование пищи.

Наша дефиниция жизни, разумеется, весьма недостаточна, поскольку она далека от того, чтобы охватить *все* явления жизни, а, напротив, ограничивается самыми общими и самыми простыми среди них. Все дефиниции имеют в научном отношении незначительную ценность. Чтобы дать действительно исчерпывающее представление о жизни, нам пришлось бы проследить все формы ее проявления, от самой низшей до наивысшей. Однако для обыкновенного употребления такие дефиниции очень удобны, а подчас без них трудно обойтись; повредить же они не могут, пока мы не забываем их неизбежных недостатков.

Однако вернемся к г. Дюрингу. Если ему несколько не везет в области земной биологии, то он знает, как утешиться, спасаясь на свое звездное небо.

«Не только специальное устройство органа ощущения, но и весь объективный мир устроен так, чтобы вызывать удовольствие и боль. На этом основании мы принимаем, что противоположность удовольствия и боли, притом *точно* в той самой форме, которая нам знакома, — что эта противоположность универсальна и должна быть представлена однородными по существу чувствами *в различных мирах вселенной...* Это соответствие имеет *немалое* значение, ибо оно является ключом к пониманию *вселенной ощущений...* Нам, следовательно, субъективный космический мир не намного более чужд, чем мир объективный. Строение того и другого царства следует мыслить по единообразному типу, и таким путем мы получаем начатки учения о сознании, имеющего не одну лишь земную сферу применения».

Что значит две-три грубые ошибки в земном естествознании для человека, который носит в своем кармане ключ ко вселенной ощущений? Allons donc! ¹.

¹ Как бы не так! *Ред.*

IX

МОРАЛЬ И ПРАВО. ВЕЧНЫЕ ИСТИНЫ

Мы воздерживаемся от того, чтобы приводить образчики той крошки из плоской и оракульской болтовни, словом, того чистейшего *вздора*, который г. Дюринг преподносит своим читателям на протяжении целых пятидесяти страниц под видом проникающей до корней науки об элементах сознания. Прочитируем лишь следующее: «Кто способен мыслить только при посредстве речи, тот еще не испытал, что значит *отвлеченное* и *подлинное* мышление». Если так, то животные оказываются самыми отвлеченными и подлинными мыслителями, так как их мышление никогда не затемняется назойливым вмешательством речи. Во всяком случае, по дюринговским мыслям и по выражающему их языку можно видеть, как мало эти мысли приспособлены к какому бы то ни было языку и как мало немецкий язык приспособлен к этим мыслям.

Наконец, мы с чувством облегчения можем перейти к четвертому отделу, который, кроме этой расплывчатой словесной каши, дает, по крайней мере, там и сям кое-что уловимое относительно *морали* и *права*. На этот раз мы уже в самом начале получаем приглашение совершить экскурсию на другие небесные тела: элементы морали должны «оказаться... согласованными... у всех. внечеловеческих существ, деятельному рас судку которых приходится заниматься сознательным упорядочением инстинктивных проявлений жизни... Впрочем, наш интерес к подобным выводам будет невелик... Все же на наш кругозор действует *благотворно расширяющим образом* мысль, что на других небесных телах индивидуальная и общественная жизнь должна исходить из схемы, которая... не может устранить или обойти основную общую организацию существа, действующего сообразно рассудку».

Если применимость дюринговских истин ко всем другим возможным мирам выставляется здесь, в виде исключения, в самом начале, а не в конце соответствующей главы, то для этого имеется свое достаточное основание. Раз будет установлена применимость дюринговских представлений о морали и справедливости ко всем *мирам*, то тем легче можно будет распространить их благотворную силу на все *времена*. И опять-таки речь идет здесь — ни много, ни мало — об окончательных истинах в последней инстанции. Мир морали «так же, как и мир общего знания, имеет свои непреходящие принципы и простые элементы»; моральные принципы стоят «над историей и над современными различиями народных характеров... Отдельные истины, из которых в ходе развития складывается более полное моральное сознание и, так сказать, совесть, могут, поскольку они познаны до своих последних оснований, претендовать на

такую же применимость и такую же сферу действия, как истины и приложения математики. *Подлинные истины вообще неизменны...* так что вообще нелепо представлять себе правильность познания зависящей от времени и реальных перемен». Поэтому надежность строгого знания и достаточность обыденного познания, — когда мы находимся в душевно нормальном состоянии, — не дают нам дойти до безнадежного сомнения в абсолютном значении принципов знания. «Уже одно длительное сомнение есть состояние болезненной слабости и представляет не что иное, как проявление *безнадежной путаницы*, которая пытается иногда в систематизированном сознании своего *ничтожества* создать видимость какой-то устойчивости. В вопросах нравственности отрицание всеобщих принципов цепляется за географическое и историческое многообразие нравов и нравственных начал, и стоит еще признать неизбежную необходимость нравственно дурного и злого, чтобы уже совершенно отвергнуть серьезное значение и фактическую действительность созвучных моральных побуждений. Этот *разведающий скепсис*, который обращается не против каких-либо отдельных лжеучений, а против самой человеческой способности к сознательному, моральному состоянию, должен вылиться в конце концов в действительное ничто, даже, в сущности, во что-то худшее, чем простой нигилизм... Он льстит себя надеждой, что сумеет без труда властвовать среди *дикого хаоса* неиспровергнутых им нравственных представлений и открыть настежь двери беспринципному произволу. Но он жестоко ошибается, ибо достаточно простого указания на неизбежные судьбы разума в заблуждении и истине, чтобы уже путем одной этой аналогии стало ясно, что естественная погрешимость не исключает непременно возможности осуществлять правильное».

Мы спокойно принимали до сих пор все эти пышные фразы г. Дюринга об окончательных истинах в последней инстанции, о суверенности мышления, абсолютной достоверности познания и т. д., так как вопрос этот мог быть решен только в том пункте, до которого мы теперь дошли. До сих пор достаточно было исследовать, насколько отдельные утверждения философии действительности имеют «суверенное значение» и «безусловное право на истину». Здесь же мы приходим к вопросу, могут ли продукты человеческого познания вообще и если да, то какие, иметь суверенное значение и безусловное право (*Anspruch*) на истину. Когда я говорю — *человеческого* познания, то делаю это не с каким-либо оскорбительным умыслом по отношению к обитателям других небесных тел, которых не имею чести знать, но лишь потому, что и животные тоже познают, хотя отнюдь несуверенно. Собака познает в своем господине своего бога, причем господин этот может быть превеликим негодяем.

Суверенно ли человеческое мышление? Прежде чем ответить «да» или «нет», мы должны исследовать сначала, что такое человеческое мышление. Есть ли это мышление отдельного единичного человека? Нет. Но оно существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей. Если я говорю, следовательно, что это обобщаемое в моем представлении мышление всех этих людей, включая и будущих, *суверенно*, т. е. что оно в состоянии познать существующий мир, поскольку человечество будет достаточно долго существовать и поскольку в самих органах и объектах познания не поставлены границы этому познанию, — то высказываю нечто довольно банальное и к тому же довольно бесплодное. Ибо самым ценным результатом высказанной мысли можно считать то, что она настраивает нас крайне недоверчиво к нашему нынешнему познанию, так как мы, по всей вероятности, стоим еще, примерно, в самом начале человеческой истории, и поколения, которым придется поправлять *нас*, будут, надо полагать, гораздо многочисленнее тех поколений, познание которых мы готовы поправлять теперь, относясь к ним сплошь и рядом свысока.

Сам г. Дюринг объявляет необходимостью тот факт, что сознание, а следовательно, также мышление и познание могут проявиться только в ряде отдельных существ. Мышлению каждого из этих индивидов мы можем приписать суверенность лишь постольку, поскольку мы не знаем никакой власти, которая могла бы насильственно навязать ему, в здоровом и бодрствующем состоянии, какую-либо мысль. Что же касается суверенного значения познаний, достигнутых каждым индивидуальным мышлением, то все мы знаем, что об этом не может быть и речи и что, по всему нашему прежнему опыту, эти познания, без исключения, содержат в себе гораздо больше элементов, допускающих улучшение, нежели элементов, не нуждающихся в подобном улучшении, т. е. правильных.

Другими словами, суверенность мышления осуществляется в ряде людей, мыслящих чрезвычайно несуверенно; познание, имеющее безусловное право на истину, — в ряде относительных (релятивных) заблуждений; ни то, ни другое не может быть осуществлено полностью иначе как при бесконечной продолжительности жизни человечества.

Мы имеем здесь снова то противоречие, с которым уже встречались выше, противоречие между характером человеческого мышления, представляющим нам в силу необходимости абсолютным, и осуществлением его в отдельных людях, мыслящих только ограниченно. Это противоречие может быть разрешено только в бесконечном поступательном движении, в таком ряде последовательных человеческих поколений, который, для нас, по крайней мере, на практике бесконечен. В этом смысле

человеческое мышление столь же суверенно, как несуверенно, и его способность познания столь же неограниченна, как ограничена. Суверенно и неограниченно по своей природе, призванию, возможности, исторической конечной цели; несуверенно и ограничено по отдельному осуществлению, по данной в то или иное время действительности.

Точно так же обстоит дело с вечными истинами. Если бы человечество пришло когда-либо к тому, чтобы оперировать одними только вечными истинами — результатами мышления, которые имеют суверенное значение и абсолютное право на истину, то оно бы дошло до той точки, где бесконечность интеллектуального мира оказалась бы реально и потенциально исчерпанной, и, таким образом, совершилось бы пресловутое чудо сосчитанной бесчисленности.

Но ведь существуют же истины, настолько твердо установленные, что всякое сомнение в них представляется нам равнозначным сумасшествию? Например, что дважды два равно четырем, что сумма углов треугольника равна двум прямым, что Париж находится во Франции, что человек без пищи умирает с голоду и т. д. Значит, существуют все-таки *вечные истины*, окончательные истины в последней инстанции?

Конечно. Всю область познания мы можем, согласно издавна известному способу, разделить на три больших отдела. К первому относятся все науки о неживой природе, доступные в большей или меньшей степени математической обработке, таковы: математика, астрономия, механика, физика, химия. Если кому-нибудь доставляет удовольствие применять большие слова к весьма простым вещам, то можно сказать, что *некоторые* результаты этих наук представляют собой вечные истины, окончательные истины в последней инстанции, почему эти науки и были названы *точными*. Однако далеко еще не все результаты имеют такой характер. Когда в математику были введены переменные величины и когда их изменяемость была распространена также на бесконечно малое и бесконечно большое, — тогда и математика, вообще столь строго нравственная, совершила грехопадение: она вкусила от яблока познания, и это открыло ей путь к гигантским успехам, но вместе с тем и к заблуждениям. Кануло в вечность девственное состояние абсолютной значимости, неопровержимой доказанности всего математического; наступила эра разногласий, и мы дошли до того, что большинство людей дифференцирует и интегрирует не потому, что люди понимают, что они делают, а просто потому, что верят в это, так как до сих пор результат всегда получался правильный. Еще хуже обстоит дело в астрономии и механике, а в физике и химии находишься среди гипотез, словно в центре пчелиного роя. Да иначе оно и не может быть. В физике мы имеем дело с движением молекул, в химии — с образованием молекул из атомов,

и если интерференция световых волн не вымысел, то у нас нет абсолютно никакой надежды когда-либо увидеть эти интересные вещи собственными глазами. Окончательные истины в последней инстанции становятся здесь с течением времени удивительно редкими.

Еще хуже положение дела в геологии, которая, по самой своей природе, занимается главным образом такими процессами, при которых не присутствовали не только мы, но и вообще ни один человек. Поэтому добывание окончательных истин в последней инстанции сопряжено здесь с очень большим трудом, а результаты его крайне скудны.

Ко второму классу наук принадлежат науки, изучающие живые организмы. В этой области царит такое многообразие взаимоотношений и причинных связей, что не только каждый решенный вопрос поднимает огромное множество новых вопросов, но и каждый отдельный вопрос может быть решаем в большинстве случаев только по частям, путем ряда исследований, которые часто требуют целых столетий; к тому же потребность в систематизации изучаемых связей постоянно вынуждает нас к тому, чтобы окружать окончательные истины в последней инстанции густым лесом гипотез. Какой длинный ряд промежуточных ступеней от Галена до Мальпиги был необходим, чтобы правильно установить такую простую вещь, как кровообращение у млекопитающих! Как мало знаем мы о происхождении кровяных телец и как много не хватает нам еще и теперь промежуточных звеньев, чтобы привести, например, в рациональную связь проявления какой-либо болезни с ее причинами! При этом довольно часто появляются такие открытия, как открытие клетки, которые заставляют нас подвергнуть полному пересмотру все твердо установленные до сих пор в биологии окончательные истины в последней инстанции и целые груды их отбросить раз навсегда. Поэтому, кто захочет установить здесь подлинные, действительно неизменные истины, тот должен довольствоваться банальностями вроде того, что все люди должны умереть, что все самки у млекопитающих имеют молочные железы и т. д. Он не сможет даже сказать, что у высших животных пищеварение совершается желудком и кишечным каналом, а не головой, ибо для пищеварения необходима централизованная в голове нервная деятельность.

Но еще хуже обстоит дело с вечными истинами в третьей, — в исторической группе наук, изучающей, в их исторической преемственности и современном состоянии, условия жизни людей, общественные отношения, правовые и государственные формы с их идеальной надстройкой в виде философии, религии, искусства и т. д. В органической природе нам все же приходится иметь дело, по крайней мере, с последовательным рядом процессов, которые, в рамках нашего непосредственного

наблюдения, в очень широких пределах повторяются довольно правильно. Виды организмов остались со времен Аристотеля в общем и целом теми же самыми. Напротив, в истории обществ, как только мы выходим за пределы первобытного состояния человечества, так называемого каменного века, повторение явлений составляет исключение, а не правило; и если где и происходят такие повторения, то это никогда не бывает при совершенно одинаковых обстоятельствах. Таков, например, факт существования первобытной общинной собственности на землю у всех культурных народов, такова и форма ее разложения. Поэтому в области истории человечества наша наука отстала еще гораздо больше, чем в области биологии. Более того: если, в виде исключения, иногда и удастся познать внутреннюю связь общественных и политических форм существования в известный исторический период, то это, по общему правилу, происходит тогда, когда эти формы уже наполовину пережили себя, когда они клонятся уже к упадку. Познание, следовательно, носит здесь по самой сути дела относительный характер, так как ограничивается выяснением связей и следствий известных общественных и государственных форм, существующих только в данное время и у данных народов и по своей природе преходящих. Поэтому, кто здесь погонится за окончательными истинами в последней инстанции, за подлинными, вообще неизменными истинами, тот немногим поживится, — разве только банальностями и общими местами худшего сорта, вроде того что люди в общем не могут жить не трудясь, что они до сих пор делились большей частью на господствующих и подчиненных, что Наполеон умер 5 мая 1821 г. и т. д.

Замечательно, однако, что именно в этой области мы чаще всего наталкиваемся на так называемые вечные истины, на окончательные истины в последней инстанции и т. д. Что дважды два четыре, что у птицы имеется клюв, и тому подобные вещи объявляет вечными истинами лишь тот, кто собирается из факта существования вечных истин вообще сделать вывод, что и в истории человечества существуют вечные истины, вечная мораль, вечная справедливость и т. д., которые претендуют на подобное же значение и подобную же сферу действия, как выводы и приложения математики. И тогда можно быть вполне уверенным, что этот самый друг человечества заявит нам при первом удобном случае, что все прежние фабриканты вечных истин были в большей или меньшей степени ослами и шарлатанами, что все они находились во власти заблуждений, что все они ошибались и что *их* заблуждения и *их* ошибки вполне естественны и служат доказательством того, что все истинное и правильное имеется только у него; у него, этого новоявленного пророка, имеется в руках в совершенно готовом виде окончательная истина в последней инстанции, вечная мораль, вечная справедливость.

Все это уже бывало сотни и тысячи раз, так что приходится только удивляться, как еще встречаются люди достаточно легковерные, чтобы этому верить, когда дело идет не о других, — нет, когда дело идет о них самих. И, однако, здесь перед нами, по крайней мере, еще один такой пророк, который, как полагается, приходит в высоко моральное негодование, когда находятся люди, отрицающие возможность того, чтобы какой-либо отдельный человек был в состоянии открывать окончательные истины в последней инстанции. Отрицание этого положения, одно даже сомнение в нем есть признак слабости, свидетельствует о страшной путанице, ничтожестве, разъедающем скепсисе; оно хуже даже, чем простой нигилизм, дикий хаос и так далее в столь же изысканно-любезном стиле. Как это принято у всех пророков, мы не видим здесь попыток научно-критического исследования и обсуждения, — здесь г. Дюринг просто мечет громы нравственного негодования.

Мы могли бы упомянуть выше еще о науках, исследующих законы человеческого мышления, т. е. о логике и диалектике. Но и здесь с вечными истинами дело обстоит не лучше. Диалектику в собственном смысле слова г. Дюринг объявляет чистой бессмыслицей, а множество книг, которые были написаны и пишутся еще теперь по логике, служит достаточным доказательством, что и здесь окончательные истины в последней инстанции рассыпаны гораздо более редко, чем думают иные.

Однако нам отнюдь нет надобности приходить в ужас по поводу того, что ступень познания, на которой мы ныне стоим, столь же мало окончательна, как и все предшествующие. Она охватывает уже огромный материал фактов и требует очень углубленного специального изучения от каждого, кто хочет полностью освоиться с какой-либо областью знаний. При этом познание вещей по самой своей природе должно оставаться относительным для длинного ряда поколений и лишь постепенно достигать завершения, или даже должно навсегда остаться неполным и незаконченным уже вследствие недостаточности исторического материала, подобно космогонии, геологии и истории человечества. Кто же захочет применить критерий подлинной, неизменной, окончательной истины в последней инстанции к знаниям этого рода, тот докажет только собственное невежество и непонимание, если даже истинной подкладкой их не служит, как в данном случае, претензия на личную непогрешимость. Истина и заблуждение, подобно всем логическим категориям, движущимся в полярных противоположностях, имеют абсолютное значение только в пределах чрезвычайно ограниченной области; мы это уже видели, и г. Дюринг знал бы это, если бы был сколько-нибудь знаком с начатками диалектики, с первыми посылками ее, трактующими как раз о недостаточности всех полярных противоположностей. Как только мы станем применять

противоположность истины и заблуждения вне границ вышеуказанной узкой области, так эта противоположность делается относительной (релятивной) и, следовательно, негодной для точного научного способа выражений. А если мы попытаемся применять эту противоположность вне пределов указанной области, как абсолютную, то мы уже совсем потерпим фиаско: оба полюса противоположности превратятся каждый в свою противоположность, т. е. истина станет заблуждением, заблуждение — истиной. Возьмем в качестве примера известный закон Бойля, согласно которому объем газа при постоянной температуре обратно пропорционален производимому на него давлению. Реньо нашел, что этот закон неприменим в известных случаях. Если бы Реньо был «философом действительности», то обязан был бы заявить: закон Бойля изменчив, следовательно, он вовсе не настоящая истина, значит — он вообще не истина, значит, он — заблуждение. Но тем самым Реньо впал бы в гораздо большую ошибку, чем та, которая содержится в законе Бойля, в куче заблуждения затерялось бы найденное им зерно истины; он превратил бы, следовательно, свой первоначально верный результат в заблуждение, по сравнению с которым закон Бойля, вместе с присущей ему крупницей заблуждения, явился бы истиной. Но Реньо, как человек науки, не позволил себе подобного ребячества; он продолжал исследование и нашел, что закон Бойля вообще верен лишь приблизительно; в частности же он неприменим к газам, которые посредством давления могут быть приведены в капельно-жидкое состояние, и притом он теряет свою силу с того именно момента, когда давление приближается к точке, при которой наступает переход в жидкое состояние. Таким образом, оказалось, что закон Бойля верен только в известных пределах. Но абсолютно ли, окончательно ли верен он и в этих пределах? Ни один физик не станет утверждать этого. Он скажет, что закон действителен только в известных пределах давления и температуры и для известных газов; и он не станет отрицать возможности того, что в рамках этих узких границ придется произвести еще новые ограничения или придется вообще изменить формулировку закона¹. Так, следовательно, обстоит дело с окончательными истинами в последней

¹ С тех пор, как я написал эти строки, мои слова, повидимому, уже подтвердились. Согласно новейшим исследованиям Менделеева и Богуского, произведенным с помощью более точных аппаратов, было найдено, что все истинные газы обнаруживают изменяющееся отношение между давлением и объемом; у водорода коэффициент расширения оказался при всех примененных до сих пор давлениях положительным (объем уменьшался медленнее, чем увеличивалось давление); у атмосферного воздуха и у других исследованных газов была обнаружена для каждого газа нулевая точка давления, так что при меньшем давлении указанный коэффициент положителен, при большем — отрицателен. Следовательно, закон Бойля, до сих пор все еще практически пригодный, нуждается в дополнении целым рядом специальных

инстанции, например, в физике. Поэтому в действительно научных трудах избегают обыкновенно таких догматически-моральных выражений, как заблуждение и истина; напротив, мы их встречаем на каждом шагу в сочинениях, вроде философии действительности, где пустое разглагольствование о том и о сем хочет навязать себя в качестве сувереннейшего результата суверенного мышления.

Но, — спросит, быть может, наивный читатель, — где же г. Дюринг прямо заявил, что содержание его философии действительности представляет собой окончательную истину и притом в последней инстанции? Где? — Ну, хотя бы, например, в дифирамбе в честь своей системы (стр. 13), из которого мы привели некоторые выдержки во второй главе. Или, когда он в приведенном выше утверждении говорит: моральные истины, поскольку они познаны до своих последних оснований, могут притязать на подобное же значение, как и выводы математики. Затем, разве г. Дюринг не утверждает, что, исходя из своей истинно критической точки зрения и посредством своего исследования, проникающего до самых корней, он дошел до этих последних оснований, до основных схем, следовательно, придал моральным истинам характер окончательных истин в последней инстанции? Если же г. Дюринг не требует такого признания ни для себя, ни для своего времени; если он просто хочет только сказать, что когда-нибудь в туманном будущем могут быть установлены окончательные истины в последней инстанции; если он, следовательно, хочет сказать только более путаным образом приблизительно то же, что говорят «разъедающий скепсис» и «дикая путаница», — то в таком случае, к чему весь этот шум и что, собственно, угодно г. Дюрингу?

Если мы не сдвинулись с места уже в вопросе об истине и заблуждении, то еще хуже обстоит дело с добром и злом. Эта противоположность проявляется исключительно в области морали, стало быть, в области, относящейся к истории человечества, а здесь окончательные истины в последней инстанции рассеяны еще более скупо. Представления о добре и зле так менялись от народа к народу, от века к веку, что часто прямо противоречили одно другому. — Но, возразит кто-нибудь, добро все-таки не зло и зло не добро; если смешивать добро и зло, то исчезает всякая нравственность, и каждый может делать и поступать так, как ему угодно. Таково именно мнение г. Дюринга, если освободить это мнение от оракульского наряда. Но так просто вопрос все-таки не решается. Если бы это было действительно так просто, то не было бы никаких споров о добре и

законов. (Теперь — в 1885 г. — мы знаем, что вообще не существует никаких «истинных» газов. Все они были приведены в капельно-жидкое состояние.)
[Примечание Энгельса.]

зле, каждый бы знал, что есть добро и что есть зло. А между тем, как обстоит дело ныне? Какая мораль проповедуется нам теперь? Прежде всего христианско-феодалная, унаследованная от прежних религиозных времен; она, в свою очередь, распадается в основном на католическую и протестантскую, причем опять-таки нет недостатка в дальнейших подразделениях от иезуитско-католической и ортодоксально-протестантской до шаткой просветительской морали. Рядом с ними фигурирует современно-буржуазная мораль, а рядом с последнею — пролетарская мораль будущего; таким образом, в одних только передовых странах Европы прошедшее, настоящее и будущее выдвинули три большие группы одновременно и параллельно существующих теорий морали. Какая же из них является истинной? Ни одна, если прилагать мерку абсолютной завершенности; но, конечно, та мораль обладает наибольшим количеством элементов, обещающих ей долговечное существование, которая в настоящем выступает за низвержение современного строя, защищает будущее, следовательно, — мораль пролетарская.

Но если каждый из трех классов современного общества, феодальная аристократия, буржуазия и пролетариат, имеет свою особую мораль, то мы можем сделать отсюда лишь тот вывод, что люди, сознательно или бессознательно, черпают свои нравственные воззрения в последнем счете из практических отношений, на которых основано их классовое положение, т. е. из экономических отношений, в которых происходят производство и обмен.

Но ведь в трех вышеуказанных теориях морали есть нечто общее им всем; быть может, именно оно и представляет, по крайней мере, известную долю раз навсегда установленной морали? Указанные теории морали выражают собой три различные ступени одного и того же исторического развития, значит, имеют общую историческую почву, и уже потому в них не может не быть много общего. Более того. Для одинаковых или приблизительно одинаковых ступеней экономического развития нравственные теории должны непременно более или менее соответствовать друг другу. С того момента, как развилась частная собственность на движимые вещи, для всех обществ, в которых существовала эта частная собственность, должна была стать общей моральная заповедь: «не укради». Становится ли от этого приведенная заповедь вечной моральной заповедью? Отнюдь нет. В обществе, в котором устранены всякие мотивы к краже, где, следовательно, со временем кражу будут совершать разве только душевнобольные, — какому осмеянию подвергся бы там тот проповедник морали, который вздумал бы торжественно провозгласить вечную истину: не укради!

Мы поэтому отвергаем всякую попытку навязать нам какую бы то ни было моральную догматику в качестве вечного, окон-

чательного, отныне неизменного нравственного закона, под тем предлогом, что мир морали также имеет свои непреходящие принципы, которые стоят выше истории и национальных различий. Напротив, мы утверждаем, что всякая теория морали являлась до сих пор в конечном счете продуктом данного экономического положения общества. А так как общество до сих пор развивалось в классовых противоположностях, то мораль всегда была классовой моралью: она или оправдывала господство и интересы господствующего класса, или же, когда угнетенный класс становился достаточно сильным, выражала его возмущение против этого господства и представляла интересы будущности угнетенных. Никто, конечно, не сомневается, что при этом в морали, как и во всех других отраслях человеческого познания, в общем наблюдается прогресс. Но мы еще и теперь не вышли из рамок классовой морали. Мораль истинно человеческая, стоящая выше классовых противоречий и всяких воспоминаний о них, станет возможной лишь на такой ступени развития общества, когда не только будет уничтожена противоположность классов, но изгладится и след ее в практической жизни. А теперь пусть оценят самомнение г. Дюринга, который, находясь в гуще старого классового общества, претендует, накануне социальной революции, навязать будущему бесклассовому обществу вечную, не зависящую от времени и реальных изменений мораль! Так обстоит дело, если даже предположить, что г. Дюринг понимает, хотя бы в общих чертах, строй этого будущего общества, — что нам пока еще неизвестно.

В заключение еще одно «своеобразное в своей основе» и тем не менее «до корней проникающее» открытие. В вопросе о происхождении зла «тот факт, что *тип кошки*, со свойственной ей фальшивостью, существует как один из животных видов, представляет собой для нас явление того же порядка, как наличие подобного же характера в человеке... Поэтому зло не есть что-либо таинственное, если не желать подозревать нечто мистическое также в существовании *кошки* или вообще хищных животных». Зло — это кошка. У чорта, следовательно, не рога и лошадиные копыта, а когти и зеленые глаза. И Гете совершил непростительную ошибку, когда вывел Мефистофеля в виде черной собаки, а не в виде вышеупомянутой черной кошки. Зло — это кошка! Вот это действительно мораль, годная не только для всех миров, но — и для кошки! ¹.

¹ В подлиннике здесь непереводаемая игра слов: выражение «für die Katze» означает совершенно негодную вещь и, в связи с этим, также и труд, затраченный впустую. *Ред.*

X

МОРАЛЬ И ПРАВО. РАВЕНСТВО

Мы уже имели не один случай познакомиться с методом г. Дюринга. Метод его состоит в том, чтобы разлагать каждую группу объектов познания на их якобы простейшие элементы, применять к этим элементам столь же простые, якобы самоочевидные аксиомы и затем оперировать добытыми таким образом результатами. Поэтому и вопросы из области общественной жизни «следует решать аксиоматически, на отдельных простых, основных формах, как если бы дело шло о простых... основных формах математики». И, таким образом, применение математического метода к истории, морали и праву должно и здесь привести нас к математической достоверности добытых результатов, должно придать этим результатам характер подлинных, неизменных истин.

Это только иная форма старого излюбленного идеологического метода, называемого также априорным, согласно которому свойства какого-либо предмета познаются не путем обнаружения их в самом предмете, а путем логического выведения их из понятия предмета. Сперва, исходя из предмета, составляют себе понятие предмета; затем переворачивают все вверх ногами и превращают отображение предмета, его понятие в мерку для самого предмета. Теперь уже не понятие должно сообразоваться с предметом, а предмет должен сообразоваться с понятием. У г. Дюринга вместо понятия фигурируют простейшие элементы, последние абстракции, до которых он в состоянии дойти, но это несколько не меняет сущности дела: простейшие элементы, в лучшем случае, обладают чисто логической природой. Следовательно, философия действительности оказывается и здесь чистой идеологией, выведением действительности не из нее самой, а из представления.

Что происходит, когда подобного рода идеолог конструирует мораль и право не из действительных общественных отношений окружающих его людей, а из понятия или из так называемых простейших элементов «общества»? Что служит ему материалом для этой постройки? Очевидно, вещи двоякого рода: во-первых, те скудные остатки реального содержания, которые уцелели, может быть, в этих положенных в основу абстракциях, а во-вторых, то содержание, которое наш идеолог привносит из своего собственного сознания. А что же он находит в своем сознании? Большею частью моральные и правовые воззрения, которые представляют собой более или менее соответствующее выражение — в положительном или отрицательном смысле, в смысле поддержки или борьбы — общественных и

политических отношений, среди которых он живет; далее он находит, быть может, представления, заимствованные из соответствующей литературы, и, наконец, возможно еще какие-нибудь личные причуды. Наш идеолог может вертеться и изворачиваться, как ему угодно: историческая реальность, выброшенная им за дверь, влетает обратно в окно. Воображая, что он создает нравственное и правовое учение для всех миров и всех времен, он на самом деле дает искаженное, — ибо оно оторвано от реальной почвы, — и поставленное вверх ногами отражение, словно в вогнутом зеркале, консервативных или революционных течений своего времени.

Итак, г. Дюринг разлагает общество на простейшие его элементы, причем оказывается, что простейшее общество состоит, по крайней мере, из *двух* человек. С этими двумя индивидами г. Дюринг оперирует затем аксиоматически. И тут непринужденно получается основная аксиома морали: «две человеческие воли как таковые *вполне равны* между собой, и ни одна из них не может предъявить другой никаких положительных требований». Тем самым «охарактеризована основная форма моральной справедливости», равно как и справедливости юридической, ибо «для развития принципиальных понятий права мы нуждаемся лишь в совершенно простом и элементарном отношении *двух человек*».

Что два человека или две человеческие воли как таковые *совершенно* равны между собой, — это не только не аксиома, но представляет даже сильное преувеличение. Два человека могут быть, прежде всего, даже как таковые неравны по полу, и этот простой факт тотчас же приводит нас к тому, что простейшими элементами общества, — если на минуту принять всерьез эти ребяческие представления, — являются не двое мужчин, но мужчина и женщина, которые образуют *семью*, эту простейшую и первичную форму общественной связи в целях производства. Это никак не подходит г. Дюрингу. Ибо, во-первых, ему нужно сделать обоих основателей общества возможно более равными, а во-вторых, даже и г. Дюринг не сумел бы из первобытной семьи сконструировать моральное и правовое равенство мужчины и женщины. Итак, одно из двух: либо социальная молекула г. Дюринга, путем умножения которой должно строиться все общество, заранее обречена на гибель, ибо двое мужчин никогда не сотворят друг с другом ребенка, либо же мы должны представлять себе их как двух глав семейств. В последнем случае вся простая основная схема превращается в свою противоположность: вместо равенства людей она доказывает, в лучшем случае, равенство глав семейств, а так как при этом женщину игнорируют, то эта схема свидетельствует сверх того и о подчинении женщины.

Мы должны здесь сообщить читателю неприятное известие:

стныне он на довольно долгое время не избавится от этих двух достославных мужей. В области общественных отношений они играют такую же роль, какую до сих пор играли обитатели других небесных тел, от которых мы, надо надеяться, уже избавились. Как только приходится решать какой-либо вопрос политической экономии, политики и т. д., вдруг появляются эти два мужа и в один момент решают вопрос «аксиоматически». Какое это замечательное, творческое, системосозидающее открытие нашего философа действительности! Но если воздать должное истине, то мы, к сожалению, должны будем сказать, что не он открыл этих двух мужей. Они — общее достояние всего XVIII века. Они встречаются уже в трактате Руссо о неравенстве (1754 г.), где они, между прочим, аксиоматически доказывают как раз противоположное тому, что утверждает г. Дюринг. Затем они играют главную роль у политико-экономов — от Адама Смита до Рикардо; но тут они по крайней мере неравны в том отношении, что каждый из них занимается своим особым делом — чаще всего это охотник и рыбак — и что они взаимно обмениваются своими продуктами. Кроме того, в течение всего XVIII века они служат главным образом простым поясняющим примером, и оригинальность г. Дюринга состоит лишь в том, что этот иллюстративный метод он возводит в основной метод всякой общественной науки и в масштаб всех исторических общественных форм. Трудно, конечно, облегчить себе в большей мере «строго-научное понимание вещей и людей».

Но для создания основной аксиомы, — что два человека и их воли совершенно равны между собой и что ни один из них не может приказывать что-либо другому, — для такого дела годятся отнюдь не двое первых встречных мужчин. Это должны быть два таких человека, которые настолько свободны от всякой реальности, от всех существующих на земле национальных, экономических, политических и религиозных отношений, от всяких половых и личных особенностей, что от них обоих не остается ничего, кроме голого понятия «человек», а тогда они, конечно, «совершенно равны». Следовательно, это два настоящих призрака, вызванных тем самым г. Дюрингом, который везде чует и обличает «спиритические» поползновения. Эти два призрака должны, разумеется, делать все, что прикажет им их заклинатель; но именно потому все их фокусы в высшей степени безразличны для остального мира.

Однако, проследим аксиоматику г. Дюринга несколько дальше. Обе воли не могут предъявлять одна другой никаких положительных требований. Если же одна из них все же делает это и проводит свое требование силой, то возникает состояние несправедливости, и на этой основной схеме г. Дюринг разъясняет, что такое несправедливость, насилие, рабство, — коротко говоря, разъясняет всю прошлую, достойную осуждения исто-

рию. Между тем уже Руссо в указанном выше сочинении как раз при посредстве двух мужей доказывал столь же аксиоматически нечто совершенно противоположное, а именно: что из двух субъектов, А и Б, первый не может поработить второго посредством насилия, а только оставив Б в такое положение, в котором последний не может обойтись без А, — воззрение, для г. Дюринга чересчур уж, правда, материалистическое. Рассмотрим поэтому тот же вопрос с несколько иной стороны. Два человека, потерпевших кораблекрушение, попали на необитаемый остров и образуют там общество. Воли их формально совершенно равны, и оба признают это. Но материально между ними существует большое неравенство: А — решителен и энергичен, Б — нерешителен, ленив и вял; А — смыслен, Б — глуп. Много ли времени должно пройти, чтобы, как правило, А навязал Б свою волю, сначала путем убеждения, затем по установившейся привычке, но всегда в форме добровольного согласия? Однако, соблюдена ли при этом форма добровольного согласия? или же она грубо попирается ногами, — рабство остается рабством. Добровольное вступление в несвободное состояние проходит через все средневековые, а в Германии оно наблюдается еще и после Тридцатилетней войны. Когда в Пруссии, после военных поражений 1806 и 1807 гг., была отменена крепостная зависимость, а вместе с ней и обязанность всемилостивейших господ заботиться о своих подданных в случае нужды, болезни или старости, то крестьяне подавали петиции королю с просьбой оставить их в подневольном состоянии, иначе кто же будет заботиться о них в случае нужды? Следовательно, схема двух мужей столько же «рассчитана» на неравенство и рабство, как на равенство и взаимопомощь, а так как мы вынуждены, под страхом вымирания общества, признать их главами семейств, то в схеме предусмотрено уже и наследственное рабство.

Оставим, однако, на время все эти соображения в стороне. Допустим, что аксиоматика г. Дюринга нас убедила и что мы в совершенном восторге от идеи полной равноправности обеих воль, «общечеловеческой суверенности», «суверенности индивида», — от всей этой поистине пышной фразеологии, по сравнению с которой даже штирнеровский «Единственный» с его собственностью¹ ничего не стоит, хотя и он внес свою скромную лепту в это дело. Итак, мы все теперь *совершенно равны* и независимы. Все ли? Нет, все-таки не все. Существуют случаи «дозволенной зависимости», но они объясняются «основаниями, которых следует искать не в деятельности обеих воль как таковых, а в третьей области, например, — когда дело идет о детях, — в недостаточности их самоопределения».

¹ «Единственный и его собственность» — название произведения Макса Штирнера, которое было подвергнуто Марксом и Энгельсом уничтожающей критике в «Немецкой идеологии». *Ред.*

В самом деле! Оснований зависимости надо искать не в деятельности обеих воль как таковых! Конечно, не в ней, ибо одной воле как раз мешают проявлять свою деятельность. Но надо искать этих оснований в третьей области! А что это за третья область? Это — конкретная определенность одной угнетенной воли как недостаточной. Наш философ действительности так далеко ушел от действительности, что по сравнению с абстрактным и бессодержательным термином «воля» действительное содержание, характерная определенность этой воли является для него уже «третьей областью». Как бы то ни было, мы должны констатировать, что равноправие допускает исключение. Равноправие теряет свою силу для такой воли, которая страдает недостаточностью самоопределения. *Отступление № 1.*

Далее. «Там, где в одном лице соединены зверь и человек, можно поставить от имени второго, вполне человеческого лица вопрос, должен ли его образ действий быть таким же, как если бы друг другу противостояли, так сказать, только человеческие личности... Поэтому наше предположение о двух морально-неравных лицах, из которых одно причастно в каком-либо смысле к собственно-звериному характеру, является типической основной формой для всех отношений, которые могут, согласно этому различию, встречаться... внутри человеческих групп и между такими группами». Пусть теперь читатель сам прочтет следующее за этими беспомощными увертками жалобное рассуждение, где г. Дюринг вертится и изворачивается, словно иезуитский поп, чтобы казуистически установить, как далеко может пойти человеческий человек против человека-зверя, как далеко может он применять по отношению к последнему недоверие, военную хитрость, суровые и даже террористические средства, а также обман, — нисколько не поступаясь при этом неизменной моралью.

Итак, равенство прекращается и тогда, когда два человека «морально неравны». В таком случае и не стоило вызывать на сцену двух совершенно равных людей, ибо нет двух лиц, которые были бы совершенно равны в моральном отношении. — Однако, говорят нам, неравенство состоит в том, что одна личность человеческа, а в другой сидит зверь. Но уже самый факт происхождения человека из животного царства обуславливает собой то, что человек никогда не освободится полностью от свойств, присущих животному, и, следовательно, речь может идти только о том, имеются ли эти свойства в большей или меньшей степени, — речь может идти только о различной степени животности или человечности. Деление человечества на две резко обособленные группы, на человеческих людей и людей-зверей, на добрых и злых, на овец и козлищ, — такое деление признается, кроме философии действительности, еще только христианством, которое вполне последовательно имеет и своего небесного

судью, совершающего это разделение. Но кто же будет верховным судьей в философии действительности? Надо полагать, что вопрос этот будет разрешен так, как он решается на практике в христианстве, где благочестивые овечки берут на себя — и с известным успехом — роль верховного судьи над своими мирскими ближними — «козлищами». Секта философов действительности, если она когда-нибудь возникнет, наверно не уступит в этом отношении тишайшим святошам. Это обстоятельство, впрочем, для нас безразлично; нас интересует лишь признание, что вследствие морального неравенства между людьми их равенство опять сводится на нет. *Отступление № 2.*

Пойдем дальше. «Если один поступает сообразно с истиной и наукой, а другой сообразно с каким-либо суеверием или предрассудком, то... как правило, должны возникнуть взаимные трения... При известной степени неспособности, грубости или злых наклонностей характера всегда должно последовать столкновение... *Насилие* является крайним средством не только по отношению к детям и сумасшедшим. Характер целых естественных групп людей и культурных классов может сделать неизбежной необходимостью *подчинить* их враждебную, вследствие своей извращенности, волю с целью ввести ее в рамки общежития. Чужая воля признается *равноправной* и в этом случае, но вследствие извращенного характера ее вредной и враждебной деятельности она вызывает необходимость *выравнивания*, и если она подвергается при этом насилию, то производит лишь отраженное действие своей собственной несправедливости».

Следовательно, не только морального, но и умственного неравенства достаточно для того, чтобы устранить «полное равенство» двух волей и утвердить такую мораль, согласно которой можно оправдать все позорные деяния цивилизованных государств-грабителей по отношению к отсталым народам, вплоть до зверств царской России в Туркестане. Когда генерал Кауфман летом 1873 г. напал на татарское племя иомудов, сжег их шатры и велел изрубить их жен и детей, «согласно доброму кавказскому обычаю», как было сказано в приказе, то он также утверждал, что подчинение враждебной, вследствие своей извращенности, воли иомудов, с целью ввести ее в рамки общежития, стало неизбежной необходимостью и что примененные им средства наиболее целесообразны; а кто хочет какой-нибудь цели, тот должен хотеть и средств к ее достижению. Но только он не был настолько жесток, чтобы вдобавок еще глумиться над иомудами и говорить, что, истребляя их в видах выравнивания, он этим как раз признает их волю равноправной. Опять-таки в этом конфликте люди избранные, поступающие якобы сообразно с истиной и наукой, — следовательно, в конечном счете философы действительности, — призваны решать, что

такое суеверие, предрассудок, грубость, злые наклонности характера, а также решать, когда именно необходимы насилие и подчинение в целях выравнивания. Равенство, таким образом, превратилось теперь в выравнивание путем насилия, и первая воля признает равноправность второй путем ее подчинения. *Отступление № 3*, переходящее здесь уже в позорное бегство.

Мимоходом заметим: фраза о том, что чужая воля признается равноправной именно в процессе выравнивания путем насилия, представляет только искажение теории Гегеля, согласно которой наказание составляет право преступника: «В том, что наказание рассматривается как заключающее в себе собственное право преступника, содержится уважение к преступнику как к разумному существу» (*Rechtsphilosophie*¹, § 100, примечание).

Здесь мы можем остановиться. Было бы излишним следовать еще далее за г. Дюрингом, чтобы видеть, как он сам разрушает по частям столь аксиоматически установленное им равенство, общечеловеческую суверенность и т. д.; как он, ухитрившись построить общество только с помощью двух мужей, вынужден, однако, для конструирования государства привлечь еще третьего, ибо, — вкратце излагая дело, — без этого третьего не могут состояться никакие постановления большинства, а без таких постановлений — следовательно, также без господства большинства над меньшинством — не может существовать ни одно государство; как он затем постепенно сворачивает в более спокойный фарватер созидания своего «социалитарного» государства будущего, где мы еще будем иметь честь навестить его в одно прекрасное утро. Мы в достаточной мере могли убедиться, что полное равенство двух волей существует лишь до тех пор, пока обе эти воли *ничего не желают*, но как только они перестают быть абстрактными человеческими волями и превращаются в действительные индивидуальные воли, в воли двух действительных людей, — равенство тотчас же прекращается. Мы видели, что детский возраст, безумие, так называемые зверские черты характера, мнимые суеверия, приписываемые предрассудки, предполагаемая неспособность у одной стороны и воображаемая человечность, понимание истины и науки у другой, — одним словом, всякое различие в качестве обеих волей и сопровождающих их интеллектов оправдывает неравенство между людьми, которое может доходить до подчинения. Чего же, спрашивается, нам требовать еще, раз г. Дюринг разрушил свое собственное здание равенства столь коренным образом и до самого основания?

Но если мы и покончили с плоской и неуклюжей трактовкой идеи равенства у г. Дюринга, то это еще не значит, что мы

¹ «Философия права». Ред.

покончили с самой этой идеей, которая сыграла, в особенности благодаря Руссо, определенную теоретическую роль, во время же великой революции¹ и после нее — практически-политическую роль, а также и теперь еще играет в социалистическом движении почти всех стран видную агитаторскую роль. Выяснение научного содержания этого понятия определит и его ценность для пролетарской агитации.

Представление о том, что все люди как люди имеют между собой нечто общее и что они, насколько простирается это общее, также равны, само собой разумеется, древнего происхождения. Но от этого представления совершенно отлично современное требование равенства. Это требование состоит, скорее, в том, что из того общего свойства людей, что они люди, из равенства людей, как людей, оно выводит право на равное политическое и — соответственно — социальное значение всех людей или, по крайней мере, всех граждан данного государства или всех членов данного общества. Должны были пройти и действительно прошли целые тысячелетия для того, чтобы из первоначального представления об относительном равенстве был сделан вывод о равноправии в государстве и обществе, для того, чтобы этот вывод стал казаться даже чем-то естественным, самоочевидным. В древнейших, первобытных общинах речь могла идти в лучшем случае о равноправии членов общины; женщины, рабы, чужестранцы, само собой разумеется, не входили в круг этих равноправных людей. У греков и римлян неравенства между людьми играли гораздо большую роль, чем равенство их в каком бы то ни было отношении. Древним показалась бы безумной мысль о том, что греки и варвары, свободные и рабы, граждане государства и те, кто только пользуется его покровительством, римские граждане и римские подданные (употребляя последнее слово в широком смысле), — что все они могут претендовать на равное политическое значение. Под властью Римской империи все эти различия мало-помалу стерлись, за исключением различия между свободным и рабом; таким образом, возникло, по крайней мере для свободных, то равенство частных лиц, на почве которого развилось римское право, совершеннейшая, какую мы только знаем, форма права, имеющего своей основой частную собственность. Но пока существовала противоположность между свободным и рабом, до тех пор не могло быть и речи о правовых выводах, вытекающих из *общечеловеческого равенства*; это мы еще недавно видели в рабовладельческих штатах Североамериканского Союза.

Христианство знало только *одно* равенство для всех людей, а именно — равенство первородного греха, что вполне соответствовало его характеру религии рабов и угнетенных. Наряду

¹ Энгельс имеет в виду французскую буржуазную революцию 1789 г. *Ред.*

с этим оно, в лучшем случае, признавало еще равенство избранных, которое выдвигалось, однако, только в самый начальный период христианства. Следы общности имущества, которые также встречаются на первоначальной стадии новой религии, объясняются скорее сплоченностью людей, подвергавшихся гонениям, чем действительными представлениями о равенстве. Очень скоро установление различия между священником и мирянином положило конец и этому зачатку христианского равенства. — Наводнение западной Европы германцами устранило на столетия все представления о равенстве, создав постепенно социальную и политическую иерархию столь сложного типа, какого до тех пор еще не существовало. Но одновременно оно вовлекло в историческое движение западную и центральную Европу и создало здесь впервые компактную культурную область, где впервые возникла система преимущественно национальных государств, которые друг на друга влияли и держали друг друга в страхе. Таким путем была подготовлена почва, на которой только и могла в позднейшее время возникнуть речь о человеческом равенстве, о правах человека.

Кроме того, в недрах феодального средневековья сложился тот класс, который призван был сделаться в своем дальнейшем развитии носителем современного требования равенства, а именно — буржуазия. Буржуазия, бывшая первоначально сама феодальным сословием, довела преимущественно ремесленную промышленность и обмен продуктов внутри феодального общества до сравнительно высокой ступени развития, когда в конце XV века великие открытия морских путей развернули перед ней новое, более широкое поприще. Внеевропейская торговля, которая до тех пор велась только между Италией и Левантом, распространилась теперь на Америку и Индию и скоро превысила по своему значению как обмен отдельных европейских стран между собой, так и внутренний обмен каждой отдельной страны. Американское золото и серебро наводнили Европу и как разлагающий элемент проникли во все щели, трещины и поры феодального общества. Ремесленное производство перестало удовлетворять растущий спрос; в руководящих отраслях промышленности наиболее передовых стран оно было заменено мануфактурой.

Однако, вслед за этим громадным переворотом в экономических условиях жизни общества далеко не сразу наступило соответствующее изменение его политической структуры. Государственный строй оставался феодальным, тогда как общество становилось все более и более буржуазным. Торговля в крупном масштабе, в особенности же международная, а тем более — всемирная торговля, требует свободных, не стесненных в своих движениях товаровладельцев, которые как таковые равноправны и ведут между собой обмен на основе этого равного для них

всех права, — равного по крайней мере в каждом данном месте. Переход от ремесла к мануфактуре имеет своей предпосылкой существование известного числа свободных рабочих, — свободных, с одной стороны, от цеховых пут, а с другой — от средств, необходимых для самостоятельного использования своей рабочей силы, — людей, которые могут договариваться с фабрикантом о найме их рабочей силы и, следовательно, противостоят ему как равноправная договаривающаяся сторона. И, наконец, равенство и равное значение всех видов человеческого труда, — потому что все виды труда являются *человеческим* трудом вообще, и поскольку они им являются, — нашло свое бессознательное, но наиболее яркое выражение в законе стоимости современной буржуазной политической экономии, — законе, согласно которому стоимость какого-либо товара измеряется содержащимся в нем общественно необходимым трудом¹. — Однако там, где экономические отношения требовали свободы и равноправия, политический строй противопоставлял им на каждом шагу цеховые пути и особые привилегии. Местные привилегии, дифференциальные пошлины и всякого рода исключительные законы стесняли не только торговлю чужестранцев или жителей колоний, но довольно часто также и торговлю целых категорий собственных подданных государства; цеховые привилегии всюду и всегда стояли поперек дороги развитию мануфактуры. Нигде путь не был освобожден; нигде не было равенства шансов для буржуазных конкурентов, а между тем это равенство являлось первым и все более настоятельным требованием.

Как только экономический прогресс общества поставил в порядок дня требование освобождения от феодальных оков и установления правового равенства путем устранения феодальных неравенств, — это требование должно было скоро принять более широкие размеры. Хотя оно было выдвинуто в интересах промышленности и торговли, но того же равноправия приходилось требовать и для громадной массы крестьян. Крестьяне, находясь на всех ступенях порабощения, вплоть до полного крепостного состояния, принуждены были наибольшую часть своего рабочего времени отдавать безвозмездно всемирно-феодаловому сеньору и сверх того уплачивать еще бесчисленные оброки в пользу него и государства. С другой стороны, неизбежно должно было возникнуть требование, чтобы были уничтожены феодальные преимущества, чтобы были отменены свобода дворянства от податей и политические привилегии отдельных сословий. А так как дело происходило уже не в мировой империи, какой была Римская империя, а в системе

¹ Это объяснение современных представлений о равенстве из экономических условий буржуазного общества было развито впервые Марксом в «Капитале». [Примечание Энгельса.]

независимых государств, которые вступали в сношения друг с другом как равные, находясь приблизительно на одинаковой ступени буржуазного развития, то естественно, что требование равенства приняло всеобщий, выходящий за пределы отдельного государства характер, что свобода и равенство были провозглашены *правами человека*. Притом для специфически буржуазного характера этих прав весьма показательно то обстоятельство, что американская конституция, которая первая выступила с признанием прав человека, в то же самое время подтверждает существующее в Америке невольничество цветных рас; классовые привилегии были заклеены, расовые привилегии — освящены.

Известно, однако, что с того момента, когда буржуазия вылупляется из феодального бюргерства, превращаясь из средневекового сословия в современный класс, ее всегда и неизбежно сопровождает, как тень, пролетариат. Точно так же буржуазные требования равенства сопровождаются обыкновенно пролетарскими требованиями равенства. С того момента, как было выдвинуто буржуазное требование уничтожения классовых *привилегий*, рядом с ним выступает и пролетарское требование уничтожения *самых классов*, сначала — в религиозной форме, примыкая к первоначальному христианству, а потом — на основе самих буржуазных теорий равенства. Пролетарии ловят буржуазию на слове: равенство должно быть не только мнимым, оно должно осуществляться не только в сфере государства, но и быть действительным, оно должно проводиться и в общественной, экономической сфере. И именно с тех пор, как французская буржуазия, начиная с великой революции, выдвинула на первый план гражданское равенство, — французский пролетариат немедленно вслед за этим ответил требованием социального, экономического равенства, и требование это стало боевым кличем, характерным как раз для французских рабочих.

Требование равенства в устах пролетариата имеет, таким образом, двойное значение. Либо оно является — и это бывает особенно в самые начальные моменты, например, в Крестьянской войне, — стихийной реакцией против вопиющих социальных неравенств, против контраста между богатыми и бедными, между господами и крепостными, обжорами и голодающими; в этой своей форме оно является простым выражением революционного инстинкта и в этом, только в этом, находит свое оправдание. Либо же пролетарское требование равенства возникает как реакция против буржуазного требования равенства, из которого оно выводит более или менее правильные, идущие дальше требования; оно служит тогда агитационным средством, чтобы поднять рабочих против капиталистов при помощи аргументов самих капиталистов, и в данном случае судьба этого требования неразрывно связана с судьбой самого буржуазного

равенства. В обоих случаях реальное содержание пролетарского требования равенства сводится к требованию *уничтожения классов*. Всякое требование равенства, идущее дальше этого, неизбежно приводит к нелепости. Мы уже привели примеры подобных нелепостей, и нам придется еще указать немалое число их, когда мы дойдем до фантазий г. Дюринга относительно будущего строя.

Таким образом, представление о равенстве, как в буржуазной, так и в пролетарской своей форме, само есть продукт исторического развития; для создания этого представления необходимы были определенные исторические условия, предполагающие, в свою очередь, длинную предшествующую историю. Такое представление о равенстве есть, следовательно, все что угодно, только не вечная истина. И если в настоящее время оно — в том или другом смысле — является для широкой публики чем-то само собой разумеющимся или, по выражению Маркса, «обладает уже прочностью народного предрассудка», то это — не результат аксиоматической истинности этого представления, а результат того, что идеи XVIII века получили всеобщее распространение и продолжают сохранять свое значение и для нашего времени. Таким образом, если г. Дюринг без всяких оговорок может позволить своим пресловутым двум мужам хозяйничать на почве равенства, то это происходит оттого, что народному предрассудку это кажется вполне естественным. И в самом деле, г. Дюринг называет свою философию *естественной*, так как она исходит из таких только положений, которые ему кажутся совершенно естественными. Но почему они представляются ему естественными, — этого вопроса он, конечно, и не ставит.

ХІ

МОРАЛЬ И ПРАВО. СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ

«Для политической и юридической области в основу высказанных в этом курсе принципов было положено *углубленнейшее специальное изучение предмета*. Поэтому... необходимо исходить из того, что здесь... дело идет о последовательном изложении *результатов*, достигнутых в области юриспруденции и государственоведения. Моей первоначальной специальностью была как раз юриспруденция, и я посвятил ей не только обычные три года теоретической университетской подготовки: в течение трех последующих лет судебной практики я продолжал изучение этого предмета, причем мои занятия были направлены, главным образом, на *углубление* его научного содержания. Точно так же моя критика частноправовых отношений и соответствующих юридических несуразностей не могла бы, *конечно*,

выступить с *такой уверенностью*, не будь у нее сознания, что ей *известны* все слабые стороны этой специальности так же хорошо, как и ее сильные стороны.

Человек, имеющий основание так говорить о самом себе, должен заранее внушать к себе доверие, особенно в сравнении «с г. Марксом, изучавшим когда-то, по его собственному признанию, небрежно юридические науки». Поэтому нас не может не удивить, что выступающая с такой уверенностью критика частноправовых отношений ограничивается повествованием о том, что «юриспруденция в отношении научности... недалеко ушла», что положительное гражданское право есть бесправие, так как санкционирует насильственную собственность, и что «естественной основой» уголовного права является *месть*, — утверждение, в котором ново разве только мистическое облачение «естественной основы». Достижения государственного ограничения повествованием о переговорах известных уже нам трех мужей, из которых один все еще производит насилие над остальными, причем г. Дюринг пресерьезно обсуждает вопрос, кто ввел впервые насилие и порабощение, — второе или третье из этих лиц.

Проследим, однако, далее углубленнейшие специальные знания и научность нашего самоуверенного юриста, углубленную его трехлетней судебной практикой.

О Лассале г. Дюринг рассказывает нам, что он был привлечен к судебной ответственности за «*побуждение к покушению на похищение шкатулки*», но «осуждение не состоялось, ибо было объявлено *еще возможное в то время* так называемое *освобождение от суда за недоказанность обвинения*... это *полуоправдание*».

Процесс Лассала, о котором здесь идет речь, разбирался летом 1848 г. перед судом присяжных в Кельне, где, как почти во всей Рейнской области, действовало французское уголовное право. Только для политических проступков и преступлений там, в виде исключения, введено было прусское земское право, но уже в апреле 1848 г. это исключительное постановление было опять отменено Кампгаузенем. Французское право вовсе не знает распылчатой категории прусского земского права — «побуждение» к преступлению, а тем более «побуждение к покушению на преступление». Оно знает только *подстрекательство* к преступлению, причем для наказуемости подстрекательства требуется, чтобы оно было произведено «путем подарков, обещаний, угроз, злоупотребления своим положением или силой, путем коварных подговоров или наказуемых проделок» (Code pénal, art. 60¹). Министерство внутренних дел, углубившись в прусское земское право, проглядело, подобно

¹ Уголовный кодекс, ст. 60. Ред.

г. Дюрингу, существенное различие между строго определенным французским законом и расплывчатой неопределенностью земского права, возбудило против Лассалья тенденциозный процесс и блистательно провалилось. Утверждать же, будто французский уголовный процесс знает категорию прусского земского права — «оправдание за недоказанностью обвинения», это *полуоправдание*, — на это может отважиться лишь совершенный невежда в области современного французского права; последнее признает в уголовном процессе только осуждение или оправдание — и ничего среднего между ними.

Таким образом, мы должны сказать, что г. Дюринг, конечно, не мог бы с такой уверенностью применить к Лассалью свою «историографию в высоком стиле», если бы когда-либо держал в руках *Code Napoléon*¹. Мы должны ввиду этого констатировать, что г. Дюрингу *совершенно неизвестен единственный* современно-гражданский кодекс, имеющий своей основой социальные завоевания великой французской революции, которые этот кодекс и переносит в юридическую область, — т. е. современное французское право.

В другом месте, где г. Дюринг критикует введенный на всем континенте, по французскому образцу, суд присяжных, принимающий решение большинством голосов, мы находим следующее поучение: «Да, можно будет *даже* освоиться с такой, — не лишенной, впрочем, некоторых исторических примеров, — мыслью, что в совершенном обществе осуждение, *при наличии* *возражающих голосов*, будет немыслимым институтом... Однако этот *серьезный и глубоко идейный* образ мысли, как уже отмечено выше, должен казаться для традиционных форм неподходящим потому, что он для них *слишком хорош*».

Опять-таки г. Дюрингу неизвестно, что единогласие присяжных, — не только в приговорах по уголовным делам, но и при решениях в гражданских процессах, — безусловно необходимо по английскому общему праву, т. е. по тому неписаному обычному праву, которое действует в Англии с незапамятных времен, следовательно, по меньшей мере с XIV века. Таким образом, *серьезный и глубоко идейный образ мысли, который, по мнению г. Дюринга, слишком хорош для современного мира*, имел в Англии силу закона уже в самое мрачное время средневековья и из Англии был перенесен в Ирландию, в Соединенные Штаты Америки и во все английские колонии, — причем тщательнейшее изучение юриспруденции г. Дюрингу по этому вопросу ничего не подсказало. Итак, оказывается, что сфера действия единогласного решения присяжных не только бесконечно велика по сравнению с ничтожной областью, в которой действует прусское

¹ *Кодекс Наполеона* — созданный Наполеоном свод законов из *Code civil* (Гражданский кодекс) французской революции. *Ред.*

земское право, но она даже значительнее, чем все области, вместе взятые, в которых дела решаются большинством голосов присяжных. Г-ну Дюрингу совершенно неизвестно не только единственное современное право — французское; он обнаруживает такое же невежество и относительно единственного германского права, которое до настоящего времени продолжает развиваться независимо от римского авторитета и распространилось по всем частям света, — он не знает английского права. Да и зачем его знать? Ведь английский стиль юридического способа мышления «все равно оказался бы несостоятельным перед лицом созданной на немецкой почве школы в духе чистых понятий римских юристов-классиков», говорит г. Дюринг и добавляет далее: «что значит говорящий по-английски мир со своим детским языком-мешаниной по сравнению с нашим самобытным языковым строем?». На это мы можем только ответить вместе со Спинозой: *ignorantia non est argumentum*, невежество не есть аргумент.

После всего этого мы не можем притти к иному выводу, кроме того, что углубленнейшие специальные занятия г. Дюринга состояли лишь в том, что три года он углублялся теоретически в *Corpus Juris*¹, а последующие три года углублялся практически в благородное прусское земское право. Конечно, такая ученость уже сама по себе представляет заслугу и была бы достаточной для какого-нибудь весьма почтенного старопрусского уездного судьи или адвоката. Но когда берешься составлять философию права для всех миров и для всех времен, то следовало бы быть несколько более осведомленным насчет правовых отношений таких наций, как французы, англичане и американцы, — наций, игравших в истории совсем иную роль, чем тот уголок Германии, где процветает прусское земское право. Но пойдем дальше.

«Пестрая смесь местных, провинциальных и земских прав, которые самым произвольным образом перекрещиваются в самых разнообразных направлениях, то как обычное право, то как писанный закон, создаваемый часто путем придания важнейшим решениям уставной формы в ее чистом виде, — эта коллекция образчиков беспорядка и противоречия, где частности уничтожают общее, а затем, при случае, общие определения уничтожают частные, поистине непригодна, чтобы создать у кого-либо ясное правосознание». — Но где же, спрашивается, царит эта путаница? Опять-таки в сфере действия прусского земского права, где рядом с ним, над ним и под ним сохраняют силу в самых разнообразных степенях провинциальные права и местные статуты, кое-где и обычное право и прочий хлам, вызывая у всех юристов-практиков тот крик отчаяния, которому здесь с таким сочувствием вторит г. Дюринг. Ему нет надобности покидать свою милую Пруссию, а достаточно посетить Рейнскую область, чтобы

¹ — обширный свод законов Римской империи VI века. *Ред.*

убедиться, что вот уже семьдесят лет, как там со всем этим покончено, не говоря о других цивилизованных странах, где подобные устарелые порядки давно устранены.

Далее: «В менее резкой форме естественная личная ответственность прикрывается тайными, а потому и анонимными, коллективными решениями и коллективными действиями коллегий или иных бюрократических учреждений, которые маскируют личное участие каждого члена». И в другом месте: «При наших теперешних порядках покажется *поразительным* и крайне строгим требованием, если кто-либо выскажется категорически против маскировки и прикрытия личной ответственности коллегиями». Быть может, г. Дюрингу покажется поразительной новостью, если мы сообщим ему, что в сфере действия английского права каждый член судебной коллегии должен отдельно высказать и мотивировать свое суждение на открытом заседании; что невыборные административные коллегии, без открытого ведения дел и открытого голосования, представляют собой преимущественно *прусское* учреждение и неизвестны в большинстве других стран, и что поэтому его требование может казаться поразительным и крайне строгим только — в *Пруссии*.

Точно так же и его жалобы на принудительное вмешательство церкви, с ее обрядами, при рождении, браке, смерти и погребении могли бы относиться, — если речь идет о более крупных цивилизованных странах, — только к Пруссии, а со времени введения в ней гражданской регистрации они не относятся больше и к ней. То, что г. Дюринг надеется осуществить только посредством своего «социалитарного» будущего строя, успел тем временем сделать даже Бисмарк посредством простого закона. — Такую же специфически прусскую иеремиаду можно услышать в жалобе г. Дюринга по поводу «недостаточной подготовки юристов к выполнению своей профессии», — жалобе, которая может быть распространена и на «чиновников администрации». Даже утрированное до карикатуры юдофобство, которое при всяком случае выставляет напоказ г. Дюринг, и то составляет если не специфически прусскую, то, во всяком случае, специфически ост-эльбскую особенность. Тот самый философ действительности, который суверенно смотрит сверху вниз на все предрассудки и суеверия, сам до такой степени находится во власти личных причуд, что сохранившийся от средневекового ханжества народный предрассудок против евреев он называет «естественным суждением», покоящимся на «естественных основаниях», и даже доходит до следующего монументального утверждения: «социализм — это единственная сила, способная успешно бороться против состояний населения с сильной еврейской подмесью» (состояний с еврейской подмесью! — Какой подлинно народный, чистый язык!).

Довольно. Хвастовство своей юридической ученостью имеет своим фактическим основанием, в лучшем случае, самые зауряд-

ные профессиональные познания зауряднейшего старопрусского юриста. Область юриспруденции и государствоведения, достижения которых г. Дюринг последовательно излагает нам, «совпадает» со сферой действия прусского земского права. Кроме римского права, знакомого теперь каждому юристу даже в Англии, юридические познания г. Дюринга ограничиваются единственно и исключительно прусским земским правом, этим кодексом просвещенного патриархального деспотизма, написанным таким языком, словно по этой книге г. Дюринг учился грамоте, — кодексом, который со своими правоучительными замечаниями, юридической неопределенностью и шаткостью, своими мерами пытки и наказания, в виде палочных ударов, принадлежит еще всецело к дореволюционному времени. Все, что сверх того, то для г. Дюринга от лукавого, — как современное французское гражданское право, так и английское право с его совершенно своеобразным развитием и его гарантиями личной свободы, неизвестными на всем континенте. Философия, которая «не признает никакого просто *видимого* горизонта, но в своем мощном, все опрокидывающем на своем пути движении развертывает все земли и небеса внешней и внутренней природы», — эта философия имеет своим *действительным* горизонтом... границы шести старопрусских восточных провинций и, пожалуй, еще несколько других клочков земли, где действует благородное земское право; за пределами же этого горизонта она не развертывает ни земель, ни небес, ни внешней, ни внутренней природы, а развертывает только картину собственного грубейшего невежества относительно всего, что совершается в остальном мире.

Невозможно рассуждать о морали и праве, не касаясь вопроса о так называемой свободе воли, о вменяемости человека, об отношении между необходимостью и свободой. Философия действительности также имеет решение этого вопроса и даже не одно, а целых два.

«На место всяких ложных теорий свободы надо поставить установленное путем опыта свойство того отношения, в котором рациональное понимание, с одной стороны, а с другой — инстинктивные побуждения *как бы* соединяются в некоторую равнодействующую силу. Основные факты этого рода динамики должны быть взяты из наблюдения и, *насколько это допустимо*, определены в общих чертах в отношении качества и величины, чтобы на их основании измерить наперед событие, еще не наступившее. Таким путем не только основательно устраняются нелепые фантазии о внутренней свободе, которые пережевывали и которыми кормились целые тысячелетия, но они заменяются также чем-то положительным, пригодным для практического устройства жизни». — Согласно этому взгляду, свобода состоит в том, что рациональное понимание тянет человека вправо, иррациональные влечения — влево, и при наличии этого параллелограмма сил

действительное движение происходит по направлению диагонали. Следовательно, свобода является средней величиной между пониманием и влечением, разумом и неразумием, и степень этой свободы могла бы быть эмпирически установлена у каждого человека посредством «личного уравнивания», пользуясь астрономическим выражением. Однако, уже немногими страницами дальше г. Дюринг заявляет: «Мы основываем нравственную ответственность на свободе, которая означает, впрочем, для нас не что иное, как восприимчивость к сознательным мотивам, согласно природному и приобретенному рассудку. Все такие мотивы действуют с непреодолимой естественной закономерностью, несмотря на то, что мы воспринимаем возможность противоположных поступков; но как раз на это неизбежное принуждение мы и рассчитываем, когда приводим в действие моральные рычаги».

Это второе определение свободы, которое совершенно бесцеремонно опрокидывает первое, является опять-таки не более как крайней вульгаризацией гегелевского взгляда. Гегель первый правильно представил соотношение свободы и необходимости. Для него свобода есть познание необходимости. «Слепа необходимость, лишь *поскольку она не понята*». Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей. Это относится как к законам внешней природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого человека, — два класса законов, которые мы можем отделить один от другого самое большее в нашем представлении, отнюдь не в действительности. Свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Таким образом, чем *свободнее* суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей *необходимостью* будет определяться содержание этого суждения, тогда как неуверенность, имеющая в своей основе незнание и выбирающая как будто произвольно между многими различными и противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу, свою подчиненность тому предмету, который она как раз должна была бы подчинить себе. Свобода, следовательно, состоит в основанном на познании необходимостей природы (*Naturnotwendigkeiten*) господстве над нами самими и над внешней природой, она поэтому является необходимым продуктом исторического развития. Первые выделившиеся из животного царства люди были во всем существенном так же несвободны, как и сами животные, но каждый шаг вперед на пути культуры был шагом к свободе. На пороге истории человечества стоит открытие превращения механического движения в теплоту: добытие огня трением; в конце протекшего до сих пор периода развития стоит открытие превращения теплоты в

механическое движение: паровая машина. — Но несмотря на гигантский освободительный переворот, который совершает в социальном мире паровая машина, — этот переворот еще не закончен и наполовину, — все же не подлежит сомнению, что добывание огня трением превосходит еще паровую машину по своему всемирно-историческому, освобождающему человечество действию. Ведь добывание огня трением впервые доставило человеку господство над определенной силой природы и тем окончательно отделило человека от животного царства. Паровая машина никогда не будет в состоянии вызвать такой громадный скачок в развитии человечества, хотя она и является для нас представительницей тех огромных, связанных с ней производительных сил, при помощи которых только и становится возможным осуществить общественный строй, где не будет больше никаких классовых различий, никаких забот о средствах индивидуального существования и где впервые можно будет говорить о действительной человеческой свободе, о жизни в гармонии с познанными законами природы. Как молода еще вся история человечества и как смешно было бы приписывать нашим теперешним воззрениям какое-либо абсолютное значение, — это видно уже из того простого факта, что вся протекшая до сих пор история может быть охарактеризована как история периода времени от практического открытия превращения механического движения в теплоту до открытия превращения теплоты в механическое движение.

У г. Дюринга история, конечно, трактуется иначе. В качестве истории заблуждений, невежества и грубости, насилия и порабощения она составляет в общем для философии действительности довольно отталкивающий предмет; в частности же она распадается на два больших отдела, а именно: 1) от равного самому себе состояния материи до французской революции и 2) от французской революции до г. Дюринга. При этом XIX век остается «еще реакционным по своему существу, а в умственном отношении он даже более реакционен (!), чем XVIII век», хотя он носит уже в своем лоне социализм, а тем самым и «зародыш более грандиозного преобразования, чем то, которое придумали (!) предтечи и герои французской революции». Презрение философии действительности ко всей прошлой истории оправдывается следующим образом: «Немногие тысячелетия, для которых возможна, благодаря письменным памятникам, историческая ретроспекция, *не имеют большого значения* вместе с созданным ими доньше строем человечества, если подумать о ряде грядущих тысячелетий... Человеческий род как целое еще очень молод, и если когда-нибудь научная ретроспекция будет оперировать не тысячами, а десятками тысяч лет, то духовно незрелое, младенческое состояние наших учреждений будет иметь неоспоримое значение самоочевидной предпосылки

относительно нашего времени, расцениваемого тогда как седая древность».

Не останавливаясь больше на действительно «самобытном языковом строе» последней фразы, мы сделаем только два замечания. Во-первых, эта «седая древность» при всех обстоятельствах останется для всех будущих поколений необычайно интересной эпохой, потому что она образует основу всего позднейшего более высокого развития, потому что она имеет своим исходным пунктом выделение человека из животного царства, а своим содержанием — преодоление таких трудностей, которые никогда уже не встретятся будущим ассоциированным людям. Во-вторых, по сравнению с этой седой древностью будущие исторические периоды, избавленные от этих трудностей и препятствий, обещают небывалый научный, технический и общественный прогресс; и было бы, во всяком случае, чрезвычайно странно выбирать конец этой седой древности в качестве подходящего момента, чтобы делать наставления грядущим тысячелетиям, пользуясь окончательными истинами в последней инстанции, неизменными истинами и проникающими в корень концепциями, открытыми на основе духовно незрелого, младенческого состояния нашего столь «отсталого» и «ретроградного» века. В самом деле, надо быть Рихардом Вагнером в философии, только без его таланта, чтобы не видеть, что все презрительные выпады, направленные против всего предшествующего исторического развития, имеют прямое отношение также к его якобы последнему результату, к так называемой философии действительности.

Один из характернейших образцов новой, проникающей в корень науки представляет собой раздел, трактующий об индивидуализации и о повышении ценности жизни. Здесь на протяжении целых трех глав пенится и бурлит неудержимым потоком оракулоподобная банальность. К сожалению, мы вынуждены ограничиться несколькими корсткими выдержками.

«Более глубокая сущность всякого ощущения, а вместе с тем всяких субъективных форм жизни основывается на *разности состояний*. Но для *полной* (!) жизни можно без дальнейших пояснений (!) показать, что не застойное положение, а переход от одного жизненного положения к другому есть то именно условие, благодаря которому повышается чувство жизни и развиваются возбуждения, имеющие решающее значение... Приблизительно равное самому себе, *так сказать*, инертное состояние, *как бы* находящееся в одном и том же положении равновесия, — каков бы ни был его характер, — не имеет большого значения для ощущения бытия... Привычка и, *так сказать*, вживание в подобное состояние превращают это состояние в нечто совершенно безразличное и равнодушное, в нечто

такое, что не особенно отличается от состояния смерти. В лучшем случае сюда прибавляется еще, как своего рода отрицательное жизненное проявление, страдание от скуки... В застоявшейся жизни гаснет для индивидов и народов всякая страсть и всякий интерес к бытию. *Но только исходя из нашего закона разности можно объяснить все эти явления.*

Просто невероятно, с какой быстротой г. Дюринг фабрикует свои своеобразные в самой основе выводы. Только что было переведено на язык философии действительности то общее место, что длительное раздражение одного и того же нерва или же продление одного и того же раздражения утомляет всякий нерв и всякую нервную систему и что, следовательно, в нормальном состоянии должны иметь место перерыв и смена нервных раздражений (факт, о котором уже издавна можно прочесть в любом учебнике физиологии и который известен каждому филистеру по собственному опыту). Но не успел г. Дюринг облечь эту старую-престарую и совершенно плоскую мысль в таинственную форму приведенной фразы: «более глубокая сущность всякого ощущения основывается на разности состояний», — как эта банальность уже превратилась в «*наш закон разности*». И этот закон разности делает «вполне объяснимым» целый ряд явлений, представляющих опять-таки только иллюстрации и примеры приятности смены ощущений, — что не требует объяснения даже для ординарнейшего филистерского рассудка и ни на атом не становится более ясным от ссылки на мнимый закон разности.

Но этим далеко еще не исчерпан проникающий в корень характер «*нашего закона разности*». «Смена возрастов жизни и наступление связанных с ними изменений жизненных условий доставляют весьма удобный пример для наглядного уяснения *нашего* принципа разности. Дитя, мальчик, юноша и муж узнают о силе своего чувства жизни в данный момент не столько благодаря фиксированным уже состояниям, в которых они пребывают, сколько благодаря эпохам перехода от одного состояния к другому». Но это еще не все: «*наш закон разности* может получить еще более отдаленное применение, если принять в расчет тот факт, что повторение уже испытанного или сделанного не представляет никакой прелести». А теперь уже читатель сам может представить себе весь оракульский вздор, для которого служат исходным пунктом глубокие и проникающие в корень положения вроде приведенных. И, разумеется, г. Дюринг вправе с торжеством провозгласить в конце своей книги: «Для оценки и повышения ценности жизни закон разности приобрел решающее значение как теоретически, так и практически!» Он имеет подобное же значение и для оценки г. Дюрингом духовной ценности своей публики: он полагает, должно быть, что эта публика состоит попросту из ослов или филистеров.

Далее нам рекомендуются следующие, в высшей степени практические правила жизни: «Средства для сохранения общего интереса к жизни» (прекрасная задача для филистеров и тех, кто собирается стать таковыми) «состоят в том, чтобы дать отдельным, *так сказать*, элементарным интересам, из которых складывается целое, развиваться или сменять друг друга сообразно естественным мерам времени. Точно так же можно и одновременно, для одного и того же состояния, пользоваться шкалой, характеризующей заменимость низших и легче удовлетворяемых возбуждений высшими и более продолжительно действующими возбуждениями, дабы избежать возникновения лишенных всякого интереса пробелов. Кроме того, надо стараться не накапливать произвольно и не форсировать напряжений, возникающих естественным образом или при нормальном ходе общественного существования, равно как не давать им удовлетворения уже при самом слабом возбуждении, что препятствует возникновению способной к наслаждению потребности. Сохранение естественного ритма является здесь, как и в других случаях, предпосылкой гармонического и привлекательного движения. Не следует также ставить себе неразрешимую задачу — пытаться продлить возбуждение, создаваемое каким-либо положением, за пределы времени, отмеренного природой или обстоятельствами», и т. д. Если какой-нибудь простака захотел бы воспользоваться, как правилом для «испытания жизни», этими торжественными филистерскими прорицаниями педанта, мудрствующего над самыми пресными пошлостями, то ему, во всяком случае, не пришлось бы жаловаться на «лишенные всякого интереса пробелы». Ему пришлось бы тратить все свое время на надлежащую подготовку наслаждений и их упорядочение, так что для самих наслаждений у него не осталось бы ни одной свободной минуты.

Мы должны испытать жизнь, всю полноту жизни. Только две вещи запрещает нам г. Дюринг: во-первых, «нечистоплотность, связанную с привычкой к табаку»; во-вторых, напитки и яства, «вызывающие противное возбуждение или обладающие вообще свойствами, которые делают их предосудительными для более тонкого чувства». Но так как г. Дюринг в своем курсе политической экономии поет дифирамбы винокурению, то водку он уж никак не может причислить к этим напиткам; мы, следовательно, вынуждены заключить, что его запрет распространяется только на вино и пиво. Ему остается еще запретить и мясо, и тогда он поднимет философию действительности на ту же высоту, на которой подвизался с таким успехом блаженной памяти Густав Струве, — на высоту чистого ребячества.

Впрочем, именно по отношению к спиртным напиткам г. Дюринг мог бы проявить большой либерализм. Человек, который,

по собственному признанию, все еще не может найти моста от статического к динамическому, имеет все основания судить снисходительно, если какой-либо горемыка слишком часто будет прикладываться к рюмочке и вследствие этого столь же тщетно будет отыскивать потом мост от динамического к статическому.

ХП

ДИАЛЕКТИКА. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО

«Первое и важнейшее положение об основных логических свойствах бытия касается *исключения противоречия*. Противоречивое представляет категорию, которая может относиться только к комбинации мыслей, но никак не к действительности. В вещах нет никаких противоречий или, иными словами, признание противоречия реальностью само является верхом бессмыслицы... Антагонизм сил, действующих друг против друга в противоположных направлениях, составляет даже основную форму всякой деятельности в бытии мира и его существ. Это противоборство в направлениях сил элементов и индивидов не совпадает в отдаленнейшей даже мере с идеей абсурдных противоречий... Здесь мы можем быть довольны тем, что, представив ясную картину действительной абсурдности реального противоречия, рассеяли туманы, поднимающиеся обычно из мнимых таинств логики; мы также вскрыли бесполезность того фимиама, который то здесь, то там воскуривали в честь весьма грубо вытесанного деревянного божка диалектики противоречия, который подсовывается на место антагонистической мировой схематики». Вот приблизительно все, что говорится о диалектике в «Курсе философии». Зато в «Критической истории» г. Дюринг разделяется с диалектикой противоречия, а вместе с ней — особенно с Гегелем, уже совершенно по-иному. «Противоречивое по гегелевской логике — или, вернее, учению о логосе — не существует просто в мышлении, которое по самой своей природе не может быть представлено иначе, как субъективным и сознательным: противоречие существует в самих вещах и процессах объективно и может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме; таким образом, бессмыслица перестает быть невозможной комбинацией мыслей, а становится фактической силой. Действительное бытие абсурдного — таков первый член символа веры гегелевского единства логики и нелогики... Чем противоречивее, тем истиннее или, иными словами, чем абсурднее, тем более заслуживает веры: именно это привило, — даже не вновь открытое, а просто заимствованное из теологии откровения и мистики, — выражает в обнаженном виде так называемый диалектический принцип».

Мысль, содержащуюся в обоих приведенных местах, можно свести к положению, что противоречие = бессмыслице, и поэтому ему нет места в действительном мире. Для людей с довольно здравым в прочих отношениях рассудком это положение в такой же степени может казаться самоочевидным, как и положение: прямое не может быть кривым, а кривое — прямым. И все же дифференциальное исчисление, — вопреки всем протестам здравого человеческого рассудка, — приравнивает при известных условиях прямое кривому и достигает этим таких успехов, каких никогда не достигнуть здравому человеческому рассудку, закончившему в своем утверждении, что тождество прямого и кривого является бессмыслицей. А при той значительной роли, какую играла так называемая диалектика противоречия в философии, начиная с древнейших греков и доныне, даже более сильный противник, чем г. Дюринг, обязан был бы, выступая против диалектики, представить иные аргументы, чем одно только голословное утверждение и множество ругательств.

Пока мы рассматриваем вещи как покоящиеся и безжизненные, каждую в отдельности, одну рядом с другой и одну вслед за другой, мы, разумеется, не наталкиваемся ни на какие противоречия в них. Мы находим здесь определенные свойства, которые частью общи, частью различны или даже противоречат друг другу, но в этом последнем случае они распределены между различными вещами, так что не содержат внутри себя никакого противоречия. Поскольку наше наблюдение остается в этих пределах, мы обходимся также обычным, метафизическим способом мышления. Но совсем иначе обстоит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменении, в их жизни, в их взаимном воздействии друг на друга. Здесь мы сразу наталкиваемся на противоречия. Движение само есть противоречие: уже простое механическое перемещение может осуществиться лишь в силу того, что тело в один и тот же момент времени находится в данном месте и одновременно — в другом, что оно находится в одном и том же месте и не находится в нем. Постоянное возникновение и одновременное разрешение этого противоречия — и есть именно движение.

Здесь перед нами, следовательно, противоречие, которое «существует в самих вещах и процессах объективно и может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме». А что говорит по этому поводу г. Дюринг? Он утверждает, что вообще до сих пор «в рациональной механике нет моста между строго статическим и динамическим». Теперь, наконец, читатель может заметить, что скрывается за этой излюбленной фразой г. Дюринга; не более, как следующее: метафизически мыслящий рассудок абсолютно не в состоянии перейти от идеи покоя к идее движения, так как здесь ему преграждает путь указанное выше противоречие. Для него движение совершенно непостижимо, ибо оно есть

противоречие. А утверждая непостижимость движения, он против своей воли сам признает существование этого противоречия, следовательно, признает, что противоречие объективно существует в вещах и процессах, являясь притом действительной силой.

Если уже простое механическое перемещение содержит в себе противоречие, то тем более содержат его высшие формы движения материи, а в особенности органическая жизнь и ее развитие. Как мы видели уже выше, жизнь, прежде всего, состоит в том именно, что живое существо в каждый данный момент является тем же самым и все-таки иным. Следовательно, жизнь есть также существующее в самих вещах и процессах, беспрестанно само себя порождающее и разрешающее себя противоречие, и как только это противоречие прекращается, прекращается и жизнь, наступает смерть. Точно так же мы видели, что и в сфере мышления мы не можем избежать противоречий и что, например, противоречие между внутренне неограниченной человеческой способностью познания и ее действительным осуществлением только в отдельных, внешне ограниченных и ограниченно познающих людях, — что это противоречие разрешается в бесконечном — по крайней мере, практически для нас — ряде последовательных поколений, разрешается в бесконечном поступательном движении.

Мы уже упоминали, что одним из главных оснований высшей математики является противоречие, заключающееся в том, что при известных условиях прямое и кривое должны представлять собой одно и то же. Но в высшей математике находит свое осуществление и другое противоречие, состоящее в том, что линии, которые пересекаются на наших глазах, тем не менее уже в пяти-шести сантиметрах от точки своего пересечения должны считаться параллельными, т. е. такими линиями, которые не могут пересечься даже при бесконечном их продолжении. И тем не менее высшая математика этими и еще гораздо более резкими противоречиями достигает не только правильных, но и совершенно недостижимых для низшей математики результатов.

Но уже и низшая математика кишит противоречиями. Так, например, противоречием является то, что корень из A должен быть степенью A , а все-таки $A^{\frac{1}{2}} = \sqrt{A}$. Противоречием является также и то, что отрицательная величина должна быть квадратом какой-либо величины, ибо каждая отрицательная величина, помноженная сама на себя, дает положительный квадрат. Поэтому квадратный корень из минус единицы есть не просто противоречие, но даже прямо абсурдное противоречие, действительная бессмыслица. И все же $\sqrt{-1}$ является во многих случаях необходимым результатом правильных математических операций; более того, что было бы с математикой, как низшей, так и высшей, если бы ей запрещено было оперировать с $\sqrt{-1}$?

Сама математика, занимаясь переменными величинами, вступает в диалектическую область, и характерно, что именно диалектический философ Декарт внес в нее этот прогресс. Как математика переменных относится к математике постоянных величин, так вообще диалектическое мышление относится к метафизическому. Это нисколько не мешает, однако, тому, чтобы большинство математиков признавало диалектику только в области математики, а многим среди них не мешает и далее оперировать всецело на старый, опраниченный метафизический лад теми методами, которые были добыты диалектическим путем.

Более подробный разбор дюринговского антагонизма сил и антагонистической мировой схематики был бы возможен лишь в том случае, если бы г. Дюринг дал нам на эту тему что-нибудь большее, чем — пустую *фразу*. Между тем, сочинив свою фразу, г. Дюринг ни единого раза не показывает нам этого антагонизма в его действии ни в мировой схематике, ни в натурфилософии, и это — наилучшее признание того, что г. Дюринг не умеет предпринять абсолютно ничего положительного со своей «основной формой всякой деятельности в бытии мира и его существ». Оно и понятно: если гегелевское «учение о сущности» низведено до плоской мысли о силах, движущихся в противоположных направлениях, но не в противоречиях, то, разумеется, лучше всего уклониться от какого-либо применения этого общего места.

Дальнейший повод к тому, чтобы излить свой антидиалектический гнев, составляет г. Дюрингу «Капитал» Маркса. «Отсутствие естественной и вразумительной логики, которым отличаются диалектические хитросплетения и арабески мысли... К вышедшей уже в свет части книги приходится применить тот принцип, что в известном отношении и даже вообще (!) по известному философскому предрассудку можно вложить всякий смысл во всякое рассуждение и какой угодно смысл во все рассуждения, так что в результате этой путаницы представлений и извращений все, в конце концов, можно свести к одному». Это его понимание известного философского предрассудка позволяет затем г. Дюрингу с уверенностью предсказать, каков будет «конец» экономического философствования Маркса, значит, каково будет содержание следующих томов «Капитала», причем все это говорится ровно через семь строк после заявления, что, «право, невозможно предугадать, что собственно, говоря человеческим и немецким языком, будут еще содержать два (последних) тома».

Не в первый уже раз, впрочем, сочинения г. Дюринга оказываются принадлежащими к тем «вещам», в которых «противоречивое существует объективно и может быть обнаружено, так сказать, в телесной форме». Это совершенно не мешает г. Дюрингу продолжать с победоносным видом: «Но здравая логика,

надо надеяться, восторжествует над карикатурой на нее... Важничанье и диалектический таинственный хлам никого, в ком еще осталось хоть немного здравого смысла, не соблазнят на то... чтобы углубиться в этот хаос мыслей и стиля. Вместе с вымиранием последних следов диалектических глупостей это средство одурачивания... теряет свое обманчивое влияние, и никто не будет больше считать своей обязанностью ломать себе голову над отысканием глубокой мудрости там, где очищенное от скорлупы ядро замысловатых вещей обнаруживает, в лучшем случае, черты обыденных теорий, если не просто общих мест... Совершенно невозможно, не протитуюруя здравой логики, воспроизвести (марксовы) хитросплетения, построенные по правилам учения о логосе». Метод Маркса состоит, по Дюрингу, в том, чтобы «творить диалектические чудеса для своих правоверных» и т. п.

Мы здесь совершенно не имеем еще дела с правильностью или неправильностью экономических результатов марксовых исследований, — пока речь идет только о диалектическом методе, примененном Марксом. Несомненно лишь одно: большинство читателей «Капитала» теперь узнает, — благодаря г. Дюрингу, — что собственно они читали. И в числе этих читателей окажется и сам г. Дюринг, который в 1867 г. (*Ergänzungsblätter* III, Heft 3¹) еще в состоянии был дать сравнительно рациональное — для мыслителя его калибра — изложение книги Маркса, не считая тогда себя еще вынужденным перевести сначала ход мысли Маркса на свой дюринговский язык, что в настоящее время он объявляет необходимым. Если он и тогда уже сделал промах, отождествив диалектику Маркса с диалектикой Гегеля, то все же он в то время не совсем еще потерял способность делать различие между методом и результатами, добытыми посредством этого метода, — он понимал тогда, что, нападая на метод в его общей форме, этим еще не опровергают результатов в их частностях.

Самым поразительным, во всяком случае, является сообщение г. Дюринга, будто с точки зрения Маркса «все, в конце концов, сводится к одному», так что, по Марксу, например, капиталисты и наемные рабочие, феодальный, капиталистический и социалистический способы производства «сводятся к одному», и, наконец, даже, пожалуй, Маркс и г. Дюринг тоже «сводятся к одному». Чтобы объяснить возможность подобной явной глупости, приходится допустить, что уже одно слово «диалектика» приводит г. Дюринга в такое состояние невменяемости, при котором для него, вследствие определенного извращения и путаницы понятий, в конце концов, «все сводится к одному», что бы он ни говорил и что бы он ни делал.

Здесь мы имеем перед собой образчик того, что г. Дюринг

¹ «Дополнительные страницы» III, выпуск 3. *Ред.*

именует «моей историографией в высоком стиле» или еще «суммарным приемом, который отдает должное родовому и типичному и совершенно не снисходит до того, чтобы микрологически-подробным обличением оказать честь людям, которых Юм называл ученой чернью; один только этот прием с его возвышенным и благородным стилем совместим с интересами полной истины и с обязанностями по отношению к свободной от цеховых уз публике». Действительно, историография в высоком стиле и суммарный прием, воздающий должное родовому и типичному, весьма удобны для г. Дюринга, ибо он может при этом пренебречь всеми определенными фактами как фактами микрологическими, может приравнять их к нулю и, вместо того, чтобы что-либо доказывать, может произносить только общие фразы, голословно утверждать и просто громить. Сверх того указанный прием имеет то преимущество, что не дает противнику никаких фактических точек опоры для полемики, так что ему, чтобы ответить г. Дюрингу, не остается почти ничего другого, как выставлять также в высоком стиле и суммарно совершенно голословные утверждения, расплываться в общих фразах и, в конце концов, в свою очередь, громить г. Дюринга, — коротко сказать, расплачиваться той же монетой, что не каждому по вкусу. Мы должны быть благодарны поэтому г. Дюрингу за то, что он, в виде исключения, покидает возвышенный и благородный стиль, чтобы дать нам по крайней мере два примера превратного учения Маркса о логосе.

«Разве не комично, например, выглядит ссылка на путаное и туманное представление Гегеля о том, что количество переходит в качество и что поэтому аванс, достигший известной границы, становится уже благодаря одному этому количественному увеличению капиталом?»

Конечно, в таком «очищенном» г. Дюрингом изложении эта мысль выглядит довольно курьезно. Посмотрим поэтому, как она выглядит в оригинале, у Маркса. На стр. 313 (второе издание «Капитала»)¹ Маркс выводит из предшествующего исследования о постоянном и переменном капитале и о прибавочной стоимости заключение, что «не всякая произвольная сумма денег или стоимостей может быть превращена в капитал, что, напротив, предпосылкой этого превращения является определенный минимум денег, или меновых стоимостей, в руках отдельного владельца денег или товаров». Для примера он делает предположение, что в какой-либо отрасли труда рабочий в среднем работает восемь часов на самого себя, т. е. для воспроизведения стоимости своей заработной платы, а следующие четыре часа — на капиталиста, для производства прибавочной стоимости, поступающей прямо в карман последнего. В таком

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 228. *Ред.*

случае, для того, чтобы кто-нибудь мог ежедневно класть в карман такую сумму прибавочной стоимости, которая дала бы ему возможность прожить не хуже одного из своих рабочих, он должен располагать уже суммой стоимостей, позволяющей ему снабдить двух рабочих сырым материалом, средствами труда и заработной платой. А так как капиталистическое производство имеет своей целью не простое поддержание жизни, а увеличение богатства, то наш хозяин со своими двумя рабочими все еще не был бы капиталистом. Значит, чтобы жить вдвое лучше, чем обыкновенный рабочий, и превращать в капитал половину произведенной прибавочной стоимости, он уже должен иметь возможность нанять восемь рабочих, т. е. владеть суммой стоимостей в четыре раза большей, чем в первом случае. Только после этих и затем еще более подробных рассуждений, задача которых состоит в том, чтобы осветить и обосновать тот факт, что не любая незначительная сумма стоимостей достаточно для превращения ее в капитал, что в этом отношении каждый период развития и каждая отрасль промышленности имеют свои минимальные границы, — только после всего этого (Маркс замечает: «Здесь, как и в естествознании, *подтверждается* правильность того закона, открытого Гегелем в его «Логике», что чисто количественные изменения в известной точке переходят в качественные различия»¹).

А теперь пусть читатель восхищается возвышенным и благородным стилем, при помощи которого г. Дюринг приписывает Марксу противоположное тому, что тот сказал в действительности. Маркс говорит: тот факт, что сумма стоимостей может превратиться в капитал лишь тогда, когда она достигнет, хотя и различной, в зависимости от обстоятельств, но в каждом данном случае определенной, минимальной величины, — этот факт является *доказательством правильности* гегелевского закона. Г-н Дюринг же навязывает Марксу следующую мысль: *так как*, согласно закону Гегеля, количество переходит в качество, то «*поэтому* аванс, достигнув известной границы, становится... капиталом», — следовательно, противоположное тому, что говорит Маркс.

С обыкновением неверно цитировать, «в интересах полной истины» и «во имя обязанностей перед свободной от цеховых уз публикой», мы познакомились уже при дюринговском разбирательстве по делу Дарвина. Чем дальше, тем больше обнаруживается, что это обыкновение составляет внутреннюю необходимость для философии действительности, и, во всяком случае, является весьма «суммарным приемом». Не станем говорить уж о том, что г. Дюринг приписывает Марксу, будто он говорит о любом «авансе», тогда как на самом деле речь идет лишь о таком авансе, который был затрачен на сырой материал,

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 229. *Ред.*

средства труда и заработную плату; таким образом, г. Дюринг умудрился приписать Марксу чистейшую бессмыслицу. И после этого он еще имеет наглость находить эту им же самим сочиненную бессмыслицу *комичной!* Подобно тому как он сфабриковал фантастического Дарвина, чтобы на нем испробовать свою силу, так и в этом случае он состряпал фантастического Маркса. В самом деле, «историография в высоком стиле»!

Мы уже видели выше, когда говорили о мировой схематике, что с этой гегелевской узловой линией отношений меры, по смыслу которой в известных точках количественного изменения внезапно наступает качественное превращение, г. Дюринга постигло маленькое несчастье: в минуту слабости он сам признал и применил ее. Мы привели там один из известнейших примеров, — пример изменения агрегатных состояний воды, которая при нормальном атмосферном давлении переходит при температуре 0°Ц из жидкого состояния в твердое, а при 100°Ц — из жидкого в газообразное, так что на этих обоих поворотных точках простое количественное изменение температуры вызывает качественное изменение состояния воды.

Мы могли бы привести для доказательства этого закона еще сотни подобных фактов как из природы, так и из жизни человеческого общества. Так, например, в «Капитале» Маркса на протяжении всего четвертого отдела — «Производство относительной прибавочной стоимости» — приводится из области кооперации, разделения труда и мануфактуры, машинного производства и крупной промышленности несчетное число случаев, где количественное изменение преобразует качество вещей и, равным образом, качественное преобразование вещей изменяет их количество, где, следовательно, употребляя столь ненавистное для г. Дюринга выражение, количество переходит в качество, и обратно. Таков, например, факт, что кооперация многих лиц, слияние многих отдельных сил в одну совокупную силу, создает, говоря словами Маркса, «новую возведенную в степень силу», которая существенно отличается от суммы составляющих ее отдельных сил.

Ко всему этому в том самом месте «Капитала», которое г. Дюринг в интересах полной истины вывернул наизнанку, Маркс сделал следующее примечание: «Молекулярная теория, нашедшая себе применение в современной химии и впервые научно развитая Лораном и Жераром, основывается именно на этом законе»¹. Но какое дело до этого г. Дюрингу? Ведь он знает, что «в высокой степени современные образовательные элементы естественно-научного способа мышления отсутствуют именно там, где скудную амуницию для придания себе ученого вида составляют полунаучки и некоторое лжефилософствование,

¹ «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 229, прим. 205а. *Ред.*

как, например, у г. Маркса и его соперника Лассалья», тогда как у г. Дюринга в основе лежат «главные незыблемые положения точного знания в области механики, физики, химии» и т. д. Какова эта основа, это мы уже видели. Но для того, чтобы и другие лица могли составить себе мнение об этом, мы рассмотрим несколько ближе пример, приведенный в указанном примечании Маркса.

Речь идет здесь именно о гомологических рядах соединений углерода, из которых уже очень многие известны и каждый из которых имеет свою собственную алгебраическую формулу состава. Если мы, например, обозначим, как это принято в химии, атом углерода через С, атом водорода через Н, атом кислорода через О, а число заключающихся в каждом соединении атомов углерода через n , то мы можем представить молекулярные формулы для некоторых из этих рядов в таком виде:

C_nH_{2n+2} — ряд нормальных парафинов
 $C_nH_{2n+2}O$ — ряд первичных спиртов
 $C_nH_{2n}O_2$ — ряд одноосновных жирных кислот.

Если мы возьмем в качестве примера последний из этих рядов и примем последовательно $n = 1$, $n = 2$, $n = 3$ и т. д., то получим следующий результат (отбрасывая изомеры):

CH_3O_2	— муравьиная кислота	— точка кип.	100°	точка плав.	1°
$C_2H_4O_2$	— уксусная	»	»	118°	»
$C_3H_5O_2$	— пропионовая	»	»	140°	»
$C_4H_8O_2$	— масляная	»	»	162°	»
$C_5H_{10}O_2$	— валериановая	»	»	175°	»

и т. д. до $C_{30}H_{60}O_2$ — мелиссиновой кислоты, которая плавится только при 80° и не имеет вовсе точки кипения, так как она вообще не может испаряться, не разлагаясь.

Здесь мы видим, следовательно, целый ряд качественно различных тел, которые образуются простым количественным прибавлением элементов, притом всегда в одном и том же отношении. В наиболее чистом виде это явление выступает там, где все элементы соединения изменяют свое количество в одинаковом отношении, как, например, в нормальных парафинах C_nH_{2n+2} , самый низший из них, метан CH_4 , — газ; высший же из известных, гексадекан $C_{16}H_{34}$, — твердое тело, образующее бесцветные кристаллы, плавящиеся при 21° и кипящие только при 278°. В обоих рядах каждый новый член образуется прибавлением CH_2 , т. е. одного атома углерода и двух атомов водорода, к молекулярной формуле предыдущего члена, и это количественное изменение молекулярной формулы вызывает каждый раз образование качественно иного тела.

Но эти ряды представляют только особенно наглядный пример; почти повсюду в химии, например, уже на различных

окислах азота, на различных кислотах фосфора или серы, можно видеть, как «количество переходит в качество», и это якобы спутанное и туманное представление Гегеля можно, так сказать, осязать в телесной форме в вещах и явлениях, причем, однако, никто не путает и не остается в тумане, кроме г. Дюринга. И если Маркс первый обратил внимание на этот факт, и если г. Дюринг, читая это указание, не понимает даже, о чем идет речь (ибо иначе он, конечно, не пропустил бы безнаказанно такого преступления), то этого достаточно, чтобы, даже не оглядываясь назад в сторону знаменитой дюринговской натурфилософии, установить с полной ясностью, кому нехватает «в высокой степени современных образовательных элементов естественно-научного способа мышления» — Марксу или г. Дюрингу, и кто из них не обладает достаточным знакомством с «главными» неизбежными положениями... химии.

В заключение мы намерены призвать еще одного свидетеля в пользу превращения количества в качество, а именно Наполеона. Последний следующим образом описывает бой мало искусной в верховой езде, но дисциплинированной французской кавалерии с мамелюками, в то время безусловно лучшей в единоборстве, но недисциплинированной конницей. «Два мамелюка безусловно превосходили трех французов; 100 мамелюков были равноценны 100 французам; 300 французов большей частью одерживали верх над 300 мамелюками, а 1 000 французов уже всегда побивали 1 500 мамелюков». — Подобно тому как у Маркса определенная, хотя и меняющаяся, минимальная сумма меновой стоимости необходима для того, чтобы сделать возможным ее превращение в капитал, точно так же у Наполеона известная минимальная величина конного отряда необходима, чтобы дать проявиться силе дисциплины, заключающейся в сомкнутом строе и планомерности действия, и чтобы подняться до превосходства даже над более значительными массами иррегулярной кавалерии, имеющей лучших коней, более искусной в верховой езде и фехтовании и, по меньшей мере, столь же храброй. Но разве это аргумент против г. Дюринга? Разве Наполеон не был разбит наголову в борьбе с Европой? Разве он не терпел поражений одно за другим? А почему? Только потому, что ввел спутанное и туманное гегелевское представление в кавалерийскую тактику!

XIII

ДИАЛЕКТИКА. ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

«Этот исторический очерк (генезис так называемого первоначального накопления капитала в Англии) представляет из себя еще сравнительно лучшее место в книге Маркса и был бы еще лучше, если бы не опирался, помимо научных, еще и на

диалектические костыли. Гегелевское отрицание отрицания играет здесь — за неимением лучших и более ясных доводов — роль повивальной бабки, благодаря услугам которой будущее высвобождается из недр прошедшего. Уничтожение индивидуальной собственности, совершившееся указанным образом с XVI века, представляет из себя первое отрицание. За ним следует другое, которое характеризуется как отрицание отрицания и вместе с тем как восстановление «индивидуальной собственности», но в высшей форме, основанной на общем владении землей и орудиями труда. Если эта новая «индивидуальная собственность» в то же время называется г. Марксом и «общественной собственностью», то в этом именно и оказывается гегелевское высшее единство, в котором противоречие устраняется (*aufgehoben*), т. е., по гегелевской игре слов, столько же превосходится, сколько и сохраняется... Экспроприация экспроприаторов является таким образом как бы автоматическим продуктом исторической действительности в ее материальных внешних условиях... Едва ли хоть один разумный человек убедится в необходимости общественного владения землей и капиталом на основании веры в гегелевские фокусы, вроде отрицания отрицания... Туманная уродливость представлений Маркса не может, впрочем, удивить того, кто знаком с тем, что можно сделать из такого научного материала, как гегелевская диалектика, или — лучше — какие нелепицы должны получиться из него. Для незнакомых с этими штуками скажу прямо, что первое отрицание играет у Гегеля роль заимствованного из катехизиса понятия грехопадения, а второе — роль высшего единства, ведущего к искуплению. На подобных фокусах аналогии, заимствованных из области религии, — конечно, уж нельзя основать логику фактов... Г-н Маркс успокаивается на своей путаной идее об индивидуальной и в то же время общественной собственности и предоставляет своим адептам самим разрешить эту глубокомысленную диалектическую загадку». Так говорит г. Дюринг.

Итак, Маркс не в состоянии доказать необходимость социальной революции, необходимость введения общей собственности на землю и на произведенные трудом средства производства, не прибегая к гегелевскому отрицанию отрицания; основывая свою социалистическую теорию на таких, заимствованных у религии, фокусах аналогии, он приходит к тому выводу, что в будущем обществе будет существовать собственность в одно и то же время и индивидуальная и общественная, в качестве гегелевского высшего единства устраненного противоречия.

Оставим пока в стороне отрицание отрицания и посмотрим на эту «собственность, в одно и то же время и индивидуальную и общественную». Г-н Дюринг называет это «туманом», и он, — как это ни удивительно, — действительно прав в этом отношении.

К несчастью только, находится в этом «тумане» совсем не Маркс, а опять-таки сам г. Дюринг. Подобно тому как раньше он, благодаря своему искусству в пользовании гегелевским методом «бредового фантазирования», сумел без труда установить, что должны содержать в себе еще незаконченные томы «Капитала», так и здесь он без большого труда может поправлять Маркса по Гегелю, подсовывая ему какое-то высшее единство собственности, о котором Маркс не сказал ни слова.

У Маркса значит: «Это отрицание отрицания. Оно снова создает индивидуальную собственность, но на основании приобретений капиталистической эры — кооперации свободных работников и их общего владения землей и произведенными ими средствами производства. Превращение основанной на собственном труде раздробленной частной собственности отдельных личностей в капиталистическую, конечно, является процессом гораздо более долгим, трудным и тяжелым, чем превращение капиталистической частной собственности, фактически уже основывающейся на общественном процессе производства, в общественную собственность»¹. Вот и все. Таким образом, порядки, созданные экспроприацией экспроприаторов, характеризуются как восстановление индивидуальной собственности *на основании* общественного владения землей и созданными самими работниками средствами производства. Для всякого, кто понимает немецкий язык, это означает, что общественная собственность простирается на землю и другие средства производства, а индивидуальная собственность на остальные продукты, т. е. на предметы потребления. А чтобы дело было понятно даже шестилетним ребятам, Маркс на стр. 56 предполагает «союз свободных людей, работающих общими средствами производства и планомерно расходующих свои индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу», т. е. социалистически организованный союз, и говорит: «Весь продукт труда союза представляет из себя общественный продукт. Часть этого продукта служит снова в качестве средств производства. *Она остается общественной.* Но другая часть потребляется в качестве жизненных средств членами союза. *Поэтому она должна быть распределена между ними*»². Должно же это быть достаточно ясно даже и для запутавшейся в гегельянстве головы г. Дюринга.

Собственность и индивидуальная и общественная в то же время, — эта туманная уродливость, эта нелепица, получающаяся из гегелевской диалектики, эта путаница, эта глубокомысленная диалектическая загадка, которую Маркс предоставляет решить своим адептам, — опять-таки является вольным сочинением и выдумкой г. Дюринга. Маркс, в качестве мнимого

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 613. *Ред.*

² См. там же, стр. 36. *Ред.*

гегельянца, обязан в виде результата отрицания отрицания дать настоящее высшее единство, но ввиду того, что он это делает не так, как хотелось бы г. Дюрингу, то последнему приходится опять впадать в высокий и благородный стиль и в интересах полной истины подсовывать Марксу такие вещи, которые представляют собой собственный фабрикат г. Дюринга. Человек, абсолютно неспособный, хотя бы в виде исключения, цитировать правильно, должен, разумеется, впадать в нравственное негодование по поводу «китайской учености» других людей, которые всегда, без исключения, цитируют правильно, но именно этим «плохо прикрывают недостаточное понимание совокупности идей цитируемых в каждом данном случае писателей». Г-н Дюринг прав. Да здравствует историография в высоком стиле!

До сих пор мы исходили из предположения, что свойственное г. Дюрингу упорное неправильное цитирование происходит, по крайней мере, вполне добросовестно и зависит либо от его собственной полной неспособности правильно понимать вещи, либо же от присущей историографии в высоком стиле привычки цитировать на память, — привычки, которую обыкновенно принято называть просто неряшливой. Но похоже на то, что мы подошли здесь к пункту, где и у г. Дюринга количество переходит в качество. Ибо, если мы взвесим, во-первых, что это место у Маркса само по себе изложено совершенно ясно и к тому же дополняется еще другим, абсолютно не допускающим недоразумений местом в той же книге; во-вторых, что ни в вышеупомянутой критике «Капитала» в «Ergänzungsblätter», ни в критике, помещенной в первом издании «Критической истории», г. Дюринг не открыл этого чудовища — «индивидуальной и в то же время общественной собственности», а открыл его во втором издании своей книги, т. е. уже при *третьем* чтении «Капитала»; затем, что только в этом втором, переработанном в социалистическом духе издании г. Дюрингу понадобилось приписать Марксу возможно больший вздор о будущей организации общества, чтобы иметь возможность, в противоположность ей, с тем большим торжеством поднести, что он и делает, «хозяйственную коммуны, которую я охарактеризовал экономически и юридически в своем курсе», — если мы взвесим все это, то напрашивается вывод, предположить который нас почти вынуждает г. Дюринг, — что он в этом случае с умыслом «благотворно расширил» мысль Маркса, т. е. благотворно для самого г. Дюринга.

Какую же роль играет у Маркса отрицание отрицания? На стр. 791 и следующих¹ сопоставляет он окончательные результаты изложенного на предыдущих 50 страницах экономического

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 611—613. *Ред.*

и исторического исследования о так называемом первоначальном накоплении капитала. До капиталистической эры существовало, по крайней мере в Англии, мелкое производство на основании частной собственности работника на его средства производства. Так называемое первоначальное накопление капитала состояло здесь в экспроприации этих непосредственных производителей, т. е. в уничтожении частной собственности, основанной на собственном труде. Это уничтожение сделалось возможным потому, что упомянутое мелкое производство совместимо только с узкими, примитивными рамками производства и общества, и на известной ступени развития оно само создает материальные основания для своего уничтожения. Это уничтожение, превращение индивидуальных и раздробленных орудий производства в общественно-концентрированные образует собой первоначальную историю капитала. Как скоро работники были превращены в пролетариев, а их средства производства в капитал, как скоро капиталистический способ производства стал на собственные ноги, — дальнейшее обобществление труда и дальнейшее превращение земли и других средств производства (в капитал), а, следовательно, и дальнейшая экспроприация частных собственников приобретает новую форму. «Теперь подлежит экспроприированию уже не работник, ведущий свое хозяйство, а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих. Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства, вследствие концентрации капиталов. Один капиталист побивает насмерть многих. Рука об руку с этой концентрацией или экспроприацией многих капиталистов немногими развивается кооперативная форма процесса труда в постоянно расширяющихся размерах, развивается сознательное технологическое применение науки, планомерная коллективная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие, которые могут быть употреблены только коллективно, и экономизирование всех средств производства вследствие употребления их в качестве общих средств производства комбинированного общественного труда. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, узурпирующих и монополизирующих все выгоды этого превращения, растет масса нищеты, угнетения, рабства, деградации, эксплуатации, но также и возмущения постоянно растущего рабочего класса, обучаемого, объединяемого и организуемого самим механизмом капиталистического процесса производства. Капитал становится оковами того способа производства, который расцвел вместе с ним и под его покровом. Концентрация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она разрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

И теперь спрашиваю я читателя, где диалектические хитрые завитки и арабески мысли, где смешение и извращение понятий, сводящее все различия к нулю, где диалектические чудеса для правоверных, где диалектическая таинственная чепуха и фокусы по масштабу гегелевского учения о логосе, без которых Маркс, по словам г. Дюринга, не мог довести до конца своего изложения? Маркс просто доказывает исторически и здесь вкратце резюмирует, что точно так же, как некогда мелкое производство своим собственным развитием породило с необходимостью условия своего уничтожения, т. е. условия экспроприации мелких собственников, так точно теперь капиталистическое производство породило само материальные условия, от которых оно должно погибнуть. Таков исторический процесс, и если он в то же время оказывается диалектическим, то это уже не вина Маркса, как бы фатально ни казалось это г. Дюрингу.

Только теперь, покончивши с своим историко-экономическим доказательством, Маркс продолжает: «Капиталистический способ производства и присвоения, а следовательно, и капиталистическая частная собственность, есть первое отрицание индивидуальной собственности, основанной на собственном труде. Отрицание капиталистического производства производится им самим с необходимостью естественно-исторического процесса. Это — отрицание отрицания» и т. д. (как выше цитировано).

Таким образом, называя этот процесс отрицанием отрицания, Маркс и не помышляет о том, чтобы в этом видеть доказательство его исторической необходимости. Напротив того: после того как он доказал исторически, что процесс этот отчасти уже действительно совершился, отчасти еще должен совершиться, только после этого характеризует он его как такой процесс, который происходит притом по известному диалектическому закону. Вот и все. Таким образом, это — опять-таки чистейшая передержка г. Дюринга, когда он утверждает, что отрицание отрицания оказывает здесь услуги повивальной бабки, при помощи которых будущее высвобождается из недр прошедшего, или будто бы Маркс требует, чтобы кто-нибудь убеждался в необходимости общественного владения землей и капиталом (а последнее уже само по себе представляет собой дюринговское «воплощенное противоречие») на основании веры в закон отрицания отрицания.

О полном непонимании природы диалектики свидетельствует уже тот факт, что г. Дюринг считает ее каким-то инструментом простого доказывания, подобно тому как при ограниченном понимании можно было бы считать подобным инструментом формальную логику или элементарную математику. Даже формальная логика представляет прежде всего метод для отыскания новых результатов, для перехода от известного к неизвестному;

то же самое, только в гораздо более высоком смысле, представляет собой диалектика, которая к тому же, прорывая узкий горизонт формальной логики, содержит в себе зародыш более широкого мировоззрения. То же соотношение имеет место в математике. Элементарная математика, математика постоянных величин, движется, по крайней мере в общем и целом, внутри границ формальной логики; математика переменных величин, самый значительный отдел которой составляет исчисление бесконечно-малых, есть по своей сущности не что иное, как применение диалектики к математическим отношениям. Простое доказывание отступает здесь решительно на второй план в сравнении с многообразным применением этого метода к новым областям исследования. Но почти все доказательства высшей математики, начиная с первых доказательств дифференциального исчисления, являются, с точки зрения элементарной математики, строго говоря, неверными. Иначе оно и не может быть, если, как это делается здесь, результаты, добытые в диалектической области, хотят доказать посредством формальной логики. Пытаться посредством одной диалектики доказать что-либо такому грубому метафизику, как г. Дюринг, было бы таким же напрасным трудом, какой потратили Лейбниц и его ученики, доказывая тогдашним математикам теоремы исчисления бесконечно-малых. Дифференциал вызывал у этих математиков такие же судороги, какие вызывает у г. Дюринга «отрицание отрицания», в котором, впрочем, как мы увидим, дифференциал тоже играет некоторую роль. В конце концов эти господа, поскольку они не умерли тем временем, ворча сдались, но не потому, что удалось убедить их, а потому, что решения получались всегда верные. Г-ну Дюрингу, по его собственному показанию, теперь только за сорок, и если он доживет до глубокой старости, чего мы ему желаем, — то и он может еще испытать то же самое.

Но что же такое все-таки это ужасное «отрицание отрицания», столь отравляющее жизнь г. Дюрингу и играющее у него такую же роль тяжкого преступления, какую у христиан играет прегрешение против святого духа? В сущности, это очень простая, повсюду и ежедневно совершающаяся процедура, которую может понять любой ребенок, если только очистить ее от всякого мистического хлама, в который ее закутывала старая идеалистическая философия и в который хотели бы и дальше закутывать ее в своих интересах беспомощные метафизики вроде г. Дюринга. Возьмем, например, ячменное зерно. Биллионы таких зерен размалываются, развариваются, идут на приготовление пива, а затем потребляются. Но если такое ячменное зерно найдет нормальные для себя условия, если оно попадет на благоприятную почву, то, под влиянием теплоты и влажности, с ним произойдет своеобразное изменение: оно прорастет;

зерно, как таковое, прекращает существование, подвергается отрицанию; на его место появляется выросшее из него растение, отрицание зерна. Каков нормальный ход жизни этого растения? Оно растет, цветет, оплодотворяется и, наконец, производит вновь ячменные зерна, и как только последние созреют, стебель отмирает, подвергается в свою очередь отрицанию. Как результат этого отрицания отрицания мы здесь имеем снова первоначальное ячменное зерно, но не одно, а сам-десять, сам-двадцать или тридцать. Виды хлебных злаков изменяются крайне медленно, так что современный ячмень остается приблизительно таким же, каким он был сто лет тому назад. Но возьмем какое-нибудь пластическое декоративное растение, например, далию или орхидею; если мы, применяя искусство садовода, будем воздействовать на семя и развивающееся из него растение, то в результате этого отрицания отрицания получим не только больше семян, но и качественно улучшенное семя, дающее более красивые цветы, и каждое повторение этого процесса, каждое новое отрицание отрицания есть более высокая ступень в процессе этого усовершенствования. — Подобно тому, как мы это видим в отношении ячменного зерна, процесс этот совершается у большинства насекомых, например у бабочек. Они развиваются из яйца путем отрицания его, проходят через различные фазы превращения до половой зрелости, подвергаются оплодотворению и вновь отрицаются, т. е. умирают, как только завершился процесс воспроизведения и самка отложила множество яиц. Что у других растений и животных процесс завершается не в такой простой форме, что они не однажды, но много раз производят семена, яйца или детенышей, прежде чем умрут, — все это нас здесь не касается; здесь пока нам только нужно показать, что отрицание отрицания *действительно происходит* в обоих царствах органического мира. Далее, вся геология представляет ряд отрицаний, подвергшихся в свою очередь отрицанию, ряд последовательных разрушений старых и отложений новых горных формаций. Сначала первичная, возникшая от охлаждения жидкой массы земная кора размельчается океаническими, метеорологическими и атмосферно-химическими воздействиями, и эти измельченные массы отлагаются слоями на дне моря. Местные поднятия морского дна над уровнем моря вновь подвергают определенные части этого первого отложения воздействиям дождя, меняющейся в зависимости от времени года температуры, атмосферного кислорода и углекислоты; под теми же воздействиями находятся прорывающиеся через напластования из недр земли расплавленные и впоследствии охладившиеся каменные массы. В течение миллионов столетий образуются, таким образом, все новые и новые слои, — они по большей части вновь и вновь разрушаются и снова служат материалом для

образования новых слоев. Но результат этого процесса весьма положителен: это — образование почвы, составленной из разнообразнейших химических элементов и находящейся в состоянии механической измельченности, которое делает возможной в высшей степени массовую и разнообразнейшую растительность.

То же самое мы видим в математике. Возьмем любую алгебраическую величину, обозначим ее a . Если мы отрицаем ее, мы получим $-a$ (минус a). Если же мы подвергнем отрицанию это отрицание, помножив $-a$ на $-a$, то получим $+a^2$, т. е. первоначальную положительную величину, но на высшей ступени, именно во второй степени. Здесь также не имеет значения, что к тому же самому a^2 мы можем прийти и тем путем, что умножим положительное a на само себя и таким образом также получим a^2 . Ибо отрицание, подвергшееся уже отрицанию, так крепко пребывает в a^2 , что последнее при всяких обстоятельствах имеет два квадратных корня, а именно $+a$ и $-a$. И эта невозможность отделаться от отрицания, которое подверглось уже отрицанию, от отрицательного корня, содержащегося в квадрате, получает весьма осязательное значение уже в квадратных уравнениях. — Еще разительнее отрицание отрицания выступает в высшем анализе, в тех «суммированиях неограниченно малых величин», которые сам г. Дюринг объявляет наивысшими математическими операциями и которые на обычном языке называются дифференциальным и интегральным исчислением. Как производятся эти исчисления? Я имею, например, в определенной задаче две переменные величины x и y , из которых одна не может изменяться без того, чтобы и другая не изменялась вместе с ней в отношении, которое определено обстоятельствами дела. Я дифференцирую x и y , т. е. принимаю их столь бесконечно-малыми, что они исчезают по сравнению со всякой, сколь угодно малой действительной величиной, что от x и y не остается ничего, кроме взаимного их отношения, но без всякой, так сказать, материальной основы, — остается количественное отношение без всякого количества. Следовательно, $\frac{dy}{dx}$, т. е. отношение обоих дифференциалов — от x и от y — равно $\frac{0}{0}$, но $\frac{0}{0}$, которое принимается как выражение $\frac{y}{x}$. Упомяну лишь

мимоходом, что это отношение двух исчезнувших величин, этот фиксированный момент их исчезновения, представляет собой противоречие, но это противоречие так же мало может нас затруднить, как вообще оно не затрудняло математику в течение почти 200 лет. Но разве это не значит, что я отрицаю x и y , только не в том смысле, что мне нет больше до них дела, — так именно отрицает метафизик, — а отрицаю соответственно обстоятельствам дела? Итак, вместо x и y я имею в данных формулах или уравнениях их отрицание, dx и dy . Затем я произвожу дальнейшие действия с этими формулами, обращаюсь

с dx и dy как с величинами действительными, хотя и подчиненными некоторым особым законам, и в известном пункте я отрицаю отрицание, т. е. интегрирую дифференциальную формулу, вместо dx и dy получаю вновь действительные величины x и y ; на таком пути я не просто вернулся к тому, с чего я начал, но разрешил задачу, на которой обыкновенная геометрия и алгебра, быть может, понапрасну обломали бы себе зубы.

Не иначе обстоит дело и в истории. Все культурные народы начинают с общинной собственности на землю. У всех народов, перешагнувших уже через известную ступень первобытного состояния, общинная собственность на землю становится в ходе развития земледелия оковами для производства. Она уничтожается, подвергается отрицанию и, после более или менее долгих промежуточных стадий, превращается в частную собственность. Но на более высокой ступени развития земледелия, достигаемой благодаря самой же частной собственности на землю, частная собственность, наоборот, становится оковами для производства, как это наблюдается теперь и в мелком и в крупном землевладении. Отсюда необходимо возникает требование — подвергнуть отрицанию теперь уже частную земельную собственность, превратить ее снова в общую собственность. Но это требование означает не восстановление первобытной общинной собственности на землю, а установление гораздо более высокой, более развитой формы общего владения, которая не только не станет помехой для производства, а, напротив, впервые освободит последнее от стесняющих его оков и даст ему возможность полностью использовать современные химические открытия и механические изобретения.

Или другой пример: античная философия была первоначальным, стихийным материализмом. В качестве материализма стихийного, она не была способна выяснить отношение мышления к материи. Но необходимость добиться в этом вопросе ясности привела к учению об отделимой от тела душе, затем — к утверждению, что эта душа бессмертна, наконец — к монотеизму. Старый материализм подвергся, таким образом, отрицанию со стороны идеализма. Но при дальнейшем развитии философии идеализм тоже оказался несостоятельным и подвергся отрицанию со стороны современного материализма. Последний — отрицание отрицания — представляет собой не простое воскрешение старого материализма, а к прочным основам последнего присоединяет еще все идейное содержание двухтысячелетнего развития философии и естествознания, как и самой этой двухтысячелетней истории. Это вообще уже больше не философия, а просто мировоззрение, которое должно найти себе подтверждение и проявить себя не в некоей особой науке наук, а в реальных науках. Философия, таким образом, «снята», т. е. «одновременно преодолена и сохранена», преодолена по форме, сохранена по своему

действительному содержанию. Таким образом, там, где г. Дюринг видит только «игру слов», при более внимательном рассмотрении обнаруживается реальное содержание.

Наконец, даже учение Руссо о равенстве, бледную, фальсифицированную копию которого представляет учение г. Дюринга, даже оно не могло быть построено без того, чтобы гегелевское отрицание отрицания не оказало услуг позывальной бабки, при том — более чем за двадцать лет до рождения Гегеля. И весьма далекое от того, чтобы стыдиться этой роли, учение Руссо в первом своем изложении, можно сказать, блистательно представляет напоказ свое диалектическое происхождение. В естественном и диком состоянии люди были равны, а так как Руссо рассматривает уже само возникновение речи как искажение естественного состояния, то он имел полное право приписывать равенство животных, в пределах одного и того же вида, также и этим людям-животным, которых Геккель в новейшее время гипотетически классифицировал как *alali* — бессловесных. Но эти равные между собой люди-животные имели одно преимущество перед прочими животными: способность к совершенствованию, к дальнейшему развитию, а эта способность и стала причиной неравенства. Итак, Руссо видит в возникновении неравенства прогресс. Но этот прогресс был антагонистичен, он в то же время был и регрессом. «Все дальнейшие успехи (в сравнении с первобытным состоянием) представляли собой только кажущийся прогресс *в направлении усовершенствования индивида*, на самом же деле они вели *к упадку рода*. Обработка металлов и земледелие были теми двумя искусствами, открытие которых вызвало эту громадную революцию» (превращение первобытных лесов в возделанную землю, но вместе с тем и возникновение нищеты и рабства вследствие установления собственности). «С точки зрения поэта, золото и серебро, а с точки зрения философа — железо и хлеб сделали цивилизованными *людей* и погубили человеческий *род*». С каждым новым шагом вперед, который делает цивилизация, делает шаг вперед и неравенство. Все учреждения, которые создает для себя общество, возникшее вместе с цивилизацией, превращаются в учреждения, прямо противоположные своему первоначальному назначению. «Бесспорно — и это составляет основной закон всего государственного права, — что народы поставили князей для охраны своей свободы, а не для ее уничтожения». И тем не менее эти князья неизбежно становятся угнетателями народов, и они доводят этот гнет до той точки, когда неравенство, достигшее крайней степени, превращается вновь в свою противоположность, становясь причиной равенства: перед деспотом все равны, а именно — равны нулю. «Здесь — предельная степень неравенства, та *конечная точка, которая замыкает круг и соприкасается с начальной точкой, из которой мы исходили*: здесь все частные

люди становятся равными именно потому, что они представляют собой ничто, и подданные не имеют больше другого закона, кроме воли господина». Но деспот является господином только до тех пор, пока он в состоянии применять насилие, а потому, «когда его изгоняют, он не может жаловаться на насилие... Насилие его поддерживало, насилие его и свергает, все идет своим правильным естественным путем». Таким образом, неравенство вновь превращается в равенство, но не в старое, стихийно сложившееся равенство первобытных бессловесных людей, а в более высокое равенство общественного договора. Угнетатели подвергаются угнетению. Это — отрицание отрицания.

Таким образом, уже у Руссо имеется не только рассуждение, как две капли воды схожее с рассуждением Маркса в «Капитале», но мы видим у Руссо и в подробностях целый ряд тех же самых диалектических оборотов, которыми пользуется Маркс: процессы, антагонистичные по своей природе, содержащие в себе противоречие; превращение каждой крайности в свою противоположность и, наконец, как ядро всего — отрицание отрицания. Если, следовательно, Руссо в 1754 г. и не мог еще говорить на «гегелевском жаргоне», то, во всяком случае, он уже за 23 года до рождения Гегеля был глубоко заражен чумой гегельянства, диалектикой противоречия, учением о логосе, теологией и т. д. И когда г. Дюринг, опошляя теорию равенства Руссо, оперирует своими двумя достославными мужами, то он уже попал на наклонную плоскость, по которой безнадежно скользит в объятия отрицания отрицания. Строй, в котором процветает равенство этих двух мужей и который при этом изображен как строй идеальный, назван на стр. 271 «Курса философии» «первобытным строем». Этот первобытный строй на стр. 279 необходимым образом уничтожается «системой грабежа» — первое отрицание. Но в наше время мы благодаря философии действительности дошли до того, что можем упразднить систему грабежа и на ее место ввести изобретенную г. Дюрингом, покоящуюся на равенстве хозяйственную коммуну — отрицание отрицания, равенство на высшей ступени. Забавное, благотворно расширяющее кругозор зрелище: сам г. Дюринг высочайше совершает тяжкое преступление — отрицание отрицания!

/ Итак, что такое отрицание отрицания? Чрезвычайно общий и именно потому чрезвычайно широко действующий и важный закон развития природы, истории и мышления; закон, который, как мы видели, проявляется в царстве животном и растительном, в геологии, математике, истории, философии и с которым вынужден, сам того не ведая, сообразоваться на свой лад и г. Дюринг, несмотря на все свое упрямое сопротивление. Само собой понятно, что я еще ничего не говорю о том *особом* процессе развития, который проделывает, например, ячменное

зерно от своего прорастания до отмирания плодоносного растения, когда говорю, что это — отрицание отрицания. Ведь такое же отрицание отрицания представляет собой, например, и интегральное исчисление. Значит, ограничиваясь этим общим утверждением, я мог бы утверждать такую бессмыслицу, что процесс жизни ячменного колоса есть интегральное исчисление или, если хотите, социализм. Именно такую бессмыслицу метафизики постоянно приписывают диалектике. Когда я обо всех этих процессах говорю, что они представляют отрицание отрицания, то я охватываю их всех одним этим законом движения и именно потому оставляю без внимания особенности каждого специального процесса в отдельности. Диалектика же есть не более как наука о всеобщих законах движения и развития природы, человеческого общества и мышления.

Однако нам могут возразить: осуществленное здесь отрицание не есть настоящее отрицание; я отрицаю ячменное зерно и в том случае, если я его размалываю, насекомое, если я его растапываю, положительную величину a , если я ее вычеркиваю, и т. д. Или я отрицаю положение — роза есть роза, сказав: роза не есть роза; и что выйдет из того, что я вновь стану отрицать это отрицание, говоря: роза все-таки есть роза? — Таковы, действительно, главные аргументы метафизиков против диалектики, вполне достойные ограниченности метафизического мышления. В диалектике отрицать не значит просто сказать «нет», или объявить вещь несуществующей, или уничтожить ее любым способом. Уже Спиноза говорит: «*Omnis determinatio est negatio*», всякое ограничение или определение есть в то же время отрицание. И затем способ отрицания определяется здесь, во-первых, общей, а во-вторых, особой природой процесса. Я должен не только что-либо подвергнуть отрицанию, но и снова снять это отрицание. Следовательно, первое отрицание я должен произвести таким образом, чтобы второе оставалось или стало возможным. Но как этого достигнуть? Это зависит от особой природы каждого отдельного случая. Если я размолол ячменное зерно или раздавил насекомое, то хотя я и совершил первый акт отрицания, но сделал невозможным второй. Для каждого вида предметов, как и для каждого вида представлений и понятий, существует, следовательно, свой особый вид отрицания, такого именно отрицания, что при этом получается развитие. В исчислении бесконечно-малых отрицание происходит иначе, чем при получении положительных степеней из отрицательных корней. Этому приходится учиться, как и всему прочему. С одним знанием того, что ячменный колос и исчисление бесконечно-малых охватываются понятием «отрицание отрицания», я не смогу ни успешно выращивать ячмень, ни дифференцировать и интегрировать, точно так же, как знание одних только законов зависимости тонов от размеров струн не дает еще мне

умения играть на скрипке. — Однако ясно, что при отрицании отрицания, сводящемся к ребяческому занятию — попеременно ставить *a* и затем вычеркивать его, или попеременно утверждать о розе, что она есть роза и что она не есть роза, — не обнаружится ничего, кроме глупости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру. А между тем метафизики хотят нас уверить, что раз мы желаем производить отрицание отрицания, то это надо делать именно в такой, якобы правильной, форме.

Итак, опять-таки не кто иной, как г. Дюринг, мистифицирует нас, когда утверждает, будто отрицание отрицания представляет собой причудливую аналогию с грехопадением и искуплением, изобретенную Гегелем и заимствованную из области религии. Люди рассуждали диалектически задолго до того, как узнали, что такое диалектика, точно так же, как они говорили прозой задолго до того, как появилось слово «проза». Закон отрицания отрицания, который осуществляется в природе и истории и, пока он не познан, бессознательно и в наших головах, — этот закон был впервые резко формулирован только Гегелем. И если г. Дюринг хочет втихомолку сам заниматься этим делом, но ему только не нравится название, то пусть отыщет лучшее. Если же он намерен изгнать из мышления самую суть этого дела, то пусть будет любезен изгнать ее сначала из природы и истории и изобрести такую математику, где $-a \times -a$ не дает $+a^2$ и где дифференцирование и интегрирование воспрещены под страхом наказания.

XIV

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы покончили с философией; что же касается вообще фантазий будущего, которые также еще имеются в «Курсе», то мы займемся ими при рассмотрении переворота, произведенного г. Дюрингом в области социализма. Что обещал нам г. Дюринг? Все. Что сдержал он из своих обещаний? Ничего. «Элементы действительной философии, сообразно с этим направленной на действительность природы и жизни», «строго научное мировоззрение», «системосозидающие идеи» и все прочие подвиги г. Дюринга, о которых раструбил громкими фразами сам г. Дюринг, оказались, при первом же прикосновении к ним, *чистейшим шарлатанством*. Мировая схематика, которая «твердо установила основные формы бытия, не жертвуя несколько глубиной мысли», оказалась бесконечно поверхностной копией с гегелевской логики, с которой она разделяет суеверный предассудок, будто эти «основные формы», или логические категории, ведут

где-то таинственное существование до мира и вне мира, к которому они должны «применяться». Натурфилософия преподнесла нам космогонию, исходным пунктом которой является «равное самому себе состояние материи», — состояние, которое можно представить себе только посредством безнадежнейшей путаницы относительно связи материи и движения и сверх того лишь при допущении внемирового личного бога, который один может помочь этому состоянию перейти в движение. При рассмотрении органической природы философия действительности, отвергнув борьбу за существование и естественный отбор Дарвина как «изрядную дозу зверства, направленного против человечности», принуждена была ввести затем то и другое с черного хода и принять их как действующие в природе факторы, хотя и второстепенного значения. При этом ей представился случай проявить в области биологии такое невежество, какое ныне, — с тех пор, как нельзя уже избежать знакомства с популярно-научными лекциями, — надо искать днем с огнем даже среди девиц из «образованных сословий». В области морали и права опошление Руссо оказалось не менее злополучным, чем в предыдущих отделах плоская переделка Гегеля. Точно так же и в области правоведения эта философия действительности, несмотря на все уверения автора в противном, обнаружила такое невежество, которое, и то лишь изредка, можно встретить только у самых заурядных старопруссских юристов. Философия, «не признающая никакого просто видимого горизонта», довольствуется в юридической области таким действительным горизонтом, который совпадает со сферой действия прусского земского права. Что же касается обещаний этой философии — развернуть в мощном, все опрокидывающем на своем пути движении «земли и небеса внешней и внутренней природы», то мы все еще продолжаем тщетно их ждать, и так же тщетно ждем мы и «окончательных истин в последней инстанции» и «абсолютно-фундаментального». Философ, способ мышления которого исключает всякое поползновение к «субъективно ограниченному представлению о мире», оказался субъективно ограниченным, — как мы это установили, — не только своими крайне недостаточными познаниями, узко метафизическим способом мышления и карикатурным самовозвеличением, но и просто своими личными ребяческими причудами. Он не может создать свою философию действительности, не навязав предварительно своего отвращения к табаку, к кошкам и к евреям — в качестве всеобщего закона — всему остальному человечеству, включая евреев. Его «истинно критическая точка зрения» по отношению к другим людям состоит в том, чтобы упорно приписывать им вещи, которых они никогда не говорили и которые представляют собственное изделие г. Дюринга. Его жиденькие, как нищенская похлебка, рассуждения на обывательские

темы, вроде ценности жизни и наилучшего способа наслаждения жизнью, пропитаны филистерством, которое вполне объясняет его гнев против гетевского Фауста. Оно, конечно, непростительно со стороны Гете, что он сделал своим героем безнравственного Фауста, а не серьезного философа действительности — Вагнера. — Коротко говоря, философия действительности оказывается в конечном итоге, употребляя выражение Гегеля, «самым жиденьким отстоем немецкого просветительства», — отстоем, жиденькая и прозрачная пошлость которого получает более густой и мутный вид только благодаря добавлению туда крошки из оракульских фраз. И закончив чтение книги, мы оказываемся знающими ровно столько же, сколько знали прежде, и вынуждены признать, что «новый способ мышления», «своеобразные в самой основе результаты и воззрения» и «системосозидающие идеи» преподнесли нам немало всяческих новых нелепостей, но не дали ни одной строки, из которой мы могли бы чему-нибудь научиться. И этот человек, расхваливающий свои фокусы и свои товары под гром литавр и труб, не хуже самого заурядного базарного крикуна, — причем у него за громкими словами не скрывается ничего, ровным счетом ничего, — этот человек осмеливается называть шарлатанами таких людей, как Фихте, Шеллинг и Гегель, из которых наименее даже значительный — все же гигант по сравнению с ним. И впрямь шарлатан... только кто, собственно?

Отдел второй

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ

!

ПРЕДМЕТ И МЕТОД

Политическая экономия, в самом широком смысле, есть наука о законах, управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в человеческом обществе. Производство и обмен представляют собой две различные функции. Производство может совершаться без обмена, обмен же — именно потому, что он, как само собой разумеется, есть обмен продуктов, — не может существовать без производства. Каждая из этих двух общественных функций находится под влиянием большей частью особых внешних воздействий и поэтому имеет также большей частью свои собственные особые законы. Но, с другой стороны, эти функции в каждый данный момент обуславливают друг друга и в такой степени друг на друга воздействуют, что их можно было бы назвать абсциссой и ординатой экономической кривой.

Условия, при которых люди производят продукты и обмениваются ими, изменяются от страны к стране, а в каждой стране, в свою очередь, — от поколения к поколению. Политическая экономия не может быть поэтому одной и той же для всех стран и всех исторических эпох. Огромное расстояние отделяет лук и стрелы, каменный нож и встречающиеся только в виде исключения меновые отношения дикарей от паровой машины в тысячу лошадиных сил, механического ткацкого станка, железных дорог и Английского банка. Жители Огненной Земли не дошли до массового производства и мировой торговли, как и до спекуляции векселями или до биржевых крахов. Кто пожелал бы подвести под одни и те же законы политическую экономию Огненной Земли и политическую экономию современной Англии, — тот, очевидно, не дал бы ничего, кроме самых

банальных общих мест. Таким образом, политическая экономия по своему существу — *историческая наука*. Она имеет дело с историческим, т. е. постоянно изменяющимся материалом; она исследует прежде всего особые законы каждой отдельной ступени развития производства и обмена, и лишь в конце этого исследования она может установить немногие, вполне общие законы, применимые к производству и обмену вообще. При этом, однако, само собой разумеется, что законы, имеющие силу для определенных способов производства и форм обмена, имеют также силу для всех исторических периодов, которым общи эти способы производства и формы обмена. Так, например, вместе с введением металлических денег вступает в действие ряд законов, имеющих силу во все соответствующие исторические периоды и для всех стран, в которых обмен совершается посредством металлических денег.

От способа производства и обмена исторически определенного общества и от исторических предпосылок этого общества зависит и способ распределения продуктов. В родовой или сельской общине с общей земельной собственностью, с которой — или с весьма заметными остатками которой — вступают в историю все культурные народы, довольно равномерное распределение продуктов является делом само собой разумеющимся; там же, где между членами общины возникает более или менее значительное неравенство в распределении, — это служит признаком начавшегося уже разложения общины. — Как крупное, так и мелкое земледелие, в зависимости от тех исторических предпосылок, из которых оно развилось, допускает весьма различные формы распределения. Но совершенно очевидно, что крупное земледелие всегда обуславливает совсем иное распределение, чем мелкое; что крупное предполагает или создает противоположность классов — рабовладельцев и рабов, помещиков и барщинно-обязанных крестьян, капиталистов и наемных рабочих, тогда как при мелком классовые различия между занятыми в земледельческом производстве индивидами отнюдь не необходимы; напротив того, самый факт существования этих различий свидетельствует о начинающемся уже упадке парцелярного хозяйства. — Введение и распространение металлических денег в стране, в которой до тех пор существовало исключительно или преимущественно натуральное хозяйство, всегда связано с медленным или быстрым переворотом в прежнем распределении, и притом так, что неравенство распределения между отдельными лицами, — следовательно, противоположность между богатыми и бедными, — возрастает все более и более. Насколько местное, цеховое ремесленное производство средних веков делало невозможным существование крупных капиталистов и пожизненных наемных рабочих, настолько же эти классы неизбежно порождаются современной крупной промышленностью,

современным развитым кредитом и соответствующей развитию их обеих формой обмена, свободной конкуренцией.

Но с различиями в распределении выступают и *классовые различия*. Общество разделяется на классы — привилегированные и обездоленные, эксплуатирующие и эксплуатируемые, господствующие и угнетенные, а государство, к которому стихийно сложившиеся группы одноплеменных общин в результате своего развития пришли сначала только в целях удовлетворения своих общих интересов (например на Востоке — орошение) и для защиты от внешних врагов, отныне получает в такой же мере назначение — посредством насилия охранять условия существования и господства правящего класса против класса угнетенного.

Однако распределение не является простым пассивным результатом производства и обмена; оно, в свою очередь, влияет обратно на производство и обмен. Каждый новый способ производства или новая форма обмена тормозится вначале не только старыми формами и соответствующими им политическими учреждениями, но и старым способом распределения. Новому способу производства и новой форме обмена приходится путем долгой борьбы завоевывать себе соответствующее распределение. Но чем подвижнее данный способ производства и обмена, чем больше он способен к преобразованию и развитию, тем скорее и распределение достигает такой ступени, на которой оно перерастает породивший его способ производства и обмена и вступает с ним в столкновение. Древние, первобытные общины, о которых уже шла речь, могут существовать тысячелетия, как это наблюдается еще теперь у индусов и славян, пока сношения с внешним миром не породят внутри этих общин имущественные различия, вследствие которых наступает их разложение. Напротив, современное капиталистическое производство, существующее едва триста лет и ставшее господствующим только со времени появления крупной промышленности, т. е. всего сто лет тому назад, успело породить в течение этого короткого срока противоположности в распределении — с одной стороны, концентрацию капиталов в немногих руках, а с другой, — концентрацию неимущих масс в больших городах, — противоположности, от которых оно неизбежно погибнет.

Связь между распределением и материальными условиями существования общества настолько коренится в природе вещей, что она постоянно находит свое отражение в народном инстинкте. Пока известный способ производства находится в восходящей стадии своего развития, до тех пор ему воздают хвалу даже те, кто остается в убытке от соответствующего ему способа распределения. Так было с английскими рабочими в период роста крупной промышленности. Более того: пока этот способ производства остается еще общественно-нормальным, до тех пор господствует, в общем, довольство распределением, и если

протесты и раздаются в это время, то они исходят из среды самого господствующего класса (Сен-Симон, Фурье, Оуэн) и как раз в эксплуатируемых массах не встречают никакого отклика. Лишь когда данный способ производства прошел уже порядочную часть своей нисходящей стадии, когда он наполовину пережил себя, когда условия его существования в большей своей части исчезли и его преемник уже стучится в дверь, — лишь тогда все более возрастающее неравенство распределения представляется несправедливым, лишь тогда люди начинают апеллировать от переживших себя фактов к так называемой вечной справедливости. Этот призыв к морали и праву в научном отношении нисколько не подвигает нас вперед; в нравственном негодовании, как бы оно ни было справедливо, экономическая наука может усматривать не доказательство, а только симптом. Ее задача состоит, напротив, в том, чтобы установить, что начинающие обнаруживаться пороки общественного строя представляют собой необходимое следствие существующего способа производства, но в то же время также и признак наступающего разложения его, и чтобы затем вскрыть внутри разлагающейся экономической формы движения элементы будущей, новой организации производства и обмена, устраняющей эти пороки. Гнев, создающий поэтов, вполне уместен — как при изображении этих пороков, так и в борьбе против проповедников «гармонии», которые в своем прислужничестве господствующему классу отрицают или прикрашивают эти пороки; но как мало этот гнев может иметь значения в качестве *доказательства* для каждого данного случая, это ясно уже из того, что для гнева было достаточно материала в *каждую* эпоху всей предшествующей истории.

Однако политическая экономия как наука об условиях и формах, при которых происходит производство и обмен в различных человеческих обществах и при которых, соответственно этому, всякий раз происходит распределение продуктов, — политическая экономия в этом широком смысле еще только должна быть создана. То, что дает нам до сих пор экономическая наука, ограничивается почти исключительно генезисом и развитием капиталистического способа производства: она начинается с критики пережитков феодальных форм производства и обмена, доказывает неизбежность их замены капиталистическими формами, развивает затем законы капиталистического способа производства и соответствующих ему форм обмена с положительной стороны, т. е. поскольку они идут на пользу общим целям общества, и заканчивает социалистической критикой капиталистического способа производства, т. е. изображением его законов с отрицательной стороны, доказательством того, что этот способ производства, в силу собственного своего развития, приближается быстро к точке, где он сам себя делает невозможным. Эта критика доказывает, что капиталистические

формы производства и обмена все более и более становятся невыносимыми оковами для самого производства, что способ распределения, с неизбежностью обусловленный этими формами, создал такое положение классов, которое становится с каждым днем все более невыносимым, создал обостряющийся с каждым днем антагонизм между все более уменьшающимися в своей численности, но все более богатеющими капиталистами и все более многочисленными неимущими наемными рабочими, положение которых становится, в общем, все хуже и хуже. Наконец, эта критика доказывает, что созданные в пределах капиталистического способа производства массовые производительные силы, которые он не в состоянии уже обуздать, только ждут, что их возьмет в свое владение организованное для совместной планомерной работы общество, чтобы обеспечить всем членам общества средства к существованию и свободному развитию их способностей, притом во все возрастающей мере.

Чтобы всесторонне провести эту критику буржуазной политической экономии, недостаточно было знакомства с капиталистической формой производства, обмена и распределения. Нужно было также, хотя бы в общих чертах, исследовать и привлечь к сравнению формы, которые ей предшествовали, или те, которые существуют еще рядом с ней в менее развитых странах. Такое исследование и сравнение было в общей форме предпринято пока только Марксом, и почти исключительно его работам мы обязаны поэтому всем тем, что удалось до сих пор установить в области буржуазной теоретической экономии.

Политическая экономия, в более узком смысле, хотя и возникла в головах гениальных людей в конце XVII века, однако в своей положительной формулировке, которую ей дали физиократы и Адам Смит, по существу представляет собой детище XVIII века и стоит в одном ряду с достижениями современных ей великих французских просветителей, разделяя все достоинства и недостатки того времени. То, что было сказано нами о просветителях, применимо и к тогдашним экономистам. Новая наука была для них не выражением отношений и потребностей их эпохи, а выражением вечного разума; открытые ею законы производства и обмена были не законами исторически определенной формы экономической деятельности, а вечными законами природы: их выводили из природы человека. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что этот человек был просто средним бюргером того времени, находившимся в процессе своего превращения в буржуа, а его природа заключалась в том, что он занимался производством и торговлей на почве тогдашних, исторически определенных отношений.

После того как мы достаточно познакомились с нашим «критическим основоположником», г. Дюрингом, и его методом в философии, мы легко можем предсказать, каково будет его

понимание политической экономии. В философской области, там, где он не городил просто вздора (как в натурфилософии), его воззрения были карикатурой на взгляды XVIII века. Для него дело шло не об исторических законах развития, а об естественных законах, о вечных истинах. Общественные отношения, как мораль и право, определялись не согласно исторически данным в каждом случае условиям, а с помощью пресловутых двух мужей, из которых один либо угнетает другого, либо не угнетает, причем последнее, к сожалению, доселе никогда не встречалось. Поэтому мы едва ли ошибемся, если наперед скажем, что г. Дюринг и политическую экономию сведет в конце концов к окончательным истинам в последней инстанции, к вечным естественным законам, к тавтологическим, абсолютно бессодержательным аксиомам, — и в то же время все положительное содержание политической экономии, поскольку оно ему знакомо, он протащит опять контрабандой с черного хода. Можно заранее сказать, что распределение как общественное явление он будет выводить не из производства и обмена, а передаст его на окончательное разрешение своим знаменитым двум мужам. А так как все это — давно уже знакомые нам фокусы, то мы можем ограничиться здесь кратким их разбором.

Действительно, уже на второй странице г. Дюринг заявляет нам, что его экономическая теория основывается на том, что *«установлено»* в его философии, и «опирается в некоторых существенных пунктах на истины более высокого порядка, уже окончательно завершённые в высшей области исследования». — Всюду все то же назойливое самохвальство. Всюду триумф г. Дюринга по поводу установленного и завершённого г. Дюрингом. В самом деле окончательно завершённого, примеров чего мы видели достаточно, — как окончательно тушат коптящую свечу¹.

Тотчас же вслед за тем мы узнаем о «самых общих естественных законах всякого хозяйства» — значит, мы верно угадали. Но эти естественные законы допускают правильное понимание протекшей истории лишь в том случае, если их «исследуют в той более определенной форме, которую их результаты получили благодаря политическим формам подчинения и группировки. Такие учреждения, как рабство и наемная кабала, к которым присоединяется их близнец — насильственная собственность, должны быть рассматриваемы как формы социально-экономического строя чисто политического характера; они составляли до сих пор рамку, в пределах которой только и могли проявляться действия естественных законов хозяйства».

Это положение играет роль фанфары, которая, подобно вагнеровскому лейтмотиву, должна возвестить нам выступление

¹ В подлиннике неперево́димая игра слов: *austmachen* означает — завершить, а также затушить, загасить. *Ред.*

двух пресловутых мужей. Но оно представляет еще нечто большее, — оно образует основную тему всей дюринговской книги. Когда речь шла о праве, г. Дюринг не сумел дать нам ничего, кроме плохого перевода теории равенства Руссо на социалистический язык, — перевода, гораздо лучшие образцы которого уже много лет можно слышать в любом парижском кафе, посещаемом рабочими. Здесь же г. Дюринг дает нам несколько не лучший социалистический перевод сетований экономистов на искажение вечных, естественных экономических законов и их действий вследствие вмешательства государства, вмешательства насилия. Тем самым он заслуженно оказывается совершенно одиноким среди социалистов. Каждый рабочий-социалист, безразлично какой национальности, очень хорошо знает, что насилие только охраняет эксплуатацию, но не создает ее; что основой эксплуатации, которой он подвергается, является отношение капитала и наемного труда и что это последнее возникло на чисто экономической основе, а вовсе не на основе насилия.

Далее мы узнаем, что во всех экономических вопросах «можно различать два процесса — процесс производства и процесс распределения». К ним известный поверхностный Ж. Б. Сэй прибавил еще третий — процесс потребления, но он так же мало, как и его последователь, сумел сказать по этому поводу что-либо вразумительное. Однако обмен или обращение представляет собой, по Дюрингу, только подразделение производства, так как к производству относится все, что должно совершиться, чтобы продукты попали к последнему и настоящему потребителю. — Когда г. Дюринг сваливает в кучу два существенно различных, хотя и взаимно обуславливающих друг друга, процесса — производства и обращения — и чрезвычайно развязно утверждает, что устранение этой путаницы может только «породить путаницу», то он этим лишь доказывает, что не знает или не понимает того колоссального развития, которое получило обращение как раз за последние пятьдесят лет. Это и подтверждается дальнейшим содержанием его книги. Но этого мало. Объединив попросту производство и обмен под именем производства вообще, он ставит распределение *рядом* с производством как второй, совершенно посторонний процесс, не имеющий ничего общего с первым. Между тем мы видели, что распределение в главных своих чертах всегда является необходимым результатом отношений производства и обмена в данном обществе, а также и исторических предпосылок этого общества; зная последние, можно с достоверностью умозаключить и о характере господствующего в данном обществе способа распределения. Но в то же время мы видим, что если г. Дюринг не желает изменить принципам, «установленным» в его учении о морали, праве и истории, то он вынужден отрицать этот

элементарный экономический факт, и особенно потому, что ему требуется протащить контрабандой в политическую экономию своих неизбежных двух мужей. После того как распределение благополучно избавлено от всякой связи с производством и обменом, это великое событие может, наконец, совершиться.

Припомним, однако, сначала, как происходило дело при рассмотрении вопроса о морали и праве. Здесь г. Дюринг начал сперва с одного только человека; он сказал: «Один человек, поскольку он мыслится одиноким или, что то же, стоящим вне всякой связи с другими людьми, не может иметь никаких *обязанностей*. Для него не существует никакого *долженствования*, а одно только хотение». Но что же иное представляет собой этот не имеющий обязанностей, одинокий человек, как не пресловутого «пранудея Адама» в раю, где он свободен от грехов по той простой причине, что не может совершать таковых? — Однако и этому созданному философией действительности Адаму предстоит грехопадение. Внезапно рядом с этим Адамом появляется если и не пышнокудрая Ева, то все же второй Адам. Адам тотчас же получает обязанности — и тотчас же нарушает их. Вместо того, чтобы прижать к своей груди брата как равноправного человека, он подчиняет его своему господству, порабощает его, — и от последствий этого первого греха, от первоначального греха порабощения страдает вся всемирная история вплоть до нынешнего дня, почему она, по мнению г. Дюринга, и не стоит медного гроша.

Заметим мимоходом: если г. Дюринг полагал, что достаточно заклеил позором «отрицание отрицания», назвав его копией со старой истории грехопадения и искупления, то что же нам сказать в таком случае о *его* новейшем издании той же истории (ибо со временем «доберемся еще», — как выражаются наши рептилии, — и до искупления). Во всяком случае мы готовы отдать предпочтение древнему семитскому племенному сказанию, где для мужчины и женщины имело все-таки некоторый смысл выйти из состояния невинности, а за г. Дюрингом останется безраздельная слава человека, сконструировавшего грехопадение при помощи двух мужчин.

Послушаем, однако, как переводится грехопадение на язык политической экономии: «Для понятия производства может во всяком случае служить пригодной логической схемой представление о Робинзоне, который изолированно противостоит со своими силами природе и не имеет надобности с кем бы то ни было чем-либо делиться... Столь же целесообразной, для наглядной иллюстрации существеннейших элементов в идее распределения, является логическая схема двух лиц, хозяйственные силы которых комбинируются и которые, очевидно, должны в той или иной форме договориться друг с другом относительно своих долей. Действительно, нет никакой нужды в чем-либо еще,

кроме этого простого дуализма, чтобы вполне строго изобразить некоторые из важнейших отношений распределения и изучить эмбрионально их законы в их логической необходимости... Совместная деятельность на равных основаниях столь же мыслима в этом случае, как комбинация сил путем полного подчинения одной стороны, которая принижается в таком случае до положения раба или простого орудия для хозяйственных услуг и потому содержится также лишь в качестве орудия... Между состоянием равенства и состоянием ничтожества, с одной стороны, и всемогуществом и единственно-активным участием, с другой, лежит целый ряд промежуточных ступеней, и всемирная история позаботилась о том, чтобы заполнить их пестрым многообразием своих явлений. Существенной предпосылкой является здесь всеобъемлющий взгляд на различные институты *права и несправедливости* в истории»... и в заключение, все распределение превращается в некое «экономическое право распределения».

Теперь, наконец, г. Дюринг вновь обрел твердую почву под ногами. Рука об руку со своими двумя мужами он может бросить вызов своему веку. Но за этим тройным созвездием стоит еще некто неназванный.

«Капитал не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, необходимое для того, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства, причем безразлично, будет ли этот собственник афинский *kalos kagathos*¹, этрусский теократ, *civis romanus* (римский гражданин), норманский барон, американский рабовладелец, валашский боярин, современный лэндлорд или капиталист» (Marx, Kapital, I, 2. Ausg., S. 227)².

После того как г. Дюринг узнал таким путем, какова основная форма эксплуатации, общая всем существовавшим до сих пор формам производства, — поскольку они движутся в классовых противоположностях, — ему осталось только пустить в ход своих двух мужей, и коренная основа экономики действительности была заложена. Он ни минуты не медлил с выполнением этой «системосозидающей идеи». Труд без возмещения, длящийся сверх рабочего времени, необходимого для содержания самого рабочего, — вот в чем суть дела. Итак, Адам, который здесь носит имя Робинзона, заставляет второго Адама, Пятницу, работать во всю. Почему же, однако, Пятница работает дольше, чем необходимо для его пропитания? И этот вопрос также получает у Маркса шаг за шагом свое разрешение. Но

¹ — аристократ. *Ред.*

² См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 165. *Ред.*

для наших двух мужей это слишком длинная история. Дело устраивается в один миг: Робинзон «подчиняет» Пятницу — принуждает его «как раба или рабочее орудие к исполнению хозяйственных услуг» и содержит его «также только как орудие». Этим новейшим «творческим поворотом мысли» г. Дюринг, можно сказать, одним выстрелом убивает двух зайцев. Во-первых, он избавляет себя от труда объяснения существовавших до сих пор форм распределения, их различий и их причин: все они просто никуда не годятся, они покоятся на угнетении, на насилии. К этому вопросу нам еще придется вскоре вернуться. Во-вторых, он тем самым переносит всю теорию распределения с экономической почвы на почву морали и права, т. е. из области прочных материальных фактов в область более или менее шатких мнений и чувств. Ему, таким образом, нет больше надобности исследовать или доказывать, а достаточно только очертя голову пуститься в декламации, и вот он уже выдвигает требование, чтобы распределение продуктов труда совершалось не сообразно его действительным причинам, а согласно с тем, что ему, г. Дюрингу, представляется нравственным и справедливым. Однако то, что представляется справедливым г. Дюрингу, отнюдь не есть что-либо неизменное и, следовательно, весьма далеко от того, чтобы быть подлинной истиной, ибо такие истины, по заявлению самого г. Дюринга, «вообще неизменны». Действительно, в 1868 г. он утверждал («Die Schicksale meiner sozialen Denkschrift etc.»¹): «всякая высшая цивилизация имеет тенденцию *придавать собственности все более резкое выражение*, и именно в этом, а не в хаотическом смещении прав и сфер господства, заключается существо и будущность современного развития»; затем он вообще не в состоянии был тогда постигнуть, «каким образом превращение наемного труда в другую форму добывания средств к жизни может когда-либо быть согласовано с законами человеческой природы и естественно-необходимым расчленением общественного организма». Итак, в 1868 г. частная собственность и наемный труд были естественно-необходимы и поэтому справедливы. В 1876 г. то и другое — следствие насилия и «грабежа», стало быть, несправедливо. И так как невозможно знать, что через несколько лет будет казаться нравственным и справедливым этому столь мощному и стремительному гению, то мы во всяком случае поступим лучше, если, рассуждая о распределении богатств, будем держаться действительных, объективных, экономических законов, а не мимолетного, изменчивого, субъективного представления г. Дюринга о правом и неправом.

¹ «Die Schicksale meiner sozialen Denkschrift für das Preussische Staatsministerium» — «Судьбы моего меморандума о социальном вопросе для прусского министерства». *Ред.*

Если бы наша уверенность относительно надвигающегося переворота в современном способе распределения продуктов труда, с его вопиющими противоречиями нищеты и роскоши, голода и обжорства, опиралась только на сознание, что этот способ распределения несправедлив и что справедливость должна же, наконец, когда-нибудь восторжествовать, то наше положение было бы незавидно, и нам пришлось бы долго ждать. Средневековые мистики, мечтавшие о близком наступлении тысячелетнего царства, сознавали уже несправедливость классовых противоположностей. На заре новой истории, 350 лет тому назад, Томас Мюнцер провозгласил на весь свет это убеждение. Во время английской, во время французской буржуазной революции раздается тот же клич и, отзвучав, замирает. Чем же объясняется, что тот же призыв к уничтожению классовых противоположностей и классовых различий, к которому до 1830 г. трудящиеся и страждущие массы оставались равнодушны, находит теперь отклик у миллионов рабочих; что он завоевывает одну страну за другой, притом в той самой последовательности и с той самой интенсивностью, с которой в отдельных странах развивается крупная промышленность; что за одно какое-нибудь поколение он приобрел такую мощь, которая может бросить вызов всем объединившимся против него силам и уверенно ждать своей победы в близком будущем? — Как объяснить все это? А объясняется это тем, что современная крупная промышленность создала, с одной стороны, пролетариат, класс, который впервые в истории может выставить требование уничтожения не той или иной особой классовой организации, не той или иной особой классовой привилегии, а уничтожения классов вообще; класс, который поставлен в такое положение, что должен провести это требование под угрозой опуститься, в противном случае, до положения китайских кули. С другой стороны, та же крупная промышленность создала в лице буржуазии класс, который владеет монополией на все орудия производства и жизненные средства, но который в каждый период спекулятивной горячки и следующего за ним краха доказывает, что он стал неспособен к дальнейшему господству над производительными силами, переросшими его власть, — класс, под руководством которого общество мчится навстречу гибели, как локомотив, у которого машинист не имеет сил открыть захлопнувшийся предохранительный клапан. Иначе говоря, отсюда вытекает, что производительные силы, порожденные современным капиталистическим способом производства, как и созданная им система распределения благ, пришли в вопиющее противоречие с самим способом производства, и притом в такой степени, что должен произойти переворот в способе производства и распределения, устраняющий все классовые различия, чтобы все современное общество

не оказалось осужденным на гибель. На этом осязательном, материальном факте, который в более или менее ясной форме и с непреодолимой необходимостью проникает в сознание эксплуатируемых пролетариев, — на этом факте, а не на представлении того или другого кабинетного мыслителя о правом и неправом, основана уверенность современного социализма в победе.

II

ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ

«Отношение общей политики к формам хозяйственного права определено в моей системе столь решительно и вместе с тем столь своеобразно, что будет излишним сделать специальное указание на него с целью облегчить изучение этого вопроса. Форма *политических* отношений есть *исторически фундаментальное, хозяйственные* же зависимости представляют собой только *действие* или частный случай, а потому всегда являются *фактами второго порядка*. Некоторые из новейших социалистических систем выставляют руководящим принципом бросающуюся в глаза видимость совершенно обратного соотношения: они утверждают, что формы политического подчинения как бы вырастают из экономического состояния. Конечно, эти действия второго порядка существуют как таковые и в настоящее время особенно дают себя чувствовать; но *первичное* все-таки следует искать в *непосредственном политическом насилии*, а не в косвенном влиянии экономической мощи». То же говорится и в другом месте, где г. Дюринг «исходит из того, что политический строй является решающей причиной хозяйственного положения и что обратное отношение представляет лишь отраженное действие второго порядка... До тех пор, пока люди будут рассматривать политическую группировку не как самодовлеющий исходный пункт, а исключительно как *средство в целях насыщения желудка*, — до тех пор во взглядах людей будет скрываться изрядная доза реакционности, какими бы радикально-социалистическими и революционными эти взгляды ни казались».

Такова теория г. Дюринга. И здесь, и во многих других местах г. Дюринг просто провозглашает ее, — так сказать, декретирует. Нигде во всех трех толстых томах мы не находим ни малейшей попытки доказать ее или опровергнуть противоположный взгляд. И если бы даже доказательства были дешевле грибов, то и тогда г. Дюринг не представил бы ни единого. Ведь вопрос уже решен знаменитым грехопадением Робинзона, который поработил Пятницу. Это был акт насилия, стало быть — акт политический. А так как это порабощение, образуя исходный пункт, основной факт всей истории до наших дней, заразило ее перво-

родным грехом несправедливости, и в такой именно степени, что в позднейшие периоды истории это порабощение было лишь смягчено, «превратившись в более косвенные формы экономической зависимости»; так как на этом же первом акте порабощения покоится также вся господствующая до сих пор «насильственная собственность», — то ясно, что все экономические явления подлежат объяснению политическими причинами, а именно — насилием. Кто не удовлетворяется этим объяснением, тот — скрытый реакционер.

Заметим прежде всего, что надо обладать самовлюбленностью г. Дюринга, чтобы считать это воззрение столь «своеобразным», — каким оно вовсе не является. Представление, будто громкие государственные политические деяния есть решающее в истории, является столь же древним, как и сама историография. Это представление было главной причиной того, что у нас сохранилось так мало сведений о развитии народов, которое происходит в тиши, на заднем плане этих шумных выступлений, между тем как оно действительно является движущей силой. Это представление господствовало во всем прежнем понимании истории и впервые было поколеблено французскими буржуазными историками времен реставрации; «своеобразно» в данном случае лишь то, что г. Дюринг опять-таки ничего не знает обо всем этом.

Далее, допустим даже на минуту, что г. Дюринг прав и что вся история до наших дней сводится действительно к порабощению человека человеком; это все-таки далеко еще не разъясняет нам сущности дела. Ведь прежде всего возникает вопрос: зачем же Робинзону нужно было порабощать Пятницу? Просто ради удовольствия? Конечно, нет. Напротив, мы видим, что Пятница «принуждается к хозяйственной службе как раб или простое орудие, и его содержат именно только как орудие». Робинзон порабощает Пятницу только для того, чтобы Пятница работал в пользу Робинзона. А каким путем Робинзон может извлечь для себя пользу из труда Пятницы? Только тем путем, что Пятница производит своим трудом большее количество жизненных средств, чем то, какое Робинзон припущен отдавать ему для того, чтобы Пятница сохранил свою трудоспособность. Следовательно, вопреки прямому предписанию г. Дюринга, Робинзон рассматривает созданную порабощением Пятницы «политическую группировку не как самодовлеющий исходный пункт, а исключительно как *средство в целях насыщения желудка*», и пусть он теперь сам подумает, как ему уладить дело со своим господином и учителем Дюрингом.

Таким образом, детский пример, измышленный г. Дюрингом специально для доказательства «исторически фундаментального» характера насилия, доказывает лишь, что насилие есть только средство, целью же является, напротив, экономическая

выгода. Насколько цель «фундаментальнее» средства, примененного для ее достижения, настолько же экономическая сторона отношений является в истории более фундаментальной, чем сторона политическая. Следовательно, приведенный пример доказывает как раз противоположное тому, что он должен был доказать. И точно так же, как в примере с Робинзоном и Пятницей, обстоит дело во всех случаях господства и порабощения, которые имели место до сих пор. Порабощение всегда было, употребляя изящное выражение г. Дюринга, «средством в целях насыщения желудка» (понимая эти цели в самом широком смысле слова), но никогда и нигде оно не являлось политической группировкой, введенной «ради нее самой». Надо быть г. Дюрингом, чтобы вообразить, будто налоги представляют в государстве только «действия второго порядка», или что современная политическая группировка, состоящая из господствующей буржуазии и угнетенного пролетариата, существует «ради нее самой», а не ради «целей насыщения желудка» господствующих буржуа, именно ради выжимания прибылей и накопления капитала.

Возвратимся, однако, вновь к нашим двум мужам. Робинзон «со шпагой в руке» обращает Пятницу в своего раба. Но чтобы справиться с этим делом, Робинзон нуждается еще кое в чем кроме шпаги. Не всякому раб приносит пользу. Чтобы быть в состоянии извлечь из него пользу, нужно располагать вещами двойного рода: во-первых, орудиями и предметами труда и, во-вторых, средствами для скудного пропитания раба. Следовательно, прежде чем рабство становится возможным, должна быть уже достигнута известная ступень в развитии производства и известная ступень неравенства в распределении. А для того, чтобы рабский труд стал господствующим способом производства во всем обществе, требуется еще гораздо более значительное повышение уровня производства, торговли и накопления богатств. В первобытных общинах, с общей собственностью на землю, рабство либо вовсе не существовало, либо играло лишь весьма подчиненную роль. Так было и в первоначально крестьянском городе Рима; когда же он стал «мировым городом» и итальянское землевладение все более и более сосредоточивалось в руках малочисленного класса чрезвычайно богатых собственников, — тогда крестьянское население было вытеснено населением, состоявшим из рабов. Если во времена персидских войн число рабов в Коринфе достигало 460 000, а в Эгине — 470 000 и на каждую душу свободного населения приходилось 10 рабов, то для этого требовалось нечто большее, чем «насилие», а именно — высоко развитая художественная и ремесленная промышленность и обширная торговля. Рабство в американских Соединенных Штатах поддерживалось гораздо меньше насилием, чем английской хлопчатобумажной промыш-

ленностью; в местностях, где не произрастал хлопок, или же в тех местностях, которые не занимались, подобно пограничным штатам, разведением рабов для продажи в хлопководческие штаты, рабство вымерло само собой, без применения насилия, просто потому, что оно не окупалось.

Г-н Дюринг, стало быть, переворачивает вверх дном действительное отношение, называя современную собственность насильственной собственностью и определяя ее как «такую форму господства, в основе которой лежит не только отстранение ближнего от пользования естественными средствами, необходимыми для существования, но, что еще важнее, порабощение человека и принуждение его к подневольной службе». При всяком принуждении людей к подневольному труду, во всех его формах, необходимо предположить, что тот, кто принуждает, предварительно запасася орудиями труда, с помощью которых он только и может использовать порабощенного, а при существовании рабства — сверх того — жизненными средствами, необходимыми для прокормления раба. Во всех случаях предполагается, таким образом, обладание известным имуществом, превышающим средний уровень. Откуда же взялось оно? Ясно, во всяком случае, что оно, хотя и могло быть награблено, следовательно, могло основываться на *насилии*, но что это вовсе не является необходимостью. Оно могло быть добыто также трудом, украдено, нажито торговлей, обманом. Оно вообще должно быть сперва добыто трудом, а уж после можно отнять его грабежом.

Вообще возникновение частной собственности в истории ни в каком случае не является результатом грабежа и насилия. Напротив, она существует уже в древней, первобытной общине всех культурных народов, хотя и распространяется только на некоторые предметы. Уже внутри этой общины частная собственность развивается в форму товара, сначала в обмене с чужестранцами. Чем больше продукты общины принимают товарную форму, т. е. чем меньшая часть их производится для собственного потребления производителя и чем большая для целей обмена, чем больше обмен вытесняет и внутри общины первоначальное, стихийно сложившееся разделение труда, — тем более неравным становится также имущественное положение отдельных членов общины, тем глубже подрывается старое общинное землевладение, тем быстрее община идет навстречу своему разложению, превращаясь в деревню мелких собственников-крестьян. Восточный деспотизм и господство сменявших друг друга завоевателей-кочевников в течение тысячелетий ничего не могли поделать с этими древними общинами; между тем постепенное разрушение их стихийно сложившейся домашней промышленности, вследствие конкуренции продуктов крупной индустрии, все более и более разлагает эти общины. О насилии здесь так же мало можно говорить, как и при ныне еще

происходящем разделе общинных угодий в так называемых «Gehöferschaften»¹ на Мозеле и в Гохвальде: крестьяне просто считают выгодной для себя замену общинной земельной собственности частной. Даже образование, на почве общинного землевладения, первобытной родовой аристократии, — как это было у кельтов, германцев и в индийском Пенджабе, — опирается вначале вовсе не на насилие, а на добровольное подчинение и привычку. Частная собственность образуется повсюду в результате изменившихся отношений производства и обмена, в интересах повышения производства и развития сношений, следовательно, по экономическим причинам. Насилие не играет при этом никакой роли. Ведь ясно, что институт частной собственности должен уже существовать, прежде чем грабитель может *присвоить* себе чужое добро, что, следовательно, насилие, хотя и может сменить владельца имущества, но не может создать частную собственность как таковую.

Но мы также не можем сослаться на насилие или на насильственную собственность для объяснения «порабощения человека и принуждения его к подневольной службе» в их самой современной форме, в форме наемного труда. Мы уже упомянули, какую роль играет при разложении древних общин, следовательно, при прямом или косвенном всеобщем распространении частной собственности, превращение продуктов труда в товары, т. е. производство их не для собственного потребления, а для обмена. Между тем Маркс в «Капитале» как нельзя яснее доказал, — и г. Дюринг остерегается хотя бы словечком заикнуться об этом, — что товарное производство на известной стадии развития превращается в капиталистическое производство и что на этой ступени «закон присвоения или закон частной собственности, покоящийся на производстве и обращении товаров, превращается путем собственной, внутренней, неустрашимой диалектики в свою прямую противоположность. Обмен эквивалентов, представлявший нам основной первоначальной операцией, претерпел такие изменения, что в результате обмен оказывается лишь внешней видимостью; в самом деле, часть капитала, обмененная на рабочую силу, во-первых, сама представляет собой лишь часть продукта чужого труда, присвоенного без эквивалента; во-вторых, она должна быть не только возмещена создавшим ее рабочим, но возмещена с новым прибавочным продуктом... Первоначально право собственности казалось нам основанным на собственном труде... Теперь же (в конце марковского анализа) оказывается, что собственность для капиталиста есть право присваивать чужой неоплаченный труд, для рабочего — невозможность присвоить себе свой собственный продукт. Отделение собственности от труда становится

¹ — подворные общины. *Ред.*

необходимым последствием того закона, исходным пунктом которого послужило, повидимому, их тождество»¹. Другими словами, если даже исключить возможность всякого грабежа, насилия и обмана, если даже допустить, что всякая частная собственность первоначально была основана на личном труде собственника и что во всем дальнейшем ходе вещей обменивались друг на друга только равные стоимости, — то мы и тогда при дальнейшем развитии производства и обмена неизбежно придем к современному капиталистическому способу производства, к монополизации средств производства и жизненных средств в руках одного малочисленного класса, к низведению другого класса, составляющего громадное большинство, до положения неимущих пролетариев, к периодической смене спекулятивной производственной горячки и торговых кризисов и ко всей нынешней анархии производства. Весь процесс объяснен чисто экономическими причинами, причем ни разу не было необходимости прибегать к ссылке на грабеж, насилие, государственное или какое-либо иное политическое вмешательство. «Насильственная собственность» оказывается и в этом случае просто громкой фразой, которая должна прикрыть недостаток понимания действительного хода вещей.

Этот процесс, выраженный исторически, есть история развития буржуазии. Если «политический строй является решающей причиной хозяйственного положения», то современная буржуазия должна была бы развиваться не в борьбе с феодализмом, а быть его добровольным порождением, его любимым детищем. Всякий знает, однако, что дело происходило как раз наоборот. Первоначально представляя из себя угнетенное сословие, обязанное платить оброк господствующему феодальному дворянству и пополнявшее свои ряды выходцами из зависимых и крепостных всякого рода, буржуазия отвоёвывала в непрерывной борьбе с дворянством одну позицию за другой, пока, наконец, не стала в наиболее развитых странах господствующим вместо него классом; причем во Франции она прямо низвергла дворянство, а в Англии постепенно обуржуазила его и включила в свой состав в качестве декоративной верхушки. А каким образом буржуазия достигла этого? Только путем изменения «хозяйственного положения», за которым, рано или поздно, добровольно или в результате борьбы, последовало также изменение политического строя. Борьба буржуазии с феодальным дворянством есть борьба города против деревни, промышленности против землевладения, денежного хозяйства против натурального, а решающим оружием буржуазии в этой борьбе были находившиеся в ее распоряжении средства *экономической* мощи, которые непрерывно возрастали вследствие развития

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 459. *Ред.*

промышленности, сначала ремесленной, позднее развившейся в мануфактуру, и вследствие расширения торговли. В течение всей этой борьбы политическая сила была на стороне дворянства, за исключением одного периода, когда королевская власть в своей борьбе с дворянством пользовалась буржуазией, чтобы сдерживать одно сословие с помощью другого; однако с того момента, как все еще политически бессильная буржуазия начала благодаря росту своего экономического могущества становиться опасней, королевская власть вновь вступила в союз с дворянством и вызвала этим, сначала в Англии, а потом во Франции, буржуазную революцию. «Политический строй» оставался во Франции неизменным, между тем как «хозяйственное положение» переросло этот строй. По политическому положению дворянство было всем, буржуа — ничем; по социальному положению буржуазия была теперь важнейшим классом в государстве, тогда как дворянство утратило все свои социальные функции и продолжало только получать доходы в качестве вознаграждения за эти исчезнувшие функции. Мало того, все буржуазное производство оставалось втиснутым в феодальные политические формы средневековья, которые это производство — не только мануфактура, но даже и ремесло — давно уже переросло; его развитие стеснялось бесчисленными цеховыми привилегиями, обратившимися в источник придиорок и в путы для производства, стеснялось местными и провинциальными таможенными рогатками.

Буржуазная революция положила этому конец, но не путем приспособления хозяйственного положения к политическому строю, согласно принципу г. Дюринга, — именно это тщетно пытались сделать в течение долгого времени дворянство и королевская власть, — а наоборот, отбросив старый, гнилой политический хлам и создав такой политический строй, в условиях которого могло существовать и развиваться новое «хозяйственное положение». И в этой новой, подходящей для него политической и правовой атмосфере «хозяйственное положение» блистательно развилось, — столь блистательно, что буржуазия уже недалеко теперь от того положения, которое дворянство занимало в 1789 г.: она становится не только все более и более социально-излишней, но и прямой социальной помехой, она все более и более отходит от производственной деятельности и — как в свое время дворянство — становится классом, только получающим доходы. И этот переворот в своем собственном положении, как и создание нового класса, пролетариата, буржуазия осуществила без какого-либо насильственного фокуса, чисто экономическим путем. Более того, буржуазия отнюдь не желала такого результата своей собственной деятельности, напротив: результат этот проложил себе путь с непреодолимой силой, против воли буржуазии и вопреки ее намерениям; ее собственные

производительные силы переросли ее руководство и как бы с естественной необходимостью гонят все буржуазное общество навстречу — либо гибели, либо перевороту. И если буржуа апеллируют теперь к насилию, чтобы охранить от крушения разваливающееся «хозяйственное положение», то они лишь доказывают этим, что находятся во власти того же заблуждения, что и г. Дюринг, будто «политический строй является решающей причиной хозяйственного положения». Точь в точь как г. Дюринг, они воображают, что при помощи «первичного фактора», «непосредственного политического насилия», они могут переделать эти «факты второго порядка», т. е. хозяйственное положение и его неотвратимое развитие; что они могут, следовательно, выстрелами из крупновских пушек и маузеровских ружей стереть с лица земли экономические результаты паровой машины и всей совокупности приводимых ею в движение современных механизмов, стереть с лица земли результаты мировой торговли и развития современных банков и кредита.

III

ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ (продолжение)

Присмотримся, однако, несколько ближе к этому всемогущему «насилию» г. Дюринга. Робинзон «со шпагой в руке» поработает Пятницу. Откуда же он взял шпагу? Даже на фантастических островах робинзонад шпаги до сих пор не растут на деревьях, и у г. Дюринга не находится никакого ответа на этот вопрос. Если Робинзон мог достать себе шпагу, то с таким же основанием можно представить себе, что в одно прекрасное утро Пятница является с заряженным револьвером в руке, и тогда все соотношение «насилия» становится обратным: Пятница командует, а Робинзон вынужден работать изо всех сил. Мы просим у читателя извинения за постоянные возвращения к истории Робинзона и Пятницы, которой в сущности место в детской, а не в науке. Но что же делать? Мы вынуждены добросовестно применять аксиоматический метод г. Дюринга, и не наша вина, если мы при этом постоянно вращаемся в сфере чистейшего ребячества. Итак, револьвер одерживает победу над шпагой, и в таком случае самому наивному приверженцу аксиоматики должно стать ясным, что насилие не есть просто волевой акт, но требует весьма реальных предпосылок для своего осуществления, а именно — известных *орудий*, из которых более совершенное одерживает верх над менее совершенным; далее, что эти орудия должны быть произведены и что уже вследствие этого производитель более совершенных орудий насилия, или попросту — оружия, побеждает производителя менее совершенных орудий; одним словом, что победа

насилия основывается на производстве оружия, а производство оружия, в свою очередь, основывается на производстве вообще, следовательно — на «экономической мощи», на «хозяйственном положении», на *материальных* средствах, находящихся в распоряжении насилия.

Насилие — это в настоящее время армия и военный флот, а то и другое, как мы все, к нашему прискорбию, знаем, стоит «чертовски много денег». Но насилие само по себе не в состоянии делать деньги, а в лучшем случае может лишь отнимать сделанные деньги, да и от этого не всегда бывает много толку, как мы опять-таки, к нашему прискорбию, знаем по опыту с французскими миллиардами. Следовательно, деньги должны быть в конце концов добыты посредством экономического производства; значит, насилие опять-таки определяется хозяйственным положением, доставляющим ему средства для приобретения и сохранения его орудий. Но это еще не все. Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот. Вооружение, состав, организация, тактика и стратегия зависят прежде всего от достигнутой в данный момент ступени производства и от средств сообщения. Не «свободное творчество ума» гениальных полководцев действовало здесь революционизирующим образом, а изобретение лучшего оружия и изменение живого солдатского материала; влияние гениальных полководцев в лучшем случае ограничивалось тем, что они приспособляли способ борьбы к новому оружию и к новым бойцам.

В начале XIV века западноевропейскими народами был заимствован у арабов порох и, как известно всякому школьнику, он произвел полный переворот во всем военном деле. Но введение пороха и огнестрельного оружия не было во всяком случае актом насилия, а представляло собой промышленный, стало быть, хозяйственный, прогресс. Промышленность остается промышленностью, будет ли она направлена на производство предметов или на их разрушение. Распространение огнестрельного оружия повлияло революционизирующим образом не только на самое ведение войны, но и на политические отношения господства и угнетения. Чтобы добыть порох и огнестрельное оружие, нужны были промышленность и деньги, а тем и другим владели горожане. Огнестрельное оружие было поэтому с самого начала оружием городов и возвышающейся монархии, которая в своей борьбе против феодального дворянства опиралась на города. Непроступные до тех пор каменные стены рыцарских замков не устояли перед пушками горожан; пули бюргерских ружей пробили рыцарские панцири. Вместе с закованной в броню дворянской кавалерией рухнуло также господство дворянства; с развитием бюргерства пехота и артиллерия все больше становятся решающими видами вооруженной силы; под давлением требований артиллерии военное ремесло выну-

ждено было присоединить к себе новую, чисто промышленную отрасль — инженерное дело.

Усовершенствование огнестрельного оружия подвигалось очень медленно. Пушки долгое время оставались неуклюжими, а ружья, несмотря на многие частичные усовершенствования, — грубыми. Прошло более 300 лет, пока явилось ружье, годное для вооружения всей пехоты. Только в начале XVIII века кремневое ружье со штыком окончательно вытеснило пику из вооружения пехоты. Тогдашняя пехота состояла из хорошо вымуштрованных, но совершенно ненадежных княжеских солдат, набранных из самых испорченных элементов общества, которых только палка держала в повиновении; часто эта пехота составлялась из враждебных, насильно зачисленных в армию военнопленных; единственной формой борьбы, в которой эти солдаты могли применять новое оружие, была линейная тактика, достигшая высшего совершенства при Фридрихе II. Вся пехота армии выстраивалась в три линии, в виде очень длинного и пустого внутри четырехугольника, и двигалась в боевом порядке только как одно целое; лишь в крайнем случае одному из двух флангов позволялось выдвинуться несколько вперед или отступить назад. Эта неуклюжая масса могла подвигаться в порядке лишь по совершенно ровной местности, да и то крайне медленно (75 шагов в минуту); изменение боевого порядка во время сражения было невозможно, и как только пехота вступала в бой, победа и поражение решались в короткое время одним ударом.

Против этих неуклюжих шеренг выступили в американской войне за независимость отряды повстанцев, которые не умели, правда, маршировать, но зато отлично стреляли из своих карабинов; сражаясь за свои самые кровные интересы, они не дезертировали, как набранные войска. Они не доставляли англичанам удовольствия — выступать против них в линейном боевом порядке на ровном месте, а нападали рассыпными подвижными отрядами стрелков в лесах, служивших им прикрытием. Линейный строй был здесь бессилен и потерпел поражение в борьбе с невидимыми и недоступными противниками. Таким образом, был вновь изобретен рассыпной стрелковый строй — новый способ борьбы как следствие изменившегося солдатского материала.

Дело, начатое американской революцией, завершила французская, — также и в военной области. Против хорошо обученных наемных войск коалиции она также могла выставить только плохо обученные, но многочисленные массы, ополчение всего народа. Но с этими массами приходилось защищать Париж, следовательно, прикрывать определенную местность, а этого нельзя было достичь без победы в открытом массовом бою. Одних стрелковых отрядов было уже недостаточно; нужно

было найти подходящую форму также и для применения масс, и эта форма была найдена в *колонне*. Построение колоннами позволяло даже мало обученным войскам двигаться в некотором порядке, и притом даже более ускоренным маршем (100 и более шагов в минуту); оно давало возможность прорывать неповоротливые формы старого линейного строя, сражаться в любой местности, следовательно, и в самой неблагоприятной для линейного строя, группировать войска любым, соответствующим обстановке образом и, в сочетании с действиями рассыпанных стрелков, сдерживать, отвлекать, утомлять неприятельские линии, — пока не наступит момент, когда их можно будет прорвать в решающем пункте позиции при помощи сохраняемых в резерве масс. Этот новый способ ведения боя, основанный на соединении стрелков с колоннами пехоты и на разделении армии на самостоятельные, составленные из всех родов оружия дивизии или армейские корпуса, был полностью разработан Наполеоном как со стороны тактики, так и со стороны стратегии. Но необходимость его была создана, прежде всего, французской революцией, изменившей свойства людского состава армии. Однако для нового способа нужны были еще две очень важные технические предпосылки: во-первых, сконструированные Грибовалем более легкие лафеты полевых орудий позволили передвигать их с требуемой теперь быстротой, во-вторых, введенная во Франции в 1777 г. и заимствованная у охотничьего ружья изогнутость ружейного приклада, представлявшего раньше прямое продолжение ствола, сделала возможным целить в определенного человека, не делая непременно промахов. Без этих успехов нельзя было бы при помощи старого оружия применять стрельбу в рассыпном строю.

Революционная система вооружения всего народа была скоро ограничена принудительным набором (с правом замещения путем выкупа — для людей состоятельных), и в этой форме воинская повинность была принята большинством крупных государств континента. Только Пруссия пыталась своей системой ландвера¹ привлечь на службу военную силу нации в более значительных размерах. Пруссия к тому же была первым государством, которое вооружило всю свою пехоту новейшим оружием: заряжающейся с казенной части винтовкой, после того как сыграло свою кратковременную роль между 1830 и 1860 годами годное для войны заряжающееся с дула нарезное ружье. Обоим этим нововведениям Пруссия обязана была своими успехами в 1866 г.

Во франко-прусской войне впервые выступили друг против друга две армии, обе вооруженные винтовками, заряжающимися с казенной части, и притом обе, по существу, с тем самым

¹ — земское ополчение. *Ред.*

боевым построением, какое было в ходу в период старого гладкоствольного кремневого ружья; разница была лишь в том, что пруссаки сделали попытку в ротной колонне найти боевую форму, более подходящую к новому вооружению. Но когда 18 августа, при Сен-Прива, прусская гвардия попробовала серьезно применить эту ротную колонну, то пять полков, принимавших наибольшее участие в этом сражении, потеряли в каких-нибудь два часа более трети своего состава (176 офицеров и 5 114 рядовых), и с тех пор ротная колонна была окончательно осуждена, так же как и применение батальонных колонн и линейного строя. Всякая попытка подставлять впредь под неприятельский ружейный огонь какие-либо сомкнутые отряды была оставлена, и затем бой со стороны немцев велся только теми густыми стрелковыми цепями, на которые уже и прежде колонна обыкновенно сама рассыпалась под градом неприятельских пуль, несмотря на то, что высший командный состав боролся с этим как с нарушением порядка. Точно так же в сфере действия неприятельского ружейного огня единственной формой передвижения сделалась *перебежка*. Солдат опять-таки оказался толковее офицера: именно *он*, солдат, инстинктивно нашел единственную боевую форму, которая оправдывала себя до сих пор под огнем ружей, заряжаемых с казенной части, и он с успехом отстоял ее вопреки противодействию начальства.

Франко-прусская война отмечает собой поворотный пункт, имеющий совершенно иное значение, чем все предыдущие. Во-первых, оружие теперь так усовершенствовано, что новый прогресс, который имел бы значение какого-либо переворота, больше невозможен. Когда есть пушки, из которых можно попадать в батальон, насколько глаз различает его, когда есть ружья, из которых с таким же успехом можно целить и попадать в отдельного человека, причем для заряда требуется меньше времени, чем для прицела, — то все дальнейшие усовершенствования для полевой войны более или менее безразличны. Таким образом, в этом направлении эра развития в существенных чертах закончена. Во-вторых, эта война заставила все континентальные великие державы ввести у себя усиленную прусскую систему ландвера и тем самым взвалить на себя военное бремя, под тяжестью которого они через немногие годы должны рухнуть. Армия стала главной целью государства, она стала самоцелью; народы существуют только для того, чтобы поставлять и кормить солдат. Militarизм господствует над Европой и пожирает ее. Но этот милитаризм таит в себе зародыш собственной гибели. Соперничество между отдельными государствами принуждает их, с одной стороны, с каждым годом затрачивать все больше денег на армию, флот, пушки и т. д., следовательно — все более приближать финансовую катастрофу; с другой стороны, оно заставляет их все серьезнее применять всеобщую

воинскую повинность и тем самым обучать в конце концов весь народ владеть оружием, так что последний приобретает возможность в известный момент осуществить свою волю вопреки командующему военному начальству. И этот момент наступит, как только народная масса — деревенские и городские рабочие, а также крестьяне — *будет иметь* свою волю. На этой ступени войско монарха превращается в народное войско, машина отказывается служить, и милитаризм погибает в силу собственного диалектического развития. То, что оказалось не по силам буржуазной демократии 1848 г., как раз потому, что она была *буржуазной*, а не пролетарской, — значит потому, что ей было не по силам дать трудящимся массам волю, содержание которой соответствовало бы их классовому положению, — непременно совершит социализм. А это означает взрыв милитаризма и вместе с ним всех постоянных армий *изнутри*.

Такова первая мораль нашей истории современной пехоты. Другая мораль, снова возвращающая нас к г. Дюрингу, состоит в том, что вся организация и боевой метод армий, а вместе с ними победы и поражения, оказываются зависящими от материальных, т. е. экономических, условий: от человеческого материала и от оружия, следовательно — от качества и количества населения и от техники. Только такой охотничий народ, как американцы, мог вновь изобрести стрелковый строй, а охотниками они были по чисто экономическим причинам, точно так, как теперь те же янки старых Штатов превратились по чисто экономическим причинам в земледельцев, промышленников, моряков и купцов, которые уже не занимаются охотой в девственных лесах, но зато тем лучше подвизаются на поле спекуляции, где они тоже далеко подвинули искусство пользоваться массами. — Только такая революция, как французская, экономически раскрепостившая буржуа и особенно крестьянина, могла изобрести форму массовых армий и в то же время найти для них свободные формы движения, о которые разбились старые, неповоротливые линии, отражавшие в военном деле защищаемый ими абсолютизм. Мы уже проследили шаг за шагом, каким образом успехи техники, едва они становились применимыми и фактически применялись к военным целям, тотчас же — почти насильственно, часто к тому же против воли военного командования — вызвали перемены и даже перевороты в способе ведения боя. В какой степени ведение войны зависит, сверх того, от производительных сил и средств сообщения как собственного тыла, так и театра военных действий, на этот счет может просветить в наши дни г. Дюринга всякий старательный унтер-офицер. Одним словом, везде и всегда «насилию» помогали одерживать победу экономические условия и ресурсы, без которых оно перестает быть силой, и кто захотел бы реформировать военное дело, руководствуясь противоположной точкой зрения,

соответствующей принципам г. Дюринга, тот не мог бы пожать ничего кроме тумачов¹.

Если мы от суши перейдем к морю, то даже только за последние 20 лет здесь можно констатировать еще гораздо более решительный переворот. Боевым судном в Крымскую войну был деревянный двух- и трехпалубный корабль, имевший от 60 до 100 орудий; он передвигался главным образом при посредстве парусов и имел слабую паровую машину только для вспомогательной работы. Его вооружение состояло преимущественно из 32-фунтовых орудий, весом в 50 центнеров, и лишь немногих 68-фунтовых, весом в 95 центнеров. К концу войны появились пловучие панцырные батареи, неповоротливые, почти неподвижные, но при тогдашней артиллерии — неуязвимые чудовища. Вскоре броня была перенесена и на боевые суда; вначале она была тонка: броня 4-дюймовой толщины считалась очень тяжелой. Но прогресс артиллерии скоро переиграл броню; для брони любой толщины, возраставшей в известной градации, находили новое, более тяжелое орудие, которое легко пробивало ее. Таким образом, мы уже дошли, с одной стороны, до 10, 12, 14 и 24-дюймовой брони (Италия намерена построить судно с броней в 3 фута толщины), а с другой стороны — до нарезных орудий в 25, 35, 80 и даже 100 тонн (считая тонну за 20 центнеров²); веса, выбрасывающих на неслыханные прежде дистанции снаряды в 300, 400, 1 700 и до 2 000 фунтов. Нынешнее боевое судно представляет собой гигантский броненосный винтовой пароход в 8 000—9 000 тонн водоизмещения и 6 000—8 000 лошадиных сил, с вращающимися башнями и с четырьмя, максимум — шестью, тяжелыми орудиями и с выступающим в его носовой части, ниже ватерлинии, тараном для пробивания неприятельских судов. Это судно вообще представляет собой одну огромную машину, где пар не только сообщает броненосцу быстрое движение вперед, но и управляет рулем, поднимает и опускает якорь, поворачивает башни, направляет и заряжает орудия, выкачивает воду, поднимает и спускает лодки, которые отчасти также приводятся в движение паром, и т. д. Соперничество между броневой защитой и силой орудий еще так далеко от завершения, что в настоящее время военное судно сплошь и рядом не удовлетворяет больше требованиям, становится устарелым еще раньше, чем его успели спустить на воду. Современное боевое судно есть не только продукт крупной промышленности,

¹ В прусском генеральном штабе это тоже уже хорошо знают. «Основой военного дела является прежде всего хозяйственный строй жизни народов», — замечает в одном научном докладе капитан генерального штаба Макс Иенс («Kölnische Zeitung» [«Кельнская Газета». *Ред.*], 20 апреля 1876 г., третий лист). [*Примечание Энгельса.*]

² Здесь имеется в виду немецкий центнер (в 50 кг), составляющий половину метрического центнера. *Ред.*

но в то же время и образец ее, пловучая фабрика — фабрика, где, правда, преимущественно производится растрата денег. Страна с наиболее развитой крупной промышленностью пользуется почти монополией постройки этих судов: все турецкие, почти все русские и большинство германских броненосцев построены в Англии; сколько-нибудь пригодная броня изготавливается почти исключительно в Шеффилде; из трех железоделательных заводов Европы, которые одни в состоянии изготовлять самые тяжелые орудия, два (в Вульвиче и Эльсвике) находятся в Англии, а третий (Круппа) — в Германии. Этот пример показывает с полной наглядностью, что «непосредственное политическое насилие», которое, по г. Дюрингу, является «решающей причиной хозяйственного положения», напротив того, совершенно подчинено хозяйственному положению; что не только постройка морского орудия насилия — боевого судна, — но и управление им само сделалось отраслью современной крупной промышленности. Оттого, что дело приняло такой оборот, никому не пришлось так солоно, как именно «насилию», государству, которому в настоящее время одно судно стоит столько же, сколько прежде стоил целый небольшой флот; причем ему приходится видеть своими глазами, как эти дорогие суда, еще раньше чем они спущены на воду, становятся уже устарелыми и, следовательно, обесцениваются; и государство — наверно не меньше г. Дюринга — испытывает недовольство по поводу того, что человек «хозяйственного положения», инженер, имеет ныне большее значение на борту корабля, чем человек «непосредственного насилия» — командир. Напротив, мы, со своей стороны, не имеем никакого основания огорчаться, когда видим, что в состязании между броней и орудием боевое судно доведено до той грани изощренного совершенства, когда оно становится в той же мере недоступным по цене, как и непригодным для войны¹, и что благодаря этому же состязанию раскрываются также и на попроще морской войны те внутренние законы диалектического движения, согласно которым милитаризм, как и всякое другое историческое явление, гибнет от последствий своего собственного развития.

Таким образом, и здесь ясно как день, что «искать первичное в непосредственном политическом насилии, а не в косвенной экономической мощи» — невозможно. Как раз напротив. В самом деле, что оказалось «первичным» в самом насилии? Экономическая мощь, обладание мощными средствами современной

¹ Усовершенствование самодвижущейся торпеды, последнего изделия крупной промышленности, работающей для военно-морского дела, повидимому, призвано это осуществить: самый маленький торпедный катер окажется в таком случае сильнее громаднейшего броненосца. (Впрочем, пусть читатель вспомнит, что это написано в 1878 г.) [*Примечание Энгельса.*]

промышленности. Политическая сила на море, опирающаяся на современные военные суда, оказывается вовсе не «непосредственной», а как раз наоборот — она *опосредствована* экономической силой, высоким развитием металлургии, возможностью распоряжаться искусными техниками и богатыми угольными копями.

Однако к чему все это? Пусть в ближайшей морской войне передадут высшее командование г. Дюрингу, и он без всяких торпед и прочих ухищрений, просто своим «непосредственным насилием», уничтожит все броненосные флоты, находящиеся в рабской зависимости от «хозяйственного положения».

IV

ТЕОРИЯ НАСИЛИЯ (окончание)

«Весьма важным обстоятельством является то, что фактически господство над *природой* произошло (господство произошло!) только благодаря господству над *человеком* вообще (!). Хозяйственное использование земельной собственности на значительных пространствах никогда и нигде не осуществлялось без предшествующего порабощения человека и принуждения его к тому или иному виду рабского или барщинного труда. Установление экономического господства над вещами имело своей предпосылкой политическое, социальное и экономическое господство человека над человеком. Можно ли представить себе крупного землевладельца без господства его над рабами, крепостными или косвенно несвободными? Что могла значить для ведения земледелия в крупных размерах в прошлом или настоящем сила одного человека, располагающего в лучшем случае вспомогательной силой членов семьи? Эксплуатация земли, — или расширение экономического господства над землей в размерах, превышающих естественные силы отдельного человека, — была возможна до сих пор в истории только потому, что до установления господства над землей или одновременно с ним было проведено необходимое для этого порабощение человека. В позднейшие периоды развития это порабощение было смягчено... Теперешней его формой в более развитых государствах является наемный труд, в большей или меньшей степени руководимый полицейским господством. На наемном труде основывается, следовательно, практическая возможность той разновидности современного богатства, которая проявляется в обширном земельном господстве и (!) крупном землевладении. Само собой разумеется, все другие виды распределительного богатства должны быть исторически объясняемы подобным же образом, и косвенная зависимость человека от человека, образующая

в настоящее время основную черту наиболее развитого в экономическом отношении строя, не может быть понята и объяснена сама из себя, а только как несколько видоизмененное наследие прежнего прямого подчинения и экспроприации». Так утверждает г. Дюринг.

Тезис: Господство (человека) над природой предполагает господство (человека) над человеком.

Доказательство: Хозяйственное использование земельной собственности на значительных пространствах никогда и нигде не производилось иначе, как трудом порабощенных людей.

Доказательство доказательства: Как могут существовать крупные землевладельцы без порабощенных людей? Ведь крупный землевладелец со своей семьей мог бы обработать без порабощенных всего лишь ничтожную часть своих владений.

Итак, чтобы доказать, что человек для подчинения себе природы должен был предварительно поработить другого человека, г. Дюринг превращает без дальнейших околичностей «природу» в «земельную собственность на значительных пространствах», а эту земельную собственность — неизвестно чью — он обращает тотчас же в собственность крупного землевладельца, который, разумеется, не может обрабатывать свою землю без помощи порабощенных людей.

Но, во-первых, «господство над природой» и «хозяйственное использование земельной собственности» — вовсе не одно и то же. Господство над природой осуществляется в крупной промышленности в неизмеримо большем масштабе, чем в земледелии, которое до сих пор вынуждено подчиняться погоде, вместо того чтобы подчинять ее себе.

Во-вторых, если мы ограничиваемся хозяйственным использованием земельной собственности на значительных пространствах, то вопрос состоит в том, кому принадлежит эта земельная собственность, и тут мы находим в начале истории всех культурных народов не «крупного землевладельца», которого подсовывает нам здесь г. Дюринг со своей обычно фокуснической манерой, именуемой им «естественной диалектикой», — а родовые и сельские общины с общинным землевладением. От Индии и до Ирландии обработка земельной собственности на больших пространствах производилась первоначально такими именно родовыми и сельскими общинами, причем пашня либо обрабатывалась сообща за счет общины, либо делилась на отдельные участки земли, отводимые общиной на известный срок отдельным семьям, при постоянном общем пользовании лесом и пастбищами. И опять-таки характерно для «углубленнейших специальных занятий» г. Дюринга «в области политических и юридических наук», что он ничего не знает обо всем этом, что все

его сочинения свидетельствуют о полном незнакомстве с составившими эпоху в науке трудами Маурера о первобытном строе германской марки, этой основы всего германского права; точно так же свидетельствуют они о полном незнакомстве с постоянно возрастающей литературой, которая — под влиянием главным образом трудов Маурера — устанавливает наличие первобытного общинного землевладения у всех европейских и азиатских культурных народов и исследует различные формы его существования и разложения. Подобно тому, как г. Дюринг «самому себе обязан всем своим невежеством» в области французского и английского права, — а невежество это весьма значительное, — подобно этому он «самому себе обязан» своим еще гораздо большим невежеством в области германского права. Человек, столь сильно негодующий на ограниченность горизонта университетских профессоров, еще и поныне в области германского права стоит, в лучшем случае, на том уровне, на каком профессоры стояли 20 лет тому назад.

Чистым «продуктом свободного творчества и воображения» г. Дюринга является его утверждение, будто для ведения хозяйства на больших земельных пространствах требовались помещики и порабощенные люди. На всем Востоке, где земельным собственником является община или государство, в языке отсутствует самое слово «помещик», — о чем г. Дюринг может справиться у английских юристов, которые в Индии так же тщетно бились над вопросом: «Кто здесь земельный собственник?», как тщетно ломал себе голову блаженной памяти принц Генрих LXXII Рейсс-Грейц-Шлейц-Лобенштейн-Эберсвальде над вопросом: «Кто здесь ночной сторож?». Только турки впервые ввели на Востоке в завоеванных ими странах нечто вроде помещичьего феодализма. Греция уже в героический период вступает в историю расчлененной на сословия, что, в свою очередь, было только очевидным результатом более или менее долгой, неизвестной нам предшествующей истории. Но и тут земля обрабатывалась преимущественно самостоятельными крестьянами; более крупные поместья знати и родовых вождей составляли исключение и к тому же скоро исчезли. В Италии земля была освоена для земледелия преимущественно крестьянами; когда в последние времена Римской республики крупные группы имений — латифундии — вытеснили мелких крестьян и заменили их рабами, то они заменили одновременно земледелие скотоводством и, как это знал уже Плиний, призвели Италию к гибели (*latifundia Italiam perdidere*). В средние века во всей Европе господствует (особенно при распахке пустошей) крестьянская обработка, причем для рассматриваемого сейчас вопроса безразлично, приходилось ли этим крестьянам платить оброк — и какой именно — тому или иному феодалу. Фризские, нижнесаксонские, фламандские

и нижнерейнские колонисты, которые предприняли обработку отнятых у славян земель на востоке от Эльбы, делали это в качестве вольных крестьян, плативших очень льготную подать, но отнюдь не на условиях «того или иного вида барщины».

В Северной Америке значительнейшая часть земельной площади была приведена в культурное состояние трудом свободных крестьян, тогда как крупные помещики Юга со своими рабами и своей хищнической системой хозяйства истощили землю до того, что на ней стали расти только ели, и культура хлопка должна была передвигаться все дальше на запад. В Австралии и Новой Зеландии все попытки английского правительства искусственно создать земельную аристократию потерпели неудачу. Коротко говоря, за исключением тропических и субтропических колоний, где климат не позволяет европейцу заниматься земледелием, крупный землевладелец, который подчиняет природу своему господству и проводит расчистку земли под пашню посредством труда рабов или несущих барщину крепостных, оказывается чистейшим плодом фантазии. Напротив, там, где в древние времена появлялся крупный землевладелец, как, например, в Италии, он не пустыри превращал в возделанные поля, а, наоборот, обработанные крестьянские земли он превращал в пастбища, сгоняя людей и разоряя целые страны. Только в новейшее время, с тех пор как большая плотность населения подняла стоимость земли, а особенно с тех пор, как развитие агрономии сделало более пригодной для обработки плохую землю, только с этого момента крупные землевладельцы начинают принимать в обширных размерах участие в распахке пустошей и пастбищ, преимущественно путем расхищения крестьянских общинных земель как в Англии, так и в Германии. Однако и тут дело не обошлось без противоположного процесса: на каждый акр общинной земли, расчищенной под пашню крупными землевладельцами в Англии, приходилось в Шотландии по меньшей мере три акра пахотной земли, которые были превращены ими в пастбища для овец, а под конец даже просто в охотничьи парки для крупной дичи.

Здесь мы имеем дело только с утверждением г. Дюринга, что освоение для земледелия значительных пространств земли, т. е. в сущности почти всей культурной земледельческой площади, «никогда и нигде» не совершалось иначе, как крупными землевладельцами при помощи поработанных людей, — с утверждением, «имеющим своей предпосылкой», как мы видели, поистине неслыханное незнакомство с историей. Поэтому нам нет необходимости выяснять здесь, в какой мере в различные периоды земельные пространства, уже совершенно или большей частью освоенные, обрабатывались рабами (как в период расцвета Греции) или крепостными (крестьянские тяглые дворы со времени средних веков); нам нет также надобности исследовать,

какова была общественная функция крупных землевладельцев в разные эпохи.

Развернув перед нами эту великолепную фантастическую картину, в которой не знаешь, чему больше удивляться, фокусничеству ли дедукции или фальсификации истории, — г. Дюринг торжествующе восклицает: «Само собой разумеется, все другие виды распределительного богатства должны быть *исторически объясняемы подобным же образом!*». Этим он, конечно, избавляет себя от труда проронить хоть словечко о возникновении, например, капитала.

Г-н Дюринг утверждает, что господство человека над человеком является предпосылкой господства человека над природой. Если этим он вообще хочет сказать лишь то, что весь наш современный экономический строй, достигнутая ныне ступень развития земледелия и промышленности, есть результат истории общества, развертывающейся в классовых противоположностях, в отношениях господства и порабощения, — то он говорит нечто такое, что со времени Коммунистического Манифеста давно стало общим местом. Но дело именно в том, чтобы объяснить возникновение классов и отношений господства, и если у г. Дюринга имеется для этого всегда про запас одно единственное слово — «насилие», то такое объяснение ни на шаг не подвигает нас вперед. Уже тот простой факт, что угнетенные и эксплуатируемые были во все времена гораздо многочисленнее угнетателей и эксплуататоров и что, следовательно, действительная сила всегда была на стороне первых, — уже один этот факт достаточно показывает нелепость всей теории насилия. Значит, необходимо еще найти объяснение для отношений господства и порабощения.

Они возникли двояким путем.

Какими люди первоначально выделились из животного (в более узком смысле слова) царства, такими они и вступили в историю: еще как полуживотные, еще дикие, беспомощные перед силами природы, не осознавшие еще своих собственных сил; поэтому они были бедны, как животные, и не намного выше их по своей производительности. Здесь господствует известное равенство уровня жизни, а для глав семейств — также своего рода равенство общественного положения, по крайней мере отсутствие общественных классов, которое наблюдается еще и в первобытных земледельческих общинах позднейших культурных народов. В каждой такой общине существуют с самого начала известные общие интересы, охрану которых приходится возлагать на отдельных лиц, хотя и под надзором всего общества: таковы — разрешение споров; репрессии против лиц, превышающих свои права; надзор за орошением, особенно в жарких странах; наконец, на ступени первобытно-дикого состояния — некоторые религиозные функции. Подобные должности встречаются в

первобытных общинах во все времена, — так, например, в древнейших германских марках и еще теперь в Индии. Они облечены, понятно, известной полнотой власти и представляют собой зачатки государственной власти. Постепенно производительные силы растут; увеличение плотности населения создает в одних случаях общины, в других — столкновение интересов между отдельными общинами; группировка общин в более крупное целое вызывает опять-таки новое разделение труда и установление новых органов для охраны общих и для подавления противообщественных интересов. Эти органы, которые в качестве представителей общих интересов целой группы занимают уже по отношению к каждой отдельной общине особое, при известных обстоятельствах даже антагонистическое, положение, становятся вскоре еще более самостоятельными, отчасти благодаря наследственности общественных должностей, которая устанавливается почти сама собой в мире, где все происходит стихийно, отчасти же благодаря растущей необходимости в таких органах при учащающихся конфликтах с другими группами. Нам нет надобности выяснять здесь, каким образом эта все возрастающая самостоятельность общественных функций по отношению к обществу могла со временем вырасти в господство над обществом; каким образом первоначальный слуга общества, при благоприятных условиях, постепенно превращался в господина над ним; как господин этот выступал, смотря по обстоятельствам, то как восточный деспот или сатрап, то как греческий родовой вождь, то как кельтский глава клана и т. д.; в какой мере он при этом превращении применял также насилие и как, наконец, отдельные господствующие лица сплотились в господствующий класс. Нам важно только установить здесь, что в основе политического господства повсюду лежало отправление какой-либо общественной должностной функции и что политическое господство оказывалось длительным лишь в том случае, когда оно эту общественную должностную функцию выполняло. Сколько ни было в Персии и Индии деспотий, последовательно расцветавших, а потом погибавших, — каждая из них знала очень хорошо, что она прежде всего — совокупный предприниматель в деле орошения речных долин, без чего там невозможно было и самое земледелие. Только просвещенные англичане сумели проглядеть это обстоятельство в Индии; они запустили оросительные каналы и шлюзы, и лишь теперь, благодаря регулярно повторяющимся голодовкам, они начинают, наконец, соображать, что пренебрегли единственной деятельностью, которая могла бы сделать их господство в Индии правомерным, хотя бы в такой степени, в какой было правомерно господство их предшественников.

Но наряду с этим процессом образования классов совершался еще и другой. Стихийно сложившееся разделение труда

внутри земледельческой семьи давало на известной ступени благосостояния возможность присоединить к семье одну или несколько рабочих сил со стороны. Это имело место особенно в таких странах, где старое общинное владение земель уже распалось или где, по крайней мере, прежняя совместная обработка земли уступила место обработке земельных наделов отдельными семьями. Производство развилось уже настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести теперь больше, чем требовалось для простого поддержания ее; средства для содержания большего количества рабочих сил имелись налицо, имелись также средства для применения этих сил; рабочая сила приобрела *стоимость*. Но сама община и союз, к которому принадлежала эта община, еще не выделяли из своей среды свободных, излишних рабочих сил. Зато их доставляла война, а война так же стара, как и одновременное существование по соседству нескольких общинных групп. До того времени не знали, что делать с военнопленными, и потому их попросту убивали, а еще раньше съедали. Но на достигнутой теперь ступени «хозяйственного положения» военнопленные приобрели известную стоимость; их начали поэтому оставлять в живых и стали пользоваться их трудом. Таким образом, насилие, вместо того чтобы господствовать над хозяйственным положением, было вынуждено, наоборот, служить ему. *Рабство* было открыто. Оно скоро сделалось господствующей формой производства у всех народов, которые в своем развитии пошли дальше древней общины, но в конце концов оно стало также одной из главных причин их упадка. Только рабство сделало возможным в более крупном масштабе разделение труда между земледелием и промышленностью и таким путем создало условия для расцвета культуры древнего мира — для греческой культуры. Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и римского государства. А без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы. Нам никогда не следовало бы забывать, что все наше экономическое, политическое и интеллектуальное развитие имело своей предпосылкой такой строй, в котором рабство было в той же мере необходимо, в какой и общепризнано. В этом смысле мы вправе сказать: без античного рабства не было бы и современного социализма.

Нет ничего легче, как разражаться целым потоком общих фраз по поводу рабства и т. п., изливая свой высококонравственный гнев на такие позорные явления. К сожалению, это негодование выражает лишь то, что известно всякому, а именно, — что эти античные учреждения не отвечают больше нашим современным условиям и нашим чувствам, определяемым этими условиями. Но при этом мы ровным счетом ничего не узнаем относительно того, как возникли эти порядки, почему они

существовали и какую роль они сыграли в истории. И раз мы уже заговорили об этом, то должны сказать, — каким бы противоречием и ересью это ни казалось, — что введение рабства при тогдашних условиях было большим шагом вперед. Ведь нельзя отрицать того факта, что человек, бывший вначале зверем, нуждался для своего развития в варварских, почти зверских средствах, чтобы вырваться из варварского состояния. Древние общины там, где они продолжали существовать, составляли в течение тысячелетий основу самой грубой государственной формы, восточного деспотизма, от Индии до России. Только там, где они разложились, народы двинулись собственными силами вперед по пути развития, и ближайший экономический прогресс их состоял в увеличении и дальнейшем развитии производства посредством рабского труда. Ясно одно: пока человеческий труд был еще так мало производителен, что давал только ничтожный излишек над необходимыми жизненными средствами, до тех пор рост производительных сил, расширение сношений, развитие государства и права, создание искусств и наук — все это было возможно лишь при помощи усиленного разделения труда, имевшего своей основой крупное разделение труда между массой, занятой простым физическим трудом, и немногими привилегированными, которые руководят работами, занимаются торговлей, государственными делами, а позднее также наукой и искусством. Простейшей, совершенно стихийно сложившейся формой этого разделения труда и было именно рабство. При исторических предпосылках древнего, в частности греческого, мира переход к основанному на классовых противоположностях обществу мог совершиться только в форме рабства. Даже для самих рабов это было прогрессом: военнопленные, из которых вербовалась масса рабов, оставались теперь, по крайней мере, в живых, между тем как прежде их убивали, а еще раньше даже поедали.

Заметим кстати, что все существовавшие до сих пор исторические противоположности между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующими и угнетенными классами находят свое объяснение в той же относительно неразвитой производительности человеческого труда. Пока действительно трудящееся население настолько поглощено своим необходимым трудом, что у него не остается времени для имеющих общее значение общественных дел — для руководства работами, государственными делами, для отправления правосудия, занятия искусствами, наукой и т. д., — до тех пор неизбежно было существование особого класса, свободного от действительного труда. Этот класс заведывал общественными делами, но при этом никогда не упускал случая, чтобы, во имя своих собственных выгод, все более и более взваливать на трудящиеся массы бремя труда. Только громадный рост производительных сил, достигнутый

крупной промышленностью, позволяет распределить труд между всеми без исключения членами общества и таким путем сократить рабочее время каждого так, чтобы у всех оставалось достаточно свободного времени для участия в делах, касающихся всего общества, как теоретических, так и практических. Следовательно, лишь теперь стал излишним всякий господствующий и эксплуатирующий класс, более того: он стал прямым препятствием для общественного развития; только теперь он будет неумолимо устранен, каким бы «непосредственным насилием» он ни располагал.

Следовательно, строя презрительную мину по поводу того, что греческий мир был основан на рабстве, г. Дюринг с таким же правом может поставить в упрек грекам, что они не имели паровых машин и электрического телеграфа. А когда он утверждает, что наше современное наемное рабство представляет лишь несколько видоизмененное и смягченное наследие прежнего рабства и не может быть объяснено из себя самого (т. е. из экономических законов современного общества), то это либо означает, что наемный труд, как и рабство, представляют собой, как это известно каждому ребенку, формы подчинения и классового господства, — либо же это утверждение неверно. Ведь с таким же правом мы могли бы сказать, что наемный труд может быть объяснен только как смягченная форма людоедства, которое, как в настоящее время установлено, было везде первоначальным способом использования побежденных врагов.

Отсюда ясно, какую роль играет в истории насилие по отношению к экономическому развитию. Во-первых, всякая политическая власть основывается первоначально на какой-нибудь экономической, общественной функции и возрастает по мере того, как члены общества вследствие разложения первобытных общин превращаются в частных производителей и, следовательно, еще больше увеличивается отчужденность между ними и носителями общих, общественных функций. Во-вторых, после того как политическая власть стала самостоятельной по отношению к обществу и из его слуги стала его господином, она может действовать в двояком направлении. Либо она действует в духе и направлении закономерного экономического развития. Тогда между ней и этим развитием не возникает никакого конфликта, и экономическое развитие ускоряется. Либо же политическая власть действует наперекор этому развитию, и тогда, за немногими исключениями, она, как правило, падает под давлением экономического развития. Этими немногими исключениями являются те единичные случаи завоеваний, когда менее культурные завоеватели истребляли или изгоняли население известной страны и уничтожали его производительные силы или же давали им заглухнуть, не умея их использовать. Так

поступили, например, христиане в мавританской Испании с большей частью оросительных сооружений, которым мавры обязаны были своим высокоразвитым хлебопашеством и садоводством. Каждый раз, когда победителем является менее культурный народ, нарушается, как само собой понятно, ход экономического развития и подвергается уничтожению масса производительных сил. Но при длительном завоевании менее культурный завоеватель вынужден в громадном большинстве случаев приспособиться к более высокому «хозяйственному положению» завоеванной страны в том виде, каким оно оказывается после завоевания; он ассимилируется покоренным народом и большей частью усваивает даже его язык. Там же, где внутренняя государственная власть какой-либо страны, — если отвлечься от случаев завоевания, — вступала в антагонизм с ее экономическим развитием, как это до сих пор на известной ступени развития случалось почти со всякой политической властью, — там борьба всякий раз оканчивалась ниспровержением политической власти. Неумолимо, не допуская исключений, экономическое развитие пролагало себе путь; о последнем, наиболее разительном примере в этом отношении мы уже упоминали: это великая французская революция. Если бы «хозяйственное положение», а вместе с ним и экономический строй какой-либо страны попросту зависели, в согласии с учением г. Дюринга, от политического насилия, то нельзя понять, почему Фридриху-Вильгельму IV не удалось после 1848 г., несмотря на все его «доблестное войско», привить средневековое цеховое устройство и прочие романтические причуды железнодорожному делу, паровым машинам и начавшей как раз в это время развиваться крупной промышленности своей страны; или почему русский царь, который действует еще гораздо более насильственными средствами, не только не в состоянии уплатить свои долги, но не может даже удержать свое «насилие» иначе, как непрерывно делая займы у «хозяйственного положения» Западной Европы.

Для г. Дюринга насилие есть нечто абсолютно злое. Первый акт насилия был, по его мнению, грехопадением. Вся его доктрина есть нытье по поводу того, что этот акт насилия запятнал первородным грехом всю историю вплоть до настоящего времени, что все законы природы и законы социальные позорно извращены этим орудием дьявола — насилием. Что насилие играет также в истории другую роль, именно революционную роль, что оно, по словам Маркса, является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым, что насилие является тем орудием, посредством которого общественное движение пролагает себе дорогу и ломает окаменевшие, смертвевшие политические формы, — обо всем этом ни слова у г. Дюринга. Лишь со вздохами и стонами допускает он возмож-

ность того, что для ниспровержения эксплуататорского хозяйства понадобится, может быть, насилие — к сожалению, извольте видеть! ибо всякое применение насилия деморализует, дескать, того, кто его применяет. И это говорится, несмотря на тот высокий нравственный и идейный подъем, который бывал следствием всякой победоносной революции! И это говорится в Германии, где насильственное столкновение, которое ведь может быть навязано народу, имело бы по меньшей мере то преимущество, что вытравило бы дух холопства, проникший в национальное сознание из унижения Тридцатилетней войны. И это тусклое, дряблкое, бессильное поповское мышление смеет предлагать себя самой революционной партии, какую только знает история?

V

ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ

Прошло почти сто лет с тех пор, как в Лейпциге появилась книга, выдержавшая к началу нашего века более 30 изданий; она распространялась в городе и в деревне властями, проповедниками и филантропами всякого рода и повсюду рекомендовалась народным школам в качестве книги для чтения. Книга эта называлась: «Друг детей» Рохова. Она имела целью давать наставления юным отпрыскам крестьян и ремесленников относительно их жизненного призвания, их обязанностей по отношению к начальникам, общественным и государственным, и в то же время внушать им благодетельное довольство своим земным жребием — черным хлебом и картофелем, барщиной, низкой заработной платой, отеческими розгами и тому подобными прелестями, и все это с помощью распространенного тогда просветительства. С этой целью молодежи города и деревни разъяснялось, сколь мудро устроила природа, что человек должен добывать трудом свои средства к жизни и наслаждению, и сколь счастливым, следовательно, должен чувствовать себя каждый крестьянин и ремесленник оттого, что судьба дала ему возможность приправлять свою трапезу горьким трудом, — тогда как богатый обжора, вечно страдающий расстройством желудка, несварением или запором, лишь с отвращением проглатывает самые изысканные яства. Те самые общие места, которые старый Рохов считал достаточными для саксонских крестьянских детей своего времени, г. Дюринг преподносит нам на 14-й и следующих страницах своего «Курса», как нечто «абсолютно фундаментальное» в новейшей политической экономии.

«Человеческие потребности как таковые имеют свою естественную законосообразность, и росту их поставлены известные границы; временно нарушать их может только извращенность, да и то лишь до тех пор, пока не появятся отвращение,

пресыщенность жизнью, дряхлость, социальная искалеченность и, наконец, спасительная смерть... Жизнь-игра, наполненная одними удовольствиями, без дальнейшей серьезной цели, скоро ведет к пресыщению, или, что то же, к утрате всякой восприимчивости. Действительный труд, в той или иной форме, есть социально-естественный закон всякого здорового существа... Если бы инстинкты и потребности не имели противовеса, то они едва-едва обеспечили бы даже чисто младенческое существование, не говоря уже об исторически повышающемся развитии жизни. Если бы полное удовлетворение потребностей не стоило никакого труда, то они скоро исчерпали бы себя, оставив за собой пустое существование в виде тягостных промежутков, продолжающихся до тех пор, пока потребности не возвратятся вновь... Таким образом, удовлетворение инстинктов и страстей зависит от преодоления того или иного хозяйственного препятствия, и это является во всех отношениях благотельным основным законом внешнего устройства природы и внутренних свойств человека» и т. д., и т. д. Как видит читатель, пошлейшие пошлости почтенного Рохова празднуют в книге г. Дюринга свой столетний юбилей и преподносятся вдобавок в качестве «глубокого основоположения» единственной истинно-критической и научной «социалитарной системы».

Заложив таким образом фундамент, г. Дюринг может строить дальше. Применяя математический метод, он дает нам сначала, по примеру старика Эвклида, ряд дефиниций. Это тем более удобно, что он может свои дефиниции с самого начала конструировать так, чтобы положения, которые должны быть доказаны с их помощью, уже отчасти содержались в них. Так, мы узнаем прежде всего, что руководящее понятие прежней политической экономии называется богатством, а богатство, как оно в действительности понималось до сих пор во всемирной истории и в той форме, в какой развивалось его господство, есть «экономическая власть над людьми и вещами». Это вдвойне неверно. Во-первых, богатство древних родовых и сельских общин отнюдь не было господством над людьми. Во-вторых, даже в таких обществах, которые движутся в классовых противоположностях, богатство, поскольку оно включает господство над людьми, является преимущественно и даже почти исключительно господством над людьми *в силу и посредством* господства над вещами. Уже с того весьма раннего времени, когда охота за рабами и эксплуатация рабов стали обособленными промыслами, эксплуататоры рабского труда должны были покупать рабов, т. е. приобретать господство над людьми только путем господства над вещами, над покупной ценой, над средствами содержания рабов и средствами труда. В течение всего средневековья крупное землевладение являлось предположкой, в силу которой феодальное дворянство получало в свое

владение оброчных и барщинных крестьян. А в наше время даже шестилетний ребенок поймет, что богатство господствует над людьми исключительно через посредство вещей, которыми оно располагает.

Для чего же, спрашивается, г. Дюрингу понадобилось сочинить свою ложную дефиницию богатства, для чего ему понадобилось разорвать фактическую связь, существовавшую до сих пор во всех классовых обществах? Для того, чтобы перетащить богатство из экономической области в моральную. Господство над вещами — дело вполне хорошее, но господство над людьми — от лукавого, и так как г. Дюринг сам себе воспретил объяснять господство над людьми господством над вещами, то он опять может прибегнуть к смелой уловке и попросту объяснять господство над людьми своим излюбленным насилием. Богатство как господство над людьми есть «грабеж», и, таким образом, мы вновь приходим к ухудшенному изданию старого-престарого прудоновского афоризма: «собственность есть кража».

Этим путем мы благополучно подвели богатство под две основные точки зрения — производства и распределения: богатство как господство над вещами, производственное богатство, — хорошая сторона; богатство как господство над людьми, распределительное богатство, существующее до сих пор, — дурная сторона, долой ее! В применении к современным отношениям это значит: капиталистический способ производства вполне хорош и может существовать и впредь, но капиталистический способ распределения никуда не годится и должен быть упразднен. Вот к какой бессмыслице можно притти, когда пишешь о политической экономии, не уразумев даже связи между производством и распределением.

За дефиницией богатства следует дефиниция стоимости. Она гласит: «стоимость есть то значение, которое имеют в хозяйственном обороте хозяйственные предметы и работы». Это значение соответствует «цене или какому-либо иному названию эквивалента, например, заработной плате». Другими словами: стоимость есть цена. Или, скорее, чтобы не быть несправедливым к г. Дюрингу и воспроизвести нелепость его определения, по возможности, собственными его словами: стоимость — это цены. Ибо на странице 19 он говорит: «стоимость и выражающие ее в деньгах цены», следовательно, г. Дюринг констатирует сам, что одна и та же стоимость имеет весьма различные цены, а стало быть и столько же различных стоимостей. Если бы Гегель не умер уже давно, он бы повесился. Стоимость, представляющая собой столько же различных стоимостей, сколько она имеет цен, — этого не мог бы придумать и Гегель со всей своей теологией. Нужно опять-таки обладать самоуверенностью г. Дюринга, чтобы новое, более глубокое обоснование

политической экономии начать с заявления, будто неизвестно иного различия между ценой и стоимостью, кроме того, что одна выражается в деньгах, а другая не выражается в них.

Но при этом мы все еще не знаем, что такое стоимость, и еще меньше — чем она определяется. Г-ну Дюрингу приходится поэтому выступить с более подробными разъяснениями. «В своем совершенно общем виде основной закон сравнения и оценки, — закон, на котором покоится стоимость и выражающие ее в деньгах цены, — лежит, прежде всего, в области одного только производства, независимо от распределения, которое вносит в понятие стоимости лишь второй элемент. Большие или меньшие препятствия, которые различие естественных условий противопоставляет стремлениям, направленным на создание предметов, и благодаря которым оно принуждает к большим или меньшим затратам хозяйственной силы, — эти препятствия определяют также... большую или меньшую стоимость», последняя определяется сообразно «препятствиям, которые поставлены производству природой и условиями... Размеры нашей собственной силы, вложенной в них (т. е. в вещи), — такова непосредственно решающая причина существования стоимости вообще и ее определенной величины в частности».

Поскольку все это имеет какой-нибудь смысл, оно означает: стоимость какого-либо продукта труда определяется необходимым для его изготовления рабочим временем, а это мы знали давно и без г. Дюринга. Вместо того чтобы просто сообщить факт, он дает нам его не иначе, как запутав его на манер оракула. Просто неверно, будто размеры той силы, которую кто-либо благодает в ту или иную вещь (если допустить это высокопарное выражение), являются непосредственно решающей причиной стоимости и величины стоимости. Во-первых, не безразлично, в какую вещь вкладывается сила, а, во-вторых, как она вкладывается. Если кто-нибудь изготовит вещь, не имеющую никакой потребительной стоимости для других, то вся его сила не создаст ни одного атома стоимости; если же он упорствует в том, чтобы изготавливать ручным способом предмет, который при машинном изготовлении обходится в двадцать раз дешевле, то девятнадцать двадцатых вложенной им силы не создадут ни стоимости вообще, ни какой-либо особой величины стоимости в частности.

Далее, превращать производительный труд, создающий нечто положительное, в нечто чисто отрицательное — в преодоление сопротивления, это значит целиком извращать дело. Если бы это было так, то для того, чтобы получить рубашку, нам пришлось бы проделать следующее: сначала преодолеть сопротивление, оказываемое семенем хлопчатника посеву и выращиванию, затем сопротивление зрелого хлопка сбору, упаковке и пересылке, затем его сопротивление распаковке, чесанию и прядению,

далее — сопротивление пряжи процессу тканья, сопротивление ткани отбелке и шитью и, наконец, сопротивление готовой рубашки ее надеванию.

Для чего все эти ребяческие выверты и извращения? А для того, чтобы через посредство «сопротивления» притти от «производственной стоимости», от этой истинной, но доньше лишь идеальной стоимости, к фальсифицированной насилем «стоимости распределительной», безраздельно господствовавшей до сих пор в истории. «Кроме того сопротивления, которое оказывает природа... существует еще другое, чисто социальное препятствие... Между человеком и природой становится тормозящая сила, и такой силой является опять-таки человек. Человек, мыслимый одиноким и изолированным, свободен по отношению к природе... Но положение меняется, как только мы представим себе другого человека, который со шпагой в руке занимает все подступы к природе и ее ресурсам и требует за вход плату в той или иной форме. Этот другой... как бы облагает податью первого и является, таким образом, причиной того, что стоимость желаемого предмета оказывается большей, нежели она была бы без такого политического или общественного препятствия на пути к его добыванию или производству... Крайне многообразны особые формы этого искусственного повышения значения вещей, которое естественно находит свое отображение в соответственном понижении значения труда... Было бы поэтому иллюзией заранее рассматривать стоимость как эквивалент в собственном смысле слова, т. е. как нечто равнозначущее или как меновое отношение, которое осуществилось по принципу, что определенная работа и работа, даваемая взамен нее, должны быть равны между собой... Наоборот, признаком правильной теории стоимости будет то, что подразумеваемая ею самая общая причина оценки не будет совпадать с той особой формой оценок, которая основывается на принудительном распределении. Эта форма меняется вместе с социальным устройством, тогда как собственно экономическая стоимость может быть только производственной стоимостью, которая измеряется по отношению к природе и потому должна изменяться только вместе с чисто производственными препятствиями естественного и технического характера».

Таким образом, существующая на практике стоимость какой-либо вещи состоит, по мнению г. Дюринга, из двух частей: во-первых, из содержащегося в ней труда, а во-вторых, из вынуждаемой «со шпагой в руке» надбавки в форме обложения. Другими словами, существующая в настоящее время стоимость представляет собой монопольную цену. Но если, согласно этой теории стоимости, все товары обладают такой монопольной ценой, то возможны только два случая. Либо каждый как покупатель теряет то, что он выигрывает в качестве продавца; цены

меняются только номинально, в действительности же — в своем взаимном отношении — остаются неизменными: все остается попрежнему, и пресловутая распределительная стоимость оказывается простой видимостью. — Либо же мнимые надбавки обложения представляют собой действительную сумму стоимости, а именно ту, которая производится работающим, создающим стоимость классом, но присваивается классом монополистов, и тогда эта сумма стоимости состоит просто из неоплаченного труда; в этом случае, несмотря на человека со шпагой в руке, несмотря на мнимые надбавки обложения и на предполагаемую распределительную стоимость, мы приходим опять — к марксовой теории *прибавочной стоимости*.

Присмотримся, однако, к некоторым примерам пресловутой «распределительной стоимости». На странице 125 и следующих говорится: «образование цены путем индивидуальной конкуренции тоже надлежит рассматривать как форму экономического распределения и взаимного обложения... Если представить себе, что запас какого-либо необходимого товара внезапно значительно уменьшается, то на стороне продавцов возникает непропорционально большая возможность эксплуатации... Что повышение стоимости может достигнуть при этом колоссальных размеров, показывают в особенности те исключительные случаи, когда на долгое время отрезан подвоз необходимых предметов», и т. д. Сверх того, прибавляет г. Дюринг, существуют и при нормальном ходе вещей фактические монополии, делающие возможным произвольное повышение цен, например, железные дороги, общества для снабжения городов водой и светильным газом и т. д. — Что такие случаи монопольной эксплуатации бывают, это давно известно. Но что создаваемые ими монопольные цены должны считаться не исключениями или частными случаями, а как раз классическими примерами господствующего в настоящее время способа установления стоимости, — вот это ново. Как определяются цены средств к жизни? Ступайте в осажденный город, подвоз к которому отрезан, и поучайтесь! — отвечает г. Дюринг. Как действует конкуренция на установление рыночных цен? Спросите монополию, и она вам расскажет!

Впрочем даже и в случаях подобных монополий нельзя обнаружить человека со шпагой в руке, который будто бы стоит за их спиной. Напротив: в осажденных городах человеку со шпагой, т. е. коменданту, если только он выполняет свой долг, обыкновенно очень скоро удастся положить конец монополии и, в целях равномерного распределения, подвергнуть конфискации запасы монополистов. А затем, вообще, в тех случаях, когда люди со шпагой пытались фабриковать «распределительную стоимость», у них всегда получались лишь плохие дела и убытки. Голландцы своим монополизированием ост-индской торговли погубили и свою монополию и свою торговлю. Два сильнейших

правительства, какие только когда-либо существовали, именно североамериканское революционное правительство и французский национальный конвент, рискнули установить предельные цены и потерпели полный крах. Русское правительство уже в течение ряда лет старается поднять курс своих бумажных денег, который в России оно понижает непрекращающимися выпусками неразменных банкнот; для этого оно столь же непрерывно скупает в Лондоне векселя на Россию. В результате это удовольствие обошлось ему в течение немногих лет в 60 млн. рублей, а рубль упал сейчас ниже двух марок, вместо курса трех с лишним. Если бы шпага обладала той волшебной экономической силой, какую ей приписывает г. Дюринг, то почему же ни одно правительство не может добиться того, чтобы принудительными мерами надолго присвоить плохим деньгам «распределительную стоимость» хороших или придать ассигнациям стоимость золота? Да и где та шпага, которая командует на мировом рынке?

Далее, существует еще одна основная форма, в которой распределительная стоимость служит для присвоения чужого труда без эквивалента: владельческая рента, т. е. земельная рента и прибыль на капитал. Мы отмечаем пока это обстоятельство только для того, чтобы указать, что сказанным исчерпывается все, что мы узнаем относительно пресловутой «распределительной стоимости». — Все ли, однако? Не совсем все. Послушаем дальше:

«Несмотря на двойственную точку зрения, выступающую в признании производственной стоимости и стоимости распределительной, в основе всегда остается еще *нечто общее в виде того предмета, из которого состоят все стоимости* и которым они поэтому также измеряются. Непосредственной, естественной мерой является затрата силы, а простейшей единицей — человеческая сила в самом грубом смысле слова. Последняя сводится ко времени существования, *самоподдержание* которого представляет, в свою очередь, преодоление известной суммы трудностей пропитания и жизни. Распределительная стоимость, или стоимость присвоения, существует в чистом и исключительном виде лишь там, где право распоряжения непроезженными вещами или, выражаясь более привычным языком, сами эти вещи вымениваются на труд или на предметы, имеющие действительную производственную стоимость. То однородное, что проступает в каждом выражении стоимости и представлено в нем, а следовательно, и в составных частях стоимости, присваиваемых путем распределения без эквивалента, — это однородное состоит в затрате человеческой силы... воплощенной... в каждом товаре».

Что сказать нам по этому поводу? Если все товарные стоимости измеряются воплощенной в товарах затратой человеческой

силы, то где же здесь распределительная стоимость, где надбавка к цене, обложение данью? Г-н Дюринг говорит нам, правда, что также и вещи, не произведенные трудом, следовательно, неспособные иметь настоящую стоимость, могут приобретать распределительную стоимость и обмениваться на вещи, произведенные трудом, обладающие стоимостью. Но в то же время он говорит, что *все стоимости*, следовательно, в том числе и стоимости исключительно распределительного характера, состоят из воплощенной в них затраты силы. При этом мы, к сожалению, не узнаем, каким образом воплощается затрата силы в вещи, которая не произведена трудом. Во всяком случае, из всей этой мешанины стоимостей в конце концов выясняется, повидимому, одно: что со стоимостью распределительной, этой вымогаемой благодаря социальному положению надбавкой к цене товаров, этим обложением, проводимым силой шпиаги, опять-таки ничего не выходит; значит, стоимости товаров определяются единственно затратой человеческой силы, *vulgo*¹ — трудом, который в них воплощен? Следовательно, если оставить в стороне земельную ренту и немногие монопольные цены, то выходит, что г. Дюринг говорит только неряшливо и путано то самое, что уже давно гораздо определеннее и яснее сказала столь ославленная теория стоимости Рикардо — Маркса?

Да, он это говорит, но тут же утверждает противоположное. Маркс, исходя из исследований Рикардо, говорит: стоимость товаров определяется воплощенным в них общественно необходимым всеобщим человеческим трудом, который, в свою очередь, измеряется своей продолжительностью. Труд есть мера всех стоимостей, но сам он не имеет никакой стоимости. Г-н Дюринг, выставив также, хотя и в своей неряшливой манере, труд в качестве меры стоимости, продолжает: труд «сводится ко времени существования, самоподдержание которого представляет, в свою очередь, преодоление известной суммы трудностей пропитания и жизни». Оставим без внимания вызванное лишь простой страстью к оригинальничанью смешение рабочего времени, о котором только и может идти речь, со временем существования, до сих пор еще никогда не создававшим и не измерявшим стоимостей. Оставим без внимания и ту ложную «социалитарную» видимость, которую должно внести «самоподдержание» этого времени существования; с тех пор как существует мир, и доколе он будет существовать, каждый должен сам поддерживать себя в том смысле, что он *сам* потребляет средства, необходимые для поддержания его жизни. Предположим, что г. Дюринг выразил свою мысль на точном языке политической экономии; тогда вышеприведенное положение либо ничего не означает, либо означает следующее: стоимость товара опреде-

¹ — попросту говоря. *Ред.*

ляется воплощенным в нем рабочим временем, а стоимость этого рабочего времени определяется стоимостью жизненных средств, требующихся для содержания рабочего в течение этого времени. В применении к нынешнему обществу это означает: стоимость товара определяется содержащейся в ней *заработной платой*.

Тут мы подошли, наконец, к тому, что, собственно, хочет сказать г. Дюринг. Стоимость товара определяется, по выражению вульгарной экономии, издержками производства. Кэри же, напротив, «подчеркнул ту истину, что стоимость определяют не издержки производства, а издержки воспроизводства» («*Kritische Geschichte*», S. 401¹). Какой смысл имеют эти издержки производства или воспроизводства, об этом мы скажем ниже; здесь же заметим только, что они, как известно, состоят из заработной платы и прибыли на капитал. В заработной плате выражена воплощенная в товаре «затрата силы», производственная стоимость. В прибыли выражена пошлина или надбавка к цене, распределительная стоимость, вынуждаемая капиталистом при помощи своей монополии, при помощи шпаги в руке. И, таким образом, вся противоречивая путаница дюринговской теории стоимости разрешается, наконец, в чудесную гармоническую ясность.

Определение стоимости товаров заработной платой, которое у Адама Смита встречается еще часто рядом с определением стоимости рабочим временем, изгнано из научной политической экономии со времени Рикардо и в наши дни еще имеет хождение только в вульгарной экономии. Как раз пошлейшие сикофанты существующего капиталистического общественного строя проповедуют определение стоимости заработной платой, изображая в то же время прибыль капиталиста как высший род заработной платы, как плату за воздержание (за то, что капиталист не промотал своего капитала), премию за риск, плату за управление предприятием и т. д. Г-н Дюринг отличается от них только тем, что объясняет прибыль грабежом. Другими словами, свой социализм г. Дюринг основывает непосредственно на теориях вульгарной экономии худшего сорта. Его социализм имеет ровно такую же научную ценность, как эта вульгарная экономия: они неразрывно связаны между собой.

Ведь ясно следующее: то, что рабочий производит, и то, во что обходится его рабочая сила, — это вещи столь же различные, как то, что производит машина, и то, во что она обходится. Стоимость, которую рабочий создает в течение 12-часового рабочего дня, не имеет ничего общего со стоимостью жизненных средств, которые он потребляет в течение этого рабочего дня и относящихся к нему промежутков отдыха. В этих жизненных

¹ «Критическая история», стр. 401. *Ред.*

средствах может быть воплощено 3, 4 или 7 часов рабочего времени, смотря по степени развития производительности труда. Допустим, что для их производства потребовалось 7 часов труда. Тогда, по смыслу принимаемой г. Дюрингом вульгарно-экономической теории стоимости, продукт 12-часового труда имеет стоимость продукта 7-часового труда, 12 часов труда равны 7 часам труда, или $12 = 7$. Для еще большей ясности возьмем такой пример: пусть сельский рабочий, безразлично при каких общественных отношениях, производит в год определенное количество зерна, скажем, 20 гектолитров пшеницы. Сам он в течение этого времени потребляет сумму стоимостей, которая выражается 15 гектолитрами пшеницы. В таком случае эти 20 гектолитров пшеницы имеют ту же стоимость, что и 15. И это на одном и том же рынке и при прочих равных условиях; иными словами, 20 равняется 15. И это называется экономической наукой!

Все развитие человеческого общества после стадии животной дикости начинается с того дня, как труд семьи стал создавать больше продуктов, чем необходимо было для ее поддержания, с того дня, как часть труда могла уже затрачиваться на производство не одних только жизненных средств, но и средств производства. Избыток продукта труда над издержками поддержания труда и, затем, образование и накопление из этого избытка общественного производственного и резервного фонда — все это было и остается основой всякого общественного, политического и умственного прогресса. В предшествующей истории этот фонд составлял собственность привилегированного класса, которому вместе с этой собственностью доставались также политическая власть и духовное руководство. Предстоящий социальный переворот впервые сделает этот общественный производственный и резервный фонд, т. е. всю массу сырья, орудий производства и жизненных средств, действительно общественным, изъяв его из распоряжения привилегированного класса и передав его всему обществу как общее достояние.

Одно из двух. Либо стоимость товаров определяется издержками на поддержание труда, необходимого для их изготовления, т. е. в нынешнем обществе определяется заработной платой. В таком случае каждый рабочий получает в своей заработной плате стоимость продукта своего труда, и тогда эксплуатация класса наемных рабочих классом капиталистов есть вещь невозможная. Предположим, что издержки содержания рабочего выражаются в данном обществе суммой в 3 марки в день. Тогда однодневный продукт рабочего, согласно изложенной вульгарно-экономической теории, имеет стоимость в 3 марки. Допустим теперь, что капиталист, нанимающий этого рабочего, прибавляет к цене продукта прибыль, взимая дань в 1 марку, и продает продукт за 4 марки. То же делают и другие капиталисты. Но в таком случае рабочий уже не может покрыть свой однодневный бюджет

3 марками, а нуждается для этого тоже в 4 марках. Так как все прочие условия предполагаются неизменными, то и заработная плата, выраженная в жизненных средствах, должна остаться неизменной, следовательно, заработная плата, выраженная в деньгах, должна возрасти, а именно — с 3 марок в день до 4. То, что капиталисты отнимают у рабочего класса в форме прибыли, они должны ему вернуть в форме заработной платы. Мы не подвинулись, таким образом, ни на шаг вперед: если заработная плата определяет стоимость, то невозможна никакая эксплуатация рабочего капиталистом. Но тогда невозможно и образование избытка продуктов, ибо рабочие, по нашему предположению, потребляют как раз столько стоимости, сколько они производят. А так как капиталисты не производят никакой стоимости, то нельзя даже представить себе, на какие средства они обставляют жить. Если же такой избыток производства над потреблением, такой производственный и резервный фонд тем не менее существует и притом находится в руках капиталистов, то не остается никакого другого возможного объяснения, кроме того, что рабочие потребляют для своего самоподдержания только *стоимость* товаров, а сами товары в натуре остаются затем в распоряжении капиталистов для потребления.

Или же приходится признать другое решение вопроса. Если этот производственный и резервный фонд, находящийся в руках класса капиталистов, фактически существует, если он на самом деле возник из накопленной прибыли (земельную ренту мы пока оставляем в стороне), то он необходимо образуется из накопленного избытка продукта труда, доставляемого классом рабочих классу капиталистов и превышающего сумму заработной платы, которую уплачивает класс капиталистов классу рабочих. Но в таком случае стоимость определяется не заработной платой, а количеством труда; следовательно, рабочий доставляет классу капиталистов в продукте труда большее количество стоимости, чем получает от класса капиталистов в виде заработной платы, и тогда прибыль на капитал, как и все другие формы присвоения продуктов чужого неоплаченного труда, получает свое объяснение как простая составная часть этой открытой Марксом прибавочной стоимости.

Кстати. О великом открытии, которым Рикардо начинает свой главный труд, говоря, что «стоимость известного товара зависит от количества труда, необходимого для его производства, а не от большего или меньшего вознаграждения, заплаченного за этот труд», — об этом составившем эпоху открытии г. Дюринг во всем своем «Курсе политической экономии» не говорит ни слова. В «Критической истории» он отделяется следующей оракульской фразой: «он (Рикардо) не принимает в расчет того обстоятельства, что большая или меньшая пропорция, в которой заработная плата может представлять ассигновку

на жизненные потребности (!), должна... внести известное многообразие в процесс формирования отношений стоимостей». Фраза, о которой читатель может думать, что ему угодно, а всего лучше, если он при этом ничего не будет думать.

А теперь пусть читатель из пяти различных сортов стоимости, преподнесенных нам г. Дюрингом, сам выбирает тот сорт, который ему больше нравится: производственную ли стоимость, которая проистекает из природы, или распределительную стоимость, созданную людской испорченностью и имеющую ту отличительную особенность, что она измеряется затратой силы, которой в ней, однако, не содержится, или, в-третьих, стоимость, измеряемую рабочим временем, или, в-четвертых, стоимость, измеряемую издержками производства, или же, наконец, в-пятых, стоимость, измеряемую заработной платой. Выбор богатый, путаница полнейшая. И нам остается только воскликнуть вместе с г. Дюрингом: «Учение о стоимости есть пробный камень для определения достоинства экономических систем!»

VI

ПРОСТОЙ И СЛОЖНЫЙ ТРУД

Г-н Дюринг открыл у Маркса очень грубую экономическую ошибку, достойную ученика младшего класса и в то же время заключающую в себе общественно-опасную социалистическую ересь. Теория стоимости Маркса представляет собой «не более как обычное... учение, что труд есть причина всех стоимостей, а рабочее время — мера их. Совершенно неясным остается здесь представление о том, как следует мыслить различную стоимость так называемого квалифицированного труда. Правда, и по нашей теории естественная себестоимость и, следовательно, абсолютная стоимость хозяйственных предметов может измеряться только затраченным рабочим временем. Но при этом мы исходим из того, что рабочее время одного индивида признается у нас совершенно равноценным рабочему времени другого, и приходится только следить за теми случаями, когда при квалифицированных работах к индивидуальному рабочему времени одного лица присоединяется рабочее время других лиц... например, в виде употребляемого инструмента. Дело обстоит, следовательно, не так, как туманно представляет себе г. Маркс, будто чье-либо рабочее время само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них как бы сгущено большее количество среднего рабочего времени; нет, всякое рабочее время, без исключения и принципиально, — следовательно, без необходимости выводить сначала какую-либо среднюю, — совершенно равноценно, и при работах какого-либо лица, как и в каждом готовом изделии, нужно только выяснить,

сколько рабочего времени других лиц скрыто в затрате только его собственного — на первый взгляд — рабочего времени. Будет ли орудие производства, приводимое в действие рукой, или сама рука, или даже голова той вещью, которая без рабочего времени других людей не могла бы получить особого свойства и способности, — это не имеет ни малейшего значения для строгого применения теории. Между тем г. Маркс в своих рассуждениях о стоимости не может отделаться от мелькающего на заднем плане призрака квалифицированного рабочего времени. Пробыть себе путь в этом направлении помешал ему унаследованный метод мышления образованных классов, которым должно казаться чудовищным признание, что рабочее время тачечника и рабочее время архитектора само по себе экономически совершенно равноценно».

То место у Маркса, которое вызвало этот «страшный гнев» г. Дюринга, очень кратко. Маркс исследует, чем определяется стоимость *товаров*, и отвечает: содержащимся в них человеческим трудом. Последний, продолжает он, «есть затрата простой рабочей силы, коготорой в среднем располагает телесный организм каждого обыкновенного человека, не обладающего никакой специальной подготовкой... Более сложный труд рассматривается лишь как возведенный в степень, или, вернее, умноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда равняется большему количеству простого труда. Что такое сведение сложного труда к простому постоянно происходит, это показывает опыт. Товар может быть продуктом самого сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту простого труда и, следовательно, сама представляет лишь определенное количество простого труда. Различные пропорции, в которых различные виды труда сводятся к простому труду, как к единице их меры, определяются общественным процессом за спиной производителей и поэтому представляются для этих последних как нечто издавна установившееся»¹.

Речь идет здесь у Маркса прежде всего лишь об определении стоимости *товаров*, т. е. предметов, которые производятся внутри общества, состоящего из частных производителей, — производятся этими частными производителями за частный счет и обмениваются ими один на другой. Следовательно, здесь говорится отнюдь не об «абсолютной стоимости», где бы сия ни обитала, но о стоимости, имеющей силу при определенной общественной форме. Оказывается, что эта стоимость, в этом определенном историческом понимании, создается и измеряется человеческим трудом, воплощенным в отдельных товарах, а человеческий труд оказывается далее затратой простой рабочей силы. Однако не всякий труд представляет собой только затрату

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 9. *Ред.*

простой человеческой рабочей силы; очень многие виды труда включают в себе применение искусства или знаний, приобретенных с большей или меньшей затратой сил, времени и денег. Создают ли эти виды сложного труда в равные промежутки времени такую же товарную стоимость, как и труд простой, как затрата одной лишь простой рабочей силы? Ясно, что нет. Продукт часа сложного труда представляет собой товар более высокой, двойной или тройной, стоимости по сравнению с продуктом часа простого труда. Посредством этого сравнения стоимость продуктов сложного труда выражается в определенных количествах простого труда, но это сведение сложного труда к простому совершается путем общественного процесса за спиной производителей — процесса, который здесь, при изложении теории стоимости, может быть только установлен, но еще не объяснен.

Именно этот простой факт, ежедневно совершающийся на наших глазах в современном капиталистическом обществе, и констатирует здесь Маркс. Факт этот настолько бесспорен, что даже г. Дюринг не отваживается оспаривать его ни в своем «Курсе», ни в своей истории экономической науки. Изложение Маркса отличается такой простотой и прозрачностью, что, наверно, никто, кроме г. Дюринга, не «останется при этом в полной неясности». Именно вследствие этой полной неясности, в которой пребывает г. Дюринг, он ошибочно принимает стоимость товаров, исследованием которой здесь только и занимается пока Маркс, за «естественную себестоимость», еще более увеличивающую неясность, и даже за «абсолютную стоимость», которая до сих пор, насколько нам известно, не имела хождения в политической экономии. Что бы, однако, ни понимал под «естественной себестоимостью» г. Дюринг и какой бы из его пяти видов стоимости ни имел честь представлять «абсолютную стоимость», — несомненно одно: у Маркса вовсе нет речи об этих предметах, а он говорит только о стоимости товаров; во всем отделе «Капитала», трактующем о стоимости, нет ни малейшего намека на то, считает ли Маркс свою теорию стоимости товаров применимой к другим общественным формам, и если считает, то в каком объеме. — «Следовательно, — продолжает г. Дюринг, — дело обстоит не так, как туманно представляет себе г. Маркс, будто чье-либо рабочее время само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них как бы сгущено большее количество среднего рабочего времени; но всякое рабочее время, без исключения и принципиально — следовательно, без необходимости выводить сначала какую-либо среднюю, — совершенно равноценно». — Счастье для г. Дюринга, что судьба не сделала его фабрикантом и, таким образом, избавила его от необходимости устанавливать стоимость своих товаров по этому новому

правилу, а следовательно, и от неизбежного банкротства. Но позвольте. Разве мы все еще находимся в обществе фабрикантов? Отнюдь нет. Со своей естественной себестоимостью и абсолютной стоимостью г. Дюринг заставил нас сделать скачок, настоящее *salto mortale*¹ из нынешнего дурного мира эксплуататоров в его собственную хозяйственную коммуны будущего, в чистую небесную атмосферу равенства и справедливости, — и мы должны поэтому, хотя и несколько преждевременно, уже здесь заглянуть немного в этот новый мир.

Конечно, по теории г. Дюринга, и в хозяйственной коммуне стоимость хозяйственных вещей может измеряться только затраченным рабочим временем, но рабочее время каждого заранее будет расцениваться совершенно одинаково, всякое рабочее время будет считаться совершенно равноценным без исключения и принципиально, и притом — без необходимости выводить сначала какую-либо среднюю величину. И вот пусть теперь читатель сравнит этот радикальный уравнивательный социализм с туманным представлением Маркса, будто чье-либо рабочее время само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого лица, потому что в первом из них сгущено большее количество среднего рабочего времени, — представлением, от которого Маркс не в силах освободиться из-за унаследованного способа мышления образованных классов, которым должно казаться чудовищным признание рабочего времени тачечника и рабочего времени архитектора экономически совершенно равноценными!

Беда только в том, что Маркс делает к приведенному месту в «Капитале» маленькое примечание: «Читатель должен иметь в виду, что здесь речь идет не о *заработной плате* или стоимости, которую рабочий *получает*, например, за один рабочий день, а о *товарной стоимости*, в которой *овеществляется* его рабочий день»². Маркс, словно предчувствуя своего Дюринга, сам, следовательно, предостерегает против применения приведенных положений хотя бы даже к заработной плате, выплачиваемой за сложный труд в нынешнем обществе. И если г. Дюринг, не довольствуясь тем, что он все-таки это делает, вдобавок характеризует еще приведенные выше положения как те основные начала, согласно которым Маркс якобы хочет регулировать в социалистически организованном обществе распределение жизненных средств, — то это просто бесстыдная подтасовка, подобную которой можно встретить разве только в нравах разбойников пера.

Присмотримся, однако, несколько ближе к дюринговскому «учению о равноценности». Всякое рабочее время совершенно

¹ — смертельный прыжок. *Ред.*

² См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 9. *Ред.*

равноценно: рабочее время тачечника, как и рабочее время архитектора. Таким образом, рабочее время, а следовательно, и самый труд имеют стоимость. Но ведь труд есть созидатель всех стоимостей. Только он один придает продуктам, находимым нами в природе, стоимость в экономическом смысле. Сама стоимость есть не что иное, как выражение овеществленного в каком-либо предмете общественно необходимого человеческого труда. Следовательно, труд *не может* иметь никакой стоимости. Говорить о стоимости труда и пытаться определить ее — это все равно, что говорить о стоимости самой стоимости или пытаться определить вес не какого-нибудь тяжелого тела, а самой тяжести. Г-н Дюринг разделяется с такими людьми, как Оуэн, Сен-Симон и Фурье, называя их социальными алхимиками. Но когда он мудрит над стоимостью рабочего времени, т. е. труда, то доказывает этим, что стоит сам еще гораздо ниже действительных алхимиков. Пусть читатель теперь сам судит о наглости и дерзости, с какой г. Дюринг навязывает Марксу утверждение, будто рабочее время одного человека само по себе имеет большую стоимость, чем рабочее время другого, и будто рабочее время, т. е. труд, имеет стоимость, — и это приписывается Марксу, который впервые показал, что труд *не может* иметь стоимости и почему именно не может иметь ее!

Для социализма, который хочет освободить человеческую рабочую силу от ее положения *товара*, имеет в высшей степени важное значение уяснение того факта, что труд не имеет стоимости и не может иметь ее. При таком понимании теряют почву все попытки регулировать в будущем распределение средств существования, как своего рода высшую форму заработной платы, — попытки, перешедшие к г. Дюрингу по наследству от стихийного рабочего социализма. Отсюда как дальнейший вывод вытекает, что распределение, поскольку оно управляется чисто экономическими соображениями, будет регулироваться интересами производства, развитие же производства больше всего стимулируется таким способом распределения, который позволяет *всем* членам общества как можно более всесторонне развиваться, поддерживать и проявлять свои способности. Способу мышления образованных классов, унаследованному г. Дюрингом, должно, конечно, казаться чудовищным, что настанет время, когда не будет ни тачечников, ни архитекторов по профессии и когда человек, который в течение получаса давал указания как архитектор, будет затем в течение некоторого времени толкать тачку, пока не явится опять необходимость в его деятельности как архитектора. Хорош был бы социализм, увековечивающий профессиональных тачечников!

Если равноценность рабочего времени должна иметь тот смысл, что каждый работник в равные промежутки времени производит равные стоимости и что нет необходимости сперва

выводить какую-либо среднюю величину, — то совершенно очевидно, что это неверно. Стоимость, созданная часом труда двух работников, хотя бы одной и той же отрасли промышленности, всегда окажется различной, смотря по интенсивности труда и искусству работника; этой беде, — которая, впрочем, может казаться бедой только господам à la Дюринг, — не может помочь никакая хозяйственная коммуна, по крайней мере на нашей планете. Что же остается, следовательно, от всей теории равноценности всякого труда? Ничего, кроме пустой громкой фразы, экономической подоплекой которой является только неспособность г. Дюринга к различению между определением стоимости трудом и определением стоимости заработной платой, — ничего, кроме простого указа, своего рода основного закона новой хозяйственной коммуны: заработная плата за равное рабочее время должна быть равной! Но в таком случае старые французские рабочие-коммунисты и Вейтлинг приводили уже гораздо лучшие доводы в пользу своего требования равенства заработной платы.

Как же в целом разрешается важный вопрос о более высокой оплате сложного труда? В обществе частных производителей расходы по обучению будущего квалифицированного рабочего покрываются частными лицами или их семьями; поэтому частным лицам и достается в первую очередь более высокая цена квалифицированной рабочей силы: искусный раб продается по более высокой цене, искусный наемный рабочий получает более высокую заработную плату. В обществе, организованном социалистически, эти расходы несет общество, поэтому ему принадлежат и плоды, т. е. большие стоимости, созданные сложным трудом. Сам работник не может претендовать на добавочную оплату. Из этого, между прочим, следует тот бесполезный вывод, что излюбленный лозунг, притязание рабочего на «полный продукт труда», тоже иной раз не так уж неуязвим.

VII

КАПИТАЛ И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

«Капитал означает у г. Маркса, прежде всего, не общепринятое экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведенное средство производства. Маркс пытается создать более специальную, диалектически-историческую идею, которая переходит у него в игру метаморфозами понятий и исторических явлений. Капитал, по Марксу, рождается из денег; он образует историческую фазу, которая начинается с XVI века, а именно — с предполагаемых зачатков мирового рынка, относимых к этому времени. Ясно, что при подобном толковании

понятия капитала утрачивается острота экономического анализа. В подобных диких концепциях, которые должны быть наполовину историческими, наполовину логическими, а в действительности являются только ублюдками исторической и логической фантастики, — гибнет способность рассудка к различению, как и всякое добросовестное применение понятий... и в таком же духе идет трескотня на протяжении целой страницы... «С марксовской характеристикой понятия капитала можно внести в строгую науку о народном хозяйстве одну только путаницу... плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логические истины... шаткость оснований» и т. д.

Итак, по Марксу, капитал будто бы родился в начале XVI века из денег. Это то же самое, как если бы кто-нибудь сказал, что металлические деньги образовались три тысячи с лишком лет тому назад из скота, так как раньше, в числе других предметов, функции денег выполнял и скот. Только г. Дюринг способен в такой грубой и двусмысленной форме выражать свои мысли. У Маркса при анализе экономических форм, внутри которых совершается процесс обращения товаров, последней формой оказываются деньги. «Этот последний продукт товарного обращения есть *первая форма проявления* капитала. Исторически капитал везде сначала противостоит земельной собственности в форме денег, в форме денежного имущества, купеческого и ростовщического капитала... История эта ежедневно разыгрывается на наших глазах. Каждый новый капитал при своем первом появлении на сцене, т. е. на товарном, рабочем или денежном рынке, неизменно является в виде денег, — денег, которые путем определенных процессов должны превратиться в капитал»¹. Таким образом, Маркс опять-таки только констатирует факт. Не будучи в состоянии оспорить этот факт, г. Дюринг извращает его: будто, по Марксу, капитал рождается из денег!

Затем Маркс подвергает дальнейшему исследованию процессы, посредством которых деньги превращаются в капитал, и находит, прежде всего, что форма, в которой деньги циркулируют как капитал, представляет обращенную форму в сравнении с той, в которой они циркулируют как всеобщий товарный эквивалент. Простой товаровладелец продает, чтобы купить; он продает то, в чем не нуждается, и покупает на вырученные деньги то, что ему нужно. Между тем капиталист, приступая к делу, покупает с самого начала то, в чем сам *не* нуждается; он покупает, чтобы продать, и притом продать дороже, чтобы получить обратно затраченную первоначально на покупку денежную сумму увеличенной на некоторый денежный прирост. Этот прирост Маркс называет *прибавочной стоимостью*.

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 93. Ред.

Откуда возникает эта прибавочная стоимость? Она не может возникнуть ни от того, что покупатель купил товары ниже их стоимости, ни от того, что продавец продал их выше их стоимости. Ибо в обоих случаях прибыли и убытки каждого лица взаимно уравниваются, так как каждый попеременно является покупателем и продавцом. Прибавочная стоимость не может также явиться результатом обмана, так как обман, хотя и может обогатить одного человека за счет другого, но не может увеличить общую сумму стоимостей, которой они оба располагают, следовательно, не может увеличить всю вообще сумму обращающихся стоимостей. «Весь класс капиталистов известной страны в целом не может наживаться на счет самого себя»¹.

И тем не менее оказывается, что класс капиталистов каждой страны, взятый в целом, непрерывно обогащается на наших глазах, продавая дороже, чем купил, присваивая себе прибавочную стоимость. Таким образом, мы ни на шаг не подвинулись вперед в решении вопроса: откуда возникает эта прибавочная стоимость? Вопрос этот необходимо разрешить, и притом *чисто экономическим* путем, исключив всякий обман, всякое вмешательство какого-либо насилия, формулируя вопрос следующим образом: каким образом можно постоянно продавать дороже, чем было куплено, даже при условии, что равные стоимости постоянно обмениваются на равные?

Разрешение этого вопроса составляет величайшую историческую заслугу труда Маркса. Оно проливает яркий свет на такие экономические области, где социалисты, не менее, чем буржуазные экономисты, бродили до сих пор в глубокой тьме. Научный социализм берет от него свое начало. Решение этого вопроса является центральным пунктом научного социализма.

Решение это состоит в следующем. Возрастание стоимости денег, которые должны превратиться в капитал, не может ни совершиться в самих *деньгах*, ни возникнуть из *купли*, так как эти деньги только реализуют здесь цену товара, а эта цена, — ибо мы предполагаем, что обмениваются равные стоимости, — не отличается от стоимости товара. Но по той же причине увеличение стоимости не может возникнуть и из *продажи* товара. Значит, данное изменение должно произойти в том *товаре*, который покупается, но изменению подвергается при этом отнюдь не его *стоимость*, — так как товар покупается и продается по своей стоимости, — а его *потребительная стоимость*, как таковая; то есть, изменение стоимости должно проистекать из потребления этого товара. «Но извлечь стоимость из потребления товара нашему владельцу денег удастся лишь в том случае, если ему посчастливится открыть... на рынке такой товар, самая потребительная стоимость которого обладала бы специфическим

¹ «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 106. *Ред.*

свойством быть источником стоимости, — такой товар, фактическое потребление которого, как таковое, есть овеществление труда, а следовательно, *созидание стоимости*. И владелец денег действительно находит на рынке такой оригинальный товар; это — способность к труду или *рабочая сила*¹. Если, как мы видели, труд, как таковой, не может иметь стоимости, то этого отнюдь нельзя сказать о *рабочей силе*. Последняя приобретает стоимость, лишь только она, как это фактически имеет место ныне, становится *товаром*, и стоимость эта определяется, «как и стоимость всякого другого товара, рабочим временем, необходимым для производства, а следовательно, и воспроизводства этого специфического предмета торговли»², т. е. рабочим временем, которое требуется для производства жизненных средств, необходимых рабочему для поддержания себя в состоянии трудоспособности и для продолжения своего рода. Допустим, что эти жизненные средства представляют, изо дня в день, рабочее время в 6 часов. Таким образом, наш приступающий к делу капиталист, который закупает для ведения предприятия рабочую силу, т. е. нанимает рабочего, уплачивает последнему полную однодневную стоимость его рабочей силы, если платит ему сумму денег, которая выражает как раз 6 часов труда. Следовательно, рабочий, отработав 6 часов у данного капиталиста, возмещает ему полностью его расход, т. е. оплаченную однодневную стоимость рабочей силы. Но от этого деньги еще не превратятся в капитал, не произведут никакой прибавочной стоимости. Поэтому покупатель рабочей силы совершенно иначе понимает характер заключенной им сделки. Тот факт, что для поддержания жизни рабочего в течение 24 часов требуется только 6 часов труда, нисколько не мешает рабочему работать 12 часов из этих 24. Стоимость рабочей силы и стоимость, создаваемая рабочей силой в процессе труда, — две различные величины. Владелец денег оплатил однодневную стоимость рабочей силы, и ему поэтому принадлежит и потребление ее в течение всего дня, труд рабочего в течение целого дня. То обстоятельство, что стоимость, которую *создает* потребление рабочей силы в течение дня, вдвое больше ее собственной однодневной стоимости, представляет особенную удачу для покупателя, но по законам товарного обмена тут нет никакого нарушения права по отношению к продавцу. Итак, стоимость, в которую *обходится* рабочий капиталисту, согласно нашему допущению, представляет собою продукт 6 часов труда, а *стоимость*, которую рабочий ежедневно *доставляет* капиталисту, — продукт 12 часов труда. Разность идет в карман владельца денег, а именно — 6 часов неоплаченного прибавочного труда, неоплаченный прибавочный продукт, в котором воплощен

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 110. *Ред.*

² См. там же, стр. 113. *Ред.*

6-часовой труд. Фокус проделан. Прибавочная стоимость произведена, деньги превратились в капитал.

Установив, таким образом, как возникает прибавочная стоимость, и доказав, что только так она и может возникнуть при господстве законов, регулирующих товарный обмен, Маркс обнажил механизм современного капиталистического способа производства и основанного на нем способа присвоения, открыл то кристаллизационное ядро, вокруг которого сложился весь современный общественный строй.

Такое образование капитала имеет, однако, одну существенную предпосылку: «владелец денег лишь в том случае может преобразить свои деньги в капитал, если найдет на рынке *свободного рабочего*, свободного в двояком смысле: во-первых, он должен располагать своей рабочей силой, как свободная личность своим товаром, во-вторых, не должен иметь для продажи никакого другого товара, должен быть гол, как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для практического применения своей рабочей силы»¹. Но это отношение между владельцами денег или товаров, с одной стороны, и людьми, не имеющими ничего, кроме собственной рабочей силы, с другой, — не дано, однако, природой и также не является отношением, общим для всех исторических периодов: «оно, очевидно, само есть результат предшествующего исторического развития, продукт... гибели целого ряда более древних формаций общественного производства»². В массовом масштабе этот свободный рабочий появляется впервые в конце XV и начале XVI века, вследствие разложения феодального способа производства. Но этим обстоятельством, вместе с начавшимся в ту же эпоху созданием мировой торговли и мирового рынка, была дана основа, на которой масса наличного движимого богатства должна все более и более превращаться в капитал, а капиталистический способ производства, направленный на создание прибавочной стоимости, должен становиться все более и более исключительно господствующим.

Таковы «дикие концепции» Маркса, эти «ублюдки исторической и логической фантастики», в которых «гибнет способность рассудка к различению, как и всякое добросовестное применение понятий». Противопоставим же этим «плодам легкомыслия» те «глубокие логические истины» и ту «предельную и строжайшую научность, в смысле точных дисциплин», которые нам предлагает г. Дюринг.

Итак, под капиталом Маркс понимает «не общепринятое экономическое понятие, согласно которому капитал есть произведенное средство производства»; напротив, Маркс утверждает,

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 111. *Ред.*

² Там же, стр. 111—112. *Ред.*

что известная сумма стоимостей лишь тогда превращается в капитал, когда она *возрастает в своей стоимости*, образуя прибавочную стоимость. А что говорит г. Дюринг? «Капитал есть основа экономического могущества, служащего для дальнейшего ведения производства и для образования долей участия в плодах всеобщей рабочей силы». Как ни туманно и неряшливо выражено и это положение г. Дюринга, несомненно одно: основа экономического могущества может служить дальнейшему ведению производства до скончания века, — и все же, по собственным словам г. Дюринга, она не станет капиталом до тех пор, пока не образует «долей участия в плодах всеобщей рабочей силы», т. е. прибавочной стоимости, или, по крайней мере, прибавочного продукта. Следовательно, г. Дюринг не только сам совершает тот грех, который он ставит в упрек Марксу, не разделяющему общепринятого экономического понимания капитала; он, сверх того, совершает еще «плохо прикрытый» высокопарными фразами грубый плагиат у Маркса.

На странице 262 эта мысль развивается подробнее: «дело в том, что капитал в социальном смысле» (а капитал в несоциальном смысле г. Дюрингу еще предстоит открыть) «специфически отличается от простого средства производства; ибо, в то время как последнее имеет лишь технический характер и является необходимым при всяких обстоятельствах, первый характеризуется своей общественной силой присвоения и образования долей участия в плодах всеобщей рабочей силы. Социальный капитал бесспорно является большей частью не чем иным, как техническим средством производства *в его социальной функции*; но именно эта-то функция и... должна будет исчезнуть». Если мы примем во внимание, что именно Маркс впервые выдвинул на передний план ту «социальную функцию», при помощи которой известная сумма стоимостей только и становится капиталом, то во всяком случае «каждый, кто внимательно изучает предмет, должен скоро удостовериться в том, что марксова характеристика понятия капитала может породить лишь путаницу», — но не в строгой науке о народном хозяйстве, как думает г. Дюринг, а, как это наглядно показывает данный случай, единственно в голове самого г. Дюринга, который в «Критической истории» успел уже забыть, как много он попользовался этим понятием капитала в своем «Курсе».

Однако г. Дюринг не довольствуется тем, что заимствует свое определение капитала, хотя и в «очищенной» форме, у Маркса. Он вынужден следовать за Марксом по пути «игры метаморфозами понятий и исторических явлений», делая все это с позиций своего собственного более высокого разумения, согласно которому из этого ничего не может выйти, кроме «диких концепций», «плодов легкомыслия», «шаткости оснований» и т. д. Откуда возникает эта «социальная функция» капи-

тала, которая позволяет ему присваивать себе плоды чужого труда и которой он только и отличается от простого средства производства? Она основана, говорит г. Дюринг, «не на природе средств производства и не на их технической необходимости». Следовательно, она возникла исторически, и г. Дюринг повторяет нам на странице 252 только то, что мы уже слышали от него десятки раз: он объясняет возникновение капитала при помощи давно известного приключения с двумя мужами, из которых один превратил в начале истории свое средство производства в капитал, совершив насилие над другим. Но не довольствуясь тем, что он признает историческое начало за той социальной функцией, благодаря которой известная сумма стоимостей только и становится капиталом, г. Дюринг пророчит ей также и исторический конец: «именно она-то и должна будет исчезнуть». Однако явление, которое исторически возникло и исторически вновь исчезает, принято называть на обычном языке «исторической фазой». Таким образом, капитал является исторической фазой не только у Маркса, но и у г. Дюринга, и мы вынуждены притти к заключению, что г. Дюринг следует здесь иезуитскому правилу: если два человека делают одно и то же, то это еще вовсе не одно и то же. Когда Маркс говорит, что капитал представляет собой историческую фазу, то это — дикая концепция, убудок исторической и логической фантастики, в которой гибнет способность различения, как и всякое добросовестное применение понятий. Когда же г. Дюринг изображает капитал как историческую фазу, то это лишь доказательство остроты экономического анализа, а также предельной и строжайшей научности, в смысле точных дисциплин.

Чем же отличается дюринговское представление о капитале от марксовского?

«Капитал, — говорит Маркс, — не изобрел прибавочного труда. Всюду, где часть общества обладает монополией на средства производства, работник, свободный или несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, необходимое для того, чтобы произвести жизненные средства для собственника средств производства»¹. Прибавочный труд, труд, который выходит за пределы времени, необходимого для поддержания жизни рабочего, и присвоение продукта этого прибавочного труда другими, т. е. эксплуатация труда; составляют, таким образом, общую черту всех существовавших до сих пор форм общества, поскольку последние двигались в классовых противоречиях. Но только в том случае, когда продукт этого прибавочного труда принимает форму прибавочной стоимости, когда собственник средств производства находит перед собой,

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 165. *Ред.*

в качестве объекта для эксплуатации, свободного рабочего — свободного от социальных уз и свободного от собственности — и эксплуатирует его в целях производства *товаров*, — только тогда средство производства принимает, по Марксу, специфический характер капитала. А это произошло в значительных размерах лишь с конца XV и начала XVI века.

Г-н Дюринг, напротив, объявляет капиталом *всякую* сумму средств производства, которая «образует долю участия в плодах всеобщей рабочей силы» и, следовательно, обуславливает прибавочный труд в какой бы то ни было форме. Другими словами, г. Дюринг заимствует у Маркса открытый им прибавочный труд, чтобы при помощи последнего убить неподходящую ему в данном случае, открытую также Марксом, прибавочную стоимость. Таким образом, с точки зрения г. Дюринга, не только движимое и недвижимое богатство коринфских и афинских граждан, хозяйствовавших при помощи рабов, но и богатство римских крупных землевладельцев времен империи, точно так же как богатство феодальных баронов средневековья, поскольку оно каким-либо образом служило производству, — все это без различия представляет собой капитал.

Следовательно, сам г. Дюринг имеет о капитале «не общепринятое понятие, согласно которому капитал есть произведенное средство производства», но, напротив, понятие прямо противоположное, которое включает даже непроеизведенные средства производства — землю и ее естественные богатства. Между тем представление, по которому капитал есть попросту «произведенное средство производства», является общепринятым опять-таки только в вульгарной экономии. Вне этой столь дорогой г. Дюрингу вульгарной экономии «произведенное средство производства» или вообще известная сумма стоимостей становится капиталом только благодаря тому, что она приносит прибыль или процент, т. е. присваивает себе прибавочный продукт неоплаченного труда в форме прибавочной стоимости, и именно опять-таки в этих двух ее определенных частных формах. При этом решительно никакого значения не имеет то обстоятельство, что вся буржуазная политическая экономия погрязла в представлении, будто свойство давать прибыль или процент само собой принадлежит всякой сумме стоимостей, применяемой при нормальных условиях в производстве или обмене. В классической политической экономии капитал и прибыль или капитал и процент так же неотделимы, находятся между собой в таком же взаимоотношении, как причина и следствие, отец и сын, вчера и сегодня. Однако слово «капитал» в его современном экономическом значении появляется впервые лишь около того времени, когда возникает сам выражаемый им объект, когда движимое богатство все более и более приобретает функцию капитала, присваивая прибавочный труд свобод-

ных рабочих, чтобы производить товары; а именно: слово «капитал» вводится в употребление первой в истории нацией капиталистов — итальянцами XV и XVI веков. И если Маркс первый проанализировал до самого основания свойственный современному капиталу способ присвоения, если он привел понятие капитала в согласие с историческими фактами, от которых оно в конечном счете было абстрагировано и которым оно обязано своим существованием; если Маркс тем самым освободил это экономическое понятие от неясных и шатких представлений, которые еще примешивались к нему и в классической буржуазной политической экономии и у прежних социалистов, — то это значит, что именно Маркс шел путем той «предельной и строжайшей научности», которая у г. Дюринга постоянно на языке и которой мы, к прискорбию, совсем не находим в его сочинениях.

Действительно, у г. Дюринга дело принимает совсем другой оборот. Он не довольствуется тем, что сначала назвал изображение капитала в качестве исторической фазы «ублюдком исторической и логической фантастики», а затем сам изобразил капитал как историческую фазу. Он огульно объявляет капиталом все средства экономической мощи, *все* средства производства, присваивающие себе «доли в плодах всеобщей рабочей силы», следовательно, также и земельную собственность во всех классовых обществах. Это, однако, нисколько не мешает ему в дальнейшем изложении, в полном соответствии с установившейся традицией, отделять земельную собственность и земельную ренту от капитала и прибыли и называть капиталом лишь те средства производства, которые приносят прибыль или процент, как это можно во всех подробностях видеть на 116 и следующих страницах его «Курса». С таким же основанием г. Дюринг мог бы сначала подразумевать под названием «локомотив» также лошадей, волов, ослов и собак, потому что экипаж может двигаться и при помощи этих средств передвижения, — и поставить в упрек нынешним инженерам, что, ограничивая понятие локомотива только современным паровозом, они делают его исторической фазой, создают дикие концепции, ублюдки исторической и логической фантастики и т. д., а под конец он мог бы заявить, что все-таки к лошадям, ослам, волам и собакам неприменимо название «локомотив», а применимо оно только к паровозу. — Таким образом, мы вновь вынуждены сказать, что именно при дюринговском определении понятия капитала пропадает всякая острота экономического анализа и исчезает способность различения, как и всякое добросовестное применение понятий, и что дикие концепции, путаница, плоды легкомыслия, выдаваемые за глубокие логические истины, и шаткость оснований, — все это пышно процветает как раз у г. Дюринга.

Однако это еще ничего не значит. За г. Дюрингом все же остается заслуга открытия той оси, вокруг которой движется

вся существующая до сих пор политическая экономия, вся политика и юриспруденция, — одним словом, вся предшествующая история. Вот это открытие:

«Насилие и труд — два главных фактора, которые играют роль при образовании социальных связей».

В этом единственном положении заключена вся конституция существующего до сих пор экономического мира. Отличаясь исключительной краткостью, она гласит:

Статья 1. Труд производит.

Статья 2. Насилие распределяет.

Этим, «выражаясь человеческим и немецким языком», и исчерпывается до конца вся экономическая мудрость г. Дюринга.

VIII

КАПИТАЛ И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (окончание)

«Согласно взгляду г. Маркса, заработная плата представляет только оплату того рабочего времени, в течение которого рабочий действительно работает для того, чтобы сделать возможным собственное существование. Для этого достаточно некоторого небольшого числа часов; вся остальная часть рабочего дня, в большинстве случаев очень продолжительного, доставляет избыток, в котором содержится, по терминологии нашего автора, «прибавочная стоимость», или, говоря общепринятым языком, прибыль на капитал. За вычетом рабочего времени, которое на той или иной ступени производства содержится уже в средствах труда и в относящихся сюда сырых материалах, указанный избыток рабочего дня составляет долю капиталиста-предпринимателя. Следовательно, удлинение рабочего дня есть чисто эксплуататорский барыш в пользу капиталиста».

Итак, по г. Дюрингу выходит, что марксова прибавочная стоимость есть не более как то, что на обычном языке именуется барышом капиталиста или прибылью. Но послушаем самого Маркса. На странице 195 «Капитала»¹ прибавочная стоимость разъясняется — заключенными вслед за этим словом в скобки — словами: «процент, прибыль, рента». На странице 210² Маркс приводит пример, в котором показано, как сумма прибавочной стоимости в 71 шиллинг проявляется в различных формах ее распределения: церковная десятина, местные и государственные налоги — 21 шиллинг, земельная рента — 28 шиллингов, прибыль арендатора и процент — 22 шиллинга; итого, общая сумма прибавочной стоимости — 71 шиллинг. — На странице 542³ Маркс объявляет главным недостатком Рикардо то, что послед-

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 142, примечание. *Ред.*

² См. там же, стр. 153. *Ред.*

³ Там же, стр. 406. *Ред.*

ний «не исследовал прибавочную стоимость как таковую, т. е. независимо от ее особых форм, каковы: прибыль, земельная рента и т. д.», и что он поэтому непосредственно смешивает законы, определяющие норму прибавочной стоимости, с законами, определяющими норму прибыли. По этому поводу Маркс замечает: «впоследствии, в третьей книге этой работы, я покажу, что при известных обстоятельствах одна и та же норма прибавочной стоимости может выразиться в самых различных нормах прибыли, а различные нормы прибавочной стоимости — в одной и той же норме прибыли». На странице 587¹ мы читаем: «Капиталист, производящий прибавочную стоимость, т. е. высасывающий неоплаченный труд непосредственно из рабочих и фиксирующий его в товарах, является первым присвоителем прибавочной стоимости, но отнюдь не является ее последним собственником. Он должен затем поделиться ею с другими капиталистами, выполняющими иные функции в общественном производстве, рассматриваемом как целое, с земельным собственником и т. д. Следовательно, прибавочная стоимость расщепляется на различные части. Различные ее доли попадают в руки различных категорий лиц и приобретают различные, независимые друг от друга формы, каковы: прибыль, процент, торговая прибыль, земельная рента и т. д. Эти превращенные формы прибавочной стоимости могут быть рассмотрены лишь в третьей книге». То же и во многих других местах.

Яснее выразить мысль невозможно. При каждом соответствующем случае Маркс обращает внимание на то, что его прибавочную стоимость ни в коем случае не следует смешивать с барышом или прибылью на капитал, что эта последняя является, напротив, подчиненной формой, а весьма часто даже только долей прибавочной стоимости. Если г. Дюринг тем не менее утверждает, что марксова прибавочная стоимость есть, «выражаясь общепринятым языком, прибыль на капитал», и если общеизвестно, что вся книга Маркса строится вокруг прибавочной стоимости, то возможно только одно из двух: либо г. Дюринг ничего не понимает, и тогда требуется беспримерное бесстыдство, чтобы разносить книгу, главного содержания которой он не знает, или же он понимает, в чем дело, но в таком случае он совершает намеренный подлог.

Далее: «ядовитая ненависть, с которой г. Маркс применяет этот способ понимания эксплуататорского хозяйства, вполне понятна. Но возможен и еще более мощный гнев и еще более безусловное признание эксплуататорского характера хозяйственной формы, основанной на наемном труде, — и при этом можно вовсе не признавать того теоретического подхода, который выражается в марксовом учении о прибавочной стоимости».

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 442, примечание. *Ред.*

Итак, употребленный с благим намерением, но ошибочный теоретический подход порождает у Маркса ядовитую ненависть против эксплуататорства; нравственная сама по себе страсть получает благодаря ложному «теоретическому подходу» безнравственное проявление, она обнаруживается в виде неблагородной ненависти и низменной ядовитости. Напротив, «предельная и строжайшая научность» г. Дюринга выражается в нравственной страсти, которая имеет подобающий ей благородный характер, выражается в гневе, который морален и по форме и вдобавок превосходит ядовитую ненависть также и количественно, как более мощный гнев. Пока г. Дюринг любит свою собственную персону, мы постараемся выяснить, каков источник этого более мощного гнева.

«Возникает именно вопрос, — говорит он дальше, — каким образом конкурирующие предприниматели в состоянии длительно реализовать полный продукт труда, а вместе с тем и прибавочный продукт, по цене, значительно превышающей естественные издержки производства, как об этом свидетельствует упомянутое отношение избыточного рабочего времени? Ответа на этот вопрос мы не находим в доктрине Маркса, и именно по той простой причине, что в ней этот вопрос не мог даже найти себе места. Весь характер производства, подчиненный требованиям изготовления предметов роскоши и имеющий своей основой наемный труд, вовсе не подвергнут у Маркса серьезному разбору, и социальный строй с его паразитарными устоями никоим образом не распознан как главная основа белого неволеищества. Напротив, политически-социальное всегда должно объясняться, по Марксу, экономически».

Между тем из приведенных выше мест мы убедились, что Маркс вовсе не утверждает, будто промышленный капиталист, который является первым присвоителем прибавочного продукта, всегда продает его, в среднем, по полной его стоимости, как предполагает здесь г. Дюринг. Маркс определенно говорит, что и торговая прибыль образует часть прибавочной стоимости, а это, при указанных предпосылках, возможно лишь в том случае, если фабрикант продает торговцу свой продукт *ниже* его стоимости и, таким образом, часть добычи уступает торговцу. Во всяком случае, в том виде, как он ставится здесь, этот вопрос не мог даже найти себе места у Маркса. Вопрос этот, рационально поставленный, гласит: каким образом прибавочная стоимость превращается в свои подчиненные формы — прибыль, процент, торговую прибыль, земельную ренту и т. д.? А этот вопрос, во всяком случае, Маркс обещает разрешить в третьей книге¹. Но если г. Дюринг не может подождать, пока выйдет в свет

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 442. *Ред.*

второй том «Капитала»¹, то он должен был бы пока что несколько внимательнее присмотреться к первому тому. Тогда он мог бы, кроме приведенных мест, прочесть, например, на странице 323², что, по Марксу, имманентные законы капиталистического производства проявляются во внешнем движении капиталов как принудительные законы конкуренции и в этой форме достигают сознания отдельного капиталиста в качестве движущих мотивов его деятельности; что научный анализ конкуренции stanovится, таким образом, возможным лишь после того, как познана внутренняя природа капитала, — совершенно так же, как видимое движение небесных тел делается понятным лишь для того, кто знает их действительное, а не воспринимаемое чувствами движение. Затем Маркс показывает на одном примере, каким образом известный закон, а именно закон стоимости, обнаруживается в определенном случае в условиях конкуренции и как он проявляет свою движущую силу. Уже из этого г. Дюринг мог бы заключить, что при распределении прибавочной стоимости главную роль играет конкуренция, и, действительно, при некоторой вдумчивости, этих намеков, сделанных в первом томе, было бы достаточно, чтобы уяснить, по крайней мере в общих чертах, способ превращения прибавочной стоимости в ее подчиненные формы.

Но для г. Дюринга конкуренция является как раз абсолютным препятствием к пониманию. Он не в состоянии постигнуть, каким образом конкурирующие предприниматели могут длительно реализовать полный продукт труда, а тем самым и прибавочный продукт, по цене, столь значительно превышающей естественные издержки производства. Это опять-таки выражено с обычной у г. Дюринга «строгостью», которая на самом деле является неряшливостью. Дело в том, что прибавочный продукт как таковой, по Марксу, не требует никаких издержек производства: он представляет собой ту часть продукта, которая *ничего не стоит* капиталисту. Если бы, следовательно, конкурирующие предприниматели захотели реализовать прибавочный продукт по его естественным издержкам производства, то они должны были бы просто подарить его. Однако не будем останавливаться на таких «микрологических деталях». Разве конкурирующие предприниматели на самом деле не реализуют ежедневно продукты труда по цене, превышающей естественные издержки их производства? По г. Дюрингу, естественные издержки производства заключаются в «затрате труда или силы, — затрате, которая, в свою очередь, может измеряться

¹ Второй том, по плану Маркса, должен был включить в себя вторую и третью книги «Капитала». Впоследствии третья книга была выделена в отдельный том — третий. *Ред.*

² См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 236. *Ред.*

в конечном счете расходами на питание», следовательно, в современном обществе естественные издержки производства состоят из действительных затрат на сырье, средства труда и заработную плату, в отличие от «обложения данью», от прибыли, от надбавки, вынуждаемой со шпагой в руке. Между тем всем известно, что в обществе, в котором мы живем, конкурирующие предприниматели реализуют продукты не по естественным издержкам их производства, но присчитывают, — а обыкновенно и получают, — еще так называемую надбавку, прибыль. Таким образом, вопрос, который, по мнению г. Дюринга, ему достаточно было только поставить, чтобы одним дуновением опрокинуть все здание Маркса, подобно тому как Иисус Навин разрушил некогда стены Иерихона, — этот вопрос существует и для экономической теории г. Дюринга. Посмотрим, как г. Дюринг отвечает на него.

«Собственность на капитал, — говорит он, — не имеет никакого практического смысла и не может быть использована, если в ней не заключено одновременно косвенного насилия над человеческим материалом. Плодом этого насилия является прибыль на капитал, и величина последней будет зависеть поэтому от объема и интенсивности применения этого господства... Прибыль на капитал есть политический и социальный институт, который имеет более могущественное действие, чем конкуренция. Предприниматели действуют в этом отношении как одно сословие, и каждый в отдельности удерживает за собой свою позицию. При господствующем способе хозяйства известная высота прибыли на капитал является необходимостью».

К сожалению, мы и теперь все еще не знаем, каким образом конкурирующие предприниматели в состоянии длительно реализовать продукты труда выше естественных издержек производства. Нельзя ведь предположить, что г. Дюринг такого невысокого мнения о своей публике, чтобы считать возможным удовлетворить ее фразой о том, что прибыль на капитал стоит выше конкуренции, подобно тому как в свое время прусский король стоял выше закона. Махинации, посредством которых прусский король добился такого положения, что он стал выше закона, нам известны; что же касается тех махинаций, посредством которых прибыль на капитал достигает того, что она становится могущественнее конкуренции, — вот их-то именно и должен объяснить нам г. Дюринг, но от объяснения он упорно отказывается. И дело не меняется от того, что, по словам г. Дюринга, предприниматели действуют в этом отношении как одно сословие, причем каждый в отдельности удерживает за собой свою позицию. Ведь не обязаны же мы верить ему на слово, будто известному числу людей достаточно действовать сплоченно в качестве сословия, чтобы каждый из них в отдельности удержал за собой свою позицию. Цеховые мастера в средние века, а французские

дворяне в 1789 г. выступали, как известно, очень решительно как сословие — и тем не менее погибли. Прусская армия действовала при Иене тоже как сословие, но вместо того, чтобы удержать свою позицию, она принуждена была, напротив, пуститься в бегство, а потом даже капитулировать по частям. Столь же мало может удовлетворить нас уверение, что при господствующем способе хозяйства известная высота прибыли на капитал является необходимостью; ведь речь идет как раз о том, чтобы показать, *почему* это так. Ни на шаг не приближает нас к цели и следующее сообщение г. Дюринга: «Господство капитала выросло в тесной связи с земельным господством. Часть крепостных сельских рабочих, перейдя в города, превратилась там в ремесленных рабочих, в конце концов — в фабричных рабочих. Вслед за земельной рентой образовалась прибыль на капитал, как вторая форма владельческой ренты». Если даже оставить в стороне историческую неправильность этой мысли, то она все-таки остается лишь голословным утверждением и ограничивается только повторными заверениями в истинности того, что как раз нуждается в объяснении и доказательстве. Мы не можем, следовательно, притти ни к какому иному заключению, кроме того, что г. Дюринг неспособен ответить на поставленный им же самим вопрос: каким образом конкурирующие предприниматели могут постоянно реализовать продукт труда выше естественных издержек производства, другими словами — он неспособен объяснить возникновение прибыли. Ему не остается ничего другого, как просто декретировать: прибыль на капитал есть результат *насилия*, что, впрочем, вполне согласуется со статьей второй дюринговской социальной конституции: *Насилие распределяет*. Это, конечно, сказано очень красиво, но теперь «возникает вопрос»: *насилие распределяет*, — но что именно? Ведь должен же быть налицо какой-то объект для распределения, иначе даже самое могущественное насилие при всем желании не сможет ничего распределить. Прибыль, которую кладут в свой карман конкурирующие предприниматели, есть нечто весьма осязательное и солидное. Насилие может *взять* ее, но не может ее *создать*. И если г. Дюринг упорно отказывается объяснить нам, *каким образом* насилие берет себе предпринимательскую прибыль, то на вопрос, *откуда* оно берет ее, он отвечает уже гробовым молчанием. Где ничего нет, там и король, как и всякая другая власть, теряет свои права. Из ничего ничто не возникает, — тем более прибыль. Если собственность на капитал не имеет никакого практического смысла и не может быть реализована, покуда в ней не заключено также и косвенное насилие над человеческим материалом, то снова возникает вопрос: во-первых, каким образом богатство, образующее капитал, стало такой силой, — вопрос, отнюдь не разрешаемый приведенными выше двумя-тремя историческими утверждениями; во-вторых,

каким образом это насилие превращается в возрастание стоимости капитала, в прибыль, и, в-третьих, откуда оно берет эту прибыль.

С какой бы стороны мы ни подошли к дюринговской политической экономии, мы все-таки ни на шаг не подвинемся вперед. Для всех явлений, которые не приходятся ему по душе, для прибыли, земельной ренты, голодной заработной платы, порабощения рабочего, — у него имеется только *одно единственное* объясняющее слово: насилие, еще и еще раз насилие, и «более сильный гнев» превращается у г. Дюринга только в гнев против этого же насилия. Мы видели, во-первых, что эта ссылка на насилие представляет собой жалкую увертку, перенесение вопроса из экономической области в политическую, которое не в состоянии объяснить ни единого экономического факта; во-вторых, что она оставляет необъясненным возникновение самого насилия — и это весьма благоприятно, так как иначе она вынуждена была бы притти к заключению, что всякая общественная сила и всякая политическая власть коренится в экономических предпосылках, в исторически данном способе производства и обмена соответствующего общества.

Попытаемся, однако, исторгнуть у неумолимого «глубокого основоположника» политической экономии еще несколько дальнейших разъяснений относительно прибыли. Быть может, нам это удастся, если мы познакомимся ближе с его изложением вопроса о заработной плате. Там, на странице 158, говорится:

«Заработная плата есть наемная плата для поддержания рабочей силы и прежде всего подлежит здесь рассмотрению только как основа для земельной ренты и прибыли на капитал. Чтобы вполне отчетливо уяснить себе существующие здесь отношения, следует сначала представить себе земельную ренту, а затем и прибыль на капитал исторически, сперва без заработной платы, т. е. на основе рабства или крепостного состояния... Приходится ли содержать раба или крепостного, или же наемного рабочего, — это обуславливает различия только в способах начисления издержек производства. *Во всех этих случаях добытый использованием рабочей силы чистый продукт составляет доход хозяина...* Отсюда ясно, что... именно главную противоположность, в силу которой на одной стороне фигурирует тот или иной вид *владельческой ренты*, а на другой — труд неимущих наемников, нельзя искать только в одном из членов этого отношения, но обязательно в обоих одновременно». Владельческая же рента, как мы узнаем на странице 188, есть общее выражение для земельной ренты и прибыли на капитал. Далее, на странице 174, говорится: «для прибыли на капитал характерно *присвоение главной части продукта рабочей силы*. Нельзя себе представить прибыль на капитал без соотносительного

члена — труда, прямо или косвенно подчиненного в той или другой форме». А на странице 183 сказано: заработная плата «представляет собой при всяких обстоятельствах не более как наемную плату, посредством которой должны быть обеспечены в общем содержание рабочего и возможности продолжения его рода». Наконец, на странице 195 мы читаем: «то, что приходится на долю владельческой ренты, должно составить потерю для заработной платы, и обратно — то, что достается труду из общей производительной способности (!), должно быть отнято от владельческих доходов».

Г-н Дюринг подносит нам один сюрприз за другим. В теории стоимости и в последующих главах, вплоть до учения о конкуренции и включая его, следовательно, от страницы 1 до 155, товарные цены или стоимости распадались у него, во-первых, на естественные издержки производства, или «производственную стоимость», т. е. затраты на сырье, на средства труда и заработную плату, и, во-вторых, на надбавку, или «распределительную стоимость», этот вынуждаемый со шпагой в руке налог в пользу класса монополистов. Эта надбавка, как мы видели, в действительности ничего не могла изменить в распределении богатства, так как то, что г. Дюринг отнимает одной рукой, он вынужден возратить другой; сверх того, эта надбавка, поскольку г. Дюринг осведомляет нас о ее происхождении и содержании, оказывается возникшей из ничего, а потому и состоящей из ничего. В двух следующих главах, трактующих о разных видах доходов, т. е. ст. страницы 156 до 217, о надбавке уже нет больше и речи. Вместо того стоимость каждого продукта труда, следовательно, каждого товара, делится теперь на две части: во-первых, на издержки производства, куда входит также и выплаченная заработная плата, и, во-вторых, на «добытый путем использования рабочей силы *чистый доход*», образующий доход хозяина. Этот чистый доход имеет хорошо известную всем физиономию, которую нельзя скрыть никакой татуировкой или искусством размалевывания. «Чтобы вполне отчетливо выяснить господствующие здесь отношения», пусть читатель представит себе, что приведенные только что места из сочинения г. Дюринга напечатаны рядом с приведенными раньше цитатами из Маркса о прибавочном труде, прибавочном продукте и прибавочной стоимости, — читатель увидит тогда, что г. Дюринг *прямо списывает* здесь на свой лад «Капитал» Маркса.

Г-н Дюринг признает источником доходов всех господствовавших до сих пор классов прибавочный труд в какой-либо форме, будь то рабство, крепостная зависимость или наемный труд; это взято из того места в «Капитале» (стр. 277)¹, которое

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 165. *Ред.*

много раз уже цитировалось: «капитал не изобрел прибавочного труда» и т. д. — А «чистая выручка», образующая «доход хозяина», — что это такое, как не избыток продукта труда над заработной платой, которая и у г. Дюринга, несмотря на то, что она совершенно напрасно облачилась здесь в костюм наемной платы, в общем должна обеспечить содержание рабочего и возможность продолжения его рода? Как может происходить присвоение «главнейшей части продукта рабочей силы», если не тем путем, что капиталист, как это изображено у Маркса, выжимает из рабочего больше труда, чем это необходимо для воспроизводства потребленных рабочим жизненных средств, т. е. тем путем, что капиталист заставляет рабочего работать дольше, чем требуется для возмещения стоимости уплаченной рабочему заработной платы? Следовательно, удлинение рабочего дня за пределы времени, необходимого для воспроизводства жизненных средств, потребляемых рабочим, или марксовский прибавочный труд, — вот что именно скрывается под дюринговским «использованием рабочей силы». А «чистый доход» хозяина, о котором говорит г. Дюринг, может ли он быть представлен иначе, как только в виде марксовского прибавочного продукта и прибавочной стоимости? И чем иным, кроме неточности выражения, отличается дюринговская владельческая рента от марксовской прибавочной стоимости? Впрочем, самый термин «владельческая рента» г. Дюринг заимствовал у Родбертуса, который земельную ренту и ренту с капитала, или прибыль на капитал, объединил общим термином «*рента*», так что г. Дюрингу осталось только прибавить слово «владельческая»¹. А чтобы не осталось никакого сомнения, что мы тут имеем дело с плагиатом, г. Дюринг резюмирует на свойственный ему лад развитие Марксом в 15-й главе «Капитала» (стр. 539 и сл. «Капитала»²) законы о соотношении между ценой рабочей силы и величиной прибавочной стоимости и говорит, что то, что приходится на долю владельческой ренты, должно составить потерю для заработной платы, и наоборот; тем самым он сводит содержательные, конкретные законы Маркса к бессодержательной тавтологии, ибо само собой разумеется, что если данная величина распадается на две части, то одна часть не может стать большей без того, чтобы другая не уменьшилась. И, таким образом, г. Дюрингу удалось совершить присвоение марксовых идей в форме, при которой «предельная и строжайшая науч-

¹ В сущности даже этого слова г. Дюринг не прибавил. Родбертус говорит («Soziale Briefe», 2. Brief, S. 59) [«Социальные письма», 2-е письмо, стр. 59. *Ред.*]: «Рента по этой (т. е. его) теории — это всякий доход, получаемый без затраты собственного труда, исключительно в силу владения». [Примечание Энгельса.]

² См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 403 и сл. *Ред.*

ность в смысле точных дисциплин», бесспорно отличающая ход рассуждения Маркса, совершенно исчезла.

Следовательно, мы не можем не прийти к заключению, что оглушительный шум, поднятый г. Дюрингом в «Критической истории» по поводу «Капитала», а в особенности та пыль, которую г. Дюринг поднимает в связи с пресловутым вопросом, возникающим при рассмотрении прибавочной стоимости (вопросом, который ему лучше бы не ставить, поскольку он сам не может на него ответить), — что все это только военные хитрости, ловкий маневр с целью прикрыть совершенный в «Курсе» плагиат из Маркса. Г-н Дюринг действительно имел все основания предостерегать своих читателей от знакомства «с тем клубком, который г. Маркс именует «Капиталом»», от ублюдков исторической и логической фантастики, от гегелевских путаных, туманных представлений и уверток и т. д. Венеру, от которой этот верный Эккарт¹ предостерегает немецкое юношество, он сам втихомолку перевел из владений Маркса к себе, в безопасное убежище, для собственных целей. Поздравляем г. Дюринга с этой чистой выручкой, добытой путем использования марксовой рабочей силы, поздравляем его и с тем обстоятельством, что его аннексия марксовой прибавочной стоимости, под названием владельческой ренты, бросает своеобразный свет на его упорное, — ибо оно повторяется в двух изданиях, — и лживое утверждение, будто Маркс под прибавочной стоимостью понимает только барыш или прибыль на капитал.

В заключение мы должны охарактеризовать заслуги г. Дюринга еще словами: «согласно взгляду г-на» ...Дюринга, «заработная плата представляет только оплату того рабочего времени, в течение которого рабочий действительно работает для того, чтобы сделать возможным собственное существование. Для этого достаточно некоторого небольшого числа часов; вся остальная часть рабочего дня, в большинстве случаев очень продолжительного, доставляет избыток, в котором содержится, по терминологии нашего автора» ...владельческая рента. «За вычетом рабочего времени, которое на той или иной ступени производства содержится уже в средствах труда и в относящихся сюда сырых материалах, указанный избыток рабочего дня составляет долю капиталиста-предпринимателя. Следовательно, удлинение рабочего дня есть чисто эксплуататорский барыш в пользу капиталиста. Ядовитая ненависть, с которой г-н» ...Дюринг «применяет этот способ понимания эксплуататорского хозяйства, вполне понятна»... Зато менее понятно, каким образом он отыщ^ет опять в своей душе место «более мощному гневу»?

¹ Персонаж немецкой легенды. Ред.

IX

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ ХОЗЯЙСТВА. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА

До сих пор мы, при всем своем желании, не могли открыть, каким образом г. Дюринг пришел к тому, чтобы «выступить» в области политической экономии «с притязанием на новую систему, которая не просто удовлетворительна для своей эпохи, но имеет *для нее руководящее значение*». Но, быть может, то, чего мы не сумели разглядеть в теории насилия, в учении о стоимости и капитале, станет для нас ясным как день при рассмотрении построенных г. Дюрингом «естественных законов народного хозяйства». Ибо, как он выражается со своей обычной оригинальностью и остротой мысли, «триумф высшей научности состоит в том, чтобы от простых описаний и подразделений материала, как бы находящегося в состоянии покоя, дойти до живых воззрений, освещающих самый процесс созидания. Познавание законов является поэтому наиболее совершенным, ибо оно нам показывает, как один процесс обуславливается другим».

Оказывается, что уже первый естественный закон всякого хозяйства открыт не кем иным, как г. Дюрингом. Адам Смит, «что весьма удивительно, не только не поставил во главу угла важнейший фактор всякого хозяйственного развития, но даже не формулировал его особо и таким образом невольно низвел до подчиненной роли ту силу, которая наложила свою печать на современное европейское развитие». Этот «основной закон, который должен быть поставлен во главу угла, есть закон технического снаряжения, можно даже сказать, вооружения данной от природы хозяйственной силы человека». Этот «фундаментальный закон», открытый г. Дюрингом, гласит:

Закон № 1. «Производительность хозяйственных средств, естественных ресурсов и человеческой силы повышается *благодаря изобретениям и открытиям*».

Мы изумлены. Г-н Дюринг обращается с нами совершенно так, как известный шутник у Мольера обращается с новоиспеченным дворянином, которому сообщает новость, что тот всю свою жизнь говорил прозой, сам того не подозревая. Что изобретения и открытия часто увеличивают производительную силу труда (хотя в очень многих случаях этого нельзя сказать, как показывает огромная архивная макулатура всех учреждений мира по выдаче патентов), — мы уже знаем давно; но что эта старая-престарая, избитая истина представляет фундаментальный закон всей политической экономии, — таким откровением мы обязаны всецело г. Дюрингу. Если «триумф высшей научности» в политической экономии, как и в философии, заключается только в том, чтобы дать громкое название первому попавшемуся общему месту и раструбить о нем как

о естественном или даже фундаментальном законе, тогда «более глубокое основоположение» и переворот в науке становятся действительно возможными для всякого, — даже для редакции берлинской «*Volkszeitung*»¹. Мы вынуждены были бы в таком случае «со всею строгостью» применить к самому г. Дюрингу следующий его приговор о Платоне: «если же нечто подобное должно быть принимаемо за политико-экономическую мудрость, то автор «критических основоположений» разделяет ее со всяким, кто вообще имел случай что-либо подумать» — или даже просто что-либо сболтнуть — «по поводу того, что ясно само собой». Если, например, мы говорим: животные едят, то мы, сами того не ведая, изрекаем великую истину; ибо стоит лишь сказать, что фундаментальный закон всякой животной жизни состоит в том, чтобы есть, и мы уже совершили полный переворот в зоологии.

Закон № 2. Разделение труда: «Расчленение профессий и разделение деятельностей повышает производительность труда». Поскольку это справедливо, оно также стало общим местом, начиная с Адама Смита; но в какой именно степени это можно признать справедливым, мы увидим в третьем отделе.

Закон № 3. «*Отдаленность и транспорт* суть главные причины, которыми стесняется, либо же облегчается совместная деятельность производительных сил».

Закон № 4. «Промышленное государство обладает несравненно большей плотностью населения, чем аграрное государство».

Закон № 5. «В экономической области ничто не совершается без какого-либо материального интереса».

Таковы «естественные законы», на которых г. Дюринг основывает свою новую экономическую науку. Он остается верен своему методу, изложенному уже в философии. Две-три безнадежно затасканные обыденные истины, к тому еще часто неправильно сформулированные, образуют и в политической экономии не нуждающиеся в доказательствах аксиомы, фундаментальные теоремы, естественные законы. Затем, под предлогом развития содержания этих законов, в действительности лишенных всякого содержания, г. Дюринг растекается в экономической пустопорожней болтовне на разные темы, названия которых упоминаются в этих мнимых законах, т. е. на темы об изобретениях, разделении труда, средствах транспорта, народонаселении, интересе, конкуренции и т. п. Нам преподносится здесь болтовня, плоская обыденность которой приправляется только широковещательными оракульскими фразами, а местами — извращенными взглядами или мудрствованием,

¹ «Народная Газета» — берлинская газета либерально-демократического направления. *Ред.*

с важным видом, над всевозможными казуистическими тонкостями. После всего этого мы доходим, наконец, до земельной ренты, прибыли на капитал и заработной платы, а так как в предшествующем изложении мы касались только последних двух форм присвоения, то здесь, в заключение, мы намерены лишь вкратце рассмотреть дюринговское понимание земельной ренты.

При этом мы оставляем без внимания те пункты, которые г. Дюринг просто списывает у своего предшественника Кэри; мы имеем дело не с Кэри, и в нашу задачу не входит здесь защита рикардовского понимания земельной ренты против извращений и нелепостей названного экономиста. Мы имеем дело только с г. Дюрингом, а этот последний определяет земельную ренту как «доход, получаемый с земли ее собственником, как таковым». Экономическое понятие земельной ренты, которое г. Дюринг должен разъяснить, он попросту переводит на юридический язык, и мы, таким образом, не сдвинулись с места. Ввиду этого наш глубокий основоположник должен волею-неволею пуститься в дальнейшие объяснения. Он сравнивает сдачу в аренду какого-нибудь имения фермеру с ссудой определенного капитала предпринимателю, но скоро приходит к выводу, что это сравнение, подобно многим другим, хромает. Ибо, говорит он, «если бы мы захотели продолжить эту аналогию, то прибыль, остающаяся у арендатора после уплаты земельной ренты, должна была бы соответствовать тому остатку прибыли на капитал, который за вычетом процентов достается предпринимателю, ведущему дело с помощью этого капитала. Однако на прибыль арендаторов не принято смотреть как на главный доход, а на земельную ренту — как на остаток... Различие в понимании этого вопроса доказывается тем фактом, что в учении о земельной ренте не выделяется особо случай ведения хозяйства самим собственником и что не придается особенного значения разнице между величиной ренты в форме арендной платы и рентой, выручаемой землевладельцем, который ведет хозяйство сам. По крайней мере, никто не считал необходимым мысленно разлагать ренту, получаемую от самостоятельного ведения хозяйства, так, чтобы одна часть представляла как бы процент с земельного участка, а другая — дополнительную прибыль предпринимателя. Оставляя в стороне собственный капитал, применяемый арендатором, его специальный доход рассматривается, повидимому, большей частью как определенный вид заработной платы. Было бы, однако, рискованно утверждать что-либо по этому вопросу, так как в такой определенной форме он даже не ставился. Везде, где мы имеем дело с более крупными хозяйствами, легко заметить, что неправильно будет изображать специфическую прибыль арендатора в виде заработной платы. Дело в том, что

эта прибыль сама основана на противоположности по отношению к сельской рабочей силе, эксплуатация которой одна только и делает возможным этот вид дохода. Очевидно, в руках арендатора остается *часть ренты*, вследствие чего сокращается *полная рента*, которая могла бы быть получена при ведении хозяйства самим собственником».

Теория земельной ренты есть специфически английский отдел политической экономии, и это понятно, так как только в Англии существовал такой способ производства, при котором рента фактически отделилась от прибыли и процента. В Англии, как известно, господствует крупное землевладение и крупное земледелие. Земельные собственники сдают свои земли в виде крупных, часто очень крупных, имений арендаторам, которые обладают достаточным капиталом для их эксплуатации и, в отличие от наших крестьян, не работают сами, а, как настоящие капиталистические предприниматели, применяя труд батраков и поденщиков. Здесь, следовательно, мы имеем все три класса буржуазного общества и свойственный каждому из них вид дохода: земельного собственника, получающего земельную ренту, капиталиста, получающего прибыль, и рабочего, получающего заработную плату. Никогда ни одному английскому экономисту не приходило в голову видеть в прибыли арендатора своего рода заработную плату, как это *кажется* г. Дюрингу; еще меньше могло представляться *рискованным* принимать прибыль арендатора за то, чем она бесспорно, со всей очевидностью и осязательностью является, а именно — признавать ее прибылью на капитал. Прямо смешным является утверждение, будто вопрос о том, что такое собственно представляет собой доход арендатора, даже не ставился в такой определенной форме. В Англии этот вопрос не приходится и ставить, ибо вопрос и ответ уже давно даны в самих фактах, и со времени Адама Смита никогда по этому поводу не возникало сомнений.

Случай самохозяйствования, как выражается г. Дюринг, или, скорее, ведения хозяйства через управляющего за счет землевладельца, как это в действительности бывает большею частью в Германии, — этот случай ничего не меняет в существе дела. Если землевладелец затрачивает свой капитал и ведет хозяйство за собственный счет, то он, сверх земельной ренты, кладет себе в карман еще и прибыль на капитал, как это само собой разумеется — да и не может быть иначе — при современном способе производства. И если г. Дюринг утверждает, что доселе никто не считал необходимым мысленно разлагать ренту (следовало бы сказать — доход), получаемую от ведения хозяйства самим землевладельцем, то это просто неверно и в лучшем случае доказывает опять-таки его собственное невежество. Например:

«Доход, получаемый от труда, называется заработной платой; доход, получаемый кем-либо от применения капитала, называется прибылью... Доход, источником которого является исключительно земля, называется рентой и принадлежит землевладельцу... Если эти три различных вида дохода достаются разным лицам, то их легко различить; но если они достаются одному и тому же лицу, то их часто смешивают, по крайней мере в обыденной речи. Землевладелец, который *сам ведет хозяйство* на каком-либо участке своей собственной земли, должен получать, за вычетом расходов на обработку, *как ренту землевладельца, так и прибыль арендатора*. Однако он склонен весь свой доход называть прибылью и смешивать, таким образом, земельную ренту с прибылью, по крайней мере в обычной речи. Большинство наших североамериканских и вестиндских плантаторов находится в таком именно положении; большей частью они обрабатывают землю в своих собственных владениях, и потому мы редко слышим о ренте, получаемой с какой-либо плантации, а чаще всего о приносимой ею прибыли... Садовник, обрабатывающий собственными руками свой сад, совмещает в своем лице землевладельца, арендатора и работника. Его продукт должен, следовательно, оплачивать ему ренту первого, прибыль второго и вознаграждение третьего. Однако все это, взятое в целом, считается обыкновенно его трудовым заработком; таким образом, рента и прибыль смешиваются здесь с заработной платой».

Место это взято из 6-й главы первой книги Адама Смита¹. Случай самохозяйствования исследован, таким образом, уже сто лет тому назад, а потому все те сомнения и колебания, которые причиняют в данном случае г. Дюрингу так много забот, являются единственно результатом его собственного невежества.

В конце концов он избавляется от затруднения при помощи смелой уловки, а именно: прибыль арендатора, говорит он, основывается на эксплуатации «сельской рабочей силы», а потому совершенно очевидно, что эта прибыль является «частью ренты», вследствие чего «сокращается полная рента», которая должна, в сущности, идти целиком в карман землевладельца. Благодаря этому мы узнаем две вещи: во-первых, что арендатор «сокращает» ренту землевладельца и, таким образом, г. Дюринг должен притти к выводу, что не арендатор платит ренту землевладельцу, как представляли себе это до сих пор, а, наоборот, *землевладелец платит ее арендатору*, — поистине «воззрение своеобразное в самой основе»; во-вторых, мы узнаем, наконец, что понимает г. Дюринг под земельной рентой, а именно — весь прибавочный продукт, получающийся в земледелии путем эксплуатации сельскохозяйственного труда. Но так как этот при-

¹ Энгельс имеет в виду книгу Адама Смита «Богатство народов». *Ред.*

бавочный продукт в существующей до сих пор политической экономии, за исключением, пожалуй, произведений нескольких вульгарных экономистов, распадается на земельную ренту и прибыль на капитал, то мы должны констатировать, что г. Дюринг и относительно земельной ренты «не разделяет общепринятого взгляда».

Итак, земельная рента и прибыль на капитал различаются между собой, согласно г. Дюрингу, только тем, что первая возникает в земледелии, а вторая — в промышленности или в торговле. К таким некритическим и путаным взглядам г. Дюринг приходит с необходимостью. Мы видели, что он исходил из «истинного исторического воззрения», согласно которому господство над землей основывается исключительно на господстве над людьми. Следовательно, где только земля обрабатывается при помощи той или другой формы подневольного труда, там возникает излишек для землевладельца, и этот именно излишек и образует ренту, подобно тому как в промышленности излишек продукта, произведенного рабочим, над доходом рабочего составляет прибыль на капитал. «Таким образом, ясно, что земельная рента существует везде и всегда в значительных размерах там, где земледелие ведется с помощью какой-либо подневольной формы труда». При таком изображении ренты как всего прибавочного продукта, получаемого в земледелии, г. Дюрингу становится поперек дороги, с одной стороны, прибыль английских арендаторов, а с другой — заимствованное отсюда и признанное всей классической политической экономией деление этого прибавочного продукта на земельную ренту и на прибыль арендатора, следовательно — *чистое*, точное определение ренты. Что же делает г. Дюринг? Он прикидывается, будто ни словечка не слышал о делении земледельческого прибавочного продукта на прибыль арендатора и на земельную ренту, следовательно, обо всей теории ренты классической политической экономии. Он делает вид, будто вопрос о том, что такое в сущности прибыль арендатора, еще вовсе не ставился в политической экономии «в такой определенной форме», будто речь идет о совершенно неисследованном предмете, о котором ничего неизвестно, кроме простой видимости и чего-то сомнительного. И вот он, спасаясь от грешной Англии, где прибавочный продукт в земледелии, без всякого содействия какой-либо теоретической школы, столь безжалостно дробится на свои составные части, т. е. на земельную ренту и прибыль на капитал, — бросается в излюбленную им область действия прусского земского права. Здесь самохозяйствование процветает в совершенно патриархальном виде, «помещик понимает под рентой доходы со своих земель», и взгляд господ юнкеров на ренту выступает еще с притязанием на то, чтобы играть руководящую роль в науке. Здесь, следовательно, г. Дюринг еще может надеяться как-

нибудь проскользнуть со своими путанными понятиями о ренте и прибыли и даже найти поклонников его новейшего открытия, что не арендатор платит земельную ренту землевладельцу, а, напротив, землевладелец — арендатору.

Х

ИЗ «КРИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ»

В заключение бросим еще взгляд на «Критическую историю национальной экономии», на это «предприятие» г. Дюринга, которое, по его словам, «не имеет предшественников». Быть может, здесь-то мы встретим, наконец, неоднократно обещанную предельную и строжайшую научность.

Г-н Дюринг поднимает много шума вокруг своего открытия, что «учение о хозяйстве» представляет собой «в высокой степени современное явление» (стр. 12).

Действительно, Маркс в «Капитале» говорит: «Политическая экономия... становится настоящей наукой лишь в мануфактурный период»¹, а в сочинении «К критике политической экономии» (стр. 29)²: «классическая политическая экономия... начинается в Англии с Петти, а во Франции с Буагильбера и оканчивается в Англии Рикардо, а во Франции Сисмонди». Г-н Дюринг следует этому предначертанному ему пути, с той лишь разницей, что у г. Дюринга *высшая* политическая экономия начинается лишь с тех жалких недоносков, которые буржуазная наука произвела на свет, когда закончился уже ее классический период. Ввиду этого он с полнейшим правом может торжествовать, заявляя в конце своего «Введения» следующее: «Но если уже это предприятие по своим внешним особенностям и по новизне значительной части своего содержания совершенно не имеет предшественников, то в еще гораздо большей степени оно принадлежит мне по своим внутренним критическим точкам зрения и по своей общей позиции» (стр. 9). В сущности он мог бы в отношении обеих сторон — внешней и внутренней — анонсировать свое «предприятие» (промышленное выражение применено здесь недурно), назвав его: «Единственный и его собственность».

Так как политическая экономия в том виде, в каком она исторически возникла, представляет на деле не что иное, как научное понимание экономики периода капиталистического производства, то относящиеся сюда положения и теоремы могут встречаться, например, у писателей древнегреческого общества лишь постольку, поскольку известные явления, как производство

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 276. *Ред.*

² См. «К критике политической экономии», 1938 г., стр. 29. *Ред.*

товаров, торговля, деньги, капитал, приносящий проценты, и т. д., общи обоим общественным системам. Поскольку греки делают иногда случайные экскурсы в эту область, они обнаруживают такую же гениальность и оригинальность, как и во всех других областях. Исторически их воззрения образуют поэтому теоретические исходные пункты современной науки. Теперь слушаем всемирно-исторического г. Дюринга.

«Таким образом, что касается научной теории хозяйства в древности, мы, собственно говоря (!), не имели бы сообщить ровно ничего положительного, а совершенно чуждое науке средневековье дает еще гораздо меньше поводов к этому (к тому, чтобы *ничего* не сообщать!). Но так как манера, тщеславно выставляющая напоказ видимость учености... исказила чистый характер современной науки, то для сведения должны быть приведены, по крайней мере, некоторые примеры». И г. Дюринг дает затем примеры критики, которая действительно свободна даже от «видимости учености».

Положение Аристотеля, что «всякое благо имеет двоякое употребление: одно, свойственное вещи как таковой, другое же — нет; так, например, сандалия может служить для обувания ноги и для обмена; то и другое суть способы употребления сандалии, ибо тот, кто обменивает сандалию на предмет, в котором он нуждается, например, на деньги или пищу, тоже пользуется сандалией как сандалией, но не соответственно ее естественному способу употребления, ибо она не предназначена для обмена», — это положение, по мнению г. Дюринга, «высказано в весьма тривиальной и школьной форме». Но мало того — тот, кто находит в нем «различение между потребительной и меновой стоимостью», попадает вдобавок в «комическое положение», забывая, что «в самое новейшее время» и «в рамках самой передовой системы», — разумеется, системы самого г. Дюринга, — с потребительной и меновой стоимостью покончено раз навсегда.

«В сочинениях Платона о государстве... тоже стремились отыскать *современную* главу о народнохозяйственном разделении труда». Это замечание должно, вероятно, относиться к тому месту в «Капитале», гл. XII, 5 (стр. 369 третьего издания)¹, где — как раз наоборот — доказано, что взгляд классической древности на разделение труда был «резко противоположен» современному. — Презрительную мину — и ничего больше — вызывает у г. Дюринга гениальное для своего времени изображение разделения труда Платоном, как естественной основы города (который у греков был тождественен с государством), — и только потому, что Платон не упоминает (зато ведь это сделал грек Ксенофонт, г. Дюринг!) о «границе», «которую данные размеры рынка полагают для дальнейшего разветвления профессий и

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 276 и сл. *Ред.*

технического разделения специальных операций... Только благодаря представлению об этой границе идея разделения труда, едва ли заслуживающая при ином понимании названия научной, становится значительной экономической истиной.

Однако, столь презируемый г. Дюрингом «профессор» Рошер провел эту «границу», при которой идея разделения труда впервые должна стать «научной», и потому прямо назвал Адама Смита родоначальником закона разделения труда. В обществе, где производство товаров составляет господствующий способ производства, «рынок» всегда был — если уж воспользоваться дюринговской манерой речи — «границей», весьма известной среди «людей делового мира». Но требуется нечто большее, чем одно «знание и инстинкт рутины», для понимания того, что не рынок создал капиталистическое разделение труда, а, наоборот, разложение прежних общественных связей и возникающее отсюда разделение труда создали рынок (см. «Капитал», I, гл. XXIV, 5: Создание внутреннего рынка для промышленного капитала¹).

«Роль денег была во все времена первым и главным стимулом для хозяйственных (!) мыслей. Но что знал некий Аристотель об этой роли? Его знания, совершенно очевидно, не выходили за пределы представления, что обмен посредством денег последовал за натуральным обменом».

Но если «некий» Аристотель позволяет себе открыть две различные *формы обращения* денег — одну, в которой они функционируют как простое орудие обращения, и другую, в которой они функционируют как денежный капитал — то, по словам г. Дюринга, он выражает этим «лишь известную нравственную антипатию». И когда «некий» Аристотель доходит в своей самонадеянности до того, что берется анализировать «роль» денег как *меры стоимости* и действительно правильно ставит эту проблему, имеющую столь решающее значение для учения о деньгах, то «некий» Дюринг предпочитает уж совершенно умолчать о такой непозволительной дерзости, — разумеется, по вполне основательным тайным соображениям.

Конечный итог: греческая древность в том отражении, которое она получила в зеркале дюринговского «принятия к сведению», обладала в действительности «только самыми заурядными идеями» (стр. 25), если только подобные «нелепости» (стр. 29) имеют вообще что-либо общее с идеями, заурядными или незаурядными.

Главу, которую г. Дюринг написал о меркантилизме, гораздо лучше прочесть в «оригинале», т. е. в «Национальной системе» Ф. Листа, гл. 29: «Промышленная система, получившая на языке школы ошибочное название меркантильной системы». Как

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 598 и сл. *Ред.*

тщательно умеет г. Дюринг избегать и здесь всякой «видимости учености», показывает, между прочим, следующее.

Лист в 28-й главе — «Итальянские экономисты» — говорит: «Италия шла впереди всех новейших наций как на практике, так и в области теории политической экономии» и упоминает далее как «первое, написанное в Италии, сочинение, которое трактует преимущественно вопросы политической экономии, — книгу неаполитанца Антонио Серра о способе доставить королевствам избыток золота и серебра (1613 г.)». Г-н Дюринг доверчиво принимает это указание и потому может рассматривать «Breve trattato»¹ Серры «как своего рода надпись над входом в новейшую предисторию экономической науки». Этой «беллетристической фразой» в сущности и ограничивается его рассмотрение «Breve trattato». К несчастью, дело происходило в действительности иначе: уже в 1609 г., т. е. четырьмя годами ранее «Breve trattato», появилось сочинение «A Discourse of Trade etc.»² Томаса Мэна. Это сочинение уже в первом своем издании имело то специфическое значение, что было направлено против первоначальной *монетарной системы*, которую тогда еще защищали в Англии в качестве государственной практики; оно представляло, следовательно, сознательное *самоотмежевание* меркантилистской системы от системы, явившейся ее родоначальницей. Уже в первоначальном своем виде сочинение Мэна выдержало несколько изданий и оказало прямое влияние на законодательство. Совершенно переработанное самим автором и вышедшее в свет в 1664 г., уже после его смерти, под заглавием «England's Treasure etc.»³, сочинение это оставалось еще в течение ста лет евангелием меркантилизма. Если меркантилизм имеет, следовательно, какое-нибудь составляющее эпоху сочинение «как своего рода надпись над входом», то таким сочинением следует признать книгу Мэна, но именно потому-то она совершенно не существует для дюринговской «истории, тщательно соблюдающей ранги».

Об основателе современной политической экономии, *Петти*, г. Дюринг сообщает нам, что он отличался «довольно легковесным способом мышления», далее — «отсутствием понимания внутренних и более тонких различий понятий... «разносторонностью, которая много знает, но легко перескакивает с предмета на предмет, не имея корней в какой-либо более глубокой мысли»... он «рассуждает о народном хозяйстве еще очень

¹ «Breve trattato delle cause che possono far abbondare li regni d'oro et d'argento, dove non sono miniere» — «Краткий трактат о причинах, способных создать обилие золота и серебра в государствах, не имеющих рудников». *Ред.*

² «A Discourse of Trade from England into the East-Indies» — «Рассуждение о торговле Англии с Ост-Индией». *Ред.*

³ «England's Treasure by Foreign Trade» — «Богатства Англии, создаваемые внешней торговлей». *Ред.*

грубо» и «приходит к наивностям, контраст которых... может иной раз и позабавить серьезного мыслителя». Какое это милостивое снисхождение, когда «некоего Петти» удостаивает вниманием «более серьезный мыслитель» — г. Дюринг! Но в чем выразилось это внимание?

Положения Петти, касающиеся «труда и даже рабочего времени как меры стоимости, — о чем у него встречаются *неясные следы*», — нигде, кроме этой фразы, не упоминаются. Неясные следы. В своем «*Treatise on Taxes and Contributions*»¹ (первое издание, 1662) Петти дает вполне ясный и правильный анализ величины стоимости товаров. Наглядно пояснив ее сначала на примере равной стоимости благородных металлов и зерна, потребовавших одинакового количества труда, Петти говорит первое и, вместе с тем последнее, «теоретическое» слово о стоимости благородных металлов. Но, кроме того, Петти высказывает в определенной и всеобщей форме мысль о том, что стоимости товара измеряются *равным трудом* (equal labor). Он применяет свое открытие к решению разных проблем, иногда весьма запутанных, и делает местами, — по разным случаям и в разных сочинениях, даже там, где он не повторяет этого положения, — важные выводы из этого главного положения. Но уже в своем первом сочинении он говорит:

«Я утверждаю, что это (т. е. оценка посредством равного труда) является *основой для уравнивания и взвешивания стоимостей*; однако же я должен сознаться, что в надстройке, которая возводится на основе этого положения, и в практическом его применении встречается много сложного и запутанного». Следовательно, Петти одинаково сознает и важность своего открытия и трудность применения его в конкретных случаях. Поэтому для некоторых частных случаев он выбирает иной путь. Нужно найти естественное отношение равенства (a natural Par) между землей и трудом так, чтобы стоимость могла быть выражена, по желанию, «как в земле, так и в труде или, еще лучше, в них обоих». Самое заблуждение Петти отмечено гениальностью.

По поводу теории стоимости Петти г. Дюринг делает следующее замечание, отличающееся большой остротой мысли: «Если бы сам Петти продумал свою мысль с большей остротой, то стало бы совершенно невозможным, чтобы у него в других местах оказались следы противоположной концепции, о которых упоминалось уже раньше»; это значит — о которых «раньше» у г. Дюринга ничего не упоминалось, кроме заявления, что «следы» — «неясны». Для г. Дюринга весьма характерна эта манера — «раньше» намекнуть на что-нибудь какой-либо бессодержательной фразой для того, чтобы «после» внушать читателю, что он уже «раньше» получил сведения о сути дела,

¹ «Трактат о налогах и податях». Ред.

от которой вышеозначенный автор в действительности увиливает, — как раньше, так и после.

Но ведь у Адама Смита мы находим не только «следы противоположных понятий» о стоимости и не только два, но целых три, а говоря совсем точно — даже четыре резко противоположных взгляда на стоимость, которые мирно располагаются у него рядом или надстраиваются друг над другом. Однако то, что является естественным для основателя политической экономии, который по необходимости подвигается ощупью, экспериментирует, борется с только формирующимся хаосом идей, — может показаться чрезвычайно странным у писателя, подводящего итоги более чем полуторастолетней работе, результаты которой успели уже отчасти перейти из книг в общее сознание. А теперь перейдем от великого к малому: как мы видели выше, г. Дюринг сам также преподносит на наше благосмотрение пять различных видов стоимости и вместе с ними такое же количество противоположных воззрений. Конечно, «если бы он сам отличался большей остротой мысли», то не потратил бы столько труда, чтобы от совершенно ясного взгляда Петти на стоимость отбросить своих читателей назад к полнейшей путанице.

Вполне законченная, как бы вылитая из одного куска работа Петти, это — его «*Quantulumcunque concerning Money*»¹, вышедшая в свет в 1682 г., десять лет спустя после его «*Anatomy of Ireland*»², которая появилась «впервые» в 1672 г., а не в 1691 г., — как это утверждает г. Дюринг, списывая с «самых ходячих компилятивных учебников». — Последние следы меркантилистических воззрений, встречающиеся в других сочинениях Петти, здесь совершенно исчезли. Это — настоящий шедевр по содержанию и по форме; но именно поэтому даже заглавие его ни разу не упоминается у г. Дюринга. Да это и в порядке вещей, что по отношению к гениальнейшему и оригинальнейшему исследователю-экономисту посредственность может только с надутым чванством школьного наставника высказывать свое ворчливое неудовольствие, может только испытывать досаду по поводу того, что искры теоретической мысли не вылетают здесь одна за другой, как готовые «аксиомы», а возникают разрозненно по мере углубления в «сырой» практический материал, например, в налоговую систему.

Так же, как к собственно экономическим работам Петти, относится г. Дюринг и к обоснованной Петти «политической арифметике», попросту говоря — статистике. Одно лишь презрительное пожимание плечами над странностями употребляемых

¹ «Несколько слов по поводу денег». *Ред.*

² «*The Political Anatomy of Ireland*» — «Политическая анатомия Ирландии». *Ред.*

Петти методов! Если мы вспомним те причудливые методы, которые даже Лавуазье применял в этой области науки сто лет спустя, если мы вспомним, как далека еще нынешняя статистика от цели, которую поставил ей в крупных чертах Петти, то два столетия *post festum*¹ подобное самодовольное всезнайство выступает во всей своей неприглядной глупости.

Самые значительные идеи Петти, которых и следа нет в «предприятии» г. Дюринга, являются, по его утверждению, только отдельными блестящими идеями, случайными мыслями и замечаниями; только в наше время, продолжает г. Дюринг, придадут им, при помощи цитат, выхваченных из связи, вовсе не присущее им самим по себе значение; они, следовательно, не играют никакой роли в *действительной* истории политической экономики, а только в современных книгах, стоящих ниже уровня проникающей до корня вещей критики г. Дюринга, ниже его «историографии в высоком стиле». Повидимому, г. Дюринг, затеявая свое «предприятие», рассчитывал на слепо верующий круг читателей, который ни в каком случае не осмелится потребовать от него доказательств его утверждений. Мы вскоре вернемся еще к этому вопросу (когда будем говорить о Локке и Норсе), сейчас же мы должны мимоходом коснуться Буагильбера и Лоу.

Что касается первого, то мы отметим единственную принадлежащую г. Дюрингу находку. Он открыл незамеченную раньше связь между Буагильбером и Лоу. Именно, Буагильбер утверждает, что благородные металлы — в нормальных денежных функциях, которые они выполняют в товарном обращении², — могли бы быть заменены кредитными деньгами (*un moyen de papier*³). Лоу, напротив, воображает, что любое «увеличение количества» этих «клочков бумаги» увеличивает богатство нации. Отсюда для г. Дюринга вытекает заключение, что «ход мысли Буагильбера таил уже в себе новый поворот в развитии меркантилизма», другими словами — таил уже в себе Лоу. Это с лучезарной ясностью доказывается следующим образом: «Достаточно было *только* приписать «простым клочкам бумаги» ту же роль, которую *должны* играть благородные металлы, и на этом пути тотчас же совершилась метаморфоза меркантилизма». Таким же способом можно тотчас же произвести метаморфозу дяди в тетку. Правда, г. Дюринг успокаивающе прибавляет: «Как бы то ни было, у Буагильбера не было такого намерения». Но каким же образом, чорт побери, он мог иметь намерение заменить свое собственное рационалистическое воззрение на

¹ — с запозданием, задним числом. *Ред.*

² В оригинале — термин «Warenproduktion», замененный здесь термином «Warenzirkulation», на основании рукописи Маркса «Замечания к критической истории национальной экономики Дюринга». *Ред.*

³ — клочок бумаги. *Ред.*

денежную роль благородных металлов суеверным воззрением меркантилистов — на том только основании, что, по его мнению, благородные металлы могут быть заменены в этой роли бумагой? — Однако, продолжает г. Дюринг со своей комической серьезностью, «однако можно признать, что местами нашему автору удастся сделать действительно меткое замечание» (стр. 83).

Относительно Лоу г. Дюрингу удастся сделать только следующее «действительно меткое замечание»: «Понятно, что и Лоу не мог никогда полностью *искоренить* указанное основание (т. е. «благородные металлы в качестве базиса»), но он довел выпуск билетов до крайности, т. е. до крушения всей системы» (стр. 94). На самом деле, однако, бумажные мотыльки, эти простые денежные знаки, должны были порхать в публике не для того, чтобы «искоренить» базис благородных металлов, а для того, чтобы переманить эти металлы из карманов публики в оскудевшие государственные кассы.

Возвращаясь назад к Петти и к той незначительной роли, которую г. Дюринг отводит ему в истории политической экономии, послушаем сначала, что сообщается нам о ближайших преемниках Петти — о Локке и Норсе. В том же 1691 г. вышли в свет «Considerations on Lowering of Interest and Raising of Money»¹ Локка и «Discourses upon Trade»² Норса.

«То, что он (Локк) писал о проценте и монете, не выходит за пределы размышлений, которые при господстве меркантилизма были обычны в связи с событиями государственной жизни» (стр. 64). — Теперь для читателя этого «сообщения» должно стать ясно как день, почему сочинение Локка «Lowering of Interest» приобрело во второй половине XVIII века такое значительное влияние на политическую экономию во Франции и Италии, притом в различных направлениях.

«По вопросу о свободе процентной ставки многие люди делового мира думали подобным же образом (как и Локк), да и в ходе событий люди привыкли считать ограничения процента недействительной мерой. В такое время, когда некий Дадли Норс мог написать свои «Discourses upon Trade» в духе теории свободной торговли, должно было как бы носиться уже в воздухе много такого, в силу чего теоретическая оппозиция против ограничений процента не казалась уже чем-то неслыханным» (стр. 64).

Итак, Локку достаточно было поразмыслить над тем, что думал тот или иной современный ему «человек делового мира», или же подхватить многое, что в то время «как бы носилось

¹ «Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and Raising the Value of Money» — «Несколько соображений о последствиях понижения процента и повышения стоимости денег». *Ред.*

² «Рассуждения о торговле». *Ред.*

в воздухе», чтобы теоретизировать о свободе процента и не сказать при этом ничего «неслыханного»! На самом деле, однако, Петти уже в 1662 г. противопоставлял в своем «*Treatise on Taxes and Contributions*» процент как ренту с денег, которую мы именуем ростовщической лихвой (*rent of money which we call usury*), земельной ренте и ренте с недвижимостей (*rent of land and houses*) и разъяснял землевладельцам, которые хотели законодательными мерами держать на низком уровне ренту, — конечно денежную, а не земельную, — насколько тщетно и бесплодно издавать положительные гражданские законы, противоречащие закону природы (*the vanity and fruitlessness of making civil positive law against the law of nature*). В своем «*Quantulumcunque*» (1682) он объявляет поэтому законодательное регулирование высоты процента столь же нелепой мерой, как регулирование вывоза благородных металлов или же вексельного курса. В том же сочинении он высказывает также незыблемо правильный взгляд относительно *raising of money*¹ (попытки придать, например, полшиллингу наименование шиллинга тем способом, что из унции серебра чеканится двойное количество шиллингов).

В этом последнем пункте Локк и Норс почти только копируют его. Что касается процента, то Локк берет своей исходной точкой параллель, которую проводил Петти между процентом с денег и земельной рентой, а Норс идет дальше и противопоставляет процент как ренту с капитала (*rent of stock*) земельной ренте, а капиталистов (*stocklords*) — крупным землевладельцам (*landlords*). Но в то время как Локк принимает требуемую Петти свободу процента лишь с ограничениями, Норс принимает ее абсолютно.

Г-н Дюринг превосходит самого себя, когда он, сам еще заядлый меркантилист в «более тонком» смысле, разделяется с «*Discourses upon Trade*» Дадли Норса с помощью замечания, что они написаны «в духе теории свободы торговли». Это все равно, как если бы кто-нибудь сказал о Гарвее, что он писал «в духе» теории кровообращения. Независимо от прочих ее заслуг, работа Норса представляет собой классическое, написанное с непреклонной последовательностью изложение учения о свободе торговли как внешней, так и внутренней, а в 1691 г. это было, бесспорно, «чем-то неслыханным»!

Кроме того, г. Дюринг сообщает, что Норс был «торговцем», к тому же дрянным человеком, и что его сочинению «не удалось снискать одобрение». Еще бы, нехватало только, чтобы в эпоху окончательной победы системы покровительственных пошлин в Англии подобная работа встретила «одобрение» у задававшего тогда тон сброду! Это не помешало, однако, работе

¹ — повышение стоимости денег. *Ред.*

Норса оказать тотчас же теоретическое влияние, которое можно проследить в целом ряде экономических работ, появившихся в Англии непосредственно после нее, отчасти еще в XVII веке.

Пример Локка и Норса дает нам доказательство того, что первые смелые попытки, сделанные Петти почти во всех областях политической экономии, были в отдельности восприняты его английскими преемниками и подверглись дальнейшей разработке. Следы этого процесса в течение периода с 1691 до 1752 г. бросаются в глаза даже самому поверхностному наблюдателю уже потому, что все сколько-нибудь значительные экономические работы этого времени исходят, положительно или отрицательно, из взглядов Петти. Вот почему этот период, изобилующий оригинальными умами, является наиболее важным для исследования постепенного генезиса политической экономии. Вменяя Марксу в непростительную вину, что «Капитал» придает такое значение Петти и другим писателям указанного периода, — «историография в высоком стиле» просто вычеркивает последних из истории. От Локка, Норса, Буагильбера и Лоу эта «историография» прямо перескакивает к физиократам, и затем у входа в подлинный храм политической экономии появляется Давид Юм. С позволения г. Дюринга, мы восстановим хронологический порядок и поставим поэтому Юма перед физиократами.

Экономические «Опыты» Юма появились в 1752 г. В связанных друг с другом опытах: «Of Money»¹, «Of the Balance of Trade»², «Of Commerce»³ Юм следует шаг за шагом, часто даже в своих причудах, за книгой Якова Вандерлинта: «Money answers all things» (London, 1734)⁴. Как бы ни был неизвестен г. Дюрингу этот Вандерлинт, все же с ним еще считаются в английских экономических сочинениях конца XVIII века, т. е. уже в послесмитовский период.

Подобно Вандерлинту, Юм рассматривает деньги как простой знак стоимости; Юм почти дословно (и это обстоятельство важно отметить, так как теорию знаков стоимости Юм мог бы позаимствовать из многих других сочинений) списывает у Вандерлинта объяснение, почему торговый баланс не может неизменно быть против какой-нибудь страны или же в пользу ее; подобно Вандерлинту, он развивает учение о равновесии балансов, устанавливаемое естественным путем, сообразно экономическому положению отдельных стран; подобно Вандерлинту, он проповедует свободу торговли, только менее смело и последовательно; вместе с Вандерлинтом, только более поверхностно, он выдвигает роль потребностей как стимулов производства;

¹ «О деньгах». *Ред.*

² «О торговом балансе». *Ред.*

³ «О торговле». *Ред.*

⁴ «Деньги равнозначны всем вещам» (Лондон, 1734). *Ред.*

он также следует за Вандерлинтом, когда ошибочно приписывает банковым деньгам и всем официальным ценным бумагам влияние на товарные цены; вместе с Вандерлинтом он отвергает кредитные деньги; подобно Вандерлинту, он ставит товарные цены в зависимость от цены труда, следовательно — от заработной платы; он списывает у Вандерлинта даже ту выдумку, что собиране сокровищ удерживает товарные цены на низком уровне, и т. д. и т. д.

Г-н Дюринг уже давно с таинственностью оракула бормотал что-то насчет непонимания кое-кем денежной теории Юма и при этом особенно угрожающе кивал в сторону Маркса, провинившегося вдобавок в том, что он, с нарушением полицейских правил, указал в «Капитале» на тайные связи Юма с Вандерлинтом и Дж. Масси, о котором еще будет речь ниже.

Что касается этого непонимания, то тут дело обстоит следующим образом. О подлинном смысле денежной теории Юма, согласно которой деньги являются только знаками стоимости и потому цены товаров, при прочих равных условиях, повышаются пропорционально увеличению обращающейся денежной массы и падают соответственно с уменьшением ее, — г. Дюринг, и при наилучших даже намерениях, умеет только повторять, — хотя и со свойственной ему, ясной как день манерой изложения, — своих ошибавшихся предшественников. Но Юм, выдвигнув указанную теорию, делает себе самому следующее возражение (которое сделал уже Монтескье, исходя из тех же предпосылок): ведь «не подлежит сомнению», что со времени открытия американских приисков золота и серебра «промышленность выросла у всех народов Европы, за исключением владельцев этих приисков», и что этот рост «был обусловлен, наряду с другими причинами, увеличением количества золота и серебра». Юм объясняет это явление тем, что «хотя высокая цена товаров представляет собой необходимое следствие увеличения количества золота и серебра, однако она не следует непосредственно за этим увеличением, а требуется некоторое время, пока деньги в своем обращении не обойдут всего государства и не проявят своего действия во всех слоях народа». В этот промежуточный период они действуют благотворно на промышленность и торговлю. В конце этого рассуждения Юм говорит нам также о том, почему это так происходит, хотя он дает гораздо более одностороннее объяснение, чем многие его предшественники и современники: «Нетрудно проследить движение денег через все общество, и тогда мы найдем, что они должны подстегивать усердие каждого, прежде чем *они поднимут цену труда*».

Другими словами: Юм описывает здесь действие революции в стоимости благородных металлов, а именно — их обесценения или, что то же, революции в функции благородных металлов

как *меры стоимости*. Он правильно замечает, что при совершающемся лишь постепенно выравнивании товарных цен это обесценение «повышает цену труда», попросту говоря, заработную плату, только в последнем счете, следовательно, оно увеличивает за счет рабочих прибыль купцов и промышленников (а это, по его мнению, вполне в порядке вещей) и, таким образом, «подстегивает усердие». Однако, действительно научного вопроса, — влияет ли на товарные цены увеличенный подвоз благородных металлов при неизменной стоимости их, и каким именно образом, — этого вопроса Юм себе не ставит и смешивает *всякое* «увеличение количества благородных металлов» с их обесценением. Таким образом, Юм рассуждает именно так, как это изображает Маркс («Zug Kritik», стр. 141)¹. Мы еще коснемся вкратце этого пункта, но сначала обратимся к «Опыту» Юма об «Interest»².

Направленную прямо против Локка аргументацию Юма, что процент регулируется не массой наличных денег, а нормой прибыли, и прочие его рассуждения о причинах, определяющих высокую или низкую ставку процента, — все это, в гораздо более точной, но менее остроумной форме, можно найти в одной работе, появившейся в 1750 г., т. е. за два года до юмовского «Опыта»: «An Essay on the Governing Causes of the Natural Rate of Interest, wherein the sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke, on that head, are considered»³. Автор ее — Дж. Масси, разносторонний писатель, которого много читали, как это видно из английской литературы того времени. Объяснение Адамом Смитом процентной ставки стоит ближе к Масси, чем к Юму. Оба, и Масси и Юм, не знают и не говорят ничего о природе «прибыли», играющей некоторую роль у них обоих.

«Вообще, — поучает г. Дюринг, — к оценке Юма подходили большей частью с совершенно предвзятым мнением, приписывая ему идеи, которых он совершенно не разделял». И сам г. Дюринг дает нам не один яркий пример подобного «образа действия».

Так, например, «Опыт» Юма о проценте начинается следующими словами: «Ничто не может быть признано более надежным показателем процветания какого-нибудь народа, как низкая ставка процента, и это правильно; хотя я полагаю, что причина этого явления несколько иная, чем обыкновенно принято думать». Итак, в первой же фразе своего «Опыта» Юм приводит взгляд, что низкая ставка процента есть самый верный

¹ См. К. Маркс, «К критике политической экономии», 1938 г., стр. 110—114. *Ред.*

² «О проценте». *Ред.*

³ «Опыт об определяющих причинах естественного уровня процента, где рассматриваются взгляды сэра В. Петти и м-ра Локка по этому предмету». *Ред.*

показатель процветания данного народа, рассматривая этот взгляд как общее место, ставшее банальным уже в его время. И в самом деле, со времени Чайльда у этой «идеи» было в распоряжении целых сто лет, чтобы стать популярной. У г. Дюринга, напротив, мы читаем: «Из взглядов Юма на ставку процента следует *главным образом подчеркнуть ту идею, что ставка процента является истинным барометром состояний* (каких?) и что низкая ставка его является почти безошибочным признаком процветания данного народа» (стр. 130). Кто здесь обнаруживает «предвзятость» и кто ошибается? Не кто иной, как г. Дюринг.

Между прочим наш критический историограф выражает наивное удивление по поводу того, что Юм, высказав в одном месте удачную мысль, «не называет себя даже автором ее». С г. Дюрингом ничего подобного не случилось бы.

Мы видели, что Юм смешивает всякое увеличение количества благородных металлов с тем увеличением его, которое сопровождается их обесценением, революцией в их собственной стоимости, а следовательно — в мере стоимости товаров. Это смешение было у Юма неизбежно, так как он совершенно не понимал функции благородных металлов как *меры стоимости*. Он и не мог понимать ее, так как абсолютно ничего не знал о самой стоимости. Самое слово «стоимость» фигурирует, быть может, один только раз в его работах, а именно в том месте, где он неудачно «поправляет» ошибочный взгляд Локка, будто благородные металлы «имеют только воображаемую стоимость», и говорит, что они имеют «главным образом фиктивную стоимость».

Он стоит в этом вопросе значительно ниже не только Петти, но и ряда своих английских современников. Ту же «отсталость» обнаруживает он, когда все еще продолжает на старый лад прославлять «*купца*» как основную пружину производства, — точка зрения, от которой уже задолго до Юма отказался Петти. Что же касается уверения г. Дюринга, будто Юм занимался в своих опытах «главными хозяйственными отношениями», то достаточно сравнить эти работы хотя бы с произведением Кантильона, которое цитирует Адам Смит (появилось в свет, как и «Опыты» Юма, в 1752 г., но спустя много лет после смерти автора), чтобы поразиться, насколько узок кругозор юмовских экономических работ. Как сказано, Юм, несмотря на патент, выданный ему г. Дюрингом, остается и в области политической экономии почтенной величиной, но здесь он всего менее может быть признан оригинальным исследователем, а тем более — мыслителем, составившим эпоху в науке. Влияние его экономических работ на тогдашние образованные круги объясняется не только их превосходной формой изложения, но в еще гораздо большей степени тем, что они являлись прогрессивно-опtimi-

стическим дифирамбом расцветавшим тогда промышленности в торговле, другими словами, были прославлением быстро поднимавшегося тогда в Англии вверх капиталистического общества, у которого они, естественно, должны были встретить «одобрение». Здесь достаточно будет краткого указания. Каждому известно, какую ожесточенную борьбу вела английская народная масса как раз во времена Юма против системы косвенных налогов, которая планомерно проводилась пресловутым сэром Робертом Уолполом для облегчения податного обложения земельных собственников и вообще богатых людей. И вот мы читаем в опыте «О налогах» («Of Taxes»), где Юм полемизирует против своего неизменного авторитета, — не называя его по имени, — Вандерлинта, самого ярого противника косвенных налогов и самого решительного поборника обложения земельной собственности: «Они (т. е. налоги на предметы потребления) должны действительно быть уж очень высоки и очень неразумно установлены, если рабочий не в состоянии платить их даже при усиленном прилежании и бережливости, *не повышая при этом цены своего труда*». Так и кажется, что слышишь здесь самого Роберта Уолпола, особенно если присовокупить к этому то место из опыта «О государственном кредите», где по поводу трудности обложения государственных кредиторов говорится следующее: «Уменьшение их дохода нисколько не *прикрывалось* бы тогда видимостью, будто это простая статья акциза или таможенная пошлина».

Как этого и следует ожидать от шотландца, преклонение Юма перед буржуазным стяжательством отнюдь не было чисто платоническим. Бедняк по происхождению, он дошел до весьма солидного годового дохода в тысячи фунтов, — факт, который у г. Дюринга, так как дело идет в данном случае не о Петти, выражен в следующей деликатной форме: «Благодаря разумной *частной экономии* Юм, на основе очень незначительных средств, достиг положения, при котором не имел надобности писать в угоду кому-либо». Г-н Дюринг говорит дальше о Юме: «Он никогда не делал ни малейших уступок влиянию партий, князей или университетов». Хотя действительно неизвестно, чтобы Юм вел когда-нибудь литературно-компанейские дела с каким-нибудь «Вагенером»¹, — однако же мы знаем, что он был рьяным защитником вигийской олигархии, которая высоко ценила «*церковь* и государство», и в награду за эти заслуги получил сначала пост секретаря посольства в Париже, а затем — гораздо более важный и доходный пост помощника статс-секретаря. «В политическом отношении, — говорит старик

¹ Здесь имеется в виду связь Дюринга с агентом Бисмарка, прусским чиновником Вагенером, по заказу которого Дюрингом была составлена докладная записка по рабочему вопросу. *Ред.*

Шлоссер, — Юм был и всегда оставался человеком консервативного и строго монархического образа мыслей. Поэтому приверженцы господствующей церкви не обрушивались на него с таким ожесточением, как на Гиббона». «Этот эгоист Юм, этот лжец в исторической науке», — говорит «грубо»-плебейский Коббет, — ругает английских монахов, называя их откормленными, безбрачными и бессемейными попрошайками, «а между тем он сам никогда не имел ни семьи, ни жены, был огромным толстяком, откормленным в значительной степени на общественные средства, никогда не заслужив этого какой-нибудь действительно общественной службой». А у г. Дюринга мы читаем, что Юм «в *практическом* отношении к жизни имеет в существенных чертах большое преимущество перед Кантом».

Почему, однако, Юму отводится в «Критической истории» такое исключительное место? Да просто потому, что этот «серьезный и тонкий мыслитель» имеет честь представлять собою Дюринга XVIII века. Юм служит г. Дюрингу фактическим доказательством того, что «создание целой отрасли науки (политической экономии) было делом более просвещенной философии». Точно так же г. Дюринг видит в Юме, которого он рассматривает как своего предшественника, наилучшую гарантию того, что вся эта отрасль науки найдет свое ближайшее завершение в феноменальном муже, который пересоздал уже философию, просто «более просвещенную», в совершенно ослепительную философию действительности. К тому же у него, совсем как у Юма, «занятие философией в более тесном смысле сочетается с трудами в области вопросов народного хозяйства... — явление до сих пор беспримерное на немецкой почве». Сообразно с этим, мы видим, что г. Дюринг раздувает роль — почтенного все-таки как экономиста — Юма и превращает его в экономическую звезду первой величины, значение которой могла игнорировать до сих пор только та же зависть, которая столь упорно замалчивает до сих пор и труды г. Дюринга, «имеющие руководящее значение для эпохи».

Как известно, школа *физиократов* оставила нам в «*Экономической таблице*» Кенэ загадку, о которую обломали себе зубы все принимавшиеся за нее до сих пор критики и историки политической экономии. Эта таблица, которая должна была выразить в ясной и наглядной форме представление физиократов о производстве и обращении совокупного богатства страны, осталась довольно-таки темной для следующих поколений экономистов. Г-н Дюринг берется внести свет окончательной истины и в эту область. «*Какой смысл это экономическое отображение отношений производства и распределения имеет у самого Кенэ*», — говорит он, — это можно установить лишь в том

случае, если *«предварительно подвергнуть точному исследованию»* характерные для него руководящие понятия». Такое предварительное исследование тем более необходимо, что до сих пор эти понятия излагались лишь в «расплывчатой и неопределенной форме», и даже у Адама Смита «нельзя распознать их существенных черт». С этим традиционным «легковесным изложением» г. Дюринг берется покончить раз навсегда. И вот он издевается над читателем на протяжении целых пяти страниц, где всякого рода напыщенные обороты, постоянные повторения и намеренный беспорядок должны скрыть тот приискорбный факт, что о «руководящих понятиях» Кенэ г. Дюринг едва в состоянии сообщить нам столько, сколько сообщают «самые ходячие компилятивные учебники», против которых он так неустанно предостерегает своих читателей. «Одна из сомнительнейших сторон» этого введения заключается в том, что и здесь г. Дюринг вскользь затрагивает известную пока лишь по названию таблицу, а затем предается всякого рода «размышлениям», — например, относительно «различия между затратой и результатом». Если этого различия «нельзя найти в готовом виде в идее Кенэ», то г. Дюринг даст нам зато блистательный образчик такого «различия», как только он после своей растянутой вводной «затраты» перейдет к своему удивительно куцому «результату», к разъяснению самой таблицы. Итак, приведем сейчас все, и притом *буквально все*, что он счел за благо сообщить нам о таблице Кенэ.

В «затрате» г. Дюринг говорит: «Ему (т. е. Кенэ) казалось чем-то самоочевидным, что доход (г. Дюринг только что говорил о чистом продукте) надо рассматривать и трактовать как *денежную стоимость*... Он связал свои размышления (!) сразу же с *денежными стоимостями*, которые предположил как результат продаж всех сельскохозяйственных продуктов при переходе их из первых рук. Таким образом (!), он оперирует в столбцах своей таблицы с несколькими миллиардами» (т. е. денежными стоимостями). Итак, мы трижды узнаем, что Кенэ оперирует в таблице «денежными стоимостями» сельскохозяйственных продуктов, включая сюда денежную стоимость «чистого продукта» или «чистого дохода». Далее, мы читаем в тексте: «Если бы Кенэ пошел по пути действительно естественного способа рассмотрения и оставил в стороне не только благородные металлы и количество денег, но и *денежные стоимости*... Но Кенэ оперирует одними только *суммами стоимости* и заранее мыслил себе (!) чистый продукт как *денежную стоимость*». Итак, в четвертый и пятый раз: в таблице мы имеем дело только с денежными стоимостями!

«Он (Кенэ) получил его (чистый продукт), вычтя издержки и *думая* (!) главным образом» (изложение хотя и не традиционное, но зато тем более легковесное) «о той стоимости,

которая остается земельному собственнику в качестве ренты». — Мы все еще топчемся на месте, но вот сейчас двинемся вперед: «с другой стороны, *однакоже еще* (это «однакоже еще» настоящий перл!) чистый продукт тоже вступает как натуральный предмет в обращение и становится таким образом элементом, который... должен служить... для содержания класса, именуемого бесплодным. Здесь можно *тотчас* (!) заметить путаницу, возникающую оттого, что в одном случае ход мысли определяется денежной стоимостью, а в другом — самой вещью». Вообще *всякое* товарное обращение страдает, повидимому, той «путаницей», что товары вступают в него одновременно и как «натуральный предмет» и как «денежная стоимость». Но мы все еще вертимся вокруг да около «денежных стоимостей», ибо «Кенэ хочет избежать двойного счета народнохозяйственного дохода».

Заметим, с разрешения г. Дюринга: внизу, в «Анализе»¹ таблицы Кенэ, фигурируют различные роды продуктов как «натуральные предметы», а вверху, в самой таблице — самые их денежные стоимости. Кенэ даже поручил потом своему подручному, аббату Бодо, внести натуральные предметы *рядом* с их денежными стоимостями прямо в самую таблицу.

После стольких «затрат» следует, наконец, «результат». Слушайте и удивляйтесь: «однако непоследовательность» (относительно роли, которую Кенэ отводит земельным собственникам) *«тотчас* становится ясной, как только мы задаем вопрос: *что же происходит в народнохозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты?* Здесь для способа представления физиократов и для *экономической таблицы* возможны были лишь доходящая до мистицизма путаница и произвол».

Конец — делу венец. Итак, г. Дюринг не знает, «что же происходит в народнохозяйственном кругообороте (изображаемом таблицей) с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты». Таблица для него — «квадратура круга». Он, по собственному признанию, не понимает азбуки физиократии. После всего хождения вокруг да около, после всего толчения воды в ступе, прыжков вкривь и вкось, арлекинад, эпизодических вставок, отступлений, повторений и умопомрачительной путаницы, что должно только подготовить нас к грандиозному разъяснению того, «какой смысл имеет таблица у самого Кенэ», в заключение — стыдливое признание г. Дюринга, что *он сам этого не знает*.

Стряхнув с себя, наконец, эту гнетущую тайну, эту горацьеву черную заботу, сидевшую у него за спиной во время

¹ «Analyse du Tableau économique» («Анализ экономической таблицы»).
Ред.

рейда по физиократической стране, наш «серьезный и тонкий мыслитель» снова бодро трубит: «Линии, которые Кенэ проводит туда и сюда в своей довольно простой (!), впрочем, таблице» (этих линий всего-навсего шесть!) «и которые должны изображать обращение чистого продукта», наводят на сомнение, не скрыта ли «в этих причудливых соединениях столбцов» какая-нибудь математическая фантастика; они напоминают о том, что Кенэ занимался проблемой квадратуры круга и т. д. Так как эти линии, несмотря на свою простоту, остаются, по собственному признанию г. Дюринга, непонятными для него, то он должен, воспользовавшись и здесь своим излюбленным приемом, *взять их под подозрение*. Теперь он может уже спокойно нанести последний удар замысловатой таблице, «рассмотрев учение о чистом продукте с этой *сомнительнейшей стороны*», и т. д. Именно свое вынужденное признание, что он ничего не смыслит в «Tableau économiqne» и ему непонятна «роль», которую играет фигурирующий там чистый продукт, — г. Дюринг называет «сомнительнейшей стороной в учении о чистом продукте»! Вот, поистине, юмор отчаяния!

Для того, чтобы наши читатели не остались, однако, в том же ужасающем неведении насчет таблицы Кенэ, в каком по необходимости пребывают люди, которые черпают свою экономическую мудрость из «первых рук» от г. Дюринга, мы заметим вкратце следующее.

Как известно, общество делится у физиократов на три класса: 1) производительный, т. е. действительно занятый в земледелии класс — фермеры и сельскохозяйственные рабочие; производительными они именуются потому, что их труд дает избыток — ренту; 2) класс, присваивающий этот избыток; в этот класс входят земельные собственники и зависимая от них челядь, государь и вообще оплачиваемые государством чиновники, наконец, церковь в ее особой роли присвоителя десятины; краткости ради мы в дальнейшем будем обозначать первый класс просто как «фермеров», а второй — как «земельных собственников»; 3) промышленный, или стерильный (бесплодный) класс, — бесплодный потому, что с физиократической точки зрения он прибавляет к сырью, которое ему доставляет производительный класс, лишь столько стоимости, сколько он потребляет в виде жизненных средств, доставляемых ему тем же классом. Таблица Кенэ имеет своей задачей наглядно изобразить, каким образом совокупный годовой продукт какой-нибудь страны (фактически Франции) циркулирует между этими тремя классами и как он служит для годового воспроизводства.

Первая предпосылка таблицы заключается в предположении, что всюду введена арендная система, а вместе с ней и крупное земледелие в том значении, какое имели эти слова во времена Кенэ; причем образцом являются для Кенэ Нормандия, Пикар-

дия, Иль-де-Франс и некоторые другие французские провинции, Фермер выступает поэтому как действительный руководитель земледелия, он представляет в таблице весь производительный (земледельческий) класс и выплачивает земельному собственнику ренту деньгами. Всей совокупности фермеров приписывается основной капитал, или инвентарь, в десять миллиардов ливров, на которые приходится одна пятая часть, или два миллиарда, оборотного капитала, ежегодно подлежащего возмещению, — расчет, для которого послужили мерилom опять-таки наилучшие фермы упомянутых провинций.

Дальнейшие предпосылки таковы: 1) простоты ради, цены предполагаются постоянными, а воспроизводство простым; 2) исключается всякое обращение, происходящее целиком в пределах одного класса, и принимается в расчет только обращение между различными классами; 3) все покупки и, соответственно, все продажи, совершаемые в течение операционного года между одним и другим классом, складываются в единую совокупную сумму. Наконец, следует помнить, что во времена Кенэ во Франции, как в большей или меньшей степени во всей Европе, собственная домашняя промышленность крестьянской семьи доставляла ей значительнейшую часть также и тех необходимых продуктов, которые не принадлежат к разряду предметов питания; поэтому-то домашняя промышленность предполагается здесь как сама собой разумеющаяся принадлежность земледелия.

Исходным пунктом таблицы является совокупный урожай, валовая сумма, фигурирующая поэтому на самом верхнем месте таблицы годовых произведений почвы, или «воспроизводство в целом» какой-нибудь страны, в данном случае Франции. Величина стоимости этого валового продукта определяется в соответствии со средними ценами произведений почвы у торговых наций. Она составляет пять миллиардов ливров — сумму, которая при возможных тогда статистических расчетах приблизительно выражала денежную стоимость валового земледельческого продукта Франции. Как раз это обстоятельство, а не что-либо иное, является основанием, «почему Кенэ в своей таблице оперирует несколькими миллиардами» — именно пятью миллиардами — а не пятью турскими ливрами (*Livres tournois*)¹.

Весь валовой продукт, стоимостью в пять миллиардов, находится, таким образом, в руках производительного класса, т. е. находится вначале в руках фермеров, которые произвели его путем израсходования годового оборотного капитала в два миллиарда, соответствующего основному капиталу в десять миллиардов. Сельскохозяйственные продукты, жизненные средства, сырые материалы и т. д., которые требуются для возмещения

¹ — старая французская монета. *Ред.*

оборотного капитала, стало быть, в том числе и для поддержания жизни всех непосредственно занятых в земледелии лиц, *in natura*¹ отделяются от общего урожая и расходуются для нового сельскохозяйственного производства. Так как предполагаются, как уже было сказано выше, постоянные цены и простое воспроизводство в однажды установленном масштабе, то денежная стоимость этой заранее изъятой из валового продукта части равна двум миллиардам ливров. Следовательно, эта часть не вступает в общее обращение, ибо, как уже было замечено, из таблицы исключено обращение, поскольку оно происходит в *предделах* каждого отдельного класса, а не между различными классами.

По возмещении оборотного капитала из валового продукта остается избыток в три миллиарда, из которых два заключаются в жизненных средствах, а один — в сырых материалах. Норента, которую фермеры должны платить земельным собственникам, составляет только две трети этой суммы, что равняется двум миллиардам. Почему только эти два миллиарда фигурируют под рубрикой «чистого продукта» или «чистого дохода», мы скоро увидим.

Но кроме сельскохозяйственного «воспроизводства в целом», стоимостью в пять миллиардов, из которых три миллиарда вступают в общее обращение, в руках фермеров находятся, — еще *до* начала движения, изображенного в таблице, — все сбережения (*réserve*) нации, два миллиарда наличных денег. С ними дело обстоит следующим образом.

Так как исходным пунктом таблицы является весь урожай, то последний образует также конечный пункт хозяйственного года, — скажем 1758 г., — после которого начинается новый хозяйственный год. В течение этого нового, 1759 года та часть валового продукта, которая предназначена для обращения, распределяется путем целого ряда отдельных платежей, покупок и продаж между двумя другими классами. Эти следующие друг за другом, раздробленные и растягивающиеся на целый год движения слагаются, однако, — как это необходимо должно получиться в такой таблице, — в немногие характерные акты, каждый из которых охватывает целый год сразу. Таким образом, в конце 1758 г. к классу фермеров притекают назад деньги, которые он уплатил землевладельцам в качестве ренты за 1757 г. (как это происходит, покажет сама таблица), а именно — сумма в два миллиарда, так что класс фермеров может снова пустить ее в обращение в 1759 г. Так как эта сумма, по замечанию Кенэ, значительно больше той, какая требуется в действительности для всего обращения страны (Франции), где всегда платежи производятся многократно, небольшими суммами, — то

¹ — в натуральной форме. *Ред.*

два миллиарда ливров, находящиеся в руках фермеров, представляют всю сумму денег, обращающихся среди нации.

Класс заребающих ренту земельных собственников выступает прежде всего, как это случайно происходит еще и ныне, в роли получателя платежей. Согласно предположению Кенэ, земельные собственники в тесном смысле слова получают только четыре седьмых двухмиллиардной ренты, две же седьмых поступают правительству, а одна седьмая — получателям церковной десятины. Во времена Кенэ церковь была самым крупным земельным собственником во Франции и получала сверх того десятину со всей прочей земельной собственности.

Оборотный капитал (*avances annuelles*), расходуемый «бесплодным» классом в продолжение всего года, состоит из сырья, стоимостью в один миллиард, — только из сырья, ибо орудия, машины и т. д. относятся к числу изделий самого этого класса. Разнообразные роли, которые играют подобные изделия в промышленном производстве этого класса, так же не принимаются в расчет таблицей, как не принимается в расчет товарное и денежное обращение, происходящее исключительно в пределах данного класса. Вознаграждение за тот труд, посредством которого бесплодный класс превращает сырье в мануфактурные товары, равняется стоимости жизненных средств, получаемых бесплодным классом частью непосредственно от производительного класса, частью косвенным путем, через земельных собственников. Хотя бесплодный класс распадается сам на капиталистов и наемных рабочих, однако он, согласно основному воззрению Кенэ, находится как один совокупный класс в наемном услужении у производительного класса и земельных собственников. Все промышленное производство в целом, а следовательно, и все его обращение, распределяющееся на следующий за урожаем год, также объединено в одно целое. Предполагается поэтому, что в начале изображаемого в таблице движения продукт годового товарного производства бесплодного класса находится полностью в его руках, — предполагается, что, следовательно, весь его оборотный капитал, т. е. сырой материал, стоимостью в один миллиард, превращен в товары, стоимостью в два миллиарда, из которых половина представляет цену жизненных средств, потребленных в период этого превращения. Здесь можно было бы возразить: но ведь бесплодный класс потребляет для своих внутрисемейных нужд также промышленные изделия, — где же фигурируют они, раз весь продукт бесплодного класса переходит путем обращения к другим классам? На это мы получаем ответ: бесплодный класс не только потребляет сам часть своих собственных товаров, но старается еще удержать у себя сверх того возможно большее количество их. Он продает поэтому пускаемые им в обращение товары выше

действительной стоимости и должен это делать, так как мы расцениваем эти товары по совокупной стоимости их производства. Это обстоятельство не вносит, однако, никаких изменений в положения таблицы, ибо остальные два класса могут фактически получить мануфактурные товары, только уплатив стоимость их совокупного производства.

Итак, мы знаем теперь экономическое положение трех различных классов в начале движения, изображаемого таблицей.

Производительный класс, возместив в натуре свой оборотный капитал, располагает еще валовым сельскохозяйственным продуктом, стоимостью в три миллиарда, и двумя миллиардами денег. Класс земельных собственников только теперь выступает со своим притязанием на ренту в два миллиарда, которую он должен получить от производительного класса. Бесплодный класс располагает на два миллиарда мануфактурными товарами. Обращение, совершающееся только между двумя из этих трех классов, именуется у физиократов неполным; обращение, совершающееся между всеми тремя классами, называется полным.

Теперь перейдем к самой экономической таблице.

Первое (неполное) обращение. Фермеры платят земельным собственникам деньгами причитающуюся им ренту в два миллиарда ливров, ничего не получая взамен. На один из этих миллиардов земельные собственники покупают жизненные средства у фермеров, к которым притекает, таким образом, обратно половина денег, израсходованных ими на уплату ренты.

В своем «Анализе экономической таблицы» Кенэ не говорит больше ни о государстве, получающем две седьмых, ни о церкви, получающей одну седьмую земельной ренты, так как общественные роли обоих общеизвестны. Относительно земельных собственников в тесном смысле слова он замечает, что их расходы, куда входят также расходы всей их челяди, по крайней мере в большей своей части представляют собой бесплодные расходы, за исключением той небольшой доли, которая затрачивается на «поддержание и улучшение их имений и на поднесение культуры последним». Но настоящая функция земельных собственников, согласно «естественному праву», и заключается именно «в заботе о хорошем управлении и в производстве затрат на поддержание их вотчин», или, как это разъясняется дальше, в *avances foncières*, т. е. в затратах для подготовки почвы и снабжения ферм всем необходимым инвентарем, что позволяет фермеру употребить затем весь свой капитал исключительно на дело настоящей сельскохозяйственной культуры.

Второе (полное) обращение. На второй миллиард денег, который находится еще в их руках, земельные собственники покупают мануфактурные товары у бесплодного класса, а этот последний при помощи вырученных таким путем денег приобретает у фермеров жизненные средства на такую же сумму.

Третье (неполное) обращение. Фермеры покупают у бесплодного класса на один миллиард денег соответствующее количество мануфактурных товаров; значительная часть этих товаров состоит из сельскохозяйственных орудий и других необходимых для сельского хозяйства средств производства. Бесплодный класс возвращает фермерам те же деньги, покупая на один миллиард сырья для возмещения своего собственного оборотного капитала. Таким образом, к фермерам вернулись обратно израсходованные ими на уплату ренты два миллиарда денег, и баланс подведен. Этим разрешается также великая загадка: «что же происходит, собственно, в хозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты?».

Мы видели выше, что в самом начале процесса в руках производительного класса имеется избыток в три миллиарда. Из него были уплачены земельным собственникам, как чистый продукт в виде ренты, только два миллиарда. Третий миллиард избытка образует процент на весь основной капитал фермеров, следовательно, на десять миллиардов — десять процентов. Этот процент они получают, — заметим это, — не из обращения: он находится в их руках *in natura*, и они только реализуют его при посредстве обращения, превращая его этим путем в мануфактурные товары равной стоимости.

Без этого процента фермер, этот главный агент земледелия, не авансировал бы ему своего основного капитала. Уже с этой точки зрения присвоение фермером той доли сельскохозяйственного *прибавочного дохода*, которая представляет процент, является, по мысли физиократов, столь же необходимым условием воспроизводства, как и сам фермерский класс; и эту составную часть нельзя, следовательно, причислять к категории национального «чистого продукта» или «чистого дохода»; последний характеризуется именно тем, что он может быть потреблен, насколько не считаясь с непосредственными нуждами национального воспроизводства. Между тем указанный миллиардный фонд служит, согласно Кенэ, большей частью для необходимого в течение года ремонта и частичных обновлений основного капитала, далее — как резервный фонд против несчастных случаев, наконец, в меру возможности, для увеличения основного и оборотного капитала, равно как для улучшения почвы и расширения культуры сельского хозяйства.

Весь процесс бесспорно «довольно прост». В обращение были пущены: фермерами — два миллиарда деньгами для уплаты ренты и на три миллиарда продуктов, из них две трети — жизненные средства и одна треть — сырье; бесплодным классом — мануфактурные товары на два миллиарда. Из жизненных средств, стоимостью в два миллиарда, одна половина потребляется классом земельных собственников со всеми его придатками, другая бесплодным классом в оплату его труда. Сырье на

один миллиард возмещает оборотный капитал того же класса. Из находящихся в обращении мануфактурных товаров на сумму в два миллиарда одна половина достается земельным собственникам, другая — фермерам, для которых она является лишь превращенной формой процента на основной капитал, — процента, получаемого ими непосредственно из сельскохозяйственного воспроизводства. Деньги же, которые фермер пустил в обращение, уплатив ренту, притекают к нему обратно благодаря продаже его продуктов, и, таким образом, тот же кругооборот может быть продлан вновь в следующем хозяйственном году.

Теперь пусть читатель восхищается «истинно-критическим» изложением г. Дюринга, столь бесконечно превосходящим «традиционное легковесное изложение». После того как он пять раз подряд с таинственным видом указывал нам на сомнения, возбуждаемые тем, что Кенэ оперирует в таблице одними денежными стоимостями, — что вдобавок оказалось неправдой, — он приходит в конце концов к выводу, что стоит ему задать вопрос, «что же происходит в народнохозяйственном кругообороте с чистым продуктом, присвоенным в качестве ренты», и «для экономической таблицы возможны только доходящая до мистицизма путаница и произвол». Мы видели, что таблица, — это столь же простое, сколько и гениальное для своего времени изображение годового процесса воспроизводства в том виде, в каком он осуществляется при посредстве обращения, — очень точно отвечает на вопрос, что происходит с этим чистым продуктом в народнохозяйственном кругообороте. Таким образом, «мистицизм» вместе с «пуганицей и произволом» остаются опять-таки исключительно достоянием г. Дюринга как «сомнительнейшая сторона» и единственный «чистый продукт» его физиократических исследований.

Г-н Дюринг так же хорошо знаком исторической ролью физиократов, как и с их теорией. «Вместе с Тюрго, — поучает он, — физиократия пришла во Франции и практически и теоретически к своему концу». То, что Мирабо по своим экономическим воззрениям был по существу физиократом; то, что он был первым авторитетом по экономическим вопросам в учредительном собрании 1789 г.; то, что это собрание в своих экономических реформах перевело значительную часть физиократических положений из теории в практику и, в частности, обложило также высоким налогом земельную ренту, этот чистый продукт, который присваивают землевладельцы, «не возмещая его», — все это не существует для «некоего» Дюринга.

Подобно тому, как г. Дюринг, одним размашистым росчерком пера зачеркнув период с 1691 по 1752 г., устранил с пути всех предшественников Юма, — так он другим росчерком пера устранил сэра Джемса Стюарта, занимающего место между Юмом и Адамом Смитом. О его большом сочинении, которое,

независимо от его исторической ценности, надолго обогатило область политической экономии, мы не находим в «предприятии» г. Дюринга ни звука. Зато г. Дюринг награждает Стюарта самым крепким бранным словом, какое имеется только в его лексиконе, — он говорит, что Стюарт был во времена Адама Смита «профессором». К сожалению, это подозрение — чистая выдумка. В действительности Стюарт был крупным шотландским землевладельцем. Будучи изгнан из Великобритании за предполагаемое участие в заговоре в пользу Стюартов, он благодаря своему продолжительному пребыванию на континенте, где он много путешествовал, близко познакомился с экономическими условиями различных стран.

Коротко говоря: согласно «Критической истории», значение всех прежних экономистов сводится либо к тому, что их учение представляет как бы «зачатки» более глубоких, «руководящих» основоположений г. Дюринга, либо к тому, что своей негодностью только и оттеняют настоящим образом его превосходство. Но все же и в экономической науке существует несколько героев, дающих не только «зачатки» для «более глубокого основоположения», но и «теоремы», из которых это основоположение, согласно предписанию дюринговской натурфилософии, не «развивается», а прямо «компонируется». К ним относятся: «несравненно выдающаяся величина» — *Лист*, который к вящей выгоде немецких фабрикантов раздул в «мощные» слова «более сублильные» меркантилистские учения некоего Ферье и других; затем *Кэри*, раскрывающий подлинный смысл своей мудрости в следующей фразе: «система Рикардо есть система розни... она направлена к порождению классовой вражды... его сочинение является руководством для демагога, стремящегося к власти путем раздела земли, путем войны и грабежа»; наконец, Конфуций¹ лондонского Сити — *Маклеод*.

Вот почему люди, которые теперь или в ближайшем обозримом будущем захотели бы изучать историю политической экономии, поступят гораздо благоразумнее, если все же познакомятся с «водянистыми произведениями», с «плоскими мыслями» и «жиденькими похлебками» «самых ходячих компилятивных учебников» и не захотят положиться на «историографию в высоком стиле» г. Дюринга.

Что же в конце концов получается в результате нашего анализа дюринговской «самобытной системы» политической экономии? Единственный результат состоит в том, что после всех больших слов и еще более грандиозных обещаний мы оказались обманутыми так же, как и в «философии». В теории стоимости —

¹ В немецком издании «Анти-Дюринга» вместо слова Confucius, которое стоит в рукописи Маркса, напечатано созвучное слово Confusius (путаник). *Ред.*

этом «пробном камне достоинства экономических систем» — дело свелось к тому, что под стоимостью г. Дюринг понимает пять совершенно различных, прямо противоположных друг другу вещей и, следовательно, в лучшем случае, не знает сам, чего хочет. Возвещенные с такой помпой «естественные законы всякого хозяйства» оказались общеизвестными и часто даже неверно понятыми банальностями худшего сорта. Единственное объяснение экономических фактов, которое преподносит нам эта «самобытная система», состоит в том, что они являются результатом «насилия», — фраза, которой филистер, всех наций утешает себя в течение тысячелетий во всех своих злоключениях и после которой мы знаем ровно столько же, сколько знали до нее. Вместо того, чтобы исследовать происхождение и действие этого насилия, г. Дюринг предлагает нам, чтобы мы с благодарностью успокоились на одном *слове* «насилия» как конечной причине и окончательном объяснении всех экономических явлений. Вынужденный дать более подробные объяснения капиталистической эксплуатации труда, он сначала сводит ее вообще к обложению данью и надбавке к цене, усваивая себе здесь полностью прудоновскую теорию «предварительного взимания» (*prélèvement*), чтобы затем объяснить капиталистическую эксплуатацию, в частности, при помощи марксовой теории прибавочного труда, прибавочного продукта и прибавочной стоимости. Он ухитряется, таким образом, благополучно примирить два прямо противоречащих друг другу воззрения, единым духом списывая оба. И подобно тому, как он не находил в своей философии достаточно грубых выражений для того самого Гегеля, идеями которого он непрестанно пользуется, одновременно разжигая их, так и в «Критической истории» разнузданная клевета на Маркса служит лишь для прикрытия того факта, что все сколько-нибудь рациональное, содержащееся в «Курсе» по вопросу о капитале и труде, составляет тоже донельзя разжиганный плагиат у Маркса. В «Курсе» невежество проявилось в том, что в начале истории культурных народов автор ставит «крупного землевладельца», ни словом не обмолвившись относительно общности земельной собственности родовых и сельских общин, являющейся в действительности исходным пунктом всей истории. Это невежество почти непостижимо в наши дни. Но оно, пожалуй, превзойдено еще тем невежеством, которое в критической истории немало любит себя, как «универсальной широтой исторического кругозора», — выше мы привели лишь несколько ужасающих образчиков этого невежества. Одним словом: вначале — колоссальная «затрата» самовосхваления, крикливой базарной рекламы, обещаний, превосходящих одно другое, а затем «результат» — круглый нуль.

Отдел третий

СОЦИАЛИЗМ

I

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Мы видели во «Введении»¹, каким образом подготовлявшие революцию французские философы XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем существующим. Они требовали установления разумного государства, разумного общества, требовали безжалостного устранения всего того, что противоречит вечному разуму. Мы видели также, что этот вечный разум был в действительности лишь идеализированным рас­судком среднего бюргера, как раз в то время развивавшегося в буржуа. И вот, когда французская революция воплотила в действительность это разумное общество и это разумное государство, то новые учреждения оказались, при всей своей рациональности по сравнению с прежним строем, отнюдь не абсолютно разумными. Государство разума потерпело полное крушение. Общественный договор Руссо нашел свое осуществление во время террора, от которого изверившаяся в своей политической способности буржуазия искала спасения сперва в подкупности Директории², а в конечном счете под крылом наполеоновского деспотизма. Обещанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн. Не более посчастливилось и разумному общественному строю. Противоположность между богатством и бедностью, вместо того чтобы разрешиться во всеобщем благоденствии, еще более обострилась вследствие устранения цеховых и иных привилегий, служивших как бы мостом над этой противоположностью, а также вследствие устранения церковной благотворительности, несколько смягчавшей ее. [Осуществленная теперь на деле «свобода собственности» от феодальных оков оказалась для мелкого буржуа и крестьянина свободой продавать эту мелкую собственность, задавленную могущественной конкуренцией крупного капитала и крупного землевладения, именно этим магнатам; эта «свобода» превра-

¹ Ср. Отдел I «Философия». [Примечание Энгельса.]

² — контрреволюционное буржуазное правительство во Франции, существовавшее с 1795 по 1799 г. *Ред.*

тилась, таким образом, для мелких буржуа и крестьян в свободу от собственности.] Быстрое развитие промышленности на капиталистической основе сделало бедность и страдания трудящихся масс необходимым условием существования общества. [Чистоган все более и более становился, по выражению Карлейля, единственным связующим элементом этого общества.] Количество преступлений возрастало с каждым годом. Если пороки феодальной эпохи, прежде выставлявшиеся напоказ, — не уничтоженные, впрочем, еще и теперь, — были все же отодвинуты пока на задний план, то тем пышнее расцвели на их месте буржуазные пороки, которым раньше предавались только тайком. Торговля все более и более превращалась в мошенничество. Революционный девиз «братства» осуществился в плутнях и в зависти, порождаемых конкуренцией. Место насильственного угнетения занял подкуп, а вместо меча главнейшим рычагом общественной власти стали деньги. Право первой ночи перешло от феодалов к буржуа-фабрикантам. Проституция выросла до неслыханных размеров, и даже самый брак остался, как и прежде, признанной законом формой проституции, ее официальным прикрытием, дополняясь к тому же многочисленными нарушениями супружеской верности. Одним словом, установленные «победой разума» общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей. Недоставало еще только людей, способных констатировать это разочарование, и эти люди явились на рубеже нового столетия. В 1802 г. вышли «Женевские письма» Сен-Симона; в 1808 г. появилось первое произведение Фурье, хотя основа его теории была заложена еще в 1799 г.; 1 января 1800 г. Роберт Оуэн взял на себя управление Нью-Лэнарком.

Но в это время капиталистический способ производства, а вместе с ним и противоположность между буржуазией и пролетариатом были еще очень неразвиты. Крупная промышленность, только что возникшая в Англии, во Франции была еще неизвестна. А между тем лишь крупная промышленность развивается, с одной стороны, конфликты, делающие принудительной необходимостью переворот в способе производства [устранение его капиталистического характера], — конфликты не только между созданными этой крупной промышленностью классами, но и между порожденными ею производительными силами и формами обмена; а с другой стороны, эта крупная промышленность как раз в гигантском развитии производительных сил дает также и средства для разрешения ею же созданных конфликтов. Если, следовательно, на рубеже XIX века конфликты, возникающие из нового общественного порядка, еще только зарождались, то еще гораздо менее развиты были в тот период средства для их разрешения. Хотя во время террора неимущие

массы Парижа захватили на одно мгновение власть [и смогли, таким образом, привести к победе буржуазную революцию *против* самой же буржуазии], но этим они доказали только всю невозможность [длительного] господства этих масс при тогдашних отношениях. Пролетариат, едва только выделившийся из общей массы немущих в качестве зародыша нового класса, еще совершенно неспособный к самостоятельному политическому действию, казался лишь угнетенным, страдающим сословием, помощь которому в лучшем случае, при его неспособности помочь самому себе, могла быть оказана извне — сверху.

Это историческое положение определило взгляды и основателей социализма. Незрелому состоянию капиталистического производства, незрелым классовым отношениям соответствовали и незрелые теории. Решение общественных задач, еще скрытое в неразвитых экономических отношениях, пришлось изобретать, создавать из головы. Общественный строй являл одни лишь недостатки; их устранение было задачей мыслящего разума. Требовалось изобрести новую, более совершенную систему общественного устройства и навязать ее существующему обществу извне, посредством пропаганды, а по возможности и примерами показательных опытов. Эти новые социальные системы заранее были обречены на то, чтобы оставаться утопиями, и чем старательнее разрабатывались они в подробностях, тем дальше они должны были уноситься в область чистой фантазии.

Установив это, мы не будем задерживаться больше ни минуты на этой стороне вопроса, ныне целиком принадлежащей прошлому. Предоставим литературным 'лавочникам вроде Дюринга самодовольно перетряхивать эти, в настоящее время кажущиеся только забавными, фантазии и любоваться трезвостью своего собственного образа мыслей по сравнению с подобным «сумасбродством». Нас гораздо больше радуют прорывающиеся на каждом шагу сквозь фантастический покров зародыши гениальных идей и гениальные мысли, которых не видят слепые филистеры.

[Сен-Симон был сыном великой французской революции, к началу которой он не достиг еще тридцатилетнего возраста. Революция была победой третьего сословия, т. е. *занятого* в производстве и торговле большинства нации, над привилегированными до того времени *праздными* сословиями — дворянством и духовенством. Но вскоре обнаружилось, что победа третьего сословия есть только победа маленькой части этого сословия: эта победа свелась к завоеванию политической власти социально-привилегированным слоем третьего сословия, имущей буржуазией. К тому же эта буржуазия быстро развилась еще в процессе революции, с одной стороны, посредством спекуляции конфискованной и затем *проданной* земельной собственностью дворянства и церкви, с другой — посредством надувательства

нации военными поставщиками. Именно господство этих спекулянтов при Директории привело Францию и революцию на край гибели и тем самым дало предлог Наполеону для государственного переворота. Таким образом, в голове Сен-Симона противоположность между третьим сословием и привилегированными сословиями приняла форму противоположности между «рабочими» и «праздными». Праздными являлись не только представители прежних привилегированных сословий, но и все те, кто, не принимая участия в производстве и торговле, жил на свою ренту. А «рабочими» были не только наемные рабочие, но и фабриканты, купцы и банкиры. Что праздные потеряли способность к умственному руководству и политическому господству, — не подлежало никакому сомнению и окончательно было подтверждено революцией. Что неимущие не обладали этой способностью, это, по мнению Сен-Симона, доказано было опытом времени террора. Кто же в таком случае должен был руководить и господствовать? По мнению Сен-Симона — наука и промышленность, объединенные новой религиозной связью, неизбежно мистическим, строго иерархическим «новым христианством», призванным восстановить разрушенное со времени реформации единство религиозных воззрений. Наука же — это ученые, а промышленность — это в первую очередь активные буржуа, фабриканты, купцы, банкиры. Правда, эти буржуа должны были стать чем-то вроде общественных чиновников, доверенных лиц всего общества, но все же сохранить по отношению к рабочим командующее и экономически привилегированное положение. Что касается банкиров, то именно они были призваны регулировать все общественное производство при помощи регулирования кредита. — Такой взгляд вполне соответствовал тому времени, когда во Франции крупная промышленность, а вместе с ней и противоположность между буржуазией и пролетариатом, находилась еще только в процессе возникновения. Но что Сен-Симон особенно подчеркивает, — это следующее: всюду и всегда его в первую очередь интересует судьба «самого многочисленного и самого бедного класса» (*la classe la plus nombreuse et la plus pauvre*).]

Уже в «Женевских письмах» Сен-Симон выдвигает положение, что «все люди должны работать». В том же произведении он уже отмечает, что господство террора во Франции было господством неимущих масс. «Посмотрите, — восклицает он, обращаясь к последним, — что произошло во Франции, когда там господствовали ваши товарищи: они создали голод!» Но понять, что французская революция была классовой борьбой [и не только между дворянством и буржуазией, но также] между дворянством, буржуазией и неимущими, — это в 1802 г. было в высшей степени гениальным открытием. В 1816 г. Сен-Симон объявляет политику наукой о производстве и предсказывает ее

полнейшее поглощение экономикой. Если здесь понимание того, что экономическое положение есть основа политических учреждений, выражено лишь в зародышевой форме, зато совершенно ясно высказана та мысль, что политическое управление людьми должно превратиться в распоряжение вещами и в руководство процессами производства, т. е. привести к отмене государства, о чем так много шумели в последнее время. С таким же превосходством над своими современниками Сен-Симон заявляет в 1814 г., — тотчас по вступлении союзников в Париж, — а затем в 1815 г., во время войны Ста дней, что союз Франции с Англией и во вторую очередь этих двух стран с Германией представляет единственную гарантию мирного развития и процветания Европы. Чтобы в 1815 г. проповедывать французам союз с победителями при Ватерлоо, требовалось во всяком случае несколько больше мужества, чем для того, чтобы объявить немецким профессорам кляузную войну¹.

Если у Сен-Симона мы встречаем гениальную широту взгляда, вследствие чего его воззрения содержат в зародыше почти все не строго экономические мысли позднейших социалистов, то у Фурье мы находим критику существующего общественного строя, в которой чисто французское остроумие сочетается, однако, с большой глубиной анализа. Он ловит на слове вдохновенных пророков дореволюционной буржуазии и ее подкупленных льстецов после революции. Он беспощадно вскрывает всю материальную и моральную нищету буржуазного мира и сопоставляет ее с заманчивыми обещаниями [прежних] просветителей об установлении такого общества, где будет господствовать только разум, такой цивилизации, которая принесет счастье всем, — с их заявлениями о способности человечества к бесконечному совершенствованию; он разоблачает пустоту напыщенной фразы современных буржуазных идеологов, показывая, какая жалкая действительность соответствует их громким словам, и осыпает едким сарказмом полнейший провал этой фразеологии. Фурье — не только критик; всегда жизнерадостный по своей натуре, он становится сатириком, и даже одним из величайших сатириков всех времен. Меткими, насмешливыми словами рисует он спекулятивные плутни и мелкоторгашеский дух, овладевший с закатом революции всей тогдашней французской коммерческой деятельностью. Еще с большим мастерством он критикует буржуазную форму отношений между полами и положение женщины в буржуазном обществе. Ему первому принадлежит мысль, что в каждом данном обществе степень эмансипации женщины есть естественное мерило общей эмансипации. Но ярче всего проявилось величие Фурье в его воззрении на

¹ В этих словах содержится, повидимому, намек Энгельса на конфликт Дюринга с профессорами берлинского университета. *Ред.*

историю общества. Весь предшествующий ход ее он разделяет на четыре ступени развития: дикость, варварство, патриархат и цивилизация; последняя совпадает у него с так называемым ныне гражданским обществом¹ [следовательно, с общественным порядком, развивающимся с XVI века], и он показывает, как эта «цивилизация придает сложную, двусмысленную, двуличную, лицемерную форму существования всякому пороку, который варварство практиковало в простом виде». Он указывает на «порочный круг» непреодолимых и постоянно вновь порождаемых противоречий, в котором движется цивилизация, всегда достигая результатов, противоположных тем, к которым, искренне или притворно, она стремится. Таким образом, например, «в цивилизации бедность порождается самим избытком». Фурье, как мы видим, так же мастерски владеет диалектикой, как и его современник Гегель. Так же диалектически он утверждает, в противовес фразам о неограниченной способности человека к совершенствованию, что каждый исторический фазис имеет свою восходящую и нисходящую линию, и этот свой взгляд он развивает дальше по отношению к будущности всего человечества. Подобно тому как Кант ввел в естествознание идею о будущей гибели земли, Фурье в свое понимание истории включил мысль о будущей гибели человечества.

В то время как над Францией проносился ураган революции, очистивший страну, в Англии совершался менее шумный, но не менее грандиозный переворот. Пар и новое машинное производство превратили мануфактуру в современную крупную промышленность и тем самым революционизировали все основы буржуазного общества. Вялый ход развития времен мануфактуры превратился в настоящий период бури и натиска в производстве. Все быстрее и быстрее совершалось разделение общества на крупных капиталистов и неимущих пролетариев, а между ними, вместо устойчивого среднего сословия старых времен, мы видим изменчивую массу ремесленников и мелких торговцев, обреченных на весьма шаткое существование и представляющих самую текучую часть населения. Новый способ производства находился еще на первых ступенях своего восходящего развития; он был еще нормальным [правильным], единственно возможным при данных условиях способом производства. А между тем он успел уже породить вопиющие социальные бедствия: скопление бездомного населения в отвратительнейших закоулках больших городов; разрушение всех унаследованных от прошлого связей, патриархального уклада, семьи; ужасающее удлинение рабочего дня, особенно для женщин и детей; массовую

¹ В английском издании «Развития социализма от утопии к науке», введение к которому было написано Энгельсом, это место переведено следующим образом: «с так называемым ныне гражданским или буржуазным обществом». *Ред.*

деморализацию среди трудящегося населения, внезапно брошенного в совершенно новые условия [из деревни в город, из земледелия в промышленность, из стабильных в ежедневно меняющиеся, необеспеченные жизненные условия]. И тут выступил в качестве реформатора двадцатидевятилетний фабрикант, человек с детски-чистым, благодарным характером и в то же время прирожденный руководитель, каких немного. Роберт Оуэн усвоил учение просветителей-материалистов XVIII века о том, что человеческий характер является продуктом, с одной стороны, его природной организации, а с другой — условий, окружающих человека в течение всей жизни, а в особенности в период его развития. Большинство собратьев Оуэна по общественному положению видело в промышленной революции только беспорядок и хаос, годные для ловли рыбы в мутной воде и для быстрого обогащения. Оуэн же видел в промышленной революции благоприятный случай для того, чтобы осуществить свою любимую идею и тем самым внести порядок в этот хаос. В Манчестере он, как руководитель фабрики, где работало более 500 рабочих, сделал попытку, и притом успешную, применить эту идею. С 1800 по 1829 г. он управлял большой бумагопрядильной фабрикой в Нью-Лэнарке, в Шотландии, и, будучи компаньоном в предприятии, действовал здесь в том же направлении, но с гораздо большей свободой и с таким успехом, что вскоре его имя сделалось известным всей Европе. Население Нью-Лэнарка, постепенно возросшее до 2 500 человек и состоявшее первоначально из крайне смешанных и по большей части сильно деморализованных элементов, он превратил в совершенно образцовую колонию, в которой пьянство, полиция, уголовные суды и процессы, попечительство о бедных, надобность в благотворительности стали неизвестными явлениями. Он достиг этого единственно тем, что поставил людей в условия, более сообразные с человеческим достоинством, и в особенности заботился о хорошем воспитании подрастающего поколения. В Нью-Лэнарке были впервые введены детские сады, придуманные Оуэном. В них принимали детей, начиная с двухлетнего возраста; дети так хорошо проводили в них время, что родители с трудом могли увести их домой. В то время как конкуренты Оуэна заставляли своих рабочих работать по 13—14 часов ежедневно, в Нью-Лэнарке рабочий день длился не больше 10½ часов. А когда хлопчатобумажный кризис принудил к четырехмесячной остановке работ, рабочие, несмотря на это, продолжали получать полную плату. И при всем том стоимость предприятия возросла более чем вдвое, и вплоть до конца оно приносило собственникам обильный доход.

Но все это не удовлетворяло Оуэна. Те условия существования, которые он создал для своих рабочих, еще далеко не соответствовали в его глазах человеческому достоинству. «Люди эти

были моими рабами», — говорил он; сравнительно благоприятные условия, в которые он поставил рабочих Нью-Лэнарка, были далеко недостаточны для правильного всестороннего развития их характера и ума, не говоря уже о свободной жизнедеятельности. «А между тем трудящаяся часть этих 2 500 человек создавала для общества такое количество реального богатства, для производства которого всего каких-нибудь полвека тому назад требовался бы труд 600 000 человек. Я спросил себя: куда девается разность между количеством продуктов, потребляемых 2 500 рабочих, и тем количеством, которое потребовалось бы для прежних 600 000?» Ответ был ясен. Эта разность доставалась владельцам фабрики, которые получали 5% на вложенный в предприятие капитал и еще сверх того больше 300 000 фунтов стерлингов (6 000 000 марок) прибыли. В большей еще степени, чем к Нью-Лэнарку, это было применимо ко всем остальным фабрикам Англии. «Без этого нового источника богатства, созданного машинами, не было бы возможности вести войны для свержения Наполеона и восстановления аристократических принципов общественного устройства. И эта новая сила была ведь делом рук трудящегося класса»¹. Ему поэтому должны принадлежать и плоды ее. Новые могучие производительные силы, служившие до сих пор только обогащению единиц и порабощению масс, представлялись Оуэну основой для общественного преобразования и должны были работать только для общего благосостояния всех в качестве их общей собственности.

На таких чисто деловых началах, как плод, так сказать, коммерческого подсчета, возник коммунизм Оуэна. Этот свой практический характер он сохранил до конца. Так, в 1823 г. Оуэн составил проект коммунистических колоний с целью устранения ирландской нищеты и приложил к нему подробное вычисление необходимого вложения капитала, ежегодных издержек и предполагаемых доходов. А в своем окончательном плане будущего строя Оуэн разработал все технические подробности [вплоть до рабочих чертежей, фасада и вида с высоты птичьего полета], и все это выполнено с таким знанием дела, что если принять его метод преобразования общества, то очень немного можно возразить против подробностей, даже с точки зрения специалиста.

Переход к коммунизму был поворотным пунктом в жизни Оуэна. Пока он выступал просто как филантроп, он пожинал только богатство, одобрение, почет и славу. Он был популярнейшим человеком в Европе. Его речам благосклонно внимали не только люди его общественного положения, но даже министры

¹ [Из обращения под названием «The Revolution in Mind and Practice» [«Революция в умах и практике». *Ред.*], ко всем «красным республиканцам, коммунистам и социалистам Европы» и французскому временному правительству 1848 г., но адресованного также «королеве Виктории и ее ответственным советникам»]. [*Примечание Энгельса.*]

и коронованные особы. Но лишь только он выступил со своими коммунистическими теориями, как дело приняло другой оборот. Три великих препятствия заграждали, по его мнению, путь к преобразованию общества: частная собственность, религия и существующая форма брака. Начиная борьбу с этими препятствиями, он знал, что ему предстоит стать отверженным в среде официального общества и лишиться своего общественного положения. Но эти соображения не могли остановить Оуэна, не убавили энергии его бесстрашного нападения. И произошло именно то, что он предвидел. Изгнанный из официального общества, замалчиваемый прессой, обедневший в результате неудачных коммунистических опытов в Америке, поглотивших все его состояние, он обратился прямо к рабочему классу, в среде которого он продолжал свою деятельность еще тридцать лет. Все общественные движения, которые происходили в Англии в интересах рабочего класса, и все их действительные достижения связаны с именем Оуэна. Так, в 1819 г. благодаря его пятилетним усилиям был проведен первый закон, ограничивший работу женщин и детей на фабриках. Он был председателем первого конгресса, на котором трэд-юнионы всей Англии соединились в один большой, всеобщий профессиональный союз. Он же организовал — в качестве мероприятий для перехода к общественному строю, уже вполне коммунистическому, — с одной стороны, кооперативные общества (потребительские и производительные товарищества), которые, по крайней мере, доказали в дальнейшем на практике полную возможность обходиться как без купцов, так и без фабрикантов; с другой стороны — рабочие базары, на которых продукты труда обменивались при помощи трудовых бумажных денег, единицей которых служил час рабочего времени. Эти базары неизбежно должны были потерпеть неудачу, но они вполне предвосхищали значительно более поздний прудоновский меновой банк, от которого они отличались как раз тем, что не вводились в универсальное целительное средство от всех общественных зол, а предлагались только как один из первых шагов к значительно более радикальному переустройству всего общества.

Таковы те люди, на которых суверенный г. Дюринг с высоты своей «окончательной истины в последней инстанции» взирает с тем презрением, образчики которого мы привели во «Введении». И это презрение не лишено в известном смысле своего достаточного основания: оно, в сущности, имеет своим источником поистине ужасающее невежество относительно сочинений всех трех утопистов. Так, о Сен-Симоне у г. Дюринга говорится, что «основная его идея была по существу верна, и если оставить в стороне некоторые односторонности, то она и теперь может дать толчок к действительному творчеству». Несмотря, однако, на то, что, повидимому, г. Дюринг действительно держал в руках некоторые сочинения Сен-Симона, мы на протяжении 27 печатных

страниц, которые посвящены ему, напрасно искали бы «основных идей» Сен-Симона, как прежде напрасно искали ответа на вопрос, что собственно «должна означать у самого Кенэ» его экономическая таблица; и в конце концов мы должны удовлетвориться фразой, что «воображение и филантропический аффект... с соответствующим ему чрезмерным напряжением фантазии господствовали над всем кругом идей Сен-Симона»! Из произведений Фурье он знает только фантазии будущего, разрисованные вплоть до романтических деталей, только им уделяет он внимание, что, разумеется, «гораздо важнее» для констатирования бесконечного превосходства г. Дюринга над Фурье, нежели исследование того, как последний «мимоходом пытается критиковать действительные отношения». Мимоходом! Ведь на каждой почти странице произведений Фурье сверкают искры сатиры и критики, изобличающих убожество столь прославленной цивилизации. Это все равно, как если бы кто-нибудь сказал, что г. Дюринг только «мимоходом» провозглашает г. Дюринга величайшим мыслителем всех времен. Что же касается двенадцати страниц, посвященных Роберту Оуэну, то здесь г. Дюринг не воспользовался абсолютно никаким другим источником, кроме жалкой биографии филистера Сарганта, который также был незнаком с важнейшими сочинениями Оуэна — с его сочинениями о браке и о коммунистическом строе. Только поэтому г. Дюринг осмеливается утверждать, что у Оуэна «нельзя предполагать решительного коммунизма». Во всяком случае, если бы г. Дюринг хотя бы держал в руках «Book of the New Moral World»¹ Оуэна, то он нашел бы в этой книге не только прямую формулировку самого решительного коммунизма, с равной для всех обязанностью труда и равным правом на продукт, — равным соответственно возрасту, как всегда прибавляет Оуэн, — но нашел бы там и вполне разработанный проект зданий для коммунистической общины будущего, с рабочими чертежами, фасадом и видом с высоты птичьего полета. Но если ограничивать «непосредственное изучение собственных сочинений представителей социалистического круга идей» знакомством с заголовками или, в лучшем случае, с *эпиграфами* к немногим из этих сочинений, — как это делает г. Дюринг, — то ничего не остается, конечно, как только изрекать подобные нелепые или прямо вымышленные утверждения. Оуэн не только проповедывал «решительный коммунизм», но он также проводил его на практике в течение пяти лет (в конце 30-х и начале 40-х годов) в колонии Harmony Hall², в Гемпшире, где коммунизм не оставлял желать ничего в смысле решительности. Я лично знал некоторых бывших участников этого образцового коммунистического эксперимента. Но обо всем этом,

¹ «Книга о новом нравственном мире». *Ред.*

² «Дом гармонии». *Ред.*

как и вообще о деятельности Оуэна между 1836 и 1850 гг., Саргант абсолютно ничего не знает, а потому и «более глубокая историография» г. Дюринга пребывает по этому вопросу во тьме невежества. Г-н Дюринг говорит об Оуэне, что он был «во всех отношениях истинным чудовищем филантропической навязчивости». Но когда тот же г. Дюринг рассказывает нам о содержании книг, с которыми он едва знаком по заголовкам и эпиграфам, то мы ни в коем случае не вправе говорить, что он представляет «во всех отношениях истинное чудовище невежественной навязчивости», так как подобная фраза, сказанная *нами*, будет ведь названа «руганью».

Утописты, как мы видели, были утопистами потому, что они не могли быть ничем иным в эпоху, когда капиталистическое производство было еще так слабо развито. Они принуждены были конструировать элементы нового общества из своей головы, ибо в самом старом обществе эти элементы еще не выступали так, чтобы быть для всех очевидными; набрасывая свой общий план нового здания, они принуждены были ограничиваться апелляцией к разуму именно потому, что не могли еще апеллировать к современной им истории. Но когда теперь, почти через 80 лет после их выступления, на сцене появляется г. Дюринг с претензией вывести «руководящую» систему нового общественного строя не из наличного, исторически развившегося материала как его необходимый продукт, а из своей суверенной головы, из своего чреватого «окончательными истинами» разума, то он, который повсюду чует эпигонов, сам является эпигоном утопистов, современнейшим утопистом. Он называет великих утопистов «социальными алхимиками». Пусть так. Алхимия в свое время была необходима. Но с тех пор крупная промышленность развила противоречия, дремавшие в капиталистическом способе производства, в столь вопиющие антагонизмы, что приближающийся крах этого способа производства можно, так сказать, осязать руками, а новые производительные силы могут быть сохранены и развиваемы далее исключительно путем введения нового способа производства, соответствующего их нынешней стадии развития. Эти противоположности развились в такой степени, что борьба между обоими классами, которые порождены существующим способом производства и постоянно воспроизводятся им со все более обостряющимся антагонизмом, охватила все цивилизованные страны, разгораясь с каждым днем. Поэтому теперь уже достигнуто понимание этих исторических взаимосвязей, понимание условий социального преобразования, ставшего в силу этих взаимосвязей необходимым, а также поняты уже основные черты этого преобразования. И если г. Дюринг фабрикует теперь новый утопический общественный строй не из наличного экономического материала, а извлекает его просто из своего высочайшего черепа, то далеко недостаточно сказать, что он занимается «соци-

альной алхимией». Нет, он поступает, как тот, кто после открытия и установления законов современной химии вздумал бы воскресить старую алхимию и пожелал бы воспользоваться атомным весом, молекулярными формулами, валентностью атомов, кристаллографией и спектральным анализом единственно для того, чтобы открыть... *философский камень*.

II

ОЧЕРК ТЕОРИИ

Материалистическое понимание истории исходит из того положения, что производство, а вслед за производством обмен его продуктов, составляет основу всякого общественного строя; что в каждом выступающем в истории обществе распределение продуктов, а вместе с ним и разделение общества на классы или сословия, определяется тем, что и как производится, и как эти продукты производства обмениваются. Таким образом, конечных причин всех общественных перемен и политических переворотов надо искать не в головах людей, не в их возрастающем понимании вечной истины и справедливости, а в изменениях способа производства и обмена; их надо искать не в *философии*, а в *экономии* соответственной эпохи. Пробуждающееся сознание того, что существующие общественные установления неразумны и несправедливы, что «разумное стало бессмысленным, благо стало мучением»¹, — является лишь симптомом того, что в способах производства и в формах обмена произошли незаметно такие перемены, к которым уже не подходит общественный строй, скроенный по старым экономическим условиям. Отсюда вытекает также и то, что средства для устранения открытого зла тоже должны быть налицо, — в более или менее развитом виде, — в самих изменившихся отношениях производства. Надо не *отыскивать* эти средства в голове, а *открывать* их при помощи головы в наличных материальных фактах производства.

Итак, как же, в связи с этим, обстоит дело с современным социализмом?

Всеми уже, пожалуй, признано, что существующий общественный строй создан господствующим теперь классом — буржуазией. Свойственный буржуазии способ производства, называемый со времени Маркса капиталистическим, был несовместим с местными и сословными привилегиями, равно как и с взаимными личными узами феодального строя; буржуазия разрушила феодальный строй и воздвигла на его развалинах буржуазный общественный строй, царство свободной конкуренции, свободы передвижения, равноправия товаровладельцев — словом, всех буржуазных прелестей. Капиталистический способ производства мог

¹ Слова Мефистофеля из «Фауста» Гете. *Ред.*

теперь развиваться свободно. С тех пор как пар и новое машинное производство превратили старую мануфактуру в крупную промышленность, созданные под управлением буржуазии производительные силы стали развиваться с неслыханной прежде быстротой и в небывалых размерах. Но точно так же, как в свое время мануфактура и усовершенствовавшиеся под ее влиянием ремесла пришли в конфликт с феодальными оковами цехов, так и крупная промышленность на более высокой ступени своего развития приходит в конфликт с узкими рамками, в которые ее втискивает капиталистический способ производства. Новые производительные силы уже на целую голову переросли буржуазные формы их использования. И этот конфликт между производительными силами и способом производства вовсе не такой конфликт, который возник только в головах людей, — подобно конфликту между человеческим первородным грехом и божественной справедливостью, — а существует в действительности, объективно, вне нас, независимо от воли или поведения даже тех людей, деятельностью которых он создан. Современный социализм есть не что иное, как отражение в мышлении этого фактического конфликта, идеальное отражение его в головах прежде всего того класса, который страдает от него непосредственно, — рабочего класса.

В чем же состоит этот конфликт?

До появления капиталистического производства, т. е. в средние века, всюду существовало мелкое производство, основой которого была частная собственность работников на средства производства; в деревне господствовало земледелие мелких крестьян, свободных или крепостных, в городе — ремесло. Средства труда — земля, земледельческие орудия, мастерские, ремесленные инструменты — были средствами труда отдельных лиц, рассчитанными лишь на единоличное употребление, и, следовательно, по необходимости оставались мелкими, карликовыми, ограниченными. Но потому-то они, как правило, и принадлежали самому производителю. Сконцентрировать, укрупнить эти раздробленные, мелкие средства производства, превратить их в современные могучие рычаги производства — такова как раз и была историческая роль капиталистического способа производства и его носительницы — буржуазии. Как она исторически выполнила эту роль, начиная с XV века, на трех различных ступенях производства: простой кооперации, мануфактуры и крупной промышленности, — подробно изображено Марксом в IV отделе «Капитала». Но буржуазия, как установил Маркс там же, не могла превратить ограниченные средства производства в мощные производительные силы, не превращая их из средств производства, применяемых отдельным человеком, в *общественные средства производства, применяемые лишь совместно массой людей*. Вместо самопрялки, ручного ткацкого станка, кузнечного молота

появились прядильная машина, механический ткацкий станок, паровой молот; вместо маленьких мастерских — громадные фабрики, требующие совместного труда сотен и тысяч рабочих. Подобно средствам производства, и само производство превратилось из ряда разрозненных действий в ряд общественных действий, а продукты — из произведений отдельных лиц в продукты общественные. Пряжа, ткани, металлические товары, выходящие теперь из фабрик и заводов, представляют собой продукт общего труда множества рабочих, которые в определенной последовательности прилагали к ним свои усилия, пока, наконец, не получились готовые вещи. Никто в отдельности не может сказать о них: «Это сделал я, это мой продукт».

Но там, где основной формой производства является стихийное разделение труда в обществе [возникшее постепенно, без всякого плана], там это разделение труда неизбежно придает продуктам форму *товаров*, взаимный обмен которых, купля и продажа, дает возможность отдельным производителям удовлетворять свои разнообразные потребности. Так и было в средние века. Крестьянин, например, продавал ремесленнику сельскохозяйственные продукты и покупал у него ремесленные изделия. В это общество отдельных производителей, товаропроизводителей, и вклинился новый способ производства. Среди стихийного, *беспланового* разделения труда, господствующего во всем обществе, он установил разделение труда, организованное *по плану* на каждой отдельной фабрике; рядом с *производством отдельных мелких производителей* появилось *общественное* производство. Продукты того и другого продавались на одних и тех же рынках, а следовательно, по ценам, по крайней мере, приблизительно равным. Но плановая организация оказалась могущественнее стихийного разделения труда; на фабриках, применявших общественный труд, изготовление продуктов обходилось дешевле, чем у разрозненных мелких производителей. Производство отдельных производителей побивалось в одной области за другой, общественное производство революционизировало, наконец, весь старый способ производства. Однако этот революционный характер общественного производства так мало сознавался, что оно, наоборот, вводилось именно ради усиления и поощрения товарного производства. Оно возникло в непосредственной связи с определенными, уже раньше его существовавшими рычагами производства и обмена товаров: купеческим капиталом, ремеслами и наемным трудом. Ввиду того, что оно выступало как новая форма товарного производства, свойственные товарному производству формы присвоения также и для нее сохраняли свою полную силу.

При той форме товарного производства, которая развивалась в средние века, вопрос о том, кому должны принадлежать продукты труда, не мог даже и возникнуть. Они изготовлялись отдельным производителем обыкновенно из собственного сырья,

часто им же самим произведенного, собственными орудиями и собственными руками или руками семьи. Такому производителю незачем было присваивать себе свои продукты, они принадлежали ему по самому существу дела. Следовательно, право собственности на продукты покоилось *на собственном труде*. Даже там, где пользовались посторонней помощью, она, как правило, играла лишь побочную роль и зачастую вознаграждалась не одной только заработной платой, но и иным путем: цеховой ученик и подмастерье работали не столько ради содержания и платы, сколько ради собственного обучения и подготовки к званию самостоятельного мастера. Но вот началась концентрация средств производства в больших мастерских и мануфактурах, превращение их по сути дела в общественные средства производства. С этими общественными средствами производства и продуктами продолжали, однако, поступать так, как будто они попрежнему оставались средствами производства и продуктами труда отдельных лиц. Если до сих пор собственник орудий труда присваивал продукт, потому что это был, как правило, его собственный продукт, а чужой вспомогательный труд был исключением, то теперь собственник средств труда продолжал присваивать себе продукты, хотя они производились уже не *его трудом*, а исключительно *чужим трудом*. Таким образом, продукты общественного труда стали присваиваться не теми, кто на самом деле приводил в движение средства производства и в действительности был производителем этих продуктов, а *капиталистом*. Средства производства и производство по существу своему стали общественными. Но они остаются подчиненными той форме присвоения, которая своей предпосылкой имеет частное производство отдельных производителей, когда каждый, следовательно, является владельцем своего продукта и выносит его на рынок. Способ производства подчиняется этой форме присвоения, несмотря на то, что он уничтожает ее предпосылки¹. Это противоречие, сообщившее новому способу производства его капиталистический характер, заключало в зародыше все коллизии современности. И чем полнее становилось господство нового способа производства во всех решающих отраслях производства и во всех экономически господствующих странах, сводя тем самым индивидуальное производство к незначительным остаткам, тем резче

¹ Нет надобности разяснять здесь, что если форма присвоения и остается прежней, то характер его вследствие вышеописанного процесса претерпевает не меньшую революцию, чем характер самого производства. Присваивая ли я продукт своего собственного или продукт чужого труда, — это, конечно, два весьма различных вида присвоения. Заметим мимоходом, что наемный труд, в котором скрыт уже в зародыше весь капиталистический способ производства, существует с давних времен; в единичной, случайной форме мы встречаем его в течение столетий рядом с рабством. Но скрытый зародыш только тогда мог развиваться в капиталистический способ производства, когда созрели необходимые для него исторические условия. [Примечание Энгельса.]

должна была выступать несовместимость общественного производства с капиталистическим присвоением.

Первые капиталисты застали, как мы видели, форму наемного труда уже готовой. Но наемный труд существовал лишь в виде исключения, побочного, подсобного занятия, переходного положения. Земледелец, нанимавший по временам на поденную работу, имел свой собственный клочок земли, который мог обеспечить ему скудное существование. Цеховые уставы заботились о том, чтобы сегодняшний подмастерье завтра становился мастером. Но все изменилось, как только средства производства превратились в общественные и сконцентрировались в руках капиталистов. Средства производства и продукты мелкого индивидуального производителя все более и более обесценивались, и ему не оставалось ничего иного, как наниматься к капиталисту. Наемный труд, существовавший раньше в виде исключения и подсобного промысла, стал правилом и основной формой всего производства; из побочного, каким он был прежде, он превратился теперь в единственное занятие рабочего. Рабочий, нанимающийся время от времени, превратился в пожизненного наемного рабочего. Масса пожизненных наемных рабочих к тому же чрезвычайно увеличилась благодаря одновременному крушению феодального порядка, роспуску свит феодалов, изгнанию крестьян из их усадеб и т. д. Произошел полный разрыв между средствами производства, сконцентрированными в руках капиталистов, с одной стороны, и производителями, лишенными всего, кроме своей рабочей силы, с другой стороны. *Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением выступает наружу как антагонизм между пролетариатом и буржуазией.*

Мы видели, что капиталистический способ производства вошел в общество, состоявшее из отдельных товаропроизводителей, общественная связь между которыми осуществлялась посредством обмена их продуктов. Но особенность каждого общества, основанного на производстве товаров, заключается в том, что в нем производители теряют власть над своими собственными общественными отношениями. Каждый производит сам по себе, случайно имеющимися у него средствами производства и для своей особой потребности в обмене. Никто не знает, сколько появится на рынке того продукта, который он производит, и в каком количестве он может найти потребителей; никто не знает, есть ли действительная нужда в продукте его единоличного труда, окупятся ли его издержки производства, да и вообще будет ли он продан. В общественном производстве господствует анархия. Но товарное производство, как и всякая другая форма производства, имеет свои особые, присущие ему и неотделимые от него, законы; и эти законы пробивают себе путь вопреки анархии, в самой этой анархии, через нее. Эти законы проявляются в един-

ственно сохранившейся форме общественной связи — в обмене — и действуют на отдельных производителей как принудительные законы конкуренции. Они, следовательно, сначала неизвестны даже самим производителям и должны быть открыты ими лишь постепенно, путем долгого опыта. Следовательно, они устанавливаются помимо производителей и против производителей, как слепо действующие естественные законы их формы производства. Продукт господствует над производителями.

В средневековом обществе, в особенности в первые столетия, производство было направлено, главным образом, на собственное потребление. Оно удовлетворяло по преимуществу только потребности самого производителя и его семьи. Там же, где, как в деревне, существовали отношения личной зависимости, производство удовлетворяло также потребности феодала. Следовательно, здесь не существовало обмена, и продукты не принимали характера товаров. Крестьянская семья производила почти все для нее нужное: орудия и одежду, так же как и жизненные средства. Производить на продажу она начала только тогда, когда стала производить излишек сверх собственного потребления и уплаты натуральных повинностей феодальному господину; этот излишек, пущенный в общественный обмен, предназначенный для продажи, становился товаром. Городские ремесленники должны были, конечно, уже с самого начала производить для обмена. Но и они вырабатывали большую часть нужных для собственного потребления предметов самостоятельно; они имели огороды и небольшие поля, пасли свой скот в общинном лесу, который, кроме того, доставлял им строительный материал и топливо; женщины пряли лен, шерсть и т. д. Производство с целью обмена, производство товаров еще только возникало. Отсюда — ограниченность обмена, ограниченность рынка, стабильность способа производства, местная замкнутость по отношению к внешнему миру, объединение внутри местных рамок, марка¹ в деревнях, цехи в городах.

С расширением же товарного производства и в особенности с появлением капиталистического способа производства дремавшие раньше законы товарного производства стали действовать более открыто и властно. Старые связи были расшатаны, бывшие перегородки разрушены, и производители все более и более превращались в разъединенных и независимых товаропроизводителей. Анархия общественного производства выступила наружу, принимая все более и более острый характер. А между тем главнейшее орудие, с помощью которого капитализм усиливал анархию в общественном производстве, представляло собой прямую противоположность анархии: это была растущая организация производства как производства общественного в

¹ — древнегерманская община. *Ред.*

каждом отдельном производственном предприятии. С помощью этого рычага капиталистический способ производства покончил со старой мирной стабильностью. Проникая в любую отрасль промышленности, он изгонял из нее старые методы производства. Овладевая ремеслом, он уничтожал старое ремесло. Поле труда стало полем битвы. Великие географические открытия¹ и последовавшая за ними колонизация увеличили во много раз область сбыта и ускорили превращение ремесла в мануфактуру. Борьба разгоралась уже не только между местными отдельными производителями; местные схватки разрослись, в свою очередь, до размеров национальной борьбы, до торговых войн XVII и XVIII веков². Наконец, крупная промышленность и возникновение мирового рынка сделали эту борьбу всеобщей и в то же время придали ей неслыханную напряженность. В отношениях между отдельными капиталистами, как и между целыми отраслями производства и между целыми странами, вопрос о существовании решается тем, обладают ли они выгодными, естественными или искусственно созданными, условиями производства. Победенные безжалостно устраняются. Это — дарвиновская борьба за отдельное существование, перенесенная — с удесyтеренной яростью — из природы в общество. Естественное состояние животных выступает как венец человеческого развития. Противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением проявляется как *противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всем обществе*.

В этих обеих формах проявления противоречия, присущего капиталистическому способу производства в силу его происхождения, безвыходно движется этот способ производства, описывая «порочный круг», который открыл в нем уже Фурье. Но во времена Фурье, конечно, еще невозможно было видеть, что этот круг постепенно суживается, что движение производства идет скорее по спирали и, подобно движению планет, должно закончиться столкновением с центром. Движущая сила общественной анархии производства превращает постоянно возрастающее большинство человечества в пролетариев, а пролетарские массы, в свою очередь, уничтожат в конце концов анархию производства. Та же движущая сила социальной анархии производства превращает возможность бесконечного усовершенствования машин, применяемых в крупной промышленности, в принудительный

¹ Важнейшие из них — открытие в 1492 г. Америки Христофором Колумбом и открытие в 1498 г. португальцем Васко да Гама морского пути в Индию. *Ред.*

² Эти войны XVII и XVIII веков велись между Португалией, Испанией, Голландией, Францией и Англией за овладение торговлей с Индией и Америкой и превращение их в колонии. Победительницей из этих войн вышла Англия, в руках которой оказалась к концу XVIII века вся мировая торговля. *Ред.*

закон для каждого отдельного промышленного капиталиста, в закон, повелевающий ему беспрерывно совершенствовать свои машины под страхом гибели. Но усовершенствование машин делает излишним определенное количество человеческого труда. Если введение и распространение машин означало вытеснение миллионов работников ручного труда немногими рабочими при машинах, то усовершенствование машин означает все более и более усиленное вытеснение самих рабочих машинного труда и, в конечном счете, образование усиленного предложения рабочих рук, превышающего средний спрос на них со стороны капитала. Масса незанятых рабочих образует настоящую промышленную резервную армию, — как я назвал ее еще в 1845 г.¹, — являющуюся к услугам производства, когда оно работает на всех парах, и выбрасываемую на мостовую крахом, неизбежно следующим за каждым оживлением; эта армия, постоянно висящая свинцовой гирей на ногах рабочего класса в борьбе за существование между ним и капиталом, служит регулятором заработной платы, постоянно удерживая ее на низком уровне, соответственно потребности капитала. Таким образом, выходит, что машина, говоря словами Маркса, становится сильнейшим оружием капитала против рабочего класса, что орудие труда постоянно вырывает жизненные средства из рук трудящегося и собственный продукт рабочих превращается в орудие их порабощения. Это приводит к тому, что экономия на средствах труда является вместе с тем с самого начала самой беззащитной растратой рабочей силы и хищничеством по отношению к нормальным условиям труда; что машина, это сильнейшее средство сокращения рабочего времени, превращается в самое верное средство для того, чтобы обратить всю жизнь рабочего и его семьи в рабочее время, в целях увеличения стоимости капитала. Вот почему чрезмерный труд одной части рабочего класса обуславливает полную безработицу другой его части, а крупная промышленность, по всему свету гоняющаяся за потребителями, ограничивает у себя дома потребление рабочих масс голодным минимумом и таким образом подрывает свой собственный внутренний рынок. «Закон, что относительное перенаселение, или промышленная резервная армия, постоянно поддерживается в состоянии равновесия с размерами и энергией накопления, приковывает рабочего к капиталу крепче, чем молот Гефеста приковывал Прометея к скале. Он обуславливает накопление нищеты, соответственное накоплению капитала. Следовательно, накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, одичания и моральной деградации на противополож-

¹ «Lage der arbeitenden Klasse in England», S. 109. *[Примечание Энгельса.]* («Положение рабочего класса в Англии», стр. 109. — См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 378—379. Ред.)

ном полюсе, т. е. на стороне класса, который *производит свой собственный продукт как капитал*» (Марх. «Kapital». S. 671)¹. Ждать от капиталистического способа производства другого распределения продуктов имело бы такой же смысл, как требовать, чтобы электроды батареи, оставаясь в соединении с ней, перестали разлагать воду и собирать на положительном полюсе кислород, а на отрицательном — водород.

Мы видели, как способность современных машин к усовершенствованию, доведенная до высочайшей степени, превращается, вследствие анархии производства в обществе, в принудительный закон, заставляющий отдельных промышленных капиталистов постоянно улучшать свои машины и постоянно увеличивать их производительную силу. В такой же принудительный закон превращается для них и простая фактическая возможность расширять размеры своего производства. Громадная способность крупной промышленности к расширению, перед которой расширяемость газов оказывается настоящей детской игрушкой, проявляется теперь в виде *потребности* расширять эту промышленность и качественно и количественно, — потребности, не считающейся ни с каким противодействием. Это противодействие образуется потреблением, сбытом, рынками для продуктов крупной промышленности. Способность же рынков как к экстенсивному, так и к интенсивному расширению определяется совсем иными законами, действующими с гораздо меньшей энергией. Расширение рынков не может поспевать за расширением производства. Столкновение становится неизбежным, и так как оно не в состоянии разрешить конфликт до тех пор, пока не взорвет самый капиталистический способ производства, то оно становится периодическим. Капиталистическое производство порождает новый «порочный круг».

И действительно, начиная с 1825 г., когда разразился первый общий кризис, весь промышленный и торговый мир, производство и обмен всех цивилизованных народов вместе с их более или менее варварскими придатками приблизительно раз в десять лет сходят с рельсов. Торговля останавливается, рынки переполняются массой не находящих сбыта продуктов, наличные деньги исчезают из обращения, кредит прекращается, фабрики останавливаются, рабочие лишаются всяких жизненных средств, ибо они произвели эти средства в слишком большом количестве; банкротства следуют за банкротствами, аукционы сменяются аукционами. Застой длится годами, массы производительных сил и продуктов расточаются и уничтожаются, пока накопившиеся товарные массы, более или менее обесцененные, не разойдутся, наконец, и не возобновится постепенно движение производства и обмена. Мало-помалу движение это ускоряется, шаг сменяется рысью, промышленная рысь переходит в галоп, уступающий свое

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 515. Ред.

место бешеному карьеру, настоящей скачке с препятствиями, охватывающей промышленность, торговлю, кредит и спекуляцию, чтобы после отчаянных скачков снова свалиться в бездну краха. И так постоянно сызнова. С 1825 г. мы уже пять раз пережили этот круговорот и теперь (в 1877 г.) переживаем его в шестой. Характер этих кризисов до такой степени ярко выражен, что Фурье определил все эти кризисы разом, назвав первый из них *crise pléthorique*¹, кризисом от излишка.

В кризисах противоречие между общественным производством и капиталистическим присвоением доходит до насильственного взрыва. Обращение товаров на время прекращается; средство обращения — деньги — становится тормозом обращения; все законы производства и обращения товаров действуют наизуворот. Экономическая коллизия достигает своей высшей точки: *способ производства восстает против способа обмена, производительные силы восстают против способа производства, который они переросли.*

Тот факт, что общественная организация производства внутри фабрик достигла такой степени развития, что стала несовместимой с существующей рядом с ней и над ней анархией производства в обществе, — этот факт становится осязательным для самих капиталистов благодаря насильственной концентрации капиталов, совершающейся во время кризисов путем разорения многих крупных и еще большего числа мелких капиталистов. Весь механизм капиталистического способа производства перестает действовать под тяжестью им же самим созданных производительных сил. Он не может уже превращать в капитал всю массу средств производства; они остаются без употребления, а потому вынуждена бездействовать и резервная армия рабочих. Средства производства, жизненные средства, рабочие, находящиеся в распоряжении капитала, — все элементы производства и общего благосостояния имеются в избытке. Но, как говорит Фурье, этот «избыток становится источником нужды и лишений», потому что именно он-то и препятствует превращению средств производства и жизненных средств в капитал. Ибо в капиталистическом обществе средства производства не могут вступать в действие иначе, как превратившись сначала в капитал, т. е. в орудие эксплуатации человеческой рабочей силы. Как призрак, стоит между рабочими, с одной стороны, и средствами производства и жизненными средствами, с другой, необходимость превращения этих средств в капитал. Она одна препятствует соединению вещественных и личных рычагов производства; она одна мешает средствам производства действовать, а рабочим — трудиться и жить. Следовательно, с одной стороны, капиталистический способ производства изобличается в своей собственной

¹ Буквально — кризис от полнокровия. *Ред.*

неспособности к дальнейшему управлению производительными силами. С другой стороны, сами производительные силы с возрастающей мощью стремятся к уничтожению этого противоречия, к освобождению себя от всего того, что свойственно им в качестве капитала, *к фактическому признанию их характера как общественных производительных сил.*

Это сопротивление мощно возрастающих производительных сил их капиталистическому характеру, эта возрастающая необходимость признания их общественной природы принуждает класс самих капиталистов все чаще и чаще обращаться с ними, насколько это вообще возможно при капиталистических отношениях, как с общественными производительными силами. Как периоды промышленной горячки с их безгранично раздутым кредитом, так и самые крахи, разрушающие крупные капиталистические предприятия, приводят к такой форме обобществления больших масс средств производства, какую мы встречаем в различного рода акционерных обществах. Некоторые из этих средств производства и сообщения, как, например, железные дороги, по своей природе до того колоссальны, что они исключают всякую другую форму капиталистической эксплуатации. На известной ступени развития становится недостаточной и эта форма; [все крупные производители одной и той же отрасли промышленности данной страны объединяются в один «трест», в союз, с целью регулирования производства. Они определяют общую сумму того, что должно быть произведено, распределяют ее между собой и навязывают наперед установленную продажную цену. А так как эти тресты при первой заминке в делах большей частью распадутся, то они тем самым вызывают еще более концентрированное обобществление: целая отрасль промышленности превращается в одно сплошное колоссальное акционерное общество, конкуренция внутри страны уступает место монополии этого общества внутри данной страны. Так это случилось в 1890 г. и с английским производством щелочей, которое после слияния всех 48 крупных фабрик перешло в руки единственного, руководимого единым центром, общества с капиталом в 120 миллионов марок.

В трестах свободная конкуренция превращается в монополию, а бесплановое производство капиталистического общества капитулирует перед плановым производством грядущего социалистического общества. Правда, сначала только на пользу и к выгоде капиталистов. Но в этой своей форме эксплуатация становится настолько осязательной, что должна рухнуть. Ни один народ не согласился бы долго мириться с производством, руководимым трестами с их неприкрытой эксплуатацией всего общества небольшой шайкой лиц, живущих стрижкой купонов.

Так или иначе, с трестами или без трестов, в конце концов] государство как официальный представитель капиталистического

общества вынуждено¹ взять на себя руководство производством. Эта необходимость превращения в государственную собственность наступает прежде всего для крупных средств сообщения: почты, телеграфа и железных дорог.

Если кризисы показали неспособность буржуазии к дальнейшему управлению современными производительными силами, то переход крупных производственных предприятий и средств сообщения в руки акционерных компаний [и трестов] и в собственность государства доказывает ненужность буржуазии для этой цели. Все общественные функции капиталиста выполняются теперь наемными служащими. Для самих капиталистов не осталось другой общественной деятельности, кроме загребания доходов, стрижки купонов и игры на бирже, где различные капиталисты отнимают друг у друга капиталы. Капиталистический способ производства, вытеснявший сперва рабочих, вытесняет теперь и самих капиталистов, правда, пока еще не в промышленную резервную армию, а только в разряд излишнего населения.

Но ни переход в руки акционерных обществ [и трестов], ни превращение в государственную собственность не уничтожают, однако, капиталистического характера производительных сил. Относительно акционерных компаний [и трестов] это совершенно очевидно. А современное государство опять-таки есть лишь организация, которую создает себе буржуазное общество для охраны общих, внешних условий капиталистического способа производства от посягательств как рабочих, так и отдельных капита-

¹ Я говорю «вынуждено», так как лишь в том случае, когда средства производства или сообщения действительно перерастут управление акционерных обществ, когда их огосударствление станет экономически неизбежным, только тогда — даже если его совершит современное государство — оно будет экономическим прогрессом, новым шагом по пути к тому, чтобы само общество взяло в свое владение все производительные силы. Но в последнее время, с тех пор как Бисмарк бросился на путь огосударствления, появился особого рода фальшивый социализм, выродившийся местами в своеобразный вид добровольного лакейства, объявляющий без оличностей социалистическим *всякое*, даже бисмарковское, обращение средств производства в государственную собственность. Если государственная табачная монополия есть социализм, то Наполеон и Меттерних несомненно должны быть занесены в число основателей социализма. Когда бельгийское правительство, из самых обыденных политических и финансовых соображений, само взялось за постройку главных железных дорог; когда Бисмарк без малейшей экономической необходимости превратил в государственную собственность главнейшие прусские железнодорожные линии просто ради удобства приспособления и использования их в случае войны, для того чтобы вышколить железнодорожных чиновников и сделать из них послушно вотирующее за правительство стадо, а главным образом для того, чтобы иметь новый, независимый от парламента источник дохода, — то все это ни в коем случае не было шагом к социализму, ни прямым, ни косвенным, ни сознательным, ни бессознательным. Иначе должны быть признаны социалистическими учреждениями королевское общество морской торговли, королевская фарфоровая мануфактура и даже ротные швальни в армии [или даже всерьез предложенное при Фридрихе-Вильгельме III в тридцатых годах каким-то умником огосударствление... домов терпимости]. [*Примечание Энгельса.*]

листов. Современное государство, какова бы ни была его форма, есть по самой своей сути капиталистическая машина, государство капиталистов, идеальный совокупный капиталист. Чем больше производительных сил возьмет оно в свою собственность, тем полнее будет его превращение в совокупного капиталиста и тем большее число граждан будет оно эксплуатировать. Рабочие останутся наемными рабочими, пролетариями. Капиталистические отношения не уничтожаются, а, наоборот, доводятся до крайности, до высшей точки. Но на высшей точке происходит переворот. Государственная собственность на производительные силы не разрешает конфликта, но она содержит в себе формальное средство, возможность его разрешения.

Это разрешение может состоять лишь в том, что общественная природа современных производительных сил будет признана на деле и что, следовательно, способ производства, присвоения и обмена будет приведен в соответствие с общественным характером средств производства. А это может произойти только таким путем, что общество открыто и не прибегая ни к каким окольным путям возьмет в свое владение производительные силы, переросшие всякий другой способ управления ими, кроме общественного. Тем самым общественный характер средств производства и продуктов, который теперь оборачивается против самих производителей и периодически потрясает способ производства и обмена, прорываясь как слепое действующий закон природы, насильственно и разрушительно, — этот общественный характер будет тогда использован производителями с полной сознательностью и превратится из причины расстройств и периодических крахов в сильнейший рычаг самого производства.

Общественные силы, подобно силам природы, действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с ними. Но раз мы познали их, изучили их действие, направление и влияние, то только от нас самих зависит подчинять их все более и более нашей воле и с помощью их достигать наших целей. Это в особенности относится к современным могучим производительным силам. Пока мы упорно отказываемся понимать их природу и характер, — а этому пониманию противятся капиталистический способ производства и его защитники, — до тех пор производительные силы действуют вопреки нам, против нас, до тех пор они властвуют над нами, как это подробно показано выше. Но раз понята их природа, они могут превратиться в руках ассоциированных производителей из демонических повелителей в покорных слуг. Здесь та же разница, что между разрушительной силой электричества в молниях грозы и укрощенным электричеством в телеграфном аппарате и дуговой лампе, та же разница, что между пожаром и огнем, действующим на службе человеку. Когда с современными производительными силами станут обращаться сообразно с их познанной, наконец,

природой, общественная анархия в производстве заменится общественно-планомерным регулированием производства, рассчитанного на удовлетворение потребностей как целого общества, так и каждого его члена. Тогда капиталистический способ присвоения, при котором продукт порабощает сперва производителя, а затем и присвоителя, будет заменен новым способом присвоения, основанным на самой природе современных средств производства: с одной стороны, прямым общественным присвоением продуктов в качестве средств для поддержания и расширения производства, а с другой — прямым индивидуальным присвоением их в качестве средств к жизни и наслаждению.

Все более и более превращая громадное большинство населения в пролетариев, капиталистический способ производства создает силу, которая под угрозой гибели вынуждена совершить этот переворот. Заставляя все более и более обращаться в государственную собственность крупные обобществленные средства производства, капитализм сам указывает путь к совершению этого переворота. *Пролетариат берет государственную власть и превращает средства производства прежде всего в государственную собственность.* Но тем самым он уничтожает самого себя как пролетариат, тем самым он уничтожает все классовые различия и классовые противоположности, а вместе с тем и государство как государство. Существовавшему и существующему до сих пор обществу, которое движется в классовых противоположностях, было необходимо государство, т. е. организация эксплуататорского класса для поддержания его внешних условий производства, значит, в особенности для насильственного удержания эксплуатируемого класса в определяемых данным способом производства условиях подавления (рабство, крепостничество или феодальная зависимость, наемный труд). Государство было официальным представителем всего общества, его сосредоточением в видимой корпорации, но оно было таковым лишь постольку, поскольку оно было государством того класса, который для своей эпохи один представлял все общество: в древности оно было государством рабовладельцев — граждан государства, в средние века — феодального дворянства, в наше время — буржуазии. Когда государство наконец-то становится действительно представителем всего общества, тогда оно само себя делает излишним. Когда не будет общественных классов, которые нужно держать в подчинении, когда не будет господства одного класса над другим и борьбы за существование, коренящейся в современной анархии производства, когда будут устранены вытекающие отсюда столкновения и насилия, тогда уже некого будет подавлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность в государственной власти, исполняющей ныне эту функцию. Первый акт, в котором государство выступит действительным представителем всего общества — обращение средств производства в обще-

ственную собственность, — будет его последним самостоятельным действием в качестве государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения станет мало-помалу излишним и прекратится само собою. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не «отменяется», оно *отмирает*. На основании этого следует оценивать фразу про «свободное народное государство»¹, фразу, имевшую на время агитаторское право на существование, но в конечном счете научно несостоятельную. На основании этого следует оценивать также требование так называемых анархистов, чтобы государство было отменено с сегодня на завтра.

С тех пор как на сцену истории выступило капиталистическое производство, взятие обществом всех средств производства в свое владение часто представлялось в виде более или менее туманного идеала будущего как отдельным личностям, так и целым сектам. Но оно стало возможным, стало исторической необходимостью лишь тогда, когда материальные условия его проведения в жизнь оказались налицо. Как и всякий другой общественный прогресс, оно становится осуществимым не вследствие осознания того, что существование классов противоречит справедливости, равенству и т. п., не вследствие простого желания отменить классы, а в силу известных новых экономических условий. Разделение общества на классы — эксплуатирующий и эксплуатируемый, господствующий и угнетенный — было неизбежным следствием прежнего незначительного развития производства. Пока общественный труд дает в совокупности продукцию, едва превышающую самые необходимые средства существования всех, пока труд отнимает все или почти все время громадного большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы. Рядом с этим огромным большинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется класс, освобожденный от прямого производительного труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусства и т. д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда. Это, однако, отнюдь не исключало применения насилия, хищничества, хитрости и обмана при образовании классов и не мешало господствующему классу, захватившему власть, упрочивать свое положение за счет трудящихся классов и превращать руководство обществом в [усиленную] эксплуатацию масс.

Поэтому если разделение на классы и имело известное историческое оправдание, то оно имело его лишь для известного

¹ О «свободном народном государстве» см. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс*, Избр. произв., т. II, 1948, стр. 22—26, *В. И. Ленин*, Сочинения, изд. 3-е, т. XXI, стр. 379—383, 413—415 и *И. В. Сталин*, Вопросы ленинизма, изд. II-е, стр. 250—251. *Ред.*

периода и при известных общественных условиях. Оно обуславливалось недостаточностью производства и будет уничтожено полным развитием современных производительных сил. И, действительно, уничтожение общественных классов предполагает достижение той ступени исторического развития, на которой является анахронизмом, выступает как отжившее не только существование того или другого определенного господствующего класса, но и какого бы то ни было господствующего класса вообще, а следовательно, и самое деление на классы. Следовательно, уничтожение классов предполагает такую высокую ступень развития производства, на которой присвоение особым общественным классом средств производства и продуктов, — а с ними и политического господства, монополии образования и духовного руководства, — не только становится излишним, но и является препятствием для экономического, политического и умственного развития. Эта ступень теперь достигнута. Политическое и умственное банкротство буржуазии едва ли составляет тайну даже для нее самой, а ее экономическое банкротство повторяется регулярно каждые десять лет. При каждом кризисе общество задыхается под тяжестью своих собственных производительных сил и продуктов, которые оно не может использовать, и остается беспомощным перед бессмысленным противоречием, когда производители не могут потреблять, потому что недостает потребителей. Сила расширения средств производства разрывает оковы, наложенные капиталистическим способом производства. Освобождение средств производства от этих оков есть единственное предварительное условие непрерывного, постоянно ускоряющегося развития производительных сил, а благодаря этому — и практически безграничного роста самого производства. Но этого недостаточно. Обращение средств производства в общественную собственность устраняет не только существующее теперь искусственное торможение производства, но также и то прямое расточение и уничтожение производительных сил и продуктов, которое в настоящее время является неизбежным спутником производства и достигает своих высших размеров в кризисах. Сверх того, это присвоение сберегает для общества массу средств производства и продуктов путем устранения безумной роскоши господствующих теперь классов и их политических представителей. Возможность обеспечить всем членам общества путем общественного производства не только вполне достаточные и с каждым днем улучшающиеся материальные условия существования, но также полное свободное развитие и применение их физических и умственных способностей, — эта возможность достигнута теперь впервые, но теперь она действительно *достигнута*¹.

¹ Несколько цифр могут дать приблизительное представление с невероятной способностью современных средств производства к расширению даже

Раз общество возьмет во владение средства производства, то будет устранено товарное производство, а вместе с тем и господство продуктов над производителями. Анархия внутри общественного производства заменяется плановой, сознательной организацией. Прекращается борьба за отдельное существование. Тем самым человек теперь — в известном смысле окончательно — выделяется из царства животных и из звериных условий существования переходит в условия действительно человеческие. Условия жизни, окружающие людей и до сих пор над ними господствовавшие, теперь подпадают под власть и контроль людей, которые впервые становятся действительными и сознательными повелителями природы, потому что они становятся господами своей обобществленной жизни. Законы их собственных общественных действий, противостоявшие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут применяться людьми с полным знанием дела, следовательно, будут подчинены их господству. Общественное бытие людей, противостоявшее им до сих пор, как навязанное свыше природой и историей, становится теперь их собственным свободным делом. Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самого человека. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в значительной и все возрастающей степени и те следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы.

[В заключение подведем кратко итоги изложенному нами ходу развития:

I. *Средневековое общество*: Мелкое индивидуальное производство. Средства производства предназначены для индивидуального употребления и потому примитивно неуклюжи, мелки, с ничтожным действием. Производство с целью непосредственного потребления продуктов самим ли производителем или его феодальным господином. Лишь там, где оказывается излишек производства над непосредственным потреблением, этот излишек подлежит продаже и поступает в обмен: следовательно, товарное

под капиталистическим гнетом. По новейшим вычислениям Гиффена общая сумма всех богатств Великобритании и Ирландии составляла круглым числом:

в 1814 г.	2 200 млн. ф. ст.	=	44 млрд. марок
» 1865 »	6 100 » » »	=	122 » »
» 1875 »	8 500 » » »	=	170 » »

Что же касается уничтожения средств производства и продуктов во время кризисов, то на втором конгрессе немецких промышленников (в Берлине, 21 февраля 1878 г.) было установлено, что общие убытки одной только *германской железной промышленности* достигли во время последнего кризиса 455 млн. марок. [*Примечание Энгельса.*]

производство находится лишь в процессе возникновения; но уже и в это время оно включает в себе в зародыше *анархию общественного производства*.

II. *Капиталистическая революция*: Переворот в промышленности, совершающийся сначала посредством простой кооперации и мануфактуры. Концентрация разбросанных до сих пор средств производства в больших мастерских и превращение их этим путем из индивидуальных средств производства в общественные, — превращение, в общем и целом не коснувшееся формы обмена. Старые формы присвоения остаются в силе. Выступает *капиталист*: в качестве собственника средств производства он присваивает себе также и продукты и превращает их в товары. Производство становится общественным актом; обмен же, а с ним и присвоение продуктов остаются индивидуальными актами, актами отдельных лиц: *продукт общественного труда присваивается отдельным капиталистом*. Это и составляет основное противоречие, откуда вытекают все те противоречия, в которых движется современное общество и которые с особенной ясностью обнаруживаются в крупной промышленности.

а) Отделение производителя от средств производства. Обращение рабочего на пожизненный наемный труд. *Противоположность между пролетариатом и буржуазией*.

б) Возрастающее значение и усиливающееся действие законов, господствующих над товарным производством. Необузданная конкуренция. *Противоречие между общественной организацией на каждой отдельной фабрике и общественной анархией в производстве в целом*.

в) С одной стороны — усовершенствование машин, обратившееся благодаря конкуренции в принудительный закон для каждого отдельного фабриканта и означающее в то же время постоянно усиливающееся вытеснение из фабрик рабочих: *возникновение промышленной резервной армии*. — С другой стороны — беспредельное расширение производства, что также стало принудительным законом конкуренции для каждого фабриканта. — С обеих сторон — неслыханное развитие производительных сил, превышение предложения над спросом, перепроизводство, переполнение рынков, кризисы, повторяющиеся каждые десять лет, порочный круг: *здесь — излишек средств производства и продуктов, там — излишек рабочих без работы и без средств существования*. Но оба эти рычага производства и общественного благосостояния не могут соединиться, потому что капиталистическая форма производства не позволяет производительным силам действовать, а продуктам циркулировать иначе, как под условием предварительного превращения их в капитал, чему именно и препятствует их излишек. Это противоречие возрастает до бессмыслицы: *способ производства восстает против формы обмена*. Буржуазия уличается, таким образом, в неспособности к

дальнейшему управлению своими собственными общественными производительными силами.

г) Частичное признание общественного характера производительных сил, — признание, к которому вынуждаются сами капиталисты. Обращение крупных организмов производства и сообщения — сперва в собственность *акционерных компаний*, позже — трестов, а затем — и *государства*. Буржуазия оказывается излишним классом; все ее общественные функции выполняются теперь наемными служащими.

III. *Пролетарская революция*, разрешение противоречий: Пролетариат берет общественную власть и обращает силой этой власти ускользающие из рук буржуазии общественные средства производства в собственность всего общества. Этим он освобождает производительные силы от всего того, что до сих пор было им свойственно в качестве капитала, и дает полную свободу развитию их общественной природы. Отныне становится возможным общественное производство по заранее обдуманному плану. Развитие производства делает анахронизмом дальнейшее существование различных общественных классов. В той же мере, в какой исчезает анархия общественного производства, отмирает политический авторитет государства. Люди, ставшие, наконец, господами своего собственного общественного бытия, становятся вследствие этого господами природы, господами самих себя — свободными.]

Совершить этот освобождающий мир подвиг — таково историческое призвание современного пролетариата. Исследовать исторические условия, а вместе с тем и самую природу этого переворота и, таким образом, выяснить ныне угнетенному классу, призванному совершить этот подвиг, условия и природу его собственного дела — такова задача научного социализма, являющегося теоретическим выражением пролетарского движения.

III

ПРОИЗВОДСТВО

Приняв во внимание все предыдущее, читатель не найдет удивительным, что изложенные в последнем отделе основные черты социализма г. Дюрингу отнюдь не по вкусу. Наоборот. Г-н Дюринг должен выбросить их в мусорную яму, ко всем прочим «ублюдкам исторической и логической фантастики», к «диким концепциям», «спутанным, туманным представлениям» и т. д. Для него ведь социализм отнюдь не есть необходимый результат исторического развития и тем менее результат грубо материальных экономических условий современности, направленных исключительно на достижение целей насыщения желудка. У него дело поставлено куда более основательно. Его социализм является

окончательной истиной в последней инстанции, представляет «естественную систему общества», коренится в «универсальном принципе справедливости», и если г. Дюринг вынужден все-таки принять к сведению существующее, созданное предыдущей грешной историей, положение вещей, чтобы улучшить это последнее, — то в этом надо видеть скорее несчастье для чистого принципа справедливости. Г-н Дюринг создает свой социализм, как и все прочее, при помощи своих пресловутых двух мужей. Вместо того чтобы играть, как до сих пор, роли господина и слуги, эти две марионетки на сей раз разыгрывают для разнообразия пьесу о равноправии — и дюринговский социализм готов в своей основе.

Поэтому само собой разумеется, что у г. Дюринга периодические промышленные кризисы отнюдь не имеют того исторического значения, которое мы должны были признать за ними. Для него кризисы представляют лишь случайные отклонения от «нормального состояния» и служат, самое большее, поводом «к развитию более упорядоченного строя». «Обычный способ» объяснения кризисов перепроизводством отнюдь не отвечает требованиям его «более точного понимания». Впрочем, такое объяснение «применимо, пожалуй, к особым кризисам в отдельных областях». Таков, например, случай «переполнения книжного рынка изданиями пригодных для массового сбыта сочинений, перепечатка которых внезапно объявляется свободной для всех». Г-н Дюринг может, конечно, спокойно лечь спать, с отрадным сознанием того, что его бессмертные творения ликогда не породят такого всемирного бедствия. Но при больших кризисах «пропасть между запасами товаров и их сбытом становится в конечном счете столь критически широкой» не вследствие перепроизводства, а вследствие «отставания народного потребления... вследствие искусственно созданного недопотребления... вследствие помех естественному росту *народной потребности (!)*». И для подобной теории кризисов ему посчастливилось все же найти последователя.

Но к несчастью, недопотребление масс, ограничение их потребления только тем, что безусловно необходимо для поддержания жизни и продолжения рода, — явление, отнюдь не новое. Оно существует с тех пор, как существуют эксплуатирующие и эксплуатируемые классы. Даже в те исторические периоды, когда положение масс было особенно благоприятно, например, в Англии XV века, их потребление все-таки было недостаточно. Они далеко не располагали для удовлетворения своих потребностей всем продуктом своего годового труда. Таким образом, недопотребление составляет постоянное историческое явление в течение тысячелетий, между тем как внезапно проявляющийся во время кризисов общий застой в сбыте вследствие перепроизводства стал наблюдаться лишь в последние 50 лет. И нужна вся вульгарно-

экономическая поверхностность г. Дюринга, чтобы объяснять новую коллизия не *новым* явлением перепроизводства, а старым фактом недопотребления, длящимся тысячелетия. Это равносильно тому, как если бы в математике стали объяснять изменение отношения двух величин, постоянной и переменной, не тем, что изменяется переменная, а тем, что постоянная остается неизменной. Недопотребление масс есть необходимое условие всех основанных на эксплуатации форм общества, а следовательно, и капиталистической; но только капиталистическая форма производства доводит дело до кризисов. Недопотребление масс является, следовательно, одной из предпосылок кризисов и играет в них давно признанную роль; но это столь же мало говорит нам о причинах существующих ныне кризисов, как и о том, почему их не было раньше.

Г-н Дюринг вообще имеет удивительные представления о мировом рынке. Мы видели, что он, как настоящий немецкий литератор, пытается происходящие в действительности особые промышленные кризисы объяснить себе на примере воображаемых кризисов на лейпцигском книжном рынке, бурю на море — бурей в стакане воды. Он воображает далее, что нынешнее капиталистическое производство вынуждено «вертеться со своим сбытом, главным образом, *в кругу самих имущих классов*», — что не мешает ему всего 16 страницами дальше признать, следуя общему мнению, решающими современными индустриями железодельную и хлопчатобумажную промышленность, т. е. как раз такие две отрасли производства, продукты которых в ничтожно малой своей части потребляются имущими классами, а предназначаются для массового потребления преимущественно перед всеми другими отраслями. Какое бы рассуждение г. Дюринга мы ни взяли, мы не найдем ничего кроме пустой, полной противоречий болтовни о том и о сем. Возьмем, однако, пример из хлопчатобумажной промышленности. В сравнительно небольшом городе Ольдгеме — одном из дюжины занимающихся хлопчатобумажным производством городов вокруг Манчестера, с населением от 50 000 до 100 000, — в этом отдельно взятом городе за четыре года, с 1872 по 1875 г., число веретен, занятых прядением одного только 32 номера, возросло с 2½ до 5 миллионов; таким образом, в одном только городе Англии, и притом городе средней величины, прядением одного только номера занято столько веретен, сколько их имеется вообще в хлопчатобумажной промышленности всей Германии с Эльзасом включительно. Если принять во внимание, что расширение производства в остальных отраслях и центрах хлопчатобумажной индустрии Англии и Шотландии произошло приблизительно в таких же размерах, то нужна значительная доза «основательной» развязности, чтобы нынешний общий застой в сбыте хлопчатобумажной пряжи и тканей объяснять недопотреблением английских народных масс, а не

перепроизводством продукции английских хлопчатобумажных фабрикантов¹.

Однако довольно. Нельзя спорить с людьми, которые настолько невежественны в политической экономии, что вообще принимают лейпцигский книжный рынок за рынок в смысле современной индустрии. Укажем поэтому только, что в своих дальнейших рассуждениях г. Дюринг не в состоянии сказать нам о кризисах ничего, кроме того, что дело идет здесь лишь «об обычной смене сильного напряжения и вялости», что чрезмерная спекуляция «происходит не только от непланового скопления частных предприятий», но что «к причинам возникновения избыточного предложения следует отнести также опрометчивость отдельных предпринимателей и недостаточную частную предусмотрительность». Но что же, в свою очередь, является «причиной возникновения» опрометчивости и недостаточной частной предусмотрительности? Опять-таки та самая неплановость капиталистического производства, которая обнаруживается в беспорядочном скоплении частных предприятий. Принимать перевод экономического факта на язык нравственных упреков за открытие новой причины — тоже свидетельство изрядной «опробетчивости».

Покончим на этом с кризисами. После того как в предыдущем отделе мы установили неизбежность кризисов, порождаемую капиталистическим способом производства, и их значение как кризисов самого этого способа производства, как принудительных орудий общественного переворота, — после этого излишне тратить слова на возражения против поверхностных взглядов г. Дюринга по рассматриваемому вопросу. Перейдем к его положительному творчеству, к его «естественной системе общества».

Эта система, построенная на «универсальном принципе справедливости» и избавленная, таким образом, от всякой необходимости считаться с докучливыми материальными фактами, состоит из федерации хозяйственных коммун, между которыми существует «свобода передвижения и обязательный прием новых членов, согласно определенным законам и административным нормам». Сама хозяйственная коммуна является прежде всего «всеобъемлющим схематизмом всемирно-исторического значения» и далеко превосходит «ошибочные половинчатости», скажем, некоего Маркса. Под коммуной г. Дюринг разумеет «сообщество лиц, которые в силу своего публичного права распоряжения известным пространством земли и группой производственных предприятий объединены между собой для совместной

¹ Объяснение кризисов недопотреблением ведет свое начало от Сисмонди, у которого оно имеет еще некоторый смысл У Сисмонди это объяснение заимствовал Родбертус, а г. Дюринг, в свою очередь, списал его у Родбертуса, придав лишь ему, по своему обыкновению, плоский характер. [Примечание Энгельса.]

деятельности и совместного участия в доходе». Публичное право есть «право на вещь... в смысле *чисто публицистического отношения к природе* и производственным установлениям». Что сие должно означать, — над этим пусть ломают себе головы будущие юристы хозяйственной коммуны, мы же отказываемся от какой бы то ни было попытки в этом направлении. Мы узнаем от г. Дюринга только то, что это право отнюдь не тождественно с «корпоративной собственностью рабочих обществ», которая не исключает взаимной конкуренции и даже эксплуатации наемного труда. При этом вскользь говорится, что «идея общей собственности», встречающаяся также у Маркса, «по меньшей мере неясна и вызывает сомнения, ибо это представление о будущем всегда имеет такой вид, как будто оно означает лишь корпоративную собственность отдельных рабочих групп». Мы снова имеем здесь дело со столь обычным у г. Дюринга «презренным приемом» подтасовки, «для вульгарного характера которого» (как он сам говорит) «вполне подходило бы только вульгарное слово — гнусный»; это такая же высосанная из пальца ложь, как и другая выдумка г. Дюринга, будто общая собственность является у Маркса «собственностью и индивидуальной и общественной в то же время».

Одно, во всяком случае, ясно: публицистическое право данной хозяйственной коммуны на ее средства производства является исключительным правом собственности, по крайней мере по отношению ко всякой другой хозяйственной коммуне, а также по отношению ко всему обществу и государству. Но это право должно быть лишено возможности «изолироваться... от внешнего мира... ибо между различными хозяйственными коммунами существует свобода передвижения и обязательный прием новых членов, согласно определенным законам и административным нормам... подобно... нынешней принадлежности к какому-нибудь политическому организму или участию в хозяйственных делах общины». Следовательно, будут существовать богатые и бедные хозяйственные коммуны, и их уравнивание будет происходить путем притока населения к богатым коммунам и отлива его из бедных коммун. Таким образом, г. Дюринг, желающий устранить конкуренцию из-за продуктов между отдельными коммунами посредством организации торговли в национальном масштабе, преспокойно оставляет существовать конкуренцию из-за производителей. Вещи поставлены вне сферы конкуренции, люди же оставлены в зависимости от нее.

Однако это еще далеко не дает нам ясности относительно «публицистического права». Двумя страницами далее г. Дюринг объявляет нам: торговая коммуна простирается «прежде всего так же далеко, как и та политическо-общественная область, жители которой являются в своем объединении единым правовым субъектом и в качестве такового имеют право распоряжаться общественными землями, жилищами и производственным

аппаратом». Итак, право распоряжаться принадлежит все-таки не отдельной коммуне, а всей нации. «Публичное право», «право на вещь», «публицистическое отношение к природе» и т. п. — все это не только «по меньшей мере неясно и вызывает сомнения», но и находится в прямом противоречии с самим собой. В действительности мы имеем перед собой — по крайней мере, поскольку каждая отдельная хозяйственная коммуна является также субъектом права, — «собственность и индивидуальную и общественную в то же время»; а эту «туманную убудочную форму» можно встретить поэтому опять-таки только у самого г. Дюринга.

Во всяком случае, хозяйственная коммуна распоряжается своими средствами труда в целях производства. Как же идет это производство? Если судить по тому, что сообщает нам г. Дюринг, оно идет совсем по-старому, с той только разницей, что место капиталиста заняла теперь коммуна. В лучшем случае мы узнаем еще, что только отныне каждому предоставляется свободный выбор профессии и что устанавливается равная для всех обязанность труда.

Основную форму всего существовавшего до сих пор производства образует разделение труда, с одной стороны, внутри общества, с другой — внутри каждого отдельного производственного предприятия. Как же относится к разделению труда дюринговский «социалитет»?

Первым крупным общественным разделением труда является отделение города от деревни. Этот антагонизм, полагает г. Дюринг, «неустраним по самой природе вещей». Однако, «вообще не вполне правильно представлять себе пропасть между земледелием и индустрией... незаполнимой. В действительности уже теперь существует некоторая непрерывность перехода между ними, и в будущем она обещает стать значительно большей». Так, например, в земледелие и сельское хозяйство проникли уже две индустрии: «во-первых, винокурение, во-вторых, производство свекловичного сахара... значение же производства спирта так велико, что его скорее преуменьшают, чем преувеличивают». И «если бы вследствие каких-нибудь открытий оказалось возможным образование такого значительного круга индустрий, что явилась бы необходимость локализовать производство в деревне и непосредственно связать его с производством сырых материалов», то этим самым была бы ослаблена противоположность между городом и деревней и «приобретена широчайшая основа для развития цивилизации». Впрочем, «нечто подобное может возникнуть и другим путем. Кроме технической необходимости, все большее значение приобретают социальные потребности, и когда эти последние получат решающее влияние на группировку различных видов человеческой деятельности, то невозможно уже будет оставлять в пренебрежении те выгоды, которые произте-

кают из систематической тесной связи между занятиями деревни и деятельностью по технической переработке продуктов».

Но вот в хозяйственной коммуне возникает как раз вопрос о социальных потребностях. Не поспешит ли она в таком случае использовать в полной мере упомянутые выше выгоды соединения земледелия с индустрией? Г-н Дюринг не замедлит теперь, конечно, с обычной для него обстоятельностью сообщить нам свое «более точное понимание» отношения хозяйственной коммуны к этому вопросу? Жестоко обманулся бы читатель, подумав так. Приведенные выше тощие и беспомощные общие места, которые все время вертятся вокруг да около винокуренной и сахароваренной сферы действия прусского земского права, — вот и все, что г. Дюринг в состоянии сказать нам по вопросу о противоположности между городом и деревней в настоящем и будущем.

Перейдем к разделению труда в подробностях. Здесь г. Дюринг уже немного «более точен». Он говорит о «личности, которая должна отдаться *исключительно одному* роду деятельности». Если дело идет о введении какой-нибудь новой отрасли производства, то вопрос заключается просто в том, есть ли возможность некоторым образом создать определенное число *существ*, которые *посвятили бы себя производству одного вида продуктов*, а также возможно ли создать необходимое для них потребление (!). Любая отрасль производства в социалитете «не *потребуется труда* большой массы *населения*». И в социалитете тоже будут существовать «*экономические разновидности*» людей, «различающиеся по своему образу жизни». Таким образом, в сфере производства все остается более или менее по-старому. Правда, г. Дюринг признает, что в обществе господствует до сих пор «порочное разделение труда», но в чем заключается это последнее и чем оно будет заменено в хозяйственной коммуне, об этом мы узнаем лишь следующее: «Что касается вопроса о самом разделении труда, то, как мы уже сказали выше, он может считаться решенным, раз будут приниматься во внимание различия природных условий и личных способностей». Рядом со способностями будет играть роль и личная склонность: «привлекательность перехода к таким родам деятельности, которые требуют больших способностей и предварительной подготовки, будет покоиться исключительно на склонности к соответствующему занятию и на удовольствии от *выполнения именно этой и никакой другой вещи*» (выполнение вещи!). Таким путем в социалитете будет вызвано соревнование, «само производство приобретет известный интерес, и тупое ремесленничество, которое ценит производство лишь как средство для получения дохода, перестанет налагать свой глубокий отпечаток на все общественные отношения».

Во всяком обществе со стихийно сложившимся развитием производства, — а современное общество является именно таким, — не производители господствуют над средствами произ-

водства, а средства производства господствуют над производителями. В таком обществе каждый новый рычаг производства необходимо превращается в новое средство порабощения производителей средствами производства. Сказанное относится прежде всего к тому рычагу производства, который вплоть до возникновения крупной индустрии был наиболее могущественным, — к разделению труда. Уже первое большое разделение труда — отделение города от деревни — обрекло сельское население на тысячелетия отупения, а горожан — на порабощение каждого специальным его ремеслом. Оно уничтожило основу духовного развития сельского населения и физического развития горожан. Если крестьянин овладевает землей, а городской ремесленник — своим ремеслом, то в такой же степени земля овладевает крестьянином, а ремесло — ремесленником. Вместе с разделением труда делится на части и сам человек. Развитию одной какой-нибудь деятельности приносятся в жертву все прочие физические и духовные способности. Это калечение человека возрастает в той же мере, в какой растет и разделение труда, достигающее своего высшего развития в мануфактуре. Мануфактура разлагает ремесло на его отдельные частичные операции, отводит каждую из них отдельному рабочему как его пожизненную профессию и приковывает его, таким образом, на всю жизнь к определенной частичной функции и к определенному орудию труда. «Она¹ превращает рабочего в урод, искусственно культивируя в нем одну только специальную способность и подавляя весь остальной мир производительных задатков и дарований... сам индивид разделяется, превращается в автоматическое орудие данной частичной работы» (Маркс)², — в автоматическое орудие, которое во многих случаях достигает своего совершенства лишь путем буквального физического и духовного уродования рабочего. При машинном производстве, в крупной индустрии рабочий перестает быть даже машиной, а низводится до роли простого придатка к ней. «Пожизненная специальность: управлять частичным орудием, превращается в пожизненную специальность: служить частичной машине. Машинной злоупотребляют для того, чтобы самого рабочего превратить с раннего детства в часть частичной машины» (Маркс)³. И не одни только рабочие, но и классы, прямо или косвенно эксплуатирующие их, также оказываются, вследствие разделения труда, рабами орудий своей деятельности: духовно опустошенный буржуа — раб своего собственного капитала и своей собственной страсти к прибыли; юрист порабощен своими окостенелыми правовыми воззрениями, которые как самостоятельная сила владеют им; «образованные классы» вообще порабощены разнообразными формами местной ограниченности и

¹ — мануфактура. *Ред.*

² См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 272. *Ред.*

³ Там же, стр. 323. *Ред.*

односторонности, своей собственной физической и духовной близорукостью, своей изуродованностью воспитанием, выкроенным по мерке одной определенной специальности, своей прикованностью на всю жизнь к этой самой специальности — даже и тогда, когда этой специальностью является просто ничегонеделание.

Уже утописты вполне понимали последствия разделения труда, видели калечение, с одной стороны, рабочего, а с другой стороны — самой трудовой деятельности, которая сводится к тому, что рабочий в течение всей своей жизни однообразно, механически повторяет одну и ту же операцию. И Оуэн и Фурье требовали уничтожения противоположности между городом и деревней, как первого и основного условия для уничтожения старой системы разделения труда вообще. Согласно взгляду обоих, население должно распределяться по стране группами в 1 600—3 000 человек; каждая группа занимает в центре своей территории громадный дворец и ведет общее домашнее хозяйство. И хотя Фурье говорит местами о городах, однако сами эти города состоят только из четырех или пяти таких дворцов, расположенных по соседству друг с другом. Согласно взгляду обоих, каждый член общества занимается и земледелием и промышленностью. У Фурье главную роль в промышленности играют ремесло и мануфактура, у Оуэна, напротив, — крупная промышленность, и он требует уже применения силы пара и машин также к работам домашнего хозяйства. Но оба они выдвигают требование, чтобы в земледелии и в промышленности существовало возможно большее чередование занятий для отдельного лица и чтобы, сообразно с этим, юношество подготавливалось воспитанием к возможно более всесторонней технической деятельности. По мнению обоих, человек должен всесторонне развивать свои способности путем всесторонней практической деятельности, и труд должен вновь вернуть себе утраченную вследствие его разделения привлекательность — прежде всего посредством указанного чередования занятий и соответствующей этому небольшой продолжительности «сеанса» (употребляя выражение Фурье), посвящаемого каждой отдельной работе. Оба названные утописта стоят неизмеримо выше унаследованного г. Дюрингом образа мыслей эксплуататорских классов, согласно которому противоположность между городом и деревней неустраима по самой природе вещей. Согласно этому жалкому, ограниченному образу мыслей, известное количество «существ» должно остаться при всех условиях обреченным на то, чтобы производить *один* вид предметов: таким путем хотят увековечить существование «экономических разновидностей» людей, различающихся по своему образу жизни, — людей, испытывающих удовольствие от того, что они занимаются одним, и никаким другим, делом, и, следовательно, так глубоко опустившихся, что они *радуются* своему собственному порабощению, своему превращению в однокое

существо. При сопоставлении с основными мыслями, заключающимися даже в самых безумно смелых фантазиях «идиота» Фурье, при сопоставлении даже с самыми скудными идеями «грубого, тусклого и скудного» Оуэна, г. Дюринг, который сам еще всецело остается рабом разделения труда, оказывается лишь заносчивым карликом.

Овладев всеми средствами производства в целях их общественно-планомерного применения, общество уничтожит существующее ныне порабощение людей их собственными средствами производства. Само собой разумеется, что общество не может освободить себя, не освободив и каждого отдельного человека. Старый способ производства должен быть, следовательно, низвергнут до основания, в особенности же должно исчезнуть старое разделение труда. На его место должна вступить такая организация производства, где, с одной стороны, никто не мог бы сваливать на другого свою долю участия в производительном труде, этом естественном условии человеческого существования, и где, с другой стороны, производительный труд, вместо того чтобы быть средством порабощения людей, стал бы средством их освобождения, предоставляя каждому возможность развивать во всех направлениях и действительно проявлять все свои способности, как физические, так и духовные, следовательно, где производительный труд из тяжелого бремени превратится в наслаждение.

Все это в настоящее время уже отнюдь не фантазия и не благочестивое пожелание. При современном развитии производительных сил достаточно уже того увеличения производства, которое будет вызвано самим фактом обобществления производительных сил, достаточно одного устранения возникающих вследствие капиталистического способа производства затруднений и помех, расточения продуктов и средств производства, чтобы, при всеобщем участии в труде, рабочее время каждого было доведено до незначительных, по нынешним представлениям, размеров.

Точно так же уничтожение старой системы разделения труда отнюдь не является требованием, которое может быть осуществлено лишь в ущерб производительности труда. Напротив, благодаря крупной промышленности оно стало условием самого производства. «Машинное производство уничтожает необходимость мануфактурно закреплять это распределение, овладевая одними и теми же рабочими неизменно для одних и тех же функций. Так как движение фабрики в целом исходит не от рабочего, а от машины, то здесь может совершаться постоянная смена персонала, не вызывая перерывов процесса труда... Наконец, та быстрота, с которой человек в юношеском возрасте научается работать при машине, в свою очередь, устраняет необходимость создавать особый класс рабочих как исключительно машинных рабочих»¹. Но

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 322. *Ред.*

в то время как капиталистический способ применения машин вынужден сохранять и дальше старое разделение труда с его око-стенелыми частичными функциями, несмотря на то, что оно стало технически излишним, — само машинное производство восстает против этого анахронизма. Технический базис крупной индустрии революционен. «Посредством машин, химических процессов и других методов она постоянно производит перевороты в техническом базисе производства, а вместе с тем и в функциях рабочих и в общественных сочетаниях процесса труда. Таким образом она столь же постоянно революционизирует разделение труда внутри общества и непрерывно бросает массы капитала и массы рабочих из одной отрасли производства в другую. Поэтому природа крупной промышленности обуславливает перемену труда, движение функций, всестороннюю подвижность рабочего... Мы видели, как это абсолютное противоречие... находит свирепое выражение в непрерывных гекатомбах рабочего класса, непомерном росточении рабочих сил и опустошениях, связанных с общественной анархией. Это — отрицательная сторона. Но если перемена труда теперь пролагает себе путь только как непреодолимый закон природы и со слепой разрушительной силой закона природы, который повсюду наталкивается на препятствия, то, с другой стороны, сама крупная промышленность своими катастрофами делает вопросом жизни и смерти признание перемены труда, а потому и возможно большей многосторонности рабочих, за всеобщий закон общественного производства, к нормальному осуществлению которого должны быть приспособлены отношения. Она как вопрос жизни и смерти ставит задачу: чудовищность несчастного резервного рабочего населения, которое держится про запас для изменяющихся потребностей капитала в эксплуатации, заменить абсолютной пригодностью человека для изменяющихся потребностей в труде; частичного рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции, заменить всесторонне развитым индивидом, для которого различные общественные функции представляют сменяющие друг друга способы жизнедеятельности» (Маркс, «Капитал») ¹.

Научив нас превращать, в технических целях, молекулярное движение, осуществимое более или менее везде, в движение масс, крупная индустрия в значительной степени освободила промышленное производство от местных рамок. Сила воды была связана с данным местом, сила пара — свободна. Если сила воды связана по необходимости с деревней, то сила пара отнюдь не обязательно связана с городом. Только капиталистическое применение последней сосредоточивает ее преимущественно в городах и превращает фабричные села в фабричные города. Но этим самым оно в то же время подрывает условия нормального

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 378—379. *Ред.*

хода производства. Первая потребность паровой машины и главная потребность почти всех отраслей крупной промышленности — это наличие сравнительно чистой воды. Между тем фабричный город превращает всякую воду в вонючую жижу. Поэтому в той же мере, в какой концентрация в городах является основным условием капиталистического производства, в той же мере каждый промышленный капиталист в отдельности постоянно стремится перенести свое предприятие из больших городов, неизбежно создаваемых этой концентрацией, в условия сельскохозяйственного производства. Этот процесс можно детально изучить в текстильных округах Ланкашира и Йоркшира; капиталистическая крупная промышленность непрерывно создает новые большие города тем, что она постоянно устремляется из города в деревню. То же самое происходит в округах металлообрабатывающей промышленности, где те же результаты порождаются отчасти другими причинами.

Уничтожить этот новый порочный круг, это постоянно возобновляющееся противоречие современной промышленности, возможно опять-таки лишь с уничтожением ее капиталистического характера. Только общество, способное установить гармоническое сочетание производительных сил по единому общему плану, может позволить промышленности разместиться по всей стране так, как это наиболее удобно для ее развития и сохранения, а также и для развития прочих элементов производства.

Таким образом, уничтожение противоположности между городом и деревней не только возможно, — оно стало прямой необходимостью для самого промышленного производства, как и для производства сельскохозяйственного, и, сверх того, оно необходимо в интересах общественной гигиены. Только путем слияния города и деревни можно устранить нынешнее отравление воздуха, воды и почвы, и только при этом условии массы городского населения, ныне чахнувшие, сумеют добиться такого положения, при котором их отбросы будут использованы в качестве удобрения для сельского хозяйства, вместо того чтобы породить болезни.

Капиталистическая промышленность уже стала относительно независимой от узких рамок местного производства необходимых ей сырых материалов. Текстильная промышленность перерабатывает преимущественно привозное сырье. Испанская железная руда перерабатывается в Англии и Германии, испанская и южноамериканская медная руда — в Англии. Каждый каменноугольный бассейн снабжает промышленность горючим материалом далеко за своими пределами, охватывая все более расширяющуюся с каждым годом область. На всем европейском побережье паровые машины приводятся в движение английский каменный уголь, местами — немецким и бельгийским. Общество, освобожденное от пут капиталистического производства,

может пойти в этом направлении еще гораздо дальше. Вырастив новое поколение всесторонне развитых производителей, которые понимают научные основы всего промышленного производства и каждый из которых изучил практически целый ряд отраслей производства от начала до конца, общество тем самым создает новую производительную силу, которая с избытком перевесит труд по перевозке сырья и горючих материалов из более отдаленных пунктов.

Следовательно, уничтожение разрыва между городом и деревней отнюдь не является утопией также и с точки зрения возможно более равномерного распределения крупной промышленности по всей стране. Цивилизация оставила нам, конечно, в лице крупных городов наследие, избавиться от которого будет стоить много времени и усилий. Но они должны быть устранены — и будут устранены, хотя бы это был очень продолжительный процесс. Какая бы участь ни была суждена прусско-германской империи, Бисмарк может лечь в могилу с гордым сознанием, что его задушевное желание, гибель больших городов, наверно осуществится.

Теперь, после всего сказанного, можно оценить по достоинству ребяческое представление г. Дюринга, будто общество может взять во владение всю совокупность средств производства, не производя коренного переворота в старом способе производства и не устраняя прежде всего старого разделения труда; будто задача может быть признана решенной, раз только «станут считаться с естественными условиями и личными способностями». При этом, однако, целые массы человеческих существ останутся попрежнему прикованными к производству *одного* какого-нибудь вида продуктов, целые «населения» будут заняты в одной какой-нибудь отрасли производства, и человечество будет, как и до сих пор, делиться на известное число различным образом искалеченных «экономических разновидностей», каковыми являются теперь «тачечники» и «архитекторы». Выходит, что общество в целом должно стать господином средств производства лишь для того, чтобы каждый отдельный член общества остался рабом своих средств производства, получив только право выбрать *определенное* орудие своего порабощения. Пусть читатель обратит также внимание на то, как г. Дюринг объявляет разрыв между городом и деревней «неустранимым по самой природе вещей», допуская в этом отношении лишь ничтожный паллиатив в специфически прусских, по своей связи, отраслях производства — винокуренной и свеклосахарной; как размещение промышленности по всей стране он ставит в зависимость от будущих открытий и от *вынужденной* необходимости непосредственно связывать промышленное производство с добычей сырья — сырья, которое уже теперь идет в дело во все растущем отдалении от места его

добычи, — и как он, в заключение, пытается прикрыть свой тыл уверением, что социальные потребности в конце концов приведут все-таки к соединению земледелия с индустрией, даже *вопреки* экономическим соображениям, словно этим приносится экономическая жертва!

Революционные элементы, которым предстоит устранить старое разделение труда, а вместе с тем и разрыв между городом и деревней, и произвести переворот во всем производстве, содержатся уже в зачаточном состоянии в условиях производства современной крупной индустрии и встречают препятствие для своего дальнейшего развития лишь в нынешнем капиталистическом способе производства. Но для понимания этого нужно, конечно, иметь несколько более широкий горизонт, чем область действия прусского земского права, где водка и свекловичный сахар являются решающими продуктами индустрии и где о торговых кризисах судят по делам книжного рынка. Для этого надо знать настоящую крупную индустрию, в ее историческом развитии и ее современном действительном положении, в той именно стране, которая является ее родиной и единственным местом, где она достигла своего классического развития. А тогда никому не придет, конечно, в голову опошлять современный научный социализм и низводить его до *специфически прусского социализма* г. Дюринга.

IV

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Мы уже видели выше, что дюринговская политическая экономия сводится к положению: капиталистический способ *производства* вполне хорош и может быть сохранен, но капиталистический способ *распределения* — от лукавого, и он должен исчезнуть. Теперь мы убедились, что дюринговский «социалитет» представляет собой не что иное, как осуществление этого положения в фантазии. В самом деле, г. Дюринг не находит почти никаких недостатков в способе производства капиталистического общества как таковом, он хочет сохранить прежнее разделение труда во всех существенных чертах и потому ничего толком сказать не может о производстве в проектируемой им хозяйственной коммуне. Конечно, производство — это область, где мы имеем дело с осязательными фактами, и «рациональная фантазия» может предоставить здесь полету своей свободной души лишь ничтожный простор, так как опасность осрамиться слишком велика. Другое дело — распределение, которое, по мнению г. Дюринга, не находится ни в какой связи с производством и определяется не производством, а простым актом воли: оно как бы самим небом предназначено для того, чтобы служить ареной для дюринговской «социальной алхимии».

Одинаковой для всех обязанности участвовать в производстве соответствует одинаковое право на потребление, — последнее имеет организованный характер как в хозяйственной коммуне, так и в коммуне торговой, обнимающей целый ряд хозяйственных коммун. Здесь «труд выменивается на другой труд, согласно принципу одинаковой оценки... Выполненная работа и то, что дается за нее взамен, представляют здесь действительно равные количества труда». И притом это «уравнивание человеческих сил» сохраняет свое значение «независимо от того, сколько отдельные личности произвели продуктов, больше или меньше, и *даже* в том случае, когда они случайно *ничего* не произвели», ибо всякое дело, поскольку оно требует затраты времени или сил, — следовательно, и игру в кегли и прогулку, — можно рассматривать как выполненную работу. Но этот обмен происходит не между отдельными лицами, так как община является собственником всех средств производства, а следовательно, и всех продуктов; этот обмен происходит, с одной стороны, между каждой хозяйственной коммуной и ее отдельными членами, а с другой — между различными хозяйственными коммунами. «Ведь отдельные хозяйственные коммуны заменяют в своих собственных пределах мелкую торговлю вполне планомерным сбытом». Точно так же будет организована торговля в крупных размерах. «Система свободного хозяйственного общества... остается поэтому громадным меновым учреждением, мероприятия которого осуществляются на основаниях, данных благородными металлами. Понимание неизбежной необходимости этого основного свойства отличает нашу схему от всех тех туманных воззрений, которые примешаны даже к наиболее рациональным формам ходячих социалистических представлений».

В интересах этого обмена хозяйственная коммуна, как первый присвоитель общественного продукта, должна назначать «для каждого рода предметов единообразную цену», отвечающую средним издержкам производства. «Ту роль, которую играет в настоящее время... для определения стоимости и цены так называемая себестоимость производства, будет играть (в социалитете) ...подсчет требующихся количеств труда. Эти оценки, согласно принципу, признающему за каждой личностью равные права также и в хозяйственной области, сводятся, в конечном счете, к зависимости от числа участвовавших в работе лиц; они и будут служить вместе с тем основанием для определения отношения цен, соответствующего одновременно естественным отношениям производства и общественному праву реализации. Производство благородных металлов и тогда сохранит то руководящее значение, какое оно имеет и в настоящее время, для установления стоимости денег... Отсюда

видно, что в измененном общественном строе мы не только не утрачиваем, но, напротив, здесь-то впервые находим подлинный принцип определения и меру, действительные в первую очередь для стоимостей, а следовательно, и для тех отношений, в которых продукты взаимно обмениваются». Знаменитая «абсолютная стоимость», наконец, реализована.

Но, с другой стороны, коммуна должна будет также предоставить отдельным лицам возможность покупать у нее произведенные продукты, для чего коммуна будет выплачивать каждому своему члену ежедневно, еженедельно или ежемесячно определенную, для всех одинаковую, сумму денег в качестве эквивалента за его труд. «Поэтому, с точки зрения социалитета, безразлично, говорить ли о том, что заработная плата должна исчезнуть, или же о том, что она должна стать исключительной формой экономических доходов». Но одинаковые заработные платы и одинаковые цены создают «количественное, если не качественное, равенство потребления», и тем самым получают свое экономическое осуществление «универсальный принцип справедливости». Что же касается определения уровня этой заработной платы будущего, то об этом г. Дюринг говорит только, что здесь, как и во всех других случаях, обменивается «одинаковый труд на одинаковый труд». За шестичасовой труд будет поэтому выплачиваться сумма денег, воплощающую в себе также шесть часов труда.

Однако «универсальный принцип справедливости» отнюдь не следует смешивать с той грубой уравнильностью, которая приводит буржуа в такую ярость против всякого коммунизма, в особенности же против стихийного рабочего коммунизма. Этот принцип далеко не такой уж неумолимый, каким ему хотелось бы казаться. «Принципиальное равенство прав в экономической области не исключает того, что наряду с удовлетворением требований справедливости будет иметь место *добровольное* выражение особой признательности и почета... Общество *делает самому себе честь*, когда отмечает высшие виды деятельности, предоставляя им *умеренную прибавку* для нужд потребления». И г. Дюринг тоже делает себе честь, когда, соединяя кротость голубя с мудростью змия, так трогательно заботится об умеренном добавочном потреблении для дюрингов будущего.

Этим самым, по Дюрингу, окончательно устраняется капиталистический способ распределения. Ибо «если даже допустить, что при наличии такого положения вещей кто-нибудь действительно имел бы в своем распоряжении излишек частных средств, то он не в состоянии будет найти для этого излишка никакого капиталистического применения. Ни отдельная личность, ни группа лиц не станут приобретать данный излишек для целей производства иначе, как путем обмена или покупки,

но никогда они не будут вынуждены платить кому-либо проценты или барыш». И поэтому допустимо «наследование, соответствующее принципу равенства». Оно неизбежно, ибо «наследование в какой-либо форме всегда будет необходимым спутником семейного принципа». Право наследования тоже «не сможет привести к накоплению больших состояний, ибо образование собственности... здесь больше уже не может иметь своей целью создание средств производства и возможности существовать исключительно в качестве рантье».

Таким образом, хозяйственная коммуна как будто благополучно сконструирована. Посмотрим теперь, как она хозяйствует.

Мы предполагаем, что все проекты г. Дюринга вполне осуществлены; мы заранее предполагаем, следовательно, что хозяйственная коммуна выплачивает каждому своему члену за его ежедневный шестичасовой труд денежную сумму, в которой воплощены также шесть часов труда, скажем — 12 марок. Равным образом мы предполагаем, что цены точно соответствуют стоимостям, т. е., согласно нашим предпосылкам, включают в себе только затраты на сырье, изнашивание машин, потребление средств труда и выплаченную заработную плату. Хозяйственная коммуна, состоящая из ста работающих членов, производит в таком случае ежедневно товаров на 1 200 марок, а в год, состоящий из 300 рабочих дней, — на 360 000 марок, и такую же сумму она выплачивает своим членам, из которых каждый делает, что ему угодно, со своей долей в 12 марок в день, или 3 600 марок в год. В конце года, как и через сто лет, коммуна не будет богаче, чем в самом начале. В течение всего этого времени она не будет даже в состоянии предоставлять г. Дюрингу умеренную прибавку для нужд потребления, если она не хочет затронуть для этого фонд своих средств производства. Накопление совершенно забыто. Хуже того: так как накопление является общественной необходимостью и сохранение денег дает удобную для накопления форму, то организация хозяйственной коммуны прямо поощряет ее членов к частному накоплению и тем самым — к разрушению самой коммуны.

Как избежать этого разлада в природе хозяйственной коммуны? Она могла бы искать выхода в излюбленном «обложении данью», в надбавке к цене, и продавать свое годовое производство вместо 360 000 марок за 480 000. Но так как все остальные хозяйственные коммуны находятся в том же самом положении и потому должны были бы сделать то же самое, то каждой из них, при обмене с другой, пришлось бы платить такую же сумму «дани», какую она сама кладет в карман, и, таким образом, «подать» ложилась бы целиком на ее собственных членов.

Или же коммуна решит это дело гораздо проще, а именно — шестичасовой труд каждого члена коммуны она будет оплачивать продуктом не шестичасового труда, а меньшего количества часов, скажем — всего только четырех часов, т. е. вместо 12 марок будет платить ежедневно только 8 марок, оставляя при этом цены товаров на прежней высоте. В этом случае коммуна прямо и открыто делает то, что она в предыдущем случае пыталась делать скрыто и окольным путем: она ежегодно накапливает открытую Марксом прибавочную стоимость в размере 120 000 марок, оплачивая чисто капиталистическим способом труд своих членов ниже произведенной стоимости и расценивая в то же время по полной стоимости товары, которые они могут приобретать только у нее. Таким образом, хозяйственная коммуна только в том случае сможет образовать резервный фонд, если она разоблачит себя как «облагороженную» truck system¹ на самой широкой коммунистической основе.

Итак, одно из двух: либо хозяйственная коммуна обменивает «равные количества труда на равные», и в таком случае не она, а только частные лица в состоянии накопить у себя фонд для поддержания и расширения производства, либо же она образует такой фонд, но в таком случае она не обменивает «равные количества труда на равные».

Так обстоит дело с содержанием обмена в хозяйственной коммуне. А как обстоит дело с его формой? Обмен осуществляется посредством металлических денег, и г. Дюринг немало кичится «всемирно-историческим значением» этого усовершенствования. Но в сношениях между коммуной и ее членами эти деньги отнюдь не являются деньгами, они отнюдь не функционируют в качестве денег. Они служат настоящими трудовыми сертификатами или, говоря словами Маркса, они лишь констатируют «долю индивидуального участия производителя в общем труде и долю его индивидуальных притязаний на потребление общего продукта» и в этой своей функции «имеют с деньгами так же мало общего, как, скажем, театральные билеты»². Они могут поэтому быть заменены каким угодно знаком, и Вейтлинг, например, заменяет их «торговой книгой», где на одной стороне отмечаются рабочие часы, а на другой — причитающиеся за них предметы потребления. Одним словом, в сношениях хозяйственной коммуны с ее членами деньги функционируют просто как оуэновские «рабочие деньги», единицей которых служит час труда — этот «фантом»,

¹ Truck system называется в Англии хорошо известная также в Германии система, при которой фабриканты сами являются владельцами лавок и заставляют своих рабочих приобретать нужные им товары в этих лавках [Примечание Энгельса.]

² См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 49, примечание. *Ред.*

на который с таким презрением взирает г. Дюринг и который он сам, однако, принужден ввести в свое хозяйство будущего. Будет ли марка, обозначающая количество выполненных «производственных обязанностей» и приобретенных за это «прав на потребление», клочком бумаги, жетоном или золотой монетой, — это для *данной* цели совершенно безразлично. Но для других целей это далеко не безразлично, как будет показано ниже.

Если, таким образом, металлические деньги уже в сношениях хозяйственной коммуны с ее членами функционируют не в качестве денег, а как замаскированные трудовые марки, то еще менее они осуществляют свою функцию денег при обмене между различными хозяйственными коммунами. Здесь, если допустить предпосылки г. Дюринга, металлические деньги совершенно излишни. Действительно, тут было бы совершенно достаточно простой бухгалтерии, которая гораздо проще обслуживает обмен продуктов известного количества труда на продукты такого же количества труда, если она ведет счет при помощи естественного мерилла труда — времени — и рабочего часа как его единицы, чем в том случае, когда она предварительно переводит рабочие часы на деньги. Обмен является здесь в действительности чисто натуральным обменом; все превышения требований легко и просто выравниваются путем переводов на другие коммуны. Если же какая-нибудь коммуна действительно оказалась бы в дефиците по отношению к другим коммунам, то все «существующее во вселенной золото», как ни считать его «деньгами по самой природе своей», не в состоянии избавить эту коммуну от необходимости покрытия дефицита путем увеличения собственного труда, если только она не желает впасть в долговую зависимость от других коммун. Впрочем, пусть читатель все время не упускает из виду, что мы здесь отнюдь не занимаемся конструированием будущего. Мы просто принимаем условно предположения г. Дюринга и только делаем неизбежно вытекающие из них выводы.

Итак, золото, которое «по самой природе своей является деньгами», не может осуществить этой своей природной функции ни в обмене между хозяйственной коммуной и ее членами, ни в обмене между отдельными коммунами. Тем не менее г. Дюринг предписывает золоту выполнение этой функции и в «социалитете». При таком положении дела приходится искать для нее другой сферы деятельности. И такая сфера действительно существует. Хотя г. Дюринг и дает каждому право на «количественно одинаковое потребление», но он никого не может принудить к этому. Наоборот, он гордится тем, что в созданном им мире каждый может делать со своими деньгами все, что ему угодно. Он не может, следовательно, помешать

тому, чтобы некоторые из членов коммуны откладывали деньжонки, между тем как другие не в состоянии будут свести концы с концами на свой заработок. Он делает такой исход даже неизбежным, открыто признавая в праве наследования общую собственность семьи, откуда вытекает обязанность родителей содержать детей. Этим несомненно пробивается огромная брешь в принципе количественно одинакового потребления. Холостяк великолепно и весело живет на свой ежедневный заработок в восемь или двенадцать марок, тогда как вдовец с восьмью несовершеннолетними детьми может лишь скудно прожить на такой заработок. С другой стороны, коммуна, принимая без оговорок в уплату всякие деньги, тем самым допускает возможность, что эти деньги были приобретены не собственным трудом, а каким-либо иным путем. *Non olet*¹. Она не знает их происхождения. Но в таком случае имеются все условия для того, чтобы металлические деньги, игравшие до сих пор только роль трудовой марки, начали действительно выполнять функцию денег. Налицо оказывается возможность и мотив, с одной стороны, для образования сокровищ, с другой — для возникновения задолженности. Нуждающийся заимствует у того, кто копит деньги. Полученные займы деньги, принимаемые коммуной в уплату за жизненные средства, становятся опять тем, чем они являются в современном обществе, — общественным воплощением человеческого труда, действительной мерой труда, всеобщим средством обращения. Все «законы и административные нормы» в мире так же бессильны изменить это, как не могут они изменить таблицы умножения или химический состав воды. И так как собиратель сокровищ имеет возможность заставить нуждающегося платить проценты, то вместе с металлическими деньгами, функционирующими в качестве настоящих денег, восстанавливается также и ростовщичество.

До сих пор мы рассматривали только те последствия, которые порождаются сохранением металлических денег в сфере действия дюринговской хозяйственной коммуны. Но вне этой сферы остальной грешный мир живет пока по-старинке. На мировом рынке золото и серебро остаются *всемирными деньгами*, всеобщим покупательным и платежным средством, абсолютным общественным воплощением богатства. И вместе с этой особой ролью благородного металла возникает для отдельных членов хозяйственной коммуны новый мотив к накоплению сокровищ, к обогащению, к ростовщичеству, — мотив, толкающий на то, чтобы свободно и независимо лавировать как по отношению к коммуне, так и за ее рубежом, реализуя на мировом рынке накопленное частное богатство. Эти ростовщики

¹ — не пахнет (т. е. деньги не пахнут). *Ред.*

превращаются в торговцев средствами обращения, в банкиров, в господ, владеющих средствами обращения и всемирными деньгами, а следовательно, в господ, захвативших в свои руки производство и самые средства производства, хотя бы эти последние еще много лет продолжали фигурировать номинально как собственность хозяйственной и торговой коммуны. Но, таким образом, эти превратившиеся в банкиров собиратели сокровищ и ростовщики становятся также господами самой хозяйственной и торговой коммуны. «Социалитет» г. Дюринга в самом деле весьма существенно отличается от «туманных представлений» других социалистов. Он не преследует никакой другой цели, кроме возрождения крупных финансистов; под их контролем и для их кошельков коммуна будет самоотверженно изнурять себя работой, — если она вообще когда-нибудь возникнет и будет существовать. Единственным для нее спасением могло бы явиться лишь то, что собиратели сокровищ предпочтут, может быть, при помощи своих всемирных денег не медля ни минуты... сбежать из коммуны.

При господствующем в Германии полном незнакомстве со старыми социалистическими учениями, какой-нибудь невинный юноша может задать вопрос, не могут ли, например, оуэновские трудовые марки дать повод к подобному же злоупотреблению. Хотя мы и не собираемся выяснять здесь значение этих трудовых марок, все же — для сравнения дюринговского «всеобъемлющего схематизма» с «грубыми, тусклыми и скудными идеями» Оуэна — мы считаем уместным заметить следующее. Во-первых, для такого злоупотребления оуэновскими трудовыми марками было бы необходимо предварительное превращение их в действительные деньги, между тем как г. Дюринг предполагает ввести действительные деньги, но хочет запретить им функционировать иначе, чем в качестве простых трудовых марок. В первом случае имело бы место действительное злоупотребление, во втором же случае пробивает себе путь имманентная, независимая от человеческой воли природа денег: деньги добавляются здесь свойственного им нормального употребления наперекор тому злоупотреблению, которое г. Дюринг хочет навязать им в силу своего собственного непонимания природы денег. Во-вторых, трудовые марки представляют у Оуэна лишь переходную форму к полной общности и к свободному использованию общественных ресурсов и, самое большее, преследуют еще побочную цель — сделать коммунизм более приемлемым для британской публики. Если бы, таким образом, какое-нибудь злоупотребление заставило оуэновское общество отменить трудовые марки, то тем самым это общество сделало бы шаг вперед в направлении к своей цели и поднялось бы на более высокую ступень развития. Наоборот, стоит дюринговской хозяйственной коммуне упразднить деньги, и она тотчас теряет свое «всемирно-

историческое значение», лишается наиболее оригинальной своей прелести, перестает быть дюринговской хозяйственной коммуной и опускается до уровня тех туманных представлений, над которыми г. Дюринг поднял ее с такими тяжелыми усилиями рациональной фантазии¹.

Откуда же возникают все эти странные блуждания и шатания, в которых вращается хозяйственная коммуна г. Дюринга? Они возникают просто благодаря туману, окутывающему в голове г. Дюринга понятия стоимости и денег и заставляющему его в конце концов стремиться к открытию стоимости труда. Но так как в Германии г. Дюринг отнюдь не имеет монополии на подобные туманные представления, а, наоборот, имеет в этом отношении много конкурентов, то мы «заставим себя на минуту заняться распутыванием того клубка», который он здесь смастерил.

Единственная стоимость, которую знает политическая экономия, есть стоимость товаров. Что такое товары? Продукты, произведенные в обществе более или менее обособленных частных производителей, т. е. прежде всего частные продукты. Но эти частные продукты только тогда становятся товарами, когда они производятся не для собственного потребления, а для потребления других, стало быть, для общественного потребления; они вступают в общественное потребление путем обмена. Частные производители находятся, таким образом, в общественной связи между собой, образуют общество. Их продукты, хотя и являются частными продуктами каждого в отдельности, являются, следовательно, в то же время, но не намеренно и как бы против воли производителей, также и общественными продуктами. В чем же состоит общественный характер этих частных продуктов? Очевидно, в двух свойствах: во-первых, в том, что все они удовлетворяют какую-нибудь человеческую потребность, имеют потребительную стоимость не только для производителя, но и для других; и, во-вторых, в том, что они, хотя и являются продуктами самых разнообразных видов частного труда, являются одновременно и продуктами человеческого труда вообще, общечеловеческого труда. Поскольку они обладают потребительной стоимостью и для других, постольку они могут вообще вступать в обмен; поскольку же в них заключен общечеловеческий труд, простая затрата человеческой рабочей силы, постольку они могут быть

¹ Заметим мимоходом: г. Дюрингу совершенно неизвестна роль, которую играют трудовые марки в оуэновском коммунистическом обществе. Он знает об этих марках — из книги Сарганта — лишь постольку, поскольку они фигурируют в естественно неудавшихся Labour Exchange Bazaars [рабочие меновые базары. *Ред.*], этих попытках перейти с помощью непосредственного трудового обмена из существующего общества в коммунистическое. [*Примечание Энгельса.*]

сравниваемы в обмене друг с другом, признаваемы равными или неравными, сообразно заключающемуся в каждом из них количеству этого труда. В двух одинаковых частных продуктах, при одинаковых общественных условиях, может заключаться неодинаковое количество частного труда, но всегда лишь одинаковое количество общечеловеческого труда. Неискусный кузнец может сделать только пять подков в то время, в которое искусный сделает десять. Но общество не превращает в стоимость случайную неискусность отдельной личности; общечеловеческим трудом оно признает только труд, обладающий нормальной в данное время средней ловкостью. Одна из пяти подков первого кузнеца представляет поэтому в обмене не большую стоимость, чем одна из произведенных за то же рабочее время десяти подков второго. Лишь постольку, поскольку частный труд общественно необходим, он и заключает в себе общечеловеческий труд.

Таким образом, когда я говорю, что какой-нибудь товар имеет определенную стоимость, то я утверждаю этим: 1) что он представляет собой общественно-полезный продукт; 2) что он произведен частным лицом за частный счет; 3) что, будучи продуктом частного труда, он является одновременно, как бы без ведома производителя и независимо от его воли, продуктом общественного труда, притом определенного количества этого труда, устанавливаемого общественным путем, посредством обмена; 4) это количество я выражаю не в самом труде, не в таком-то числе рабочих часов, а в *некотором другом товаре*. Следовательно, если я говорю, что часы стоят столько же, сколько этот кусок сукна, и что стоимость каждого из обоих предметов равна 50 маркам, то я говорю этим, что в часах, в сукне и в этой сумме денег заключено одинаковое количество общественного труда. Я констатирую, таким образом, что воплощенное в них общественное рабочее время общественно измерено и оказалось равным. Но измерено не прямо, не абсолютно, как измеряют рабочее время в других случаях, выражая его в рабочих часах или днях и т. д., но косвенным путем, при помощи обмена, относительно. Поэтому-то я и не могу выразить это определенное количество рабочего времени в рабочих часах, число которых остается мне неизвестным, а могу это сделать также только окольным путем, относительно, — в каком-нибудь другом товаре, представляющем одинаковое количество общественного рабочего времени. Часы имеют ту же стоимость, что кусок сукна.

Но товарное производство и товарный обмен, вынуждая походящееся на них общество прибегать к такому окольному пути, заставляют его вместе с тем возможно больше сокращать этот путь. Они выделяют из общей плебейской массы товаров один благородный товар, в котором раз навсегда выражается

стоимость всех других товаров, — товар, который имеет значение непосредственного воплощения общественного труда и потому может непосредственно и безусловно обмениваться на все другие товары: этот товар — деньги. Деньги в зародыше уже содержатся в понятии стоимости, они представляют собой лишь развившуюся стоимость. Но когда стоимость товаров, в отличие от самих товаров, получает самостоятельное бытие в деньгах, тогда в общество, производящее и выменивающее товары, вступает новый фактор, — фактор с новыми общественными функциями и действиями. Мы пока лишь констатируем этот факт, не вдаваясь в подробное его рассмотрение.

Политическая экономия товарного производства далеко не является единственной наукой, имеющей дело с факторами, которые нам известны лишь относительно. В физике мы тоже не знаем, сколько отдельных молекул газа находится в данном объеме его, при данном давлении и температуре. Но мы знаем, что, поскольку верен закон Бойля, данный объем какого-нибудь газа содержит ровно столько же молекул, сколько и равный ему объем любого другого газа, при одинаковом давлении и температуре. Мы можем поэтому сравнивать между собой, по их молекулярному содержанию, самые различные объемы самых различных газов, при самых различных условиях давления и температуры; и если мы примем за единицу 1 литр газа при 0° Ц и 760 миллиметрах давления, то этой единицей мы и можем измерять указанное молекулярное содержание. — В химии, равным образом, нам неизвестны абсолютные атомные веса отдельных элементов. Но мы знаем их относительные веса, так как знаем их взаимные отношения. Следовательно, подобно тому как товарное производство и изучающая его политическая экономия получают относительное выражение для неизвестных им количеств труда, заключающихся в отдельных товарах, путем сравнения этих товаров по их относительному трудовому содержанию, — так и химия находит относительное выражение для величины неизвестных ей атомных весов, сравнивая отдельные элементы по их атомному весу и выражая атомный вес одного элемента в кратном или дробном числе другого (серы, кислорода, водорода). И подобно тому как товарное производство возводит золото в ранг абсолютного товара, всеобщего эквивалента остальных товаров, меры всех стоимостей, точно так же химия возводит водород в химический денежный товар, принимая его атомный вес равным единице и сводя атомные веса всех остальных элементов к водороду, выражая их кратным числом его атомного веса.

Однако товарное производство — вовсе не единственная форма общественного производства. В древних индийских общинах и в южнославянской задруге продукты не превраща-

ются в товары. Члены общины объединены общественной связью — непосредственно для производства, труд распределяется согласно обычаю и потребностям, и таким же образом распределяются продукты, поскольку они идут на потребление. Непосредственно общественное производство, как и прямое распределение, исключает всякий товарный обмен, следовательно, и превращение продуктов в товары (по крайней мере внутри общины), а вместе с тем и превращение их в *стоимости*.

Как только общество вступает во владение средствами производства и применяет их в непосредственно обобществленной форме для производства, труд каждого отдельного лица, как бы различен ни был его специфически полезный характер, становится с самого начала и непосредственно общественным трудом. Чтобы определить при этих условиях количество общественного труда, заключающееся в продукте, нет надобности прибегать к косвенному пути; ежедневный опыт непосредственно указывает, какое количество этого труда необходимо в среднем. Общество может просто учесть, сколько часов труда воплощено в паровой машине, в гектолитре пшеницы последнего урожая, в ста квадратных метрах сукна определенного качества. И так как количества труда, заключающиеся в продуктах, в данном случае непосредственно и абсолютно известны, то обществу не может прийти в голову выражать их еще сверх того посредством относительной, шаткой и недостаточной меры, хотя и бывшей раньше неизбежной за неимением лучшего средства, — т. е. выражать их в третьем продукте, а не в их естественной, адекватной, абсолютной мере, какой является *время*. Точно так же как и химия не стала бы выражать атомные веса разных элементов косвенным путем, в их отношении к атому водорода, в том случае, если бы она умела выражать вес атомов абсолютно, в их адекватной мере, именно — в их действительном весе, в биллионных или квадриллионных частях грамма. Следовательно, при указанных выше условиях, общество также не станет приписывать продуктам какие-либо стоимости. Тот простой факт, что сто квадратных метров сукна потребовали для своего производства, скажем, тысячи часов труда, оно не будет выражать окольным и бессмысленным образом, говоря, что это сукно обладает *стоимостью* в тысячу рабочих часов. Разумеется, и в этом случае общество должно будет знать, сколько труда требуется для производства каждого предмета потребления. Оно должно будет сообразовать свой производственный план со средствами производства, к которым в особенности принадлежат также и рабочие силы. Полезные действия различных предметов потребления, сопоставленные друг с другом и с необходимыми для их изготовления количествами труда, определяют окончательно этот план. Люди сделают

тогда все это очень просто, не прибегая к услугам прославленной «стоимости»¹.

Понятие стоимости является наиболее общим и потому всеобъемлющим выражением экономических условий товарного производства. В понятии стоимости содержится поэтому в зародыше не только деньги, но и все более развитые формы товарного производства и товарного обмена. То обстоятельство, что стоимость есть выражение общественного труда, заключающегося в частных продуктах, содержит уже в себе возможность количественного различия между общественным трудом и заключающимся в том же продукте частным трудом. Если, таким образом, какой-нибудь частный производитель продолжает производить старым способом, в то время как общественный способ производства ушел вперед, то указанное различие становится для него весьма чувствительным. То же происходит, когда совокупность частных производителей какого-нибудь рода товаров производит его в количестве, превосходящем общественную потребность. В том обстоятельстве, что стоимость каждого товара выражается только в стоимости другого товара и только в обмене на него может быть реализована, содержится возможность того, что обмен вообще не состоится или же, во всяком случае, что в обмене не будет реализована действительная стоимость. Наконец, когда на рынке выступает специфический товар — рабочая сила, то его стоимость определяется, как и стоимость всякого другого товара, общественно необходимым для его производства рабочим временем. В форме стоимости продуктов содержится уже поэтому в зародыше вся капиталистическая форма производства, противоположность между капиталистами и наемными рабочими, промышленная резервная армия, кризисы. Желать уничтожения капиталистической формы производства при помощи установления «истинной стоимости» — это то же самое, что стремиться к уничтожению католицизма путем избрания «истинного» папы или пытаться создать общество, где производители будут, наконец, господствовать над своим продуктом, путем последовательного проведения в жизнь экономической категории, являющейся наиболее полным выражением того факта, что производители порабощены своим собственным продуктом.

¹ Что вышеупомянутое взвешивание полезного эффекта и трудовой затраты при составлении производственного плана представляет все, что остается в коммунистическом обществе от употребляемого в политической экономии понятия стоимости, это я высказал еще в 1844 г. («Немецко-Французский Ежегодник», стр. 95). [См. «Очерки критики политической экономии», К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. II, изд. 1929 г. *Ред.*] Но научное обоснование этого положения, как известно, стало возможным лишь благодаря «Капиталу» Маркса. [*Примечание Энгельса.*]

Раз товаропроизводящее общество развило форму стоимости, присущую товарам как таковым, в форму денег, то выступают наружу еще и другие, скрытые пока в стоимости, зародыши. Ближайшим и наиболее существенным результатом является то, что товарная форма приобретает всеобъемлющий характер. Даже предметам, которые раньше производились непосредственно для собственного потребления, деньги навязывают товарную форму и вовлекают их в обмен. Вместе с тем товарная форма и деньги проникают во внутрисельскохозяйственную жизнь общин, связанных непосредственно общественным производством; они рвут общинные связи одну за другой и разлагают общину на множество разрозненных частных производителей. Сначала деньги, как это можно наблюдать в Индии, ставят на место общинной обработки земли индивидуальное возделывание земли; затем они, путем окончательного раздела пахотной земли, разлагают общую земельную собственность, которая выражалась еще в повторяющихся время от времени переделах (явление, наблюдаемое, например, в так называемых *Gehöfenschaften*¹ по р. Мозель и начинающееся уже также в русской общине); деньги приводят, наконец, к такому же разделу оставшихся еще общинных лесов и выгонов. Какие бы другие причины, коренящиеся в развитии производства, ни участвовали в этом процессе, все же деньги остаются наиболее могущественным орудием их воздействия на общинный быт. И с той же естественной необходимостью деньги, наперекор всем «законам и административным нормам», должны были бы разложить дюринговскую хозяйственную коммуну, если бы она когда-нибудь осуществилась.

Мы уже видели выше («Политическая экономия», гл. VI), что говорить о стоимости труда — значит впадать во внутреннее противоречие. Так как труд, при известных общественных отношениях, производит не только продукты, но и стоимости, а эти стоимости измеряются трудом, то труд так же мало может иметь особую стоимость, как тяжесть, в качестве таковой, может иметь особый вес, или теплота — особую температуру. Но характерной особенностью всякого социального путаника, мудрствующего насчет «истинной стоимости», является утверждение, что в современном обществе рабочий получает неполную «стоимость» своего труда и что социализм призван устранить это положение вещей. Для этого нужно было бы, конечно, прежде всего установить, что такое стоимость труда; а эту последнюю ищут, пытаясь измерять труд не его адекватной мерой — временем, а его продуктом. Рабочий должен получать «полный продукт своего труда». Не только продукт труда, но и

¹ — подворные общины. *Ред.*

самый труд должен обмениваться непосредственно на продукт: час труда — на продукт другого часа труда. Но тут-то и возникает «серьезное» затруднение. Выходит, что распределяется *весь продукт*. Важнейшая прогрессивная функция общества, накопление, отнимается у общества и передается в руки отдельных лиц, на их производ. Отдельные лица могут делать со своими «доходами» все что угодно, общество же, в лучшем случае, остается столь же богатым или бедным, каким оно и было. Получается, что накопленные в прошлом средства производства были централизованы в руках общества лишь для того, чтобы в будущем все они снова раздробились, оказались в руках отдельных лиц. Так теория эта разбивает вдребезги свои собственные предпосылки и приходит к чистому абсурду.

Живой труд — деятельная рабочая сила — должен вымениваться на продукт труда. В таком случае он является товаром, так же как и тот продукт, на который он должен быть выменен. А если так, то стоимость этой рабочей силы определяется вовсе не продуктом ее, но воплощенным в ней общественным трудом, — следовательно, согласно современному закону заработной платы.

Вот этого-то и не должно быть, говорят нам. Живой труд — рабочая сила — должен обмениваться на его полный продукт. Это значит, что он должен обмениваться не по своей *стоимости*, а по своей *потребительной стоимости*; выходит, что закон стоимости действителен для всех других товаров, но по отношению к рабочей силе он должен быть отменен. Такова та, сама себя уничтожающая, путаница, которая скрывается за теорией «стоимости труда».

«Обмен труда на труд, согласно принципу равной оценки», поскольку это выражение вообще имеет смысл, означает, что продукты равных количеств общественного труда обмениваются друг на друга. Этот закон стоимости является основным законом именно товарного производства, следовательно, также и высшей его формы — капиталистического производства. Он пробивает себе путь в современном обществе таким способом, каким только и могут пробивать себе путь экономические законы в обществе частных производителей, т. е. как слепо действующий закон природы, заключенный в самих вещах и отношениях и не зависящий от воли и стремлений производителей. Возводя этот закон в основной закон своей хозяйственной коммуны и требуя, чтобы она проводила его вполне сознательно, г. Дюринг делает основной закон существующего общества основным законом своего фантастического общества. Он хочет сохранить современное общество, но без его отрицательных сторон. Он стоит совершенно на той же почве, как и Прудон. Подобно последнему, он хочет устранить отрицательные стороны, возникшие вследствие

развития товарного производства в капиталистическое, выдвигая против них тот самый основной закон капиталистического производства, действие которого как раз и породило эти отрицательные стороны. Подобно Прудону, он хочет уничтожить действительные следствия закона стоимости при помощи фантастических.

Но как бы гордо ни выступал наш странствующий рыцарь, наш современный Дон-Кихот на своем благородном Росинанте, «универсальном принципе справедливости», отправляясь в сопровождении своего бравого Санчо Панса, Абрагама Энса¹, в поход для завоевания шлема Мамбрина — «стоимости труда», — мы все-таки сильно опасаемся, что домой он не привезет ничего, кроме знаменитого старого таза для бритья.

V

ГОСУДАРСТВО, СЕМЬЯ, ВОСПИТАНИЕ

В двух последних главах мы почти исчерпали экономическое содержание «новой социалитарной организации» г. Дюринга. В крайнем случае к этому следовало бы еще добавить, что «универсальная широта исторического кругозора» отнюдь не мешает г. Дюрингу соблюдать свои специальные интересы, даже помимо известного уже нам умеренного добавочного потребления. Так как старое разделение труда продолжает существовать в социалитете, то хозяйственной коммуны предстоит считаться, кроме архитекторов и тачечников, также и с профессиональными литераторами, причем возникает вопрос, как в таком случае поступить с авторским правом. Вопрос этот занимает г. Дюринга больше, чем какой-либо другой. Всюду читателю мозолит глаза авторское право, — например, при упоминании о Луи Блане и Прудоне; затем на протяжении целых девяти страниц «Курса» о нем идут подробнейшие рассуждения. Наконец, в таинственной форме «вознаграждения за труд», — причем ни слова не говорится, будет ли иметь место умеренное добавочное потребление или нет, — оно благополучно прибывает в тихую пристань социалитета. Глава о положении блох в естественной системе общества была бы в такой же мере уместна и, во всяком случае, менее скучна.

Относительно государственного строя будущего «философия» дает обстоятельные предписания. В этом вопросе Руссо, хотя и «единственный значительный предшественник» г. Дюринга, все же недостаточно глубоко заложил фундамент; его более глубокий преемник основательно исправляет этот недостаток, усердно разбавляя Руссо водой и подбавляя сюда столь же жиденькую похлебку из отбросов гегелевской философии права. «Суверенитет индивида» образует основу дюринговского

¹ Автор пасквиля (1877 г.), направленного против Маркса и Энгельса. *Ред.*

государства будущего; он не будет больше подавляться господством большинства, напротив, лишь теперь он действительно достигнет своего апогея. Как это произойдет? Очень просто. «Если предполагать наличие соглашения каждого с каждым во всех направлениях и если эти соглашения имеют своей задачей взаимопомощь против несправедливых обид, — то при этом только укрепляется та сила, которая необходима для поддержания права, и никакое право не выводится уже больше из простого перевеса массы над отдельной личностью или большинства над меньшинством». Вот с какой легкостью фокусничество философии действительности обходит серьезнейшие затруднения, а если читатель скажет, что он ничего отсюда не извлек, то г. Дюринг ответит ему, что нельзя так легко относиться к делу, ибо «*малейшая ошибка* в понимании роли коллективной воли повела бы к *уничтожению* суверенитета индивида, а этот суверенитет и есть именно то, что (!) служит основой для выведения действительных прав». Г-н Дюринг, издаваясь над своей публикой, обращается с ней именно так, как она того заслуживает. Он мог бы даже быть еще бесцеремоннее: студюзы, слушающие курс философии действительности, наверное не заметили бы этого.

Суверенитет индивида заключается по своему существу в том, что «отдельная личность *абсолютным образом* подчинена государственному *принуждению*», но это принуждение находит себе оправдание лишь постольку, поскольку оно «действительно служит естественной справедливости». Для этой цели будут существовать «законодательство и судебная власть», которые, однако, «должны остаться в руках всего коллектива», а затем — оборонительный союз, проявляющийся в «совместных действиях войска или какого-либо исполнительного органа, предназначенного для обеспечения внутренней безопасности», следовательно, будут существовать и армия, и полиция, и жандармы. Г-н Дюринг не раз уже показал себя бравым пруссаком; здесь же он доказал на деле свое родство с тем образцовым пруссаком, который, по словам блаженной памяти министра фон Рохова, «носит своего жандарма в груди». Но эта жандармерия будущего не так опасна, как нынешние держиморды. Что бы она ни учиняла над суверенным индивидом, у последнего всегда будет *одно утешение*: «справедливость или несправедливость, которую он, смотря по обстоятельствам, встретит со стороны свободного общества, никогда не может быть *хуже* того, что принесло бы с собой *естественное состояние!*». И затем, заставив нас еще раз споткнуться о свое неизбежное авторское право, г. Дюринг обнадеживает нас, что в его новом мире будет существовать, «само собой разумеется, вполне свободная и всем доступная адвокатура». «Изобретенное ныне свободное общество» становится все более разношерстным. Архитекторы, тачечники, литераторы, жандармы, а тут еще и адвокаты! Это «солидное и критическое

царство мысли» точь в точь походит на различные небесные царства различных религий, где верующий всегда встречается вновь в просветленном виде все то, что услаждало его земную жизнь. А г. Дюринг принадлежит ведь к государству, в котором «всякий может спастись на свой лад». Чего же нам больше желать?

Что желательно нам, — это, впрочем, в данном случае безразлично. Речь идет о том, что желательно г. Дюрингу. А между ним и Фридрихом II существует то различие, что в дюринговском государстве будущего отнюдь не всякий может спастись на свой лад. В конституции этого государства будущего значится: «В свободном обществе не должно быть никакого культа, ибо каждый из его членов стоит выше первобытного детского представления о том, что за спиной природы или выше ее обитают существа, на которые можно воздействовать жертвами или молитвами». «Правильно понятая социалитарная система должна поэтому... упразднить все аксессуары духовного колдовства и, следовательно, все существенные элементы культа». Религия воспрещается.

Но ведь всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. В начале истории объектами этого отражения являются прежде всего силы природы, которые при дальнейшей эволюции проходят у различных народов через самые разнообразие и пестрые олицетворения. Этот первоначальный процесс прослежен при помощи сравнительной мифологии — по крайней мере у индоевропейских народов — до его первого проявления в индийских ведах, а в дальнейшем своем развитии он детально исследован у индусов, персов, греков, римлян, германцев и, поскольку хватает материала, также у кельтов, литовцев и славян. Но вскоре, наряду с силами природы, выступают также и общественные силы, — силы, которые противостоят человеку и так же чужды и первоначально так же необъяснимы для него, как и силы природы, и подобно последним господствуют над ним с той же кажущейся естественной необходимостью. Фантастические образы, в которых первоначально отражались только таинственные силы природы, приобретают теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил¹. На другой, дальнейшей

¹ Этот двойственный характер, который впоследствии приобрели образы богов, был причиной возникшей впоследствии путаницы в мифологиях, — причиной, которую проглядела сравнительная мифология, продолжающая одно-сторонне видеть в богах только отражение сил природы. Так, у некоторых германских племен бог войны обозначается по-древнескандинавски Тир, по-древневерхненемецки Цю, что соответствует, следовательно, греческому Зевсу, латинскому Юпитеру, вместо Диу-питер; у других он называется Эр, Эор, соответствуя, таким образом, греческому Аресу, латинскому Марсу. [Примечание Энгельса.]

ступени развития вся совокупность природных и общественных атрибутов множества богов переносится на *одного* всемогущего бога, который, в свою очередь, является лишь отражением абстрактного человека. Так возник монотеизм, который исторически был последним продуктом греческой вульгарной философии более поздней эпохи и нашел свое воплощение в иудейском, исключительно национальном божестве Ягве. В этой удобной для использования и ко всему приспособляющейся форме религия может продолжать свое существование как непосредственная, т. е. эмоциональная форма отношения людей к господствующим над ними чуждым силам, природным и общественным, до тех пор, пока люди фактически находятся под властью этих сил. Но мы уже неоднократно видели, что в современном буржуазном обществе над людьми господствуют, как какая-то чуждая сила, ими же самими созданные экономические отношения, ими же самими произведенные средства производства. Фактическая основа религии как идеологического процесса отражения продолжает, следовательно, существовать, а вместе с этой основой продолжает существовать и ее отражение в религии. И если буржуазная политическая экономия и дает некоторое понимание причинной связи этого господства чуждых сил, то дело от этого ничуть не меняется. Буржуазная политическая экономия не в состоянии ни предотвратить кризисы вообще, ни уберечь отдельного капиталиста от убытков, от безнадежных долгов и банкротства, ни избавить отдельного рабочего от безработицы и нищеты. До сих пор еще в ходу поговорка: человек предполагает, а бог (т. е. господство чуждых человеку сил капиталистического способа производства) располагает. Одного только познания, хотя бы оно шло дальше и глубже познания буржуазной политической экономии, недостаточно, чтобы подчинить общественные силы господству общества. Для этого необходимо прежде всего общественное *действие*. И когда это действие будет совершено, когда общество, взяв во владение всю совокупность средств производства и планомерно направив их, освободит, таким образом, себя и всех своих членов от рабства, в котором их держат до сих пор ими же самими произведенные, но противостоящие им, в качестве непреодолимой внешней силы, средства производства, следовательно, когда человек будет не только предполагать, но и располагать, — лишь тогда исчезнет последняя чуждая сила, которая до сих пор еще отражается в религии, а вместе с тем исчезнет и само религиозное отражение, по той простой причине, что тогда уже нечего будет стражать.

Но г. Дюринг не расположен ждать, пока религия умрет своей естественной смертью. Он поступает основательнее. Он перешагивая самого Бисмарка: он декретирует еще более строгие майские законы не только против католицизма, но и против всякой религии вообще; он натравливает своих жандармов

будущего на религию и помогает ей, таким образом, увенчать себя ореолом мученичества и тем самым продлить свое существование. Куда мы ни посмотрим, — везде специфически прусский социализм.

После того как г. Дюринг с таким успехом искоренил религию, «человек, опирающийся только на самого себя и природу и созревший до понимания своих коллективных сил, может смело двинуться вперед по всем путям, которые открывает перед ним ход вещей и его собственное существо». Рассмотрим же для разнообразия тот «ход вещей», следуя которому опирающийся на самого себя человек может, под руководством г. Дюринга, смело двинуться вперед.

Первый момент в ходе вещей, благодаря которому человек становится опорой самому себе, это — его рождение. Потом, на время своего естественного несовершеннолетия, он остается на попечении «естественной воспитательницы детей», т. е. матери. «Этот период может простирается, как в древнем римском праве, до зрелости, т. е. приблизительно до 14 лет». Только в тех случаях, когда невоспитанные мальчики старшего возраста будут недостаточно почитать авторитет матери, отцовское вмешательство, в особенности же общественные воспитательные меры должны обезвредить этот недостаток. Возмужав, ребенок поступает под «естественную опеку отца», если только таковой имеется налицо и притом «отцовство не оспаривается»; в противном случае община назначает опекуна.

Подобно тому как г. Дюринг считает вполне возможным, как мы это видели выше, заменить капиталистический способ производства общественным, не преобразуя самого производства, — точно так же он воображает, что можно оторвать современную буржуазную семью от всей ее экономической основы, не изменяя вместе с тем коренным образом формы семьи. Эта форма представляется ему в такой степени неизменной, что он даже делает «древнее римское право», хотя и в немного «облагороженном» виде, обязательным для семейных отношений на вечные времена, представляя себе семью только как «оставляющую наследство», т. е. как владеющую собственностью единицу. В этом вопросе утописты стоят неизмеримо выше г. Дюринга. Для них, вместе с установлением свободных общественных связей и превращением частной домашней работы в общественную индустрию, непосредственно дано также обобществление воспитания юношества, а вместе с тем действительно свободные взаимоотношения членов семьи. Далее, уже Маркс установил («Капитал», стр. 515 и сл.), что «крупная промышленность, отводя женщинам, подросткам и детям обоего пола решающую роль в общественно-организованном процессе производства, за пределами дома, создает новый экономический базис

для более высокой формы семьи и отношений между обоими полами»¹.

«Каждый социал-реформаторский фантазер, — говорит г. Дюринг, — естественно имеет наготове соответствующую его новой социальной жизни педагогику». С этой точки зрения сам г. Дюринг представляется «настоящим монстром» среди социал-реформаторских фантазеров. Школе будущего он уделяет по меньшей мере столько же внимания, сколько и авторскому праву, а это кое-что да значит. У него имеется окончательно выработанный план школ и университетов не только для всего «обозримого будущего», но и для переходного периода. Ограничимся, однако, лишь обзором того, что предполагается давать юношеству обоего пола в окончательном социалитете последней инстанции.

Всеобщая народная школа дает своим ученикам «все, что само по себе и принципиально может обладать привлекательностью для человека», следовательно, в особенности — «основы и главные достижения всех наук, касающихся понимания мира и жизни». Там прежде всего будут обучать математике, притом так, что будет «полностью пройден» круг всех принципиальных понятий и приемов, начиная с простого счета и сложения и кончая интегральным исчислением. Это не значит, однако, что в этой школе действительно будут дифференцировать и интегрировать. Совсем напротив: там будут преподаваться совершенно новые элементы математики, взятой в целом, — элементы, содержащие в зародыше как обыкновенную элементарную, так и высшую математику. Хотя г. Дюринг и уверяет, что «содержание учеников» этой школы будущего «схематически уже вырисовывается в своих главных чертах перед его глазами», однако ему до сих пор не удалось, к сожалению, открыть эти «элементы математики, взятой в целом», а то, чего он не в состоянии сделать, «следует, в самом деле, ожидать только от свободных и возросших сил нового общественного строя». Но если плоды математики будущего еще слишком зелены, зато астрономия, механика и физика будущего не представляют трудностей, составляя «ядро всего школьного обучения», тогда как «ботаника и зоология, которые, несмотря на все свои теории, все еще носят преимущественно описательный характер», будут служить больше «для легкой, занимательной беседы». Так говорится в «Курсе философии», стр. 417. Г-н Дюринг и до сего дня знает только преимущественно описательную ботанику и зоологию. Вся органическая морфология, охватывающая собой сравнительную анатомию, эмбриологию и палеонтологию органического мира, незнакома ему даже по названию. В то время как за его спиной возникают в области биологии почти десятками совершенно новые науки, его детское сердце все еще черпает «высоко современные образовательные

¹ «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 380. *Ред.*

элементы естественно-научного образа мышления» из «Естественной истории для детей» Раффа и дарует эту конституцию органического мира также всему «обозримому будущему». О существовании химии он, по обыкновению, и здесь совершенно забывает.

Что касается эстетической стороны воспитания, то в этой области г. Дюринг намерен все создать заново. Вся прежняя поэзия для этого не годится. Там, где запрещена всякая религия, — там, само собой разумеется, не может быть терпима в школе обычная у прежних поэтов «мифологическая и прочая религиозная стряпня». Равным образом заслуживает осуждения «поэтический мистицизм, к которому, например, был сильно склонен Гете». Таким образом, г. Дюрингу придется самому дать нам те поэтические шедевры, которые отвечают «более высоким запросам примиренной с рассудком фантазии», и нарисовать тот подлинный идеал, который «означает завершение мира». Пусть он только не медлит. Хозяйственная коммуна сможет завоевать мир лишь в том случае, если она двинется в поход беглым шагом примиренного с рассудком александрийского стиха.

Филологией подрастающего гражданина будущего не будут особенно донимать. «Мертвые языки совершенно опадают... а изучение живых иностранных языков останется... как нечто второстепенное». Только там, где сношения между народами выражаются в передвижениях самих народных масс, иностранные языки должны быть сделаны, в меру надобности, легко доступными каждому. Целям «действительно образовательного изучения языков» должна служить своего рода всеобщая грамматика, и притом на «материи и форме родного языка». Национальная ограниченность современного человека все еще слишком космополитична для г. Дюринга. Он хочет уничтожить и те два рычага, которые при современном строе дают хотя бы некоторую возможность стать выше ограниченной национальной точки зрения, — он хочет упразднить знание древних языков, открывающее, по крайней мере для получивших классическое образование людей различных национальностей, общий им, более широкий горизонт. Одновременно с этим он хочет упразднить также и знание новых языков, при помощи которых люди различных наций могут объясняться друг с другом и знакомиться с тем, что происходит за их собственным рубежом. Зато грамматика родного языка должна стать предметом основательной зубрежки. Но ведь «материя и форма родного языка» становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его возникновение и постепенное развитие, а это невозможно, если оставлять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки. Таким образом, мы снова попадаем в запретную область. Но раз г. Дюринг вычеркивает из своего учебного плана всю современную историческую

грамматику, то для обучения языкам у него остается только старомодная, выкроенная в стиле старой классической филологии, техническая грамматика со всей ее казуистикой и произвольностью, обусловленными отсутствием исторического фундамента. Ненависть к старой филологии доводит его до того, что самый скверный продукт ее он делает «центральным пунктом действительно образовательного изучения языков». Ясно, что мы имеем дело с филологом, никогда ничего не слыхавшим об историческом языкознании, которое получило в последние 60 лет такое мощное и плодотворное развитие, — и поэтому-то г. Дюринг отыскивает «высоко образовательные элементы» языкознания не у Боппа, Гримма и Дитца, а у блаженной памяти Гейзе и Беккера.

Но и после всей этой выучки молодой гражданин будущего далеко еще «не имеет опоры в самом себе». Для этого нужно заложить более глубокий фундамент при помощи «усвоения последних философских основ». «Но такое углубление... не представляет собой гигантской задачи» — с тех пор как г. Дюринг проложил в этой области широкий путь. В самом деле, «если немногие положения строгого знания, которыми может похвалиться всеобщая схематика бытия, очистить от ложных схоластических завитушек и если решиться везде признавать значение только за действительностью, удостоверенной» г. Дюрингом, то элементарная философия станет вполне доступной и для юношества будущего. «Стоит вспомнить *в высшей степени простые* приемы, при помощи которых мы подняли до неизвестного до сих пор значения понятия бесконечности и их критику», — и тогда «нет решительно никакого основания, почему бы элементы универсального понимания пространства и времени, получившие столь простой вид благодаря современному их углублению и заострению, — почему бы эти элементы не могли перейти, наконец, в ряд подготовительных знаний... Наиболее коренные идеи» г. Дюринга «не должны играть второстепенной роли в универсальной образовательной систематике нового общества». Равное самому себе состояние материи и сосчитанная бесчисленность призваны, напротив, «не только поставить человека на ноги, но и заставить его уразуметь собственными силами, что так называемый *абсолют находится у него под ногами*».

Народная школа будущего, как видит читатель, представляет в сущности не что иное, как немного «облагороженную» прусскую гимназию. В этой школе греческий язык и латынь заменены несколько большим количеством чистой и прикладной математики, в особенности же элементами философии действительности, а преподавание немецкого языка низведено опять до блаженной памяти Беккера, другими словами — приблизительно до уровня печальной школы. Действительно, «нет решительно никакого основания», почему бы «познания» г. Дюринга, оказавшиеся после

нашего рассмотрения в высшей степени школьными во всех затронутых им областях, или, лучше сказать, почему бы то, что вообще осталось от них после предварительной основательной «чистки», не могло перейти в конце концов целиком и полностью в «разряд подготовительных знаний», поскольку познания г. Дюринга никогда и не возвышались над этим уровнем. Конечно, г. Дюринг слышал краем уха, что в социалистическом обществе труд и воспитание будут соединены и таким путем подрастающим поколениям будет обеспечено разностороннее техническое образование, как и практический фундамент для научного воспитания; он и применяет это положение на свой обычный лад к социализму. Но так как прежнее разделение труда в существенных чертах, как мы видели, благополучно сохраняется в производстве в дюринговском будущем обществе, то у этого технического школьного образования отнимается всякое позднейшее практическое применение, отнимается всякое значение для самого производства, — техническое образование преследует исключительно школьную цель: оно должно заменить собой гимнастику, о которой наш радикальный новатор и слышать не хочет. Вот почему г. Дюринг и может дать нам по этой части лишь две-три банальные фразы, вроде следующей: «юноши, как и старики, должны работать в серьезном смысле этого слова». Поистине жалкое впечатление производит это беспомощное и бессодержательное переливание из пустого в порожнее, когда сравниваешь его с тем местом «Капитала» (стр. 508—515)¹, где Маркс развивает положение, что «из фабричной системы, как можно проследить в деталях у Роберта Оуэна, вырос зародыш воспитания будущего, которое для всех детей с известного возраста соединит производительный труд с обучением и гимнастикой, причем это будет не только методом повышения общественного производства, но и единственным методом создания всесторонне развитых людей».

Оставим в стороне университет будущего, где философия действительности будет служить ядром всего знания и где рядом с медицинским факультетом будет процветать также и юридический; оставим в стороне также «специальные учебные заведения», о которых мы узнаем лишь, что они предназначаются только «для двух-трех дисциплин». Предположим, что юный гражданин будущего по окончании всех школьных курсов настолько может «положиться на самого себя», что в состоянии заняться приисканием себе жены. Какой ход вещей открывает ему здесь г. Дюринг?

«Ввиду важности воспроизведения для укрепления, искоренения и смешения качеств, и даже для их творческого развития, надо искать последние корни человеческого или бесчеловечного в значительной мере в половом общении и подборе и сверх того еще

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 375—380. *Ред.*

в заботе об обеспечении или предупреждении определенного результата рождений. Суд над дикостью и тупостью, господствующими в этой области, приходится практически предоставить позднейшей эпохе. Однако даже при существующем гнете предрассудков можно растолковать людям, что удавшееся или неудавшееся природе или человеческой предусмотрительности качество новорожденных гораздо важнее их многочисленности. Уроды истреблялись, правда, во все времена и при всяком правовом строе, но лестница, ведущая от нормального до уродства, связанного с потерей человеческого образа, имеет много ступеней... Если принимаются меры против появления на свет человека, который оказался бы только плохим созданием, то это, очевидно, приносит только пользу». Точно так же в другом месте говорится: «Философское размышление без труда поймет право неродившегося еще мира на возможно лучшую композицию... Зачатие и, во всяком случае, рождение дают повод для применения в этом отношении предупредительных мер, а в крайнем случае — также для отбора». И далее: «Греческое искусство, в идеализированной форме изображающее человека в мраморе, не в силах будет сохранить прежнее историческое значение, когда люди возьмутся за менее художественную, и поэтому гораздо более важную для жизненной судьбы миллионов, задачу — усовершенствовать создание человека из плоти и крови. Этот род искусства не является просто работой над камнем, и его эстетика состоит не в созерцании мертвых форм» и т. д.

Наш молодой гражданин будущего падает с облаков. Что при вступлении в брак дело идет не о простом искусстве работы над камнем и не о созерцании мертвых форм, это он знал, конечно, и без г. Дюринга; но последний ведь обещал ему, что он может свободно шествовать по всем путям, открываемым перед ним ходом вещей и его собственным существом, чтобы найти сочувствующее женское сердце вместе с принадлежащим ему телом. «Ни в коем случае», — гремит ему в ответ «более глубокая и строгая мораль». Речь идет прежде всего о том, чтобы сбросить с себя дикость и тупость, царящие в области полового общения и подбора, и принять во внимание право вновь рождающегося мира на возможно лучшую композицию. В этот торжественный момент перед нашим молодым гражданином стоит задача — довести до совершенства образование человека из плоти и крови, стать, так сказать, Фидием по этой части. Как приступить к делу?—Приведенные таинственные заявления г. Дюринга не дают ему ни малейшего наставления в этом смысле, хотя г. Дюринг сам говорит, что это — «искусство». Быть может, г. Дюринг уже имеет «схематически перед глазами» руководство к этому искусству, вроде, например, тех, образцы которых — в запечатанных конвертах — циркулируют теперь в изрядном количестве в немецкой книжной торговле. — В самом деле, мы находимся уже

здесь не в царстве социалитета, а скорее в царстве «Волшебной флейты», с той лишь разницей, что веселый франкмасонский поп Зарастро едва ли может назваться даже «жрецом второго класса» в сравнении с нашим, более глубоким и строгим моралистом. Испытания, которым подвергал этот поп любовные парочки среди своих адептов, представляют просто детскую забаву в сравнении с тем грозным осмотром, которому г. Дюринг подвергает своих обоих суверенных индивидов, прежде чем позволить им вступить в состояние «нравственного и свободного брака». Так, может случиться, что хотя наш «находящий опору в самом себе» Тамино будущего и стоит обеими ногами на так называемом абсолюте, но одна из его ног отступает на одну-две ступеньки от нормы, так что злые языки называют его колченогим. Не исключена также возможность, что его дражайшая Памина¹ будущего не совсем ровно стоит на упомянутом абсолюте вследствие небольшого отклонения в сторону правого плеча, каковое отклонение людская зависть называет даже легким горбиком. Что делать тогда? Воспретит ли им наш более глубокий и более строгий Зарастро практиковать искусство создания совершенного человека из плоти и крови, применит ли он к ним свои «предупредительные меры» при «зачатии» или свою практику «отбора» при «рождении»? Можно ставить десять против одного, что дело примет другой оборот: влюбленная парочка, оставив Зарастро-Дюринга в глупом положении, отправится к чиновнику, заведующему регистрацией браков.

Постойте! — восклицает г. Дюринг. — Вы меня не поняли. Дайте мне высказаться. При наличии «более высоких, истинно-человеческих побудительных мотивов для благотворных половых связей... человечески облагоустроенная форма полового возбуждения, высшая ступень которого проявляется в виде *страстной любви*, представляет в своей двухсторонности наилучшую гарантию благополучного, также и по своим плодам, супружества... Из гармонических отношений получается и плод с гармоническими чертами — ведь это только результат второго порядка. Отсюда опять-таки следует, что всякое принуждение должно действовать вредным образом» и т. д. Таким путем, все кончается наилучшим образом в наилучшем из социалитетов. Колченогий и горбатенькая страстно любят друг друга, а потому в своей двухсторонности представляют наилучшую гарантию для гармонического «результата второго порядка»; все идет, как в романе: они любят друг друга и вступают в брак. Вся «более глубокая и строгая мораль» оказывается, по обыкновению, гармонической болтовней.

¹ Зарастро, Тамино и Памина — действующие лица из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Ред.

Каких вообще благородных взглядов держится г. Дюринг относительно женского пола, — это видно из следующего его обвинения против современного общества: «В обществе, основанном на угнетении и продаже человека человеку, проституция признается естественным дополнением к принудительному браку, созданным в пользу мужчин, и то обстоятельство, что *ничего подобного не может быть для женщин*, представляет весьма понятный, но в то же время чрезвычайно *многозначительный* факт». Ни за что на свете я не согласился бы получить такую благодарность, какая выпадет на долю г. Дюринга со стороны женщин за этот комплимент. Кроме того, разве г. Дюрингу совершенно неизвестен не столь уже редкий теперь вид дохода — стипендии, имеющие источником женское покровительство (*Schürzenstipendien*). Ведь г. Дюринг сам был когда-то референдарием и живет он в Берлине, где еще в мои времена, т. е. 36 лет тому назад, *Referendarius*, — чтобы не говорить о лейтенантах, — довольно часто рифмовался с *Schürzenstipendiarius!*

* * *

Да позволено мне будет в примирительно-веселом духе распрощаться с нашей темой, которая сплошь и рядом должна была казаться довольно сухой и скучной. Поскольку нам приходилось разбирать отдельные спорные пункты, наш приговор был связан объективными, неоспоримыми фактами; в соответствии с этими фактами приговор довольно часто по необходимости был резкий и даже жестокий. Теперь, когда философия, политическая экономия и социалитет лежат уже позади и перед нами раскрылся общий облик писателя, о котором нам раньше приходилось судить по отдельным его взглядам, — теперь на первое место могут выступить соображения, касающиеся его как человека; теперь мы можем позволить себе объяснить многие, непонятные иначе, научные заблуждения и сомнение автора его личными качествами и резюмировать свое общее суждение о г. Дюринге словами: *«невменяемость как результат мании величия»*.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

СТАРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К «АНТИ-ДЮРИНГУ». — О ДИАЛЕКТИКЕ

Предлагаемая работа возникла отнюдь не по «внутреннему побуждению». Напротив, мой друг Либкнехт может засвидетельствовать, сколько труда ему стоило склонить меня к тому, чтобы критически осветить новейшую социалистическую теорию г. Дюринга. Но раз я решился на это, мне ничего не оставалось, как рассмотреть эту теорию, выдающую себя за последний практический плод новой философской системы, во внутренней связи этой системы, а вместе с тем подвергнуть разбору и самую эту систему. Я вынужден был поэтому последовать за г. Дюрингом в ту обширную область, где он толкует о всех возможных вещах и еще кое о чем сверх того. Так возник ряд статей, которые печатались с начала 1877 г. в лейпцигском «Vorwärts'e» и предлагаются здесь в связанном виде.

Два соображения могут оправдать ту обстоятельность, с которой выступает критика этой столь незначительной, несмотря на все самовосхваление, системы, — обстоятельность, связанную с характером самого предмета. С одной стороны, эта критика давала мне возможность в положительной форме развить в различных областях знания мое понимание спорных вопросов, имеющих в настоящее время общий научный или практический интерес. И как бы мало мне ни приходило в голову противопоставлять системе г. Дюринга другую систему, все же надо надеяться, что при всем разнообразии рассмотренного мною материала от читателя не ускользнет внутренняя связь также и в выдвинутых мною воззрениях.

С другой стороны, «системосозидающий» г. Дюринг не представляет собою единичного явления в современной немецкой действительности. С некоторых пор философские, особенно натур-философские, системы растут в Германии, как грибы после дождя, не говоря уже о бесчисленных новых системах политики, политической экономии и т. д. Подобно тому как в современном

¹ Эта статья была написана приблизительно в мае 1878 г. в качестве предисловия к первому изданию «Анти-Дюринга», но была заменена другим предисловием и впоследствии отнесена Энгельсом к материалам по «Диалектике природы». *Ред.*

государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, по которым ему приходится подавать свой голос; подобно тому как в политической экономии исходят из предположения, что каждый покупатель является также и знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода, — подобно этому теперь считается, что и в науке следует придерживаться такого же предположения. Каждый может писать обо всем, и «свобода науки» понимается именно как право человека писать в особенности о том, чего он не изучал, и выдавать это за единственный строго научный метод. А г. Дюринг представляет собой один из характернейших типов этой развязной лженауки, которая в наши дни в Германии повсюду лезет на передний план и все заглушает громом своего высокопарного пустозвонства. Высокопарное пустозвонство в поэзии, в философии, в политической экономии, в исторической науке, пустозвонство с кафедры и трибуны, пустозвонство везде, высокопарное пустозвонство с претензией на превосходство и глубокомыслие в отличие от простого плоско-вульгарного пустозвонства других наций, высокопарное пустозвонство как характернейший и наиболее массовый продукт немецкой интеллектуальной индустрии, с девизом «дешево, да гнило», — совсем как другие немецкие фабрики, рядом с которыми оно, к сожалению, не было представлено на филладельфийской выставке. Даже немецкий социализм — особенно со времени благого примера, поданного г. Дюрингом, — весьма усердно промышляет в наши дни высокопарным пустозвонством; то, что практическое социал-демократическое движение так мало дает сбить себя с толку этим высокопарным пустозвонством, является новым доказательством замечательно здоровой природы рабочего класса в нашей стране, в которой в данный момент, за исключением естествознания, чуть ли не все остальное поражено болезнью.

Если Негели в своей речи на Мюнхенском съезде естествоиспытателей¹ высказался в том смысле, что человеческое познание никогда не будет обладать характером всеведения, то ему, очевидно, остались неизвестными подвиги г. Дюринга. Подвиги эти заставили меня последовать за ним также и в целый ряд таких областей, где я могу выступать в лучшем случае лишь в качестве дилетанта. Это относится в особенности к различным отраслям естествознания, где до сих пор нередко считалось более чем нескромным, если какой-нибудь «профан» пытался высказать свое мнение. Однако меня несколько ободряет высказанное также в Мюнхене и подробнее изложенное в другом месте замечание г. Вирхова², что каждый естествоиспытатель

¹ В сентябре 1877 г. *Ред.*

² Доклад Вирхова «Свобода науки в современном государстве» был издан отдельной брошюрой в Берлине в 1877 г. *Ред.*

тель вне своей собственной специальности является тоже только полужнайкой, *vilgo* профаном. Подобно тому как такой специалист может и должен время от времени переходить в соседние области и подобно тому как специалисты этих областей прощают ему в этом случае неловкость в выражениях и маленькие неточности, так и я взял на себя смелость приводить, в качестве примеров, подтверждающих мои общетеоретические воззрения, те или иные процессы природы и ее законы, и я считаю себя вправе рассчитывать на такое же снисхождение. Дело в том, что всякому, кто занимается теоретическими вопросами, результаты современного естествознания навязываются с той же принудительностью, с какой современные естествоиспытатели — желают ли они этого или нет — вынуждены приходить к общетеоретическим выводам. И здесь происходит известная компенсация. Если теоретики являются полужнайками в области естествознания, то современные естествоиспытатели фактически в такой же мере являются полужнайками в области теории, в области того, что называлось до сих пор философией.

Эмпирическое естествознание накопило такую необъятную массу положительного материала, что в каждой отдельной области исследования стала прямо-таки неустранимой необходимость упорядочить этот материал систематически и сообразно его внутренней связи. Точно так же становится неустранимой задача приведения в правильную связь между собою отдельных областей знания. Но, занявшись этим, естествознание вступает в теоретическую область, а здесь эмпирические методы оказываются бессильными, здесь может оказать помощь только теоретическое мышление. Но теоретическое мышление является прирожденным свойством только в виде способности. Эта способность должна быть развита, усовершенствована, а для этого не существует до сих пор никакого иного средства, кроме изучения всей предшествующей философии.

Теоретическое мышление каждой эпохи, а значит и нашей эпохи, это — исторический продукт, принимающий в различные времена очень различные формы и вместе с тем очень различное содержание. Следовательно, наука о мышлении, как и всякая другая наука, есть историческая наука, наука об историческом развитии человеческого мышления. А это имеет важное значение также и для практического применения мышления к эмпирическим областям. Ибо, во-первых, теория законов мышления не есть вовсе какая-то раз навсегда установленная «вечная истина», как это связывает со словом «логика» филистерская мысль. Сама формальная логика остается, начиная с Аристотеля и до наших дней, ареной ожесточенных споров. Что же касается диалектики, то до сих пор она была исследована более или менее точным образом лишь двумя мыслителями: Аристотелем и Гегелем. Но именно диалектика является для современного

естествознания наиболее важной формой мышления, ибо только она представляет аналог и тем самым метод объяснения для происходящих в природе процессов развития, для всеобщих связей природы, для переходов от одной области исследования к другой.

А, во-вторых, знакомство с ходом исторического развития человеческого мышления, с выступавшими в различные времена воззрениями на всеобщие связи внешнего мира необходимо для теоретического естествознания и потому, что оно дает масштаб для оценки выдвигаемых им самим теорий. Но здесь недостаток знакомства с историей философии выступает довольно-таки часто и резко. Положения, установленные в философии уже сотни лет тому назад, положения, с которыми в философии давно уже покончили, часто выступают у теоретизирующих естествоиспытателей в качестве самоневейших истин, становясь на время даже предметом моды. Когда механическая теория теплоты привела новые доказательства в подтверждение положения о сохранении энергии и снова выдвинула его на передний план, то это несомненно было огромным ее успехом; но могло ли бы это положение фигурировать в качестве чего-то столь абсолютно нового, если бы господа физики вспомнили, что оно было выдвинуто уже Декартом? С тех пор как физика и химия стали опять оперировать почти исключительно молекулами и атомами, древнегреческая атомистическая философия с необходимостью снова выступила на передний план. Но как поверхностно трактуется она даже лучшими из естествоиспытателей! Так, например, Кекуле рассказывает («Ziele und Leistungen der Chemie») ¹, будто она имеет своим родоначальником Демокрита (вместо Левкиппа), и утверждает, будто Дальтон первый пришел к мысли о существовании качественно различных элементарных атомов и первый приписал им различные, специфические для различных элементов веса; между тем у Диогена Лаэртца (X, §§ 43—44 и 61) можно прочесть, что уже Эпикур приписывал атомам не только различия по величине и форме, но также и различия по *весу*, т. е., что Эпикур по-своему уже знал атомный вес и атомный объем.

1848 год, который в Германии в общем ничего не довел до конца, произвел там полный переворот только в области философии. Устремившись в область практики и положив начало, с одной стороны, крупной промышленности и спекуляции, а с другой стороны, тому мощному подъему, который естествознание с тех пор переживает в Германии и первыми странствующими проповедниками которого явились карикатурные персонажи Форт, Бюхнер и т. д., — нация решительно отвернулась от затеявшейся в песках берлинского старогегельянства классической

¹ Энгельс имеет в виду брошюру Кекуле «Научные цели и достижения химии», вышедшую в Бонне в 1878 г. *Ред.*

немецкой философии. Берлинское старогегельянство вполне это заслужило. Но нация, желающая стоять на высоте науки, не может обойтись без теоретического мышления. Вместе с гегельянством выбросили за борт и диалектику — как раз в тот самый момент, когда диалектический характер процессов природы стал непреодолимо навязываться мысли и когда, следовательно, только диалектика могла помочь естествознанию выбраться из теоретических трудностей. В результате этого снова оказались беспомощными жертвами старой метафизики. Среди публики получили с тех пор широкое распространение, с одной стороны, приноровленные к духовному уровню филистера плоские размышления Шопенгауера, впоследствии даже Гартмана, а с другой — вульгарный, в стиле странствующих проповедников, материализм разных Фогтов и Бюхнеров. В университетах конкурировали между собою различные сорта эклектизма, у которых общим было только то, что они были состряпаны из одних лишь отбросов старых философских систем и были все одинаково метафизичны. Из остатков классической философии сохранилось только известного рода неокантIANство, последним словом которого была вечно непознаваемая вещь в себе, т. е. та часть кантовского учения, которая меньше всего заслуживала сохранения. Конечным результатом были господствующие теперь разброд и путаница в области теоретического мышления.

Нельзя теперь взять в руки почти ни одной теоретической книги по естествознанию, не получив из чтения ее такого впечатления, что сами естествоиспытатели чувствуют, как сильно над ними господствует этот разброд и эта путаница, и что имеющая ныне хождение, с позволения сказать, философия не дает абсолютно никакого выхода. И здесь действительно нет никакого другого выхода, никакой другой возможности добиться ясности, кроме возврата в той или иной форме от метафизического мышления к диалектическому.

Этот возврат может совершиться различным образом. Он может проложить себе путь стихийно, просто благодаря напору самих естественно-научных открытий, не уступающих больше в старом метафизическом прокрустовом ложе. Но это — длительный и трудный процесс, при котором приходится преодолевать бесконечное множество излишних трений. Процесс этот в значительной степени уже происходит, в особенности в биологии. Он может быть сильно сокращен, если представители теоретического естествознания захотят поближе познакомиться с диалектической философией в ее исторически данных формах. Среди этих форм особенно плодотворными для современного естествознания могут стать две.

Первая — это греческая философия. Здесь диалектическое мышление выступает еще в первобытной простоте, не нарушаемой теми милыми препятствиями, которые сама себе создала

метафизика XVII и XVIII веков — Бэкон и Локк в Англии, Вольф в Германии — и которыми она заградила себе путь от понимания единичного к пониманию целого, к постижению всеобщей связи вещей. У греков — именно потому, что они еще не дошли до расчленения, до анализа природы, — природа еще рассматривается в общем, как одно целое. Всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробностях: она является для греков результатом непосредственного созерцания. В этом недостаток греческой философии, из-за которого она должна была впоследствии уступить место другим воззрениям. Но в этом же заключается и ее превосходство над всеми ее позднейшими метафизическими противниками. Если метафизика права по отношению к грекам в подробностях, то в целом греки правы по отношению к метафизике. Это одна из причин, заставляющих нас все снова и снова возвращаться в философии, как и во многих других областях, к достижениям того маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечили ему в истории развития человечества место, на которое не может претендовать ни один другой народ. Другой же причиной является то, что в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше, в процессе возникновения, почти все позднейшие типы мировоззрений. Поэтому и теоретическое естествознание, если оно хочет проследить историю возникновения и развития своих теперешних общих положений, вынуждено возвращаться к грекам. И понимание этого все более и более прокладывает себе дорогу. Все более редкими становятся те естествоиспытатели, которые, сами оперируя обрывками греческой философии, например атомистики, как вечными истинами, смотрят на греков по-бэконовски свысока на том основании, что у последних не было эмпирического естествознания. Было бы только желательно, чтобы это понимание углубилось и привело к действительному ознакомлению с греческой философией.

Второй формой диалектики, особенно близкой как раз немецким естествоиспытателям, является классическая немецкая философия от Канта до Гегеля. Здесь уже кое-какое начало положено, ибо также и помимо упомянутого уже неокантианства становится снова модой возвращаться к Канту. С тех пор как открыли, что Кант является творцом двух гениальных гипотез, без которых нынешнее теоретическое естествознание не может ступить и шага, — а именно приписывавшейся прежде Лапласу теории возникновения солнечной системы и теории замедления вращения земли благодаря приливам, — с тех пор Кант снова оказался в должном почете у естествоиспытателей. Но учиться диалектике у Канта было бы без нужды утомительной и неблагодарной работой, с тех пор как в произведениях *Гегеля* мы имеем обширный компендий диалектики, хотя и развитый из совершенно ложной исходной точки.

После того как, с одной стороны, реакция против «натур-философии», — в значительной степени оправдывавшаяся этим ложным исходным пунктом и жалким обмелением берлинского гегельянства, — исчерпала себя, выродившись под конец в простую ругань, после того как, с другой стороны, естествознание в своих теоретических запросах было столь безнадежно оставлено в беспомощном положении ходячей эклектической метафизикой, — может быть, станет возможным опять заговорить перед естествоиспытателями о Гегеле, не вызывая этим у них той витовой пляски, в которой так забавен господин Дюринг.

Прежде всего следует установить, что дело идет здесь отнюдь не о защите гегелевской исходной точки зрения, согласно которой дух, мысль, идея есть первичное, а действительный мир — только слепок идеи. От этого отказался уже Фейербах. Мы все согласны с тем, что в любой научной области — как в области природы, так и в области истории — надо исходить из данных нам фактов, стало быть, в естествознании — из различных предметных форм и различных форм движения материи¹ и что, следовательно, также и в теоретическом естествознании нельзя конструировать связей и вносить их в факты, а надо извлекать их из фактов и, найдя, доказывать их, насколько это возможно, опытным путем.

Точно так же речь не может идти и о том, чтобы сохранить догматическое содержание гегелевской системы, как оно проповедывалось берлинскими гегельянами старшей и младшей линии. Вместе с идеалистическим исходным пунктом падает и построенная на нем система, следовательно, в частности и гегелевская натурфилософия. Но здесь следует напомнить о том, что естественно-научная полемика против Гегеля, поскольку она вообще правильно понимала его, направлялась только против обоих этих пунктов: против идеалистического исходного пункта и против произвольного, противоречащего фактам, построения системы.

За вычетом всего этого остается еще гегелевская диалектика. Заслугой Маркса является то, что он впервые извлек снова на свет, в противовес «брюзжащему, заносчивому и весьма посредственному эпигонству, задающему тон в современной Германии»², забытый диалектический метод, указал на связь его с гегелевской диалектикой, а также и на отличие его от последней и в то же время дал в «Капитале» применение этого метода к фактам определенной эмпирической науки, политической экономии. И сделал он это с таким успехом, что даже в

¹ Здесь в первоначальной редакции текста стояла точка, после которой начиналась следующая недописанная до конца фраза, впоследствии зачеркнутая Энгельсом: «Мы, социалистические материалисты, идем в этом отношении даже еще значительно дальше, чем естествоиспытатели, так как мы также и...». *Ред.*

² Эти слова взяты из послесловия Маркса ко второму изданию I тома «Капитала». *Ред.*

Германии новейшая экономическая школа поднимается над вульгарным фритредерством лишь благодаря тому, что она, под предлогом критики Маркса, занимается описыванием у него (довольно часто неверным).

У Гегеля в диалектике господствует то же самое извращение всех действительных связей, как и во всех прочих разветвлениях его системы. Но, как замечает Маркс, «та мистификация, которую претерпела диалектика в руках Гегеля, отнюдь не помешала тому, что именно Гегель первый дал всеобъемлющее и сознательное изображение ее всеобщих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно»¹.

Но и в самом естествознании мы достаточно часто встречаемся с такими теориями, в которых действительные отношения поставлены на голову, в которых отражение принимается за отражаемый объект и которые нуждаются поэтому в подобном перевертывании. Такие теории нередко господствуют в течение продолжительного времени. Именно такой случай представляет учение о теплоте: в течение почти двух столетий теплота рассматривалась не как форма движения обыкновенной материи, а как особая таинственная материя; только механическая теория теплоты осуществила здесь необходимое перевертывание. Тем не менее физика, в которой царила теория теплорода, открыла ряд в высшей степени важных законов теплоты. В особенности Фурье² и Садн Карно расчистили здесь путь для правильной теории, которой оставалось только перевернуть открытые ее предшественницей законы и перевести их на свой собственный язык³. Точно так же в химии теория флогистона своей вековой экспериментальной работой впервые доставила тот материал, с помощью которого Лавуазье смог открыть в полученном Пристли кислороде реальный антипод фантастического флогистона и тем самым ниспровергнуть всю флогистонную теорию. Но это отнюдь не означало устранения опытных результатов флогистики. Наоборот, они продолжали существовать; только их формулировка была перевернута, переведена с языка теории флогистона на современный химический язык; и постольку они сохранили свое значение.

Гегелевская диалектика так относится к рациональной диалектике, как теория теплорода — к механической теории теплоты, как теория флогистона — к теории Лавуазье.

¹ См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. XXIII. *Ред.*

² Энгельс имеет в виду математика Жана Батиста Жозефа Фурье, автора трактата «Аналитическая теория теплоты» («*Théorie analytique de la chaleur*», Paris 1822). *Ред.*

³ Фигурирующая у Карно функция C была в буквальном смысле перевернута: $\frac{1}{C}$ = абсолютной температуре. Если ее не перевернуть таким образом, с ней нечего делать. [*Примечание Энгельса.*]

ИЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К «АНТИ-ДЮРИНГУ»¹

К ОТДЕЛУ I

К гл. III

[Идеи — отражения действительности]

Все идеи извлечены из опыта, они — отражения действительности, верные или же искаженные.

К гл. III, стр. 33—34

[Материальный мир и законы мышления]

Два рода опыта — внешний, материальный, и внутренний — законы мышления и формы мышления. Формы мышления также отчасти унаследованы путем развития (самоочевидность, например, математических аксиом для европейцев, но, конечно, не для бушменов и австралийских негров).

Если наши предпосылки верны и если мы правильно применяем к ним законы мышления, то результат должен соответствовать действительности, точно так же как вычисление в аналитической геометрии должно соответствовать геометрическому построению, хотя то и другое представляют собой совершенно различные методы. Но, к сожалению, этого почти никогда не бывает, либо же имеет место лишь в совершенно простых действиях.

Внешний мир, в свою очередь, есть или природа, или общество.

К гл. III, стр. 33—35; гл. IV, стр. 39—42; гл. X, стр. 90

[Отношение мышления к бытию]

Единственным содержанием мышления являются мир и законы мышления.

Общие результаты исследования мира получаются в конце этого исследования; они, следовательно, являются не *принципами*, не исходными пунктами, а *результатами*, итогами. Получать эти результаты путем конструкции, производимой в уме, исходить из них, как из основы, а затем в уме реконструировать из них мир — это и есть *идеология*, та идеология, которой до сих пор были заражены и все разновидности материализма. Хотя для него, конечно, было до некоторой степени ясно отношение мышления к бытию в *природе*, но неясно было это отношение в истории, он не понимал зависимости мышления во всяком данном случае от исторических материальных условий. —

¹ Указания на главы и страницы, к которым относятся соответствующие отрывки «Из подготовительных работ к «Анти-Дюрингу», а также названия отрывков, заключенные в квадратные скобки, даны редакцией. Ред.

Так как Дюринг исходит из «принципов», а не из фактов, то он является идеологом, и он может скрывать, что он идеолог, лишь выражая свои положения в столь общей и бессодержательной форме, что эти положения представляются *аксиоматическими, плоскими*, причем в таком случае из этих положений нельзя сделать никаких выводов, но можно лишь *вложить* в них произвольное значение. Например, хотя бы принцип *единственности бытия*. Единство мира и нелепость потустороннего бытия есть результат всего исследования мира, но здесь имеется в виду доказать его а priori, исходя из *аксиомы мышления*. Отсюда бессмыслица. — Но без этого переворачивания обособленная философия невозможна.

К гл. III, стр. 35—36

[Мир как связанное целое. Познание мира]

*Систематика*¹ после Гегеля невозможна. Ясно, что мир образует единую систему, т. е. связанное целое, но познание этой системы предполагает познание *всей* природы и истории, чего люди *никогда* не достигают. Итак, тот, кто строит системы, должен заполнять бесчисленное множество пробелов *собственными измышлениями*, т. е. *иррационально* фантазировать, быть идеологом.

Рациональная фантазия — *alias*² комбинация!

К гл. III, стр. 36—39

[Математические действия и чисто-логические действия]

Вычисляющий рассудок — *счетная машина!* — Забавное смешение математических действий, допускающих материальное доказательство, проверку, — так как они основаны на непосредственном материальном созерцании, хотя и абстрактном, — с такими *чисто* логическими действиями, которые допускают лишь доказательство путем умозаключения и которым, следовательно, не свойственна положительная достоверность, присущая математическим действиям, — а сколь многие из них оказываются ошибочными! Машина для *интегрирования*, ср. Andrews, speech. Nature, Sept. 7, 76³.

Схема = шаблон.

¹ Систематика — здесь в смысле построения абсолютно законченной системы. *Ред.*

² — иначе. *Ред.*

³ *Эндрьюс*, речь. «Природа», 7 сентября 1876 г. — Энгельс имеет в виду речь Томаса Эндрьюса на 46-м ежегодном собрании Британской научной ассоциации в Бельфасте. *Ред.*

К гл. III, стр. 36—39; гл. IV, стр. 39—42

[Реальность и абстракция]

С помощью положения о всеединственности всеобъемлющего бытия, — под которым папа и шейх-уль-ислам могут подписаться, нисколько не отказываясь от своей непогрешимости и от религии, — Дюринг так же не может доказать исключительную *материальность* всего бытия, как он не может из какой бы то ни было математической аксиомы вывести путем конструкции треугольник или шар, или же вывести из аксиомы теорему Пифагора. Для того и другого нужны реальные предпосылки, и лишь путем исследования последних можно достигнуть этих результатов. Уверенность, что кроме материального мира не существует еще особого духовного мира, есть результат длительного и трудного исследования реального мира, у compris¹ также и исследование продуктов и процессов человеческого мозга. Результаты геометрии представляют собой не что иное, как естественные свойства различных линий, поверхностей и тел, а соответственно и их комбинаций, которые большей частью встречались уже в природе задолго до того, как существовали люди (радиолярии, насекомые, кристаллы и т. д.).

К гл. VI, стр. 56 и сл.

[Движение как форма бытия материи]

Движение есть форма бытия материи, следовательно, нечто большее, чем просто ее свойство. Не существует и никогда не могло существовать материи без движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение менее значительных масс на отдельном мировом теле, колебание молекул в качестве теплоты, электрическое напряжение, магнитная поляризация, химическое разложение и соединение, органическая жизнь вплоть до ее высшего продукта, мышления, — вот те формы движения, в которых — в той или иной из них — находится каждый отдельный атом вещества в каждый данный момент. Всякое равновесие либо является лишь относительным покоем, либо само представляет собой движение в равновесии, каким, например, является движение планет. Абсолютный покой мыслим лишь там, где нет материи. Итак, нельзя отделять от материи ни движения как такового, ни какой-либо из его форм, например, механической силы; нельзя противопоставлять материи движение как нечто особое, чуждое ей, не приходя к абсурду.

¹ — включая. *Ред.*

К гл. VII, стр. 66—68

[Естественный отбор]

Дюринг должен был бы с радостью ухватиться за теорию *natural selection*¹, ибо она все же дает наилучшую иллюстрацию для его учения о бессознательных целях и средствах. — Если Дарвин исследует естественный отбор, ту *форму*, в которой совершается медленное изменение, то Дюринг требует, чтобы Дарвин указал и *причину* изменения, относительно которой равным образом ничего не известно и г. Дюрингу. Каковы бы ни были успехи науки, г. Дюринг всегда скажет, что еще чего-то недостает, и, таким образом, у него окажется достаточное основание для брюзжания.

К гл. VII

[О Дарвине]

Как велик чрезвычайно скромный Дарвин, который не только сопоставляет, группирует и подвергает обработке тысячи фактов из всей биологии, но и с радостью упоминает о каждом из своих предшественников, как бы незначителен он ни был, даже и тогда, когда это умаляет его собственную славу, — если его сравнить с хвастливым Дюрингом, который сам ничего не дает, но пренебрежительно относится к тому, что дают другие, и который...

К гл. VII, стр. 67—68; гл. VIII, стр. 74—75

Дюрингуана. Дарвинизм, стр. 115².

Приспособление растений представляет собой комбинацию физических сил или химических факторов, следовательно, во-все не приспособление. Если «растение в своем росте избирает путь, на котором оно получает наибольшее количество света», то оно делает это различными путями и различными способами, в зависимости от вида и свойства растений. Но физические силы и химические факторы действуют в каждом растении по-разному и способствуют тому, что растение, которое есть ведь нечто иное, чем эти «химические и физические и т. д.», получает необходимый для него свет тем путем, который стал для него характерным благодаря длительному предшествовавшему развитию. Этот свет действует как раздражение на клетки растения, и именно он вызывает в них как реакцию эти силы и факторы³. Так как этот процесс совершается в органическом клеточном образовании и принимает форму раздражения и ре-

¹ — естественный отбор. *Ред.*

² Указания страниц относятся к «Курсу философии» Дюринга. *Ред.*

³ Здесь в рукописи на полях написано: «также и у животных главную роль играет произвольное приспособление». *Ред.*

акции, которые здесь так же имеют место, как и тогда, когда они происходят при посредстве нервов в мозгу, — то и в том и в другом случае применимо одно и то же выражение — приспособление. Если же приспособление непременно должно совершаться при посредстве сознания, то где же начинается сознание и приспособление и где оно прекращается? У монеры, у насекомоядного растения, у губок, у коралла, в первом нерве? Дюринг доставил бы естествоиспытателям старого закала огромное удовольствие, если бы он указал границу. Раздражение протоплазмы и реакция протоплазмы имеются налицо всюду, где есть живая протоплазма. А так как протоплазма, благодаря действию медленно изменяющихся раздражений, подвергается таким же изменениям, — иначе она бы погибла, — то ко всем органическим телам *необходимо* применить одно и то же выражение, а именно приспособление.

К гл. VII, стр. 67 и сл.

[Приспособление и наследственность]

Геккель рассматривает приспособление по отношению к развитию видов как фактор отрицательный, вызывающий изменения, а наследственность — как фактор положительный, сохраняющий виды. Дюринг, наоборот, утверждает (стр. 122), что наследственность вызывает и отрицательные результаты, производит *изменения* (при этом пустословие о преформации). Чрезвычайно легко перевернуть эти противоположности, — как и всякие другие противоположности этого рода, — и показать, что, наоборот, приспособление, именно благодаря изменению *формы*, сохраняет существенное, *самый орган*, между тем как наследственность уже благодаря соединению двух, всякий раз различных, индивидов всегда вызывает изменения, накопление которых не исключает изменения вида. Ведь наследуются также и результаты приспособления! Но при этом мы не подвигаемся ни на шаг вперед. Мы должны считаться с *фактическим положением вещей* и исследовать его, и тогда мы, конечно, увидим, что Геккель совершенно прав, считая наследственность по самой сути дела консервативной, положительной, а приспособление — революционизирующей, отрицательной стороной процесса. Приручение, разведение животных и растений и произвольное приспособление — эти факты говорят нам более убедительным языком, чем все «утонченные концепции» Дюринга.

К гл. VIII, стр. 76—78

Дюринг, стр. 141.

Жизнь. За последние двадцать лет физиологи-химики и химики-физиологи неоднократно утверждали, что обмен веществ есть важнейшее явление жизни, — а здесь это повторно

возводится в дефиницию жизни. Но эта дефиниция не является ни точной, ни исчерпывающей. Мы наблюдаем обмен веществ и при *отсутствии* жизни, например, при простых химических процессах, которые при достаточном притоке сырых материалов всегда снова порождают свои собственные условия, причем носителем процесса является определенное тело (примеры см. Роско, 102¹, производство серной кислоты), при эндосмосе и экзосмосе (через мертвые органические и даже неорганические перепонки?), в искусственных клетках Траубе и в окружающей их среде. Итак, обмен веществ, которым хотят объяснить жизнь, сам требует, в свою очередь, более точного определения. Несмотря на всякие глубокие обоснования, утонченные концепции и тонкие исследования, мы, значит, все же не дошли до понимания сути дела и продолжаем спрашивать: что такое жизнь?

Дефиниции не имеют значения для науки, потому что они всегда оказываются недостаточными. Единственно реальной дефиницией оказывается развитие существа самого дела, а это уже не есть дефиниция. Для того, чтобы выяснить и показать, что такое жизнь, мы должны исследовать все формы жизни и изобразить их в их взаимной связи. Но для *обыденного употребления* краткое указание наиболее общих и в то же время наиболее характерных отличительных признаков в так называемой дефиниции часто бывает полезно и даже необходимо, да и не может вредить, если только от дефиниции не требуют, чтобы она давала больше того, что она в состоянии выразить. Итак, попытаемся дать подобное определение жизни, что безуспешно старалось сделать немало людей (см. Никольсон).

Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ существования заключается по своему существу в постоянном обновлении их химических составных частей путем питания и выделения.

...Из органического обмена веществ как существенной функции белка и из свойственной ему пластичности выводятся затем все прочие, простейшие функции жизни: раздражимость, заключающаяся уже во взаимодействии между белком и его пищей; сокращаемость, обнаруживающаяся при поглощении пищи; способность к росту, которая на самой низшей ступени (монера) включает в себя размножение путем деления; внутреннее движение, без которого невозможны ни поглощение, ни ассимилирование пищи. Но лишь путем наблюдения можно выяснить, каким образом совершается процесс развития от простого пластического белка к клетке и, следовательно, к ор-

¹ Roscoe-Schorlemmer, Ausführliches Lehrbuch der Chemie, B. I, Braunschweig 1877 (Роско-Шорлеммер, Подробный учебник химии, т. I, Брауншвейг 1877). Ред.

ганизму, а такое исследование не относится уже к простому обиходному определению жизни. (Дюринг говорит на стр. 141 еще о целом промежуточном мире, так как без системы каналов, по которым совершается циркуляция веществ, и без «зародышевой схемы» нет подлинной жизни. Это место великолепно.)

К гл. X, стр. 91—96

Дюринг — экономика. — Двое мужчин

Пока речь идет о морали, Дюринг может считать их равными, но это перестает быть возможным, как только речь заходит об экономике. Если, например, этими двумя мужчинами оказываются какой-нибудь янки, broken, into all trades¹, и берлинский студюоз, у которого нет ничего, кроме аттестата об окончании школы и философии действительности, да еще рук, по принципу никогда не упражнявшихся в фехтовании, которое сделало бы их сильными, то можно ли в таком случае говорить о равенстве? Янки производит все, студюоз лишь изредка помогает, распределение же происходит в соответствии с тем, что каждый из них сделал, — и вскоре янки будет в состоянии капиталистически эксплуатировать возрастающее (благодаря рождаемости или иммиграции) население колонии. Итак, двое мужчин легко могут положить начало всему современному строю, капиталистическому производству и пр., и при этом ни одному из них не приходится прибегать к сабле.

К гл. X, стр. 97—101

Дюрингиана.

Равенство — справедливость. — Представление о том, что равенство есть выражение справедливости, принцип совершенного политического и социального строя, возникло вполне исторически. В первобытных общинах равенства не существовало, или оно существовало лишь в весьма ограниченных размерах для полноправного члена отдельной общины и сочеталось с существованием рабства. То же и в античной демократии. Равенство всех людей — греков, римлян и варваров, свободных и рабов, уроженцев государства и иностранцев, граждан государства и тех, кто только пользовался его покровительством, и т. д. — представлялось античному человеку не только безумным, но и преступным, и было последовательно, что первые его начатки в христианстве подвергались преследованиям. — В христианстве впервые было выражено отрицательное равенство перед богом всех людей как грешников и в более узком смысле равенство

¹ — на все способный. Ред.

тех и других детей божиих, искупленных благодатью и кровью Христа. Как то, так и другое понимание вытекало из роли христианства, как религии рабов, изгнанников, отверженных, гонимых, угнетенных. С победой христианства этот момент отступил на задний план, наиболее важной стала прежде всего противоположность между верующими и язычниками, правочерными и еретиками. — Усиление городов и, вместе с тем, — более или менее развитых элементов как буржуазии, так и пролетариата неизбежно должно было вновь вызвать постепенное пробуждение требования равенства как условия буржуазного существования, а с этим было связано, что пролетарии из политического равенства стали выводить равенство социальное. Впервые это было резко выражено — конечно, в религиозной форме — в Крестьянской войне. — Буржуазная сторона требования равенства была резко, — но еще в виде общечеловеческого требования, — впервые формулирована Руссо. Как и при всех требованиях буржуазии, пролетариат и в данном случае как роковая тень следует за буржуазией и делает свои выводы (Бабеф). Эту связь между буржуазным равенством и пролетарскими выводами следует развить более подробно.

Итак, для выработки принципа равенства = справедливости понадобилась почти вся предшествующая история, и сформулировать его удалось лишь тогда, когда уже существовали буржуазия и пролетариат. Но принцип равенства заключается в том, что не должно существовать никаких привилегий, следовательно, он оказывается по сути дела *отрицательным*, он объявляет всю предшествующую историю негодной. Так как этот принцип лишен положительного содержания и так как он огульно отвергает все прошлое, он одинаково пригоден для того, чтобы быть провозглашенным великой революцией 1789—1796 гг., и для позднейших, фабрикующих системы плоских умов. Но выдавать положение равенство = справедливости за высший принцип и за последнюю истину нелепо. Равенство существует лишь в противоположности к неравенству, справедливость — лишь в противоположности к несправедливости; следовательно, над этими понятиями еще тяготеет противоположность по отношению к предшествующей истории, стало быть — само старое общество¹.

Уже в силу этого указанное положение не может выражать вечную справедливость и истину. Через несколько поколений общественного развития, при коммунистическом строе и при увеличении количества средств поддержания жизни, люди должны будут дойти до того, что гордые требования равенства

¹ Здесь в рукописи на полях написано: «Представление о равенстве [вытекает] из равенства всеобщего человеческого труда в производстве товаров. «Капитал», стр. 36». — См. «Капитал», т. I, 1935 г., стр. 21. *Ред.*

и права будут казаться столь же смешными, как смешно, когда теперь кичатся дворянскими и тому подобными наследственными привилегиями. Противоположность как по отношению к старому неравенству и к старому положительному праву, так и по отношению к новому, переходному праву исчезнет из практической жизни; тому, кто будет настаивать, чтобы ему с педантической точностью была выдана причитающаяся ему равная и справедливая доля продуктов, — тому в насмешку выдадут двойную порцию. Даже Дюринг согласился с тем, что это можно «предвидеть», и где тогда окажется место для равенства и справедливости, как не в кладовой для исторических воспоминаний? Оттого, что теперь подобные фразы весьма пригодны для агитации, они отнюдь не становятся вечной истиной.

(Выяснить *содержание* равенства. — Ограничение правовой стороной и т. д.).

Впрочем, еще и в настоящее время и для сравнительно далекого будущего абстрактная теория равенства оказывается нелепостью. Ни один пролетарий-социалист или социалистический теоретик не захочет допустить абстрактного равенства между собой и бушменом или уроженцем Огненной Земли, или хотя бы даже *крестьянином*, или же полуфеодалным поденщиком; а как только это будет преодолено хотя бы в Европе, будет преодолена и абстрактная точка зрения равенства. При установлении рационального равенства само это равенство теряет всякое значение. Если теперь требуют равенства, то это происходит благодаря предвосхищению умственного и нравственного *выравнивания*, которое само собой наступает *при нынешних исторических отношениях*. Но *вечная мораль* должна была быть возможной во всякое время и *повсеместно*. Даже Дюринг не решается утверждать этого о равенстве; он, наоборот, допускает для переходного времени репрессию, признавая, следовательно, что равенство оказывается не вечной истиной, а историческим продуктом и отличительным признаком определенных исторических состояний.

Буржуазное равенство (уничтожение классовых *привилегий*) весьма отличается от пролетарского равенства (уничтожения самих классов). Требование равенства, идущее дальше этого, т. е. абстрактно понятое, становится нелепым. В конце концов и г. Дюринг вынужден вновь протащить с черного хода насилие, вооруженное и административное, судебное и полицейское.

Таким образом, *представление о равенстве само оказывается историческим продуктом*, для выработки которого необходима вся предшествующая история; представление это, следовательно, не существует испокон века как вечная истина. Если

же в настоящее время оно представляется большинству людей — *en principe*¹ — чем-то само собой разумеющимся, то это является результатом не их аксиоматического характера, а *распространения идей XVIII века*. Итак, если в настоящее время два пресловутых мужа становятся на точку зрения равенства, то это вытекает из того, что приходится представлять себе их как «образованных» людей XIX века и что это для них «естественно». А как ведут и вели себя *действительные* люди, всегда зависит и всегда зависело от тех исторических условий, при которых они жили.

К гл. IX, стр. 87—89; гл. X, стр. 97—101

[Зависимость идей от общественных отношений]

Взгляд, согласно которому *будто бы идеями и представлениями людей созданы условия их жизни*, а не наоборот, опровергается всей предшествующей историей, в которой до сих пор результаты всегда оказывались иными, чем те, каких желали, а в дальнейшем ходе в большинстве случаев даже противоположными тому, чего желали. Этот взгляд лишь в более или менее отдаленном будущем может стать соответствующим действительности, поскольку люди будут заранее знать необходимость изменения общественного строя (*sit venia verbo*²), вызванную изменением отношений, и пожелают этого изменения, прежде чем оно будет навязано им помимо их сознания и воли. — Это применимо и к представлениям о *праве*, а, следовательно, и к политике (*as far as that goes*³, этот пункт следует рассмотреть в разделе «философия», — «насилие» остается для политической экономии).

К гл. XI, стр. 107—108 (ср. также отдел III, гл. V, стр. 299—300)

Уже верное отражение *природы* — дело трудное, продукт длительной истории опыта. Силы природы представляются первобытному человеку чем-то чуждым, таинственным, подавляющим. На известной ступени, через которую проходят все культурные народы, он осваивается с ними путем олицетворения. Именно это стремление к олицетворению создало повсюду богов, и *consensus gentium*⁴, на которое ссылается доказательство бытия божия, доказывает именно лишь всеобщность этого

¹ — принципиально. *Ред.*

² — да будет позволено сказать так. *Ред.*

³ — поскольку уместно. *Р.д.*

⁴ — всеобщее мнение. *Ред.*

стремления к олицетворению как необходимой переходной ступени, — а следовательно, и религии. Лишь действительное познание сил природы изгоняет богов или бога из одной области вслед за другой (Секки и его солнечная система). В настоящее время этот процесс настолько подвинулся вперед, что теоретически его можно считать законченным.

В сфере общественных явлений отражение еще более трудное дело. Общество определяется экономическими отношениями, производством и обменом наряду с историческими предпосылками.

К гл. XII, стр. 113—115 (ср. Введение, стр. 21—23)

Противоположность, — если вещи присуща противоположность, то эта вещь находится в *противоречии* с самой собой; то же относится и к выражению этой вещи в мысли. Например, в том, что вещь остается той же самой и в то же время непрерывно изменяется, что она содержит в себе противоположность между «устойчивостью» и «изменением», заключается *противоречие*.

К гл. XIII

[Отрицание отрицания]

...Все индогерманские народы начинают с *общинной* собственности. Почти у всех народов она в ходе общественного развития отменяется, *отрицается*, вытесняется другими формами — частной собственностью, феодальной собственностью и т. д. Подвергнуть отрицанию это отрицание, восстановить общественную собственность на более высокой ступени развития — такова задача социальной революции. Или: античная философия первоначально представляла собой стихийный материализм. Из него возник идеализм, спиритуализм, отрицание материализма, сперва в виде противоположности между душой и телом, затем в учении о бессмертии и в монотеизме. Посредством христианства спиритуализм стал общераспространенным. Отрицание этого отрицания — воспроизведение старого на более высокой ступени, современный материализм, который, по отношению к прошлому, находит свое теоретическое завершение в научном социализме.

...Само собой разумеется, что эти естественные и исторические процессы отражаются в мыслящем мозгу и воспроизводятся в нем, как это обнаруживается в вышеприведенных примерах — $a \times \neg a$ и т. д., и именно высшие диалектические задачи разрешаются лишь посредством этого метода.

Конечно, существует и плохое, бесплодное отрицание. — Истинное, естественное, историческое и диалектическое отрицание (рассматриваемое со стороны формы) и есть именно движущее начало всякого развития — разделение на противоположности, их борьба и разрешение, причем (в истории отчасти, в мышлении вполне) на основе проделанного опыта вновь достигается первоначальный исходный пункт, но на более высокой ступени. — Бесплодным же отрицанием является отрицание чисто субъективное, индивидуальное, представляющее собой не стадию развития самого дела, а привнесенное извне *мнение*. А так как при нем ничего не может получиться, отрицающий должен быть, таким образом, не в ладу с миром, ворчливо порицать все существующее и все совершившееся, все историческое развитие. Хотя древние греки и добились кое-каких результатов, но они не знали ни спектрального анализа, ни химии, ни дифференциального исчисления, ни паровой машины, ни шоссейных дорог, ни электрического телеграфа, ни железных дорог. Стоит ли долго останавливаться на произведениях таких отсталых людей? Все дурно — постольку этого рода отрицатели являются пессимистами, — за исключением нашей собственной высочайшей персоны, которая оказывается совершенной, а таким путем наш пессимизм переходит в наш оптимизм. Итак, сами мы произвели отрицание отрицания.

Даже точка зрения Руссо на историю: первоначальное равенство, — порча, вызванная неравенством, — установление равенства на более высокой ступени — есть отрицание отрицания¹.

Дюринг постоянно проповедует идеализм — *идеальную* точку зрения. Если мы делаем из существующих отношений выводы относительно будущего, если мы постигаем и исследуем *положительную* сторону *отрицательных* элементов, проявляющих свое действие в ходе истории, — а это делает по-своему, как в высшей степени ограниченный прогрессист, даже идеалист Ласкер, — то Дюринг называет это «идеализмом», и поэтому он считает себя вправе фабриковать проекты будущего, в которых намечается даже план школьного преподавания и которые оказываются фантастическими, так как они основаны на невежестве. Он упускает из виду, что он сам при этом *производит отрицание отрицания*.

К гл. XIII, стр. 129—130

Отрицание отрицания и противоречие. «Ничто» чего-либо положительного, — говорит Гегель, — есть определенное ничто. «Дифференциалы могут быть рассматриваемы как *настоящие нули*, и с ними можно оперировать как с *настоящими нулями*,

¹ Это замечание находится на полях рукописи. Ред.

между которыми, однако, существует определенное отношение, вытекающее из состояния рассматриваемого именно в данном случае вопроса. Математически это не оказывается нелепостью», — говорит Боссю. Дробь $\frac{0}{0}$ может иметь весьма определенное значение, если она получается благодаря одновременному исчезновению числителя и знаменателя. Также $0 : 0 = A : B$, где, следовательно, $\frac{0}{0} = \frac{A}{B}$ изменяется с изменением значения A и B (стр. 95, примеры). И не заключается ли «противоречие» в том, что между нулями существуют отношения, т. е. что они могут иметь не только значение вообще, но даже различные значения, которые можно выразить в числах? $1 : 2 = 1 : 2$; $1 - 1 : 2 - 2 = 1 : 2$; $0 : 0 = 1 : 2$. —

Сам Дюринг говорит, что вышеупомянутые суммирования бесконечно малых величин — на обычном языке, интегральное исчисление — представляют собой наивысшие и т. д. операции в математике. Как производится этот род исчислений? У нас имеются две, три — или более — переменные величины, т. е. имеются такие величины, между которыми, при их изменении, обнаруживается определенное отношение. Пусть, например, даны две величины, x и y , и требуется разрешить определенную, неразрешимую с помощью элементарной математики, задачу, в которой функционируют x и y . Я дифференцирую x и y , т. е. принимаю их столь бесконечно малыми, что они исчезают по сравнению со сколь угодно малой действительной величиной, так что от x и y не остается ничего, кроме их *взаимного отношения*, без всякой матеральной основы, следовательно, $\frac{dx}{dy} = \frac{0}{0}$, но это $\frac{0}{0}$ выражает собой отношение $\frac{x}{y}$. То, что это отношение двух исчезнувших величин, фиксированный момент их исчезновения, представляет собой противоречие, не может смущать нас. Итак, что же я сделал, как не то, что я подверг отрицанию x и y , но не в том смысле, что мне больше нет дела до них, а соответственно обстоятельствам дела. Вместо x и y я имею в данных формулах или уравнениях их отрицание, dx и dy . Затем я произвожу обычные действия с этими формулами, обращаюсь с dx и dy так, как если бы они были действительными величинами, и в известном пункте я отрицаю отрицание, т. е. интегрирую дифференциальную формулу, вместо dx и dy подставляю действительные величины x и y и, таким образом, я вовсе не топчусь на месте, но разрешаю задачу, о которую элементарная геометрия и алгебра могли бы только попусту обломать себе зубы.

К О Т Д Е Л У II

К гл. II

Рабство — там, где оно является господствующей формой производства, — превращает труд в рабскую деятельность, т. е. в занятие, бесчестящее свободных людей. Тем самым закрывается выход из подобного способа производства, между тем, с другой стороны, для более развитого производства рабство является помехой, и устранение последнего становится настоятельной необходимостью. Всякое основанное на рабстве производство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия. Разрешение его совершается в большинстве случаев путем насильственного порабощения гибнущего общества другими, более сильными (Греция была покорена Македонией, а позже Римом). До тех пор, пока эти последние, в свою очередь, имеют своей основой рабский труд, происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на более высокой ступени, пока наконец (Рим) не происходит завоевание народом, введшим вместо рабства новый способ производства. Либо же рабство отменяется насильственно или добровольно, а в таком случае *прежний способ производства гибнет*: место крупной культуры занимает парцеллярное хозяйство окваттеров, как в Америке. Таким образом от рабства погибла также и Греция, и еще Аристотель сказал, что общение с рабами деморализует граждан, не говоря уже о том, что рабы делают для граждан труд невозможным. (Иное дело домашнее рабство — как, например, на Востоке; здесь оно образует основу производства не прямо, а косвенно, в качестве составной части семьи, переходя в нее незаметным образом (рабыни гарема)).

К гл. III

В дюрингианской достойной осуждения истории господствует насилие. В действительном же, поступательном историческом движении господствуют материальные завоевания, которые сохраняются.

К гл. III

И чем же поддерживается насилие, армия? *Деньгами*. Итак, опять-таки, оказывается, что оно зависит от производства. Ср. афинский флот и политику 380—340 гг. Насилие по отношению к союзникам кончилось неудачей вследствие недостаточности материальных средств, необходимых для энергичного ведения продолжительных войн. Английские субсидии, доставляемые новой, крупной промышленностью, победили Наполеона.

К гл. III

[Партия и военная подготовка]

При рассмотрении борьбы за существование и декламации Дюринга против борьбы и оружия следует подчеркнуть, что революционной партии необходимо знать и борьбу: партии предстоит совершить революцию — возможно, в более или менее близком будущем. Но уже не против нынешнего военно-бюрократического государства, — что политически было бы столь же безумно, как попытка Бабефа непосредственно перескочить от Директории к коммунизму, и даже еще безумнее, так как Директория все же была буржуазным и крестьянским правительством. Но чтобы отстаивать законы, данные самой буржуазией, партия может оказаться вынужденной принимать революционные меры против буржуазного государства, которое придет на смену нынешнему государству. Поэтому-то всеобщая воинская повинность, существующая в настоящее время, должна быть использована всеми для того, чтобы научиться борьбе; в особенности это относится к тем лицам, которым полученное образование позволяет проходить в течение года, в качестве вольноопределяющихся, военную подготовку, необходимую для того, чтобы стать офицером.

К гл. IV

[О «насилии»]

Признается, что насилие играет и революционную роль, и именно во все имеющие решающее значение «критические» эпохи, как при переходе к социалитету, притом лишь в качестве вынужденной обороны от реакционных внешних врагов. Но изображенный Марксом переворот, совершавшийся в XVI веке в Англии, имел и свою революционную сторону: он был одним из основных условий превращения феодального землевладения в буржуазное и развития буржуазии. Французская революция 1789 г. также в значительной степени применяла насилие, 4 августа лишь санкционировало насильственные действия крестьян и было дополнено конфискацией дворянских и церковных имуществ. Насильственное завоевание, произведенное германцами, основание на завоеванных землях таких государств, в которых господствовала деревня, а не город (как в древнем мире), сопровождалось — именно поэтому — превращением рабства в менее тягостное крепостное право и в другие формы зависимости крестьян (в древнем мире латифундии сопровождалась обращением пахотной земли в пастбища для скота).

К гл. IV

[Насилие, общинная собственность, экономика и политика]

Когда индогерманцы переселились в Европу, они, вытеснив путем *насилия* первоначальных обитателей, обрабатывали землю при общинном землевладении. Существование последнего еще можно исторически установить у кельтов, германцев и славян, и у славян, германцев и даже у кельтов (*rundale*) оно еще существует даже в форме прямой (Россия) или косвенной (Ирландия) зависимости крестьян. Насилие прекратилось после того, как были вытеснены лапландцы и баски. Внутри общины господствовало равенство или же возникали добровольно признаваемые привилегии. Там, где из общинной собственности возникла частная собственность отдельных крестьян на землю, этот раздел между членами общины происходил до XVI века совершенно без принуждения; в большинстве случаев он совершался с большой постепенностью, и остатки общинного владения были весьма обычным явлением. О *насилии* не было речи, оно применялось лишь против этих остатков (Англия XVIII и XIX веков, Германия главным образом XIX века). Ирландия представляет собой исключительный случай. Эта общинная собственность мирно существовала в Индии и в России при различнейших насильственных завоеваниях и деспотиях и служила для них основой. Россия является доказательством того, как производственные отношения определяют политические отношения насилия. До конца XVII века русский крестьянин не подвергался сильному угнетению, пользовался свободой передвижения, был почти независим. Первый Романов прикрепил крестьян к земле. Со времени Петра началась внешняя торговля России, которая могла вывозить лишь земледельческие продукты. *Этим* было вызвано угнетение крестьян, которое все возрастало по мере роста *вывоза, ради которого оно происходило*, пока Екатерина не сделала этого угнетения полным и не завершила законодательства. Но это законодательство позволяло помещикам все более притеснять крестьян, так что гнет все более и более усиливался.

К гл. IV

Если насилие является причиной социальных и политических состояний, то что же является причиной насилия? Присвоение *продуктов* чужого труда и *чужой рабочей силы*. Насилие могло изменить потребление продуктов, но не самый способ производства, оно не могло превратить барщину в наемный труд, кроме тех случаев, когда были налицо необходимые для этого условия и когда форма крепостного труда стала оковами для производства.

К гл. IV

До сих пор насилие — отныне социалитет. Чистое благое пожелание, требование «справедливости». Но Т. Мор выдвинул это требование уже 350 лет тому назад, а оно все еще не выполнено. Почему же оно должно осуществиться теперь? Дюринг не дает ответа. В действительности крупная промышленность выдвигает это требование не как требование справедливости, а как необходимость, обусловленную производством, а это в корне меняет дело.

К ОТДЕЛУ III

К гл. I

Фурье (Nouveau Monde Industriel et Sociétaire)¹. Элемент *неравенства*: «человек, будучи по инстинкту врагом равенства», стр. 59.

«Этот механизм мошенничеств, который называют цивилизацией», стр. 81.

«Надо было бы перестать отводить им (женщинам), как это принято у нас, неблагодарные функции, рабские роли, которые предназначает им философия, утверждая, будто женщина создана только для того, чтобы мыть горшки и чинить старые брюки», стр. 141.

«Бог уделил мануфактурному труду долю привлекательности, соответствующую лишь *четверти* того времени, которое общественный человек может посвятить труду». Остальное время должно быть поэтому посвящено земледелию, скотоводству, кухне, промышленным армиям, стр. 152.

«Нежная мораль, кроткая и чистая подруга торговли», стр. 161. Критика морали, стр. 162 и сл.

В современном обществе, «в цивилизованном механизме» царит «двоедушие в действиях, противоречие между индивидуальным интересом и коллективным»; это — «всеобщая война индивидов против масс. А наши политические науки осмеливаются еще говорить о единстве действия!» Стр. 172.

«Современные исследователи потерпели всюду неудачу в изучении природы, потому что не знали теории исключений или переходов, теории *помесей*». (Примеры «помесей»: айва, нектарин, угорь, летучая мышь и т. д.) Стр. 191.

Вторая часть рукописи подготовительных работ к «Анти-Дюрингу» представляет собой выдержки из «Курса национальной и социальной экономики» Дюринга, параллельно идут критические замечания Энгельса. — В дальнейшем

¹ «Новый промышленный и общественный мир». — Фразы и слова, заключенные в данном отрывке в кавычки, представляют собой цитаты, приводимые Энгельсом из сочинения Фурье на языке оригинала. Кавычки поставлены редакцией. *Ред.*

приводятся те замечания Энгельса, которые дополняют понимание положений, развитых в «Анти-Дюринге». Выдержки из Дюринга воспроизводятся здесь в сокращенном виде; они даны петитом и включены в квадратные скобки.

[По поводу утверждения Дюринга, что «волевая деятельность, посредством которой создаются человеческие объединения, подчиняется как таковая естественным законам», Энгельс замечает:]

Итак, ни слова об *историческом* развитии. Лишь вечный закон природы. Все сводится к психологии, которая, к сожалению, оказывается еще гораздо более «отсталой», чем политика.

[В связи с рассуждениями Дюринга о рабстве, наемном труде и насильственной собственности, как «социально-экономических *форм* отношений, имеющих *чисто-политическую* природу», Энгельс делает следующие замечания:]

Всё та же вера в то, что в политической экономии имеют силу лишь вечные естественные законы, что все изменения и искажения вызваны лишь негодной политикой.

Итак, во всей теории насилия верным оказывается лишь то, что до сих пор все общественные формы нуждались для своего сохранения в насилии и даже отчасти были установлены путем *насилия*. Это насилие в его организованной форме называется *государством*. Итак, здесь выражена та банальная мысль, что с тех пор как человек вышел из самого дикого состояния, повсюду существовали государства, а это было известно человечеству и до Дюринга. — Но как раз государство и насилие *общ*и всем существовавшим до сих пор общественным формам, и если я, например, объясняю восточные деспотии, античные республики, македонские монархии, Римскую империю, феодализм средних веков тем, что все они основаны были на *насилии*, то я ещё ничего не объяснил. Следовательно, различные социальные и политические формы должны быть объясняемы не насилием, которое ведь всегда остается одним и тем же, а тем, *к чему насилие применяется*, тем, что является объектом грабежа, — продуктами и производительными силами каждой эпохи и вытекающим из них самих их распределением. И тогда оказалось бы, что восточный деспотизм был основан на общинном землевладении, античные республики — на городах, занимавшихся земледелием, Римская империя — на латифундиях, феодализм — на господстве деревни над городом, у которого были свои материальные основы и т. д.

[Энгельс приводит слова Дюринга:

«Естественные законы хозяйства смогут быть выявлены во всей своей строгости тем лишь путем, что мы мысленно устраним действия государственных и общественных учреждений, а именно — действия насильственной собственности, связанной с подневольным наемным трудом, — тем путем, что мы будем остерегаться рассматривать последние как необходимые следствия неизменной природы (!) человека...»

В связи с этим рассуждением Дюринга Энгельс делает следующие замечания:]

Итак, естественные законы хозяйства можно будто бы открыть, лишь *отрешившись от всего до сих пор существовавшего хозяйства*; до сих пор они никогда не проявлялись в нейсканженном виде! — *Неизменная* природа человека — от обезьяны до Гете!

Дюринг намеревается объяснить этой теорией «насилия», почему так случилось, что покои веку и повсюду большинство состояю из подвергавшихся насилию, а меньшинство — из применявших насилие. Это уже само по себе доказывает, что отношение насилия имеет своей основой экономические условия, которые нельзя устранить так просто политическими мерами.

У Дюринга рента, прибыль, процент, заработная плата не объясняются, но он утверждает, что они установлены *насилием*. Но откуда же берется насилие? *Non est*¹.

Насилие порождает владение, а владение = экономической мощи. Итак, насилие = мощи.

Маркс доказал в «Капитале» (накопление), что на известной ступени развития законы товарного производства неизбежно вызывают возникновение капиталистического производства со всеми его каверзами и что *для этого нет надобности в насилии*.

Когда Дюринг рассматривает политическое действие как последнюю решающую силу истории и выдает это за нечто новое, он лишь повторяет то, что говорили все прежние историки, с точки зрения которых социальные формы также объясняются исключительно политическими формами, а не производством.

*C'est trop bon!*² Вся школа свободной торговли, начиная от Смита, все экономические учения до Маркса признают экономические законы, — поскольку они понимают их, — «естественными законами» и утверждают, что действие их искажается государством, «действием государственных и общественных учреждений»!

Впрочем, вся эта теория является лишь попыткой обосновать социализм посредством учения Кэри: экономика сама по себе гармонична, государство портит все своим вмешательством.

Дополнением к насилию является вечная справедливость: она появляется на стр. 282.

[Точку зрения Дюринга, которую он развивает в связи с критикой Смита, Рикардо и Кэри, Энгельс характеризует следующим образом: «Производство в его наиболее абстрактной форме можно изучать очень хорошо на примере Робинзона, распределение — на примере двух изолированных островитян, причем можно себе представить все промежуточные ступени, начиная от полного равенства и кончая полной противоположностью между

¹ — нет (т. е. нет ответа). *Ред.*

² — это великолепно! *Ред.*

господином и рабом». Энгельс приводит следующую фразу из Дюринга: «Только путем *серьезного социального (!) рассмотрения (!)* можно притти к той точке зрения, которая имеет решающее, в конечном счете, значение для теории распределения». В связи с этим Энгельс замечает:]

Итак, сперва абстрагируют от действительной истории различные правовые отношения и отрывают их от исторической основы, на которой они возникли и на которой они только и имеют смысл, и переносят их на двух индивидов — Робинзона и Пятницу, где эти отношения, конечно, являются совершенно произвольными. А после того, как они были сведены таким образом к чистому насилию, их затем опять переносят в действительную историю и доказывают этим путем, что и здесь все основано на сплошном насилии. Дюринг не обращает внимания на то, что насилие должно применяться к материальному субстрату и что нужно именно выяснить, как этот субстрат возник.

[Энгельс приводит следующее место из «Курса» Дюринга: «Согласно традиционному взгляду, разделяемому всеми политико-экономическими системами, распределение представляет собой, так сказать, преходящий процесс, направленный на массу созданных производством продуктов, рассматриваемую как готовый совокупный продукт... *более глубокое обоснование должно, напротив, рассмотреть то распределение, которое относится к экономическим и экономически-действенным правам, а не только к текущим и накапливающимся последствиям этих прав*». В связи с этим Энгельс замечает:]

Итак, нельзя ограничиться исследованием распределения текущего производства.

Земельная рента предполагает землевладение, прибыль — капитал, заработную плату, рабочих, лишенных собственности, обладателей одной лишь рабочей силы. Необходимо, следовательно, выяснить, как это возникло. Маркс, — поскольку это входило в его задачу, — сделал это в первом томе относительно капитала и рабочей силы, лишенной собственности; исследование происхождения современного землевладения относится к исследованию земельной ренты, следовательно — к его второму тому. У Дюринга исследование и историческое обоснование ограничиваются одним словом: *насилие!* Здесь уж прямая mala fides¹. — Как объясняет Д.² крупную земельную собственность — см.: *богатство и стоимость*; это лучше перенести сюда.

Итак, насилие создает экономические, политические и т. д. условия жизни эпохи, народа и т. д. Но кто производит насилие? Организованной силой является прежде всего *армия*. И ничто не зависит в такой степени от экономических условий, как именно состав, организация, вооружение, стратегия и

¹ — недобросовестность. *Ред.*

² Дюринг. *Ред.*

тактика армии. Основой является вооружение, а последнее опять-таки непосредственно зависит от достигнутой ступени производства. Каменное, бронзовое, железное оружие, панцырь, конница, порох и, наконец, огромный переворот, который произвела в военном деле крупная промышленность благодаря изобретением ружьям, заряжающимся с казенной части, и артиллерии — продуктам, изготовить которые могла лишь крупная промышленность с ее машинами, равномерно работающими и производящими почти абсолютно тождественные продукты. От вооружения в свою очередь зависит состав и организация, стратегия и тактика. Последняя зависит и от состояния путей сообщения, — расположение войск и успехи, достигнутые в битве при Иене, невозможны при нынешних шоссе-ных дорогах, — и, наконец, железные дороги! Следовательно, именно насилие всего более зависит от наличных условий производства, и это понял даже капитан Иенс (К. Z. — Макиавелли и т. д.)¹.

При этом следует особо подчеркнуть современный способ ведения войны, от ружья со штыком до ружья, заряжающегося с казенной части, при котором решает дело не человек с саблей, а оружие, — линия, колонна при плохих войсках, прикрытая, однако, стрелками (*Jena contra Wellington*)², и, наконец, всеобщее распадение на стрелковые цепи и замена медленного шага перебежкой.

[По Дюрингу, «умелая рука или голова должна рассматриваться как средство производства, принадлежащее обществу, как *машина*, продукт которой принадлежит *обществу*. Но машина все же не увеличивает стоимости, а *умелая рука ее увеличивает!*» Энгельс в связи с этим говорит:]

Следовательно, закон стоимости, *quant à cela*³, подвергается запрету, хотя и должен вместе с тем остаться в силе.

[По поводу дюринговской концепции «политико-юридической основы всего социалитета» Энгельс замечает:]

Тем самым сразу же применяется идеалистический масштаб. Не само производство, а *право*.

[Относительно «коммуны» Дюринга и господствующей в ней системы разделения труда, распределения, обмена и денежной системы Энгельс делает следующее замечание:]

¹ Энгельс имеет в виду напечатанное в «Kölnische Zeitung» («Кельнская Газета»), от 20 апреля 1876 г., сообщение о докладе «Макиавелли и идея всеобщей воинской повинности», прочитанном Иенсом в «Научном обществе» в Берлине. Об этом докладе Энгельс пишет во втором отделе «Анти-Дюринга», гл. III (см. стр. 161 настоящего издания). *Ред.*

² — Иена против Веллингтона. *Ред.*

³ — что касается этого. *Ред.*

Следовательно, и *вознаграждение* отдельного рабочего обществом.

Следовательно, и накопление сокровищ, ростовщичество, кредит и все последствия вплоть до денежных кризисов и недостатка денег. Деньги взрывают хозяйственную коммуны столь же неизбежно, как они в настоящий момент подготовили взрыв русской общины и как они взрывают семейную общину, раз при посредстве денег совершается обмен между отдельными членами.

[Энгельс приводит следующую фразу из Дюринга, давая в скобках свои ремарки: «Действительный труд представляет, таким образом, социальный закон природы, которому подчинены здоровые организации (из чего следует, что все предшествующие организации — нездоровы)». По этому поводу Энгельс делает следующее замечание:]

Либо труд рассматривается здесь как экономический, материально производительный труд, и в таком случае эта фраза бессмысленна и неприменима ко всей предшествующей истории. Либо же труд рассматривается в более общей форме, причем под ним разумеются всякого рода нужная или пригодная в какой-нибудь период деятельность, управление, судопроизводство, военные упражнения, и в таком случае эта фраза опять-таки оказывается донельзя напыщенным общим местом и не имеет никакого отношения к политической экономии. Но желать импонировать социалистам этим старым хламом, называя его «естественным законом», a trifle impudent¹.

[По поводу рассуждений Дюринга о связи между богатством и грабежом Энгельс замечает:]

Здесь налицо весь метод. Всякое экономическое отношение сперва рассматривается с точки зрения *производства*, причем совершенно не принимаются во внимание исторические определения. Поэтому нельзя сказать ничего, кроме самых общих фраз, а если Дюринг желает пойти далее этого, то ему приходится принять в расчет определенные исторические отношения данной эпохи, т. е. выйти из сферы абстрактного производства и породить путаницу. Затем то же самое экономическое отношение рассматривается с точки зрения *распределения*, т. е. совершившийся до сих пор исторический процесс сводится к фразе *насилие*, после чего выражается негодование по поводу печальных последствий насилия; мы увидим при рассмотрении естественных законов, к чему это приводит.

[По поводу утверждения Дюринга, что для ведения хозяйства в больших размерах необходимо рабство или крепостная зависимость, Энгельс замечает:]

¹ — нечто бесстыдное. *Ред.*

Итак, 1) всемирная история начинается с крупной земельной собственности! Обработка больших пространств земли тождественна с обработкой земли крупными землевладельцами! Почва Италии, обращенная благодаря латифундиям в пастбища, оставалась до тех пор невозделанной! Североамериканские Соединенные Штаты обязаны своим огромным ростом не свободным крестьянам, а рабам, крепостным и т. д.!

Опять *mauvais calembour*¹: «ведение хозяйства на больших пространствах земли» должно означать обработку этих пространств, но тотчас же оно истолковывается как ведение хозяйства в больших размерах = крупной земельной собственности! И в этом смысле какое изумительно новое открытие: если кто-либо владеет таким участком земли, что он и его семья не в состоянии обработать его, то он не может обработать всей принадлежащей ему земли без применения чужого труда! Ведь *ведение хозяйства при посредстве крепостных крестьян* означает обработку вовсе не более или менее крупных, а именно *мелких участков* земли, и эта обработка всюду предшествовала крепостной зависимости (Россия, фламандские, голландские и фризские колонии, в славянской марке, см. Langethal²); первоначально свободные крестьяне *обращаются* в зависимых, а в иных местах даже *формально* добровольно становятся крепостными.

[По поводу утверждения Дюринга, что величина стоимости определяется величиной сопротивления, с которым сталкивается процесс удовлетворения потребностей и которое «принуждает к большей или меньшей затрате хозяйственной силы (!)», Энгельс делает следующее замечание:]

Преодоление сопротивления — эта категория, заимствованная из математической механики, становится нелепой в политической экономии. В таком случае выражения: я пряду, тку, белю, набиваю хлопчатобумажную ткань — означают: я преодолеваю сопротивление хлопчатой бумаги процессу прядения, сопротивление пряжи процессу тканья, сопротивление ткани процессу беления и набивания. Я изготавливаю паровую машину — означает: я преодолеваю сопротивление, оказываемое железом, превращению его в паровую машину. Я выражаю суть дела в высокопарных фразах, иду окольными путями — и получается одно только извращение смысла. Но благодаря этому я могу ввести *распределительную стоимость*, при которой также будто бы приходится преодолевать сопротивление. В этом-то и дело!

¹ — плохой каламбур. *Ред.*

² *Chr. Eb. Langethal. Geschichte der deutschen Landwirtschaft. Jena, 1847—1856 (Лангеталь. История германского сельского хозяйства. Иена, 1847—1856). Ред.*

[По поводу слов Дюринга, что «распределительная стоимость существует в чистом виде и исключительно лишь там, где право располагать произведенными вещами или (!), выражаясь более обычным языком, эти (непроизведенные!) вещи обмениваются на услуги или вещи, имеющие действительную производственную стоимость», Энгельс замечает:]

Что означает произведенная вещь? Землю, *обрабатываемую с применением современных приемов*? Или это выражение должно означать вещи, не произведенные самим собственником? Но произведенной вещи противопоставляется «действительная производственная стоимость». Следующая фраза показывает, что мы имеем опять-таки дело с *mauvais calembour*. Предметы природы, которые не произведены трудом, смешиваются с «составными частями стоимости, присваиваемыми без возмещения».

[По поводу утверждения Дюринга, что все человеческие учреждения строго детерминированы, но что они, «в отличие от игры внешних сил в природе», отнюдь не являются «практически неизменными в своих основных чертах», — Энгельс замечает:]

Итак, это — естественный закон и остается естественным законом.

Ни слова о том, что во всем неплановом и хаотическом производстве законы экономии до сих пор противостоят людям как объективные законы, по отношению к которым люди бессильны, следовательно — *в форме естественных законов*.

[По поводу «основного закона всей политической экономии», который Дюринг формулирует следующим образом: «Производительность хозяйственных средств, — *ресурсов природы и человеческой силы, — увеличивается благодаря изобретениям и открытиям*, причем это совершается независимо от распределения, которое как таковое все же может подвергаться значительным изменениям или же вызывать их, но которое не определяет характера (!) главного результата», — Энгельс говорит:]

Эта заключительная фраза: «причем» и т. д., не прибавляет к закону ничего нового, потому что если закон верен, то распределение не может вносить в него никаких изменений и, таким образом, нет надобности говорить, что этот закон верен для всякой формы распределения: ведь иначе он не был бы естественным законом. Но эта фраза добавлена лишь потому, что Дюринг все-таки постыдился сформулировать совершенно бессодержательный и плоский закон во всей его наготе. К тому же эта фраза бессмысленна, — ведь если распределение все-таки *может* вызывать значительные изменения, то его нельзя «оставить совершенно в стороне». Итак, мы вычеркиваем эту заключительную фразу и получаем тогда закон *pur et simple*¹ — *основной закон всей политической экономии*.

¹ — без всяких ограничений. *Ред.*

Все это недостаточно еще плоско.

[Дюринг утверждает, что хозяйственный прогресс зависит не от суммы средств производства, «а лишь от знаний и общих технических способов деятельности», а это, по мнению Дюринга, «обнаруживается тотчас же, если понимать капитал в естественном смысле, как инструмент производства». По этому поводу Энгельс замечает:]

Лежащие в Ниле паровые плуги хедива и бесполезно стоящие в сараях молотилки и тому подобные орудия русских дворян доказывают это. И для пара существуют исторические предпосылки, которые, правда, сравнительно легко создать, но которые все же должны быть созданы. Но Дюринг очень гордится тем, что, таким образом, он настолько извратил вышеупомянутое положение, имеющее совершенно иной смысл, что эта «идея совпадает с нашим... поставленным в главу угла законом». Экономисты еще вкладывали какой-то реальный смысл в этот закон. Дюринг же свел его к предельной банальности.

[Дюринговская формулировка «естественного закона разделения труда» гласит: «расщепление специальностей и разделение деятельности повышает производительность труда». Энгельс делает следующее замечание:]

Эта формулировка ошибочна, так как она верна лишь для буржуазного производства, но разделение специальностей уже и тут оказывается стеснительным для производства вследствие уродования и окостенения индивидов, в будущем же оно совершенно исчезнет. Уже здесь мы видим, что это разделение специальностей на *нынешний* лад представляется Дюрингу чем-то неизменным, имеющим силу и для *социалитета*.

ТАКТИКА ПЕХОТЫ И ЕЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ.

1700—1870 гг.

В XIV веке порох и огнестрельное оружие стали известны в Западной и Центральной Европе, и любой школьник знает теперь, что этот чисто технический прогресс революционизировал все военное дело. Эта революция совершалась, однако, очень медленно. Первое огнестрельное оружие было очень примитивно, в особенности карабины. И хотя уже довольно рано было изобретено множество отдельных усовершенствований — нарезной ствол, ружье, заряжающееся с казенной части, колесцовый замок и т. д., — тем не менее прошло более 300 лет, пока было создано, к концу XVII века, ружье, годное для вооружения всей пехоты.

В XVI и XVII веках пехота состояла частью из пехотинцев, вооруженных пиками¹, частью из стрелков. Первоначально назначение пикенеров заключалось в том, что они в решающий момент битвы шли в атаку с холодным оружием, защитой же служил огонь стрелков. Поэтому пикенеры сражались сомкнутыми массами, подобно древнегреческой фаланге; стрелки же строились по 8—10 человек в глубину, потому что при таком именно количестве они, пока один заряжал ружье, успевали друг за другом производить выстрелы. Кто был готов к стрельбе, выбегал вперед, стрелял и затем уходил на последнее место в ряду, чтобы вновь зарядить свое ружье.

Постепенное усовершенствование огнестрельного оружия изменило это соотношение. Фитильное ружье так быстро заряжалось, что для поддержания непрерывного огня требовалось уже только 5 человек. Таким образом, рота стрелков могла состоять только из 5 шеренг. Теперь, следовательно, можно было с прежним количеством мушкетеров занимать фронт, почти вдвое более длинный, чем раньше. Ввиду того, что ружейный огонь оказывал особенно опустошающее действие на большие, сплошные массы, пикенеры строились теперь также в

¹ Пехотинцы, вооруженные пиками, в иностранных армиях назывались пикенерами. В древнерусской армии они назывались копейщиками или копьеносцами, но впоследствии они также и в русской армии стали называться пикенерами. *Ред.*

шесть или восемь рядов, и таким образом боевой порядок приближался все более и более к линейному строю, при котором исход битвы решался ружейным огнем, а пикенеры имели своим назначением уже не нападение, а прикрытие стрелков от кавалерии. К концу этого периода боевой строй состоял из двух отрядов и одной резервной части. Каждый отряд выстраивался в виде линии, состоявшей в большинстве случаев из шести шеренг. Артиллерия и конница размещались частью в промежутках между батальонами, частью на флангах. При этом в каждом пехотном батальоне самое большее одна треть состояла из пикенеров и, по меньшей мере, две трети — из мушкетеров.

В конце XVII века появилось, наконец, кремневое ружье со штыком, заряжающееся готовыми патронами. Тем самым пика была окончательно вытеснена из вооружения пехоты. Теперь требовалось меньше времени, чтобы зарядить ружье, более быстрый огонь сам себе служил защитой, штык, в случае необходимости, заменял пику. Вследствие этого можно было сократить глубину боевой линии с шести до четырех, затем до трех и кое-где, наконец, до двух человек; таким образом при одинаковом количестве людей линия все больше удлинялась, все большее количество ружей вступало одновременно в действие. Но вместе с тем эти длинные и тонкие линии становились и все более неповоротливыми. Они могли двигаться в боевом порядке только на ровной местности, где не встречалось препятствий, — да и то очень медленно, делая 70—75 шагов в минуту. Но как раз на равнине эти линии давали кавалерии противника возможность успешного нападения, особенно на флангах. Отчасти для того, чтобы защищать эти фланги, отчасти же для усиления передовой линии огня всю кавалерию ставили на флангах, так что действительная боевая линия в собственном смысле слова состояла из одной только пехоты с ее легкими батальонными пушками. Чрезвычайно неуклюжие, тяжелые орудия стояли на флангах и за все время битвы могли менять свое положение не больше одного раза. Пехотинцы выстраивались в два отряда, фланги которых прикрывались пехотой, построенной углом, так что все это построение составляло один очень длинный, пустой внутри четырехугольник. Эта масса, совершенно беспомощная в тех случаях, когда она не могла двигаться как одно целое, разделялась только на три части — на центр и два фланга. Все движение частей заключалось в том, чтобы — с целью обхода противника — выдвигать фланг, численно превосходивший вражеский, в то время как другой фланг задерживался как угроза, чтобы помешать врагу произвести такую же перемену фронта. Изменение боевого строя в ходе самого сражения требовало так много времени и давало противнику возможность заметить столько слабых мест, что подобные попытки почти всегда были равносильны поражению. Первоначальное построение должно

было, таким образом, сохраняться во все время сражения, и как только пехота вступала в бой, исход битвы решался одним сокрушительным ударом. Весь этот способ ведения боя, чрезвычайно усовершенствованный Фридрихом II, представлял собой неизбежное следствие совместного действия двух материальных факторов. Одним из этих факторов был людской состав княжеского наемного войска, которое отчасти составлялось даже из враждебных, насильно зачисленных в армию военнопленных, — оно было хорошо вымуштровано, но ненадежно, и только палка держала его в повиновении. Вторым фактором являлось вооружение — неуклюжие, тяжелые пушки и гладкоствольное, быстро, но плохо стрелявшее кремневое ружье со штыком.

Этот способ ведения боя применялся до тех пор, пока оба противника находились в одинаковом положении в отношении людского состава и вооружения. Поэтому каждой из сторон было выгодно держаться установленных правил. Когда же в Америке разразилась война за независимость, против этих наемных, хорошо вымуштрованных солдат выступили вдруг отряды повстанцев, которые, правда, не умели маршировать, но зато отлично стреляли, в большинстве случаев располагали хорошо стреляющими ружьями и, сражаясь за свое кровное дело, не дезертировали. Эти повстанцы не доставляли англичанам удовольствия — медленным шагом протанцовать с ними в открытой местности знакомый боевой маневр по всем правилам военного этикета. Они завлекали противника в густые леса, где его длинные маршевые колонны были беззащитны против огня рассеянных, невидимых стрелков. Рассыпаясь мелкими подвижными отрядами, они пользовались каждым естественным прикрытием, чтобы наносить врагу удары. При этом, благодаря своей большой подвижности, они оставались всегда недостижимыми для неповоротливого вражеского войска. Таким образом, боевой огонь рассыпанных стрелков, который уже при введении ружья играл некоторую роль, показал теперь, — в известных случаях, а именно в мелких схватках, — свое превосходство над линейным строем.

Если солдаты европейских наемных войска не были пригодны для партизанской войны, то еще менее пригодно было для этого их вооружение. Правда, при стрельбе не надо было уже упирать ружье в грудь, как это делали прежде мушкетеры со своими мушкетами, снабженными фитильными замками: ружья прикладывались к плечу, как и теперь. Все же о прицеливании не могло быть и речи, так как при совершенно прямом прикладе, представлявшем собой продолжение ствола, глаз не мог свободно скользить вдоль ствола. Только в 1777 г. изогнутый приклад охотничьего ружья был принят во Франции и для пехотного ружья, и благодаря этому стал возможен сильный

стрелковый огонь. Вторым, заслуживающим внимания усовершенствованием были построенные в середине XVIII века Грибовалем более легкие, но тем не менее прочные лафеты для орудий: они-то и придали артиллерии большую подвижность, которая впоследствии стала для нее обязательным требованием.

Французской революции выпало на долю использовать на поле битвы оба эти технические усовершенствования. Когда на нее напала коалиционная Европа, революция предоставила в распоряжение правительства всех боеспособных членов нации. Но последняя не имела времени на то, чтобы в учебных маневрах овладеть линейной тактикой в достаточной степени и быть в состоянии противопоставить старой, опытной прусской и австрийской пехоте такой же боевой строй. С другой стороны, во Франции не было не только американских девственных лесов, но и практически безграничных просторов для отступления. Нужно было разбить врага между границей и Парижем, нужно было, следовательно, защищать определенную местность, а этого можно было достигнуть в конечном счете только в открытом массовом бою. Нужно было, следовательно, наряду с отрядами стрелков найти еще другую форму, при которой плохо обученные французские массы могли бы, с некоторой надеждой на успех, выступить против постоянных армий Европы. Эта форма была найдена в сомкнутой колонне, которая, правда, применялась уже в известных случаях, хотя чаще всего только на плац-параде. Колонну легче было держать в порядке, чем линейный строй. Даже в тех случаях, когда колонна расстраивалась, она все же, как сплоченное целое, оказывала по крайней мере пассивное сопротивление; ею легче было управлять, она больше поддавалась руководству командующего и могла быстрее передвигаться. Быстрота марша возросла до ста и больше шагов в минуту. Но наиболее важный результат состоял в следующем: применение колонны как исключительно массовой формы ведения боя сделало возможным подразделить неуклюжее, однообразное целое линейного боевого строя на отдельные части, получившие известную самостоятельность, способные приспосабливать общую инструкцию к данным обстоятельствам. Каждая из этих частей могла состояться из всех трех родов оружия, колонна отличалась достаточной гибкостью, чтобы допускать использование частей армии в любой возможной комбинации; она допускала строго запрещенное еще Фридрихом II использование деревень и усадеб, которые с этого времени становятся главными опорными пунктами в каждом сражении; она могла применяться в любой местности. Колонна могла, наконец, противопоставить линейной тактике, где все сразу ставится на карту, такой способ ведения боя, при котором действиями отрядов стрелков и постепенным введением войска для затягивания сражения утомляли линию противника и в такой мере истощали ее, что она в

конце концов не могла выдержать натиска свежих боевых сил, находившихся в резерве. И так как линейный строй во всех пунктах обладал одинаковой силой сопротивления, то сражающийся в колоннах противник мог отвлечь внимание части линии ложной атакой, пуская в ход слабые силы и концентрируя тем временем свои главные силы для атаки на решающем пункте позиции. Огневые действия проводились теперь преимущественно рассыпными отрядами стрелков, в то время как колонны предназначались для штыковой атаки. Здесь установилось, таким образом, отношение, аналогичное тому, какое существовало между отрядами стрелков и массой пикенеров в начале XVI века, с той только разницей, что колонны нового типа могли в любой момент рассыпаться на стрелковые цепи, а последние в свою очередь — опять соединяться в колонны.

Новый способ ведения боя, доведенный Наполеоном до высшей степени совершенства, настолько превосходил старый, что этот последний потерпел крушение окончательно и безвозвратно, — после того как при Йене неуклюжие, медленно двигавшиеся прусские линии, большей частью совершенно непригодные для рассыпного боя, буквально растаяли под огнем французских стрелковых отрядов, на который они могли отвечать только пальбой отдельных взводов. Но если линейный боевой порядок сошел со сцены, то этого ни в коем случае нельзя сказать о линии, как боевом построении. Через несколько лет после того, как пруссаки так оскандалились со своими боевыми линиями, Веллингтон повел своих англичан, построенных в линии, против французских колонн и, как правило, их разбивал. Но Веллингтон перенял у французов как раз всю их тактику, с тем только исключением, что он свою сомкнутую пехоту выстраивал в сражениях не колоннами, а линиями. При этом он получил то преимущество, что мог одновременно использовать для огневых действий все ружья, а для атаки — все штыки. Этот боевой порядок англичане применяли в сражениях до последнего времени, что как при нападении (Альбугера), так и при обороне (Инкерман) давало им преимущество над численно значительно превосходившим их противником. Бюжо, которому пришлось столкнуться с этими английскими линиями, предпочитал их колоннам до последнего времени.

При всем этом ружья пехоты были из рук вон плохи — настолько плохи, что из такого ружья на расстоянии ста шагов только редко можно было попасть в отдельного человека, а на расстоянии трехсот шагов — столь же редко в целый батальон. Поэтому, когда французы пришли в Алжир, длинные ружья бедуинов наносили им тяжелые потери с таких расстояний, которые для французских ружей были недоступны. Здесь могло помочь только нарезное ружье. Но именно во Франции всегда противились введению нарезного ружья, даже в исключительных

случаях, потому что оно медленно заряжалось и быстро засорялось. Теперь, однако, когда явилась потребность в легко заряжаемом ружье, она сейчас же получила удовлетворение. После предварительных работ Дельвиня появилась винтовка Тувенена и расширяющиеся пули Минье; эти усовершенствования сделали нарезное ружье в отношении заряжаемости равноценным гладкоствольному, так что с тех пор вся пехота могла быть вооружена дальнобойными и хорошо стреляющими нарезными ружьями. Но прежде чем нарезное ружье, заряжавшееся с дула, привело к созданию соответствующей тактики, оно было уже вытеснено новейшим огнестрельным оружием, — ружьем, заряжающимся с казенной части, вместе с которым все больше совершенствовались боевые качества нарезных пушек.

Вооружение всей нации, введенное революцией, испытало в скором времени значительные ограничения. Для службы в постоянной армии набирали путем жеребьевки только часть всех военнообязанных молодых людей, а из определенной части остальных граждан — то большей, то меньшей — формировали в лучшем случае необученную национальную гвардию. Или же там, где действительно строго проводился принцип всеобщей воинской повинности, создавали самое большое милиционную армию, находившуюся под знаменами всего каких-нибудь несколько недель, — как это было в Швейцарии. Финансовые соображения заставляли выбирать между рекрутским набором и милиционной армией. Только одна единственная страна в Европе, и притом одна из самых бедных, попыталась совместить всеобщую воинскую повинность с существованием постоянной армии. Это была Пруссия. И хотя обязательная для всех служба в постоянной войске нигде строго не проводилась, — также из неумолимых финансовых соображений, — все же система прусского ландвера предоставляла в распоряжение правительства такое значительное количество людей, обученных и организованных в готовые кадры, что Пруссия имела определенный перевес над всякой другой страной с таким же количеством населения.

Во франко-прусской войне 1870 г. система рекрутского набора была побеждена прусской системой ландвера. Но в этой войне обе стороны были также впервые вооружены ружьями, заряжающимися с казенной части, — в то время как регламентированные формы, в которых передвигались и сражались армии, в основном оставались такими же, как во времена старого кремневого ружья. В лучшем случае отряды стрелков стали несколько более густыми. В остальном же французы все еще сражались в прежних батальонных колоннах, а порой строились также линиями, тогда как немцы по крайней мере сделали попытку найти в ротной колонне боевую форму, более подходящую к новому вооружению. Так было в первых сражениях. Когда же при штурме Сен-Прива (18 августа) три бригады прусской гвардии

попробовали серьезно применить эту ротную колонну, то обнаружилась сокрушительная сила винтовки, заряжающейся с казенной части. В пяти полках, принимавших наибольшее участие в этом сражении (15 000 человек), пали в бою почти все офицеры (176) и 5 114 рядовых, следовательно, погибло больше трети состава. Вся гвардейская пехота, которая вступила в сражение, составляя силу в 28 160 человек, потеряла в тот день 8 230 человек, в том числе 307 офицеров. С тех пор ротная колонна была окончательно осуждена, так же как и применение батальонной колонны или линейного строя; всякая попытка подставлять впредь под неприятельский ружейный огонь какие-либо сомкнутые отряды была оставлена; бой со стороны немцев велся теми густыми стрелковыми цепями, на которые уже и прежде колонны обыкновенно сами рассыпались под градом неприятельских пуль, несмотря на то, что высший командный состав боролся с этим как с нарушением порядка. Солдат опять-таки оказался умнее офицера; именно *он*, солдат, инстинктивно нашел единственную боевую форму, которая оправдывала себя до сих пор под огнем ружей, заряжаемых с казенной части, и с успехом отстоял ее вопреки противодействию начальства. Точно так же в сфере действия губительного ружейного огня только *пербежка* находила себе применение.

ПРИМЕЧАНИЯ К «АНТИ-ДЮРИНГУ»¹

О прообразах математического бесконечного в действительном мире

**К стр. 17—18². Согласие между мышлением и бытием.—
Бесконечное в математике**

Над всем нашим теоретическим мышлением господствует с абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же законам и что поэтому они и не могут противоречить друг другу в своих результатах, а должны согласоваться между собой. Факт этот является бессознательной и безусловной предпосылкой нашего теоретического мышления. Материализм XVIII века вследствие своего по существу метафизического характера исследовал эту предпосылку только со стороны ее содержания. Он ограничился доказательством того, что содержание всякого мышления и знания должно происходить из чувственного опыта, и восстановил положение: *nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*³. Только новейшая идеалистическая, но вместе с тем и диалектическая философия — и в особенности Гегель — исследовали эту предпосылку также и со стороны *формы*. Несмотря на бесчисленные произвольные построения и фантастические выдумки, которые здесь выступают перед нами; несмотря на идеалистическую, на голову поставленную форму ее результата — единства мышления и бытия, — нельзя отрицать того, что эта философия доказала на множестве примеров, взятых из самых разнообразных областей, аналогию между процессами мышления и процессами природы и истории — и обратно — и господство одинаковых законов для всех этих процессов. С другой стороны, современное естествознание расширило тезис об опытном происхождении всего содержания мышления в таком смысле, что совершенно опрокинуты были его старая метафизическая ограниченность и формулировка. Современное естествознание признает наследственность

¹ Возникновение этих примечаний относится, по всей вероятности, к началу 1885 г., когда Энгельс собирался подготовить к печати второе, *расширенное* издание «Анти-Дюринга». Энгельс имел в виду написать ряд добавлений к отдельным местам «Анти-Дюринга», с тем чтобы поместить их в конце второго издания этого произведения. *Ред.*

² Страницы указаны по первому изданию «Анти-Дюринга», вышедшему летом 1878 г. Это — вторая и третья страницы III главы первой части. *Ред.*

³ — в интеллекте нет ничего такого, что не содержалось бы раньше в чувстве. *Ред.*

приобретенных свойств и этим расширяет субъект опыта, распространяя его с индивида на род: теперь уже не считается необходимым, чтобы каждый отдельный индивид лично испытал все на своем опыте; его индивидуальный опыт может быть до известной степени заменен результатами опыта ряда его предков. Если, например, у нас математические аксиомы представляются каждому восьмилетнему ребенку чем-то само собой разумеющимся, не нуждающимся ни в каком опытным доказательстве, то это является лишь результатом «накопленной наследственности». Бушмену же или австралийскому негру вряд ли можно втолковать их посредством доказательства.

В помещенном выше сочинении диалектика рассматривается как наука о наиболее общих законах *всякого* движения. Это означает, что ее законы должны иметь силу как для движения в природе и человеческой истории, так и для движения мышления. Подобный закон может быть познан в двух из этих трех областей и даже во всех трех без того, чтобы рутинеру-метафизику стало ясно, что он имеет дело с одним и тем же законом.

Возьмем пример. Из всех теоретических успехов знания вряд ли какой-нибудь считается столь высоким триумфом человеческого духа, как изобретение исчисления бесконечно малых во второй половине XVII века. Если уж где-нибудь мы имеем перед собой чистое и исключительное деяние человеческого духа, то именно здесь. Тайна, окружающая еще и в наше время те величины, которые применяются в исчислении бесконечно малых — дифференциалы и бесконечно малые разных порядков, — является лучшим доказательством того, что все еще распространено представление, будто здесь мы имеем дело с чистыми «свободными творениями и продуктами воображения»¹ человеческого духа, которым ничто не соответствует в объективном мире. И тем не менее справедливо как раз обратное. Для всех этих воображаемых величин природа дает нам прообразы.

Наша геометрия исходит из пространственных отношений, а наша арифметика и алгебра — из числовых величин, соответствующих нашим земным отношениям, т. е. соответствующих тем телесным величинам, которые механика называет массами, как они встречаются на земле и приводятся в движение людьми. По сравнению с этими массами масса земли является бесконечно большой и трактуется земной механикой как бесконечно большая величина. Радиус земли $= \infty$, таков принцип всей механики при рассмотрении закона падения. Однако не только земля, но и вся солнечная система и все встречающиеся в ней расстояния оказываются, со своей стороны, опять-таки бесконечно малыми, как только мы переходим к тем расстояниям, которые имеют место в наблюдаемой нами с помощью телескопа звездной си-

¹ Выражение Дюринга. *Ред.*

стеме и которые приходится определять световыми годами. Таким образом, мы уже имеем здесь перед собой бесконечные величины не только первого, но и второго порядка и можем предоставить фантазии наших читателей, — если им это нравится, — построить себе в бесконечном пространстве еще и дальнейшие бесконечные величины высших порядков.

Но, согласно господствующим теперь в физике и химии взглядам, земные массы, тела, с которыми имеет дело механика, состоят из молекул, из мельчайших частиц, которые нельзя делить дальше, не уничтожая физического и химического тождества рассматриваемого тела. Согласно вычислениям В. Томсона, диаметр наименьшей из этих молекул не может быть меньше одной пятидесятимиллионной доли миллиметра¹. Но даже если мы допустим, что наибольшая молекула достигает диаметра в одну двадцатипятимиллионную долю миллиметра, то и в этом случае молекула все еще остается исчезающе малой величиной по сравнению с наименьшей массой, с какой только имеют дело механика, физика и даже химия. Несмотря на это, молекула обладает всеми характерными для соответствующей массы свойствами; она может представлять в физическом и химическом отношении эту массу и, действительно, представляет ее во всех химических уравнениях. Короче говоря, молекула обладает по отношению к соответствующей массе совершенно такими же свойствами, какими обладает математический дифференциал по отношению к своей переменной, с той лишь разницей, что то, что в случае дифференциала, в математической абстракции, представляется нам таинственным и непонятным, здесь становится само собой разумеющимся и, так сказать, очевидным.

Природа оперирует этими дифференциалами, молекулами, точно таким же образом и по точно таким же законам, как математика оперирует своими абстрактными дифференциалами. Так, например, дифференциал от x^3 будет $3x^2dx$, причем мы пренебрегаем $3xdx^2$ и dx^3 . Если мы сделаем соответственное геометрическое построение, то мы получим куб, длина стороны которого x увеличивается на бесконечно малую величину dx . Допустим, что этот куб состоит из какого-нибудь легко возгоняемого химического элемента, скажем, из серы; допустим, что поверхности трех из его граней, образующих один угол, защищены, а поверхности трех других граней свободны. Если мы поместим этот серный куб в атмосферу из паров серы и в достаточной степени понизим температуру этой атмосферы, то пары серы начнут осаждаться на трех свободных гранях нашего куба. Мы не выйдем за

¹ Эта цифра приводится в статье Вильяма Томсона «Величина атомов» («The Size of Atoms»), впервые появившейся в журнале «Nature» от 31 марта 1870 г. (vol. I, p. 553) и вошедшей затем во второе издание «Трактата о теоретической физике» («Treatise on Natural Philosophy», 2nd edition, 1883) Томсона и Тэта в качестве приложения. *Ред.*

пределы обычных для физики и химии приемов, если, желая представить себе этот процесс в его чистом виде, мы допустим, что на каждой из этих трех граней осаждается сперва слой толщиной в одну молекулу. Длина стороны куба x увеличилась на диаметр одной молекулы, на dx . Объем же куба x^3 увеличился на разность между x^3 и $x^3 + 3x^2dx + 3xdx^2 + dx^3$, причем мы с тем же правом, как и математика, можем пренебречь dx^3 , т. е. одной молекулой, и $3xdx^2$, т. е. тремя рядами, длиной в $x + dx$, линейно расположенных молекул. Результат одинаков: приращение массы куба равно $3x^2dx$.

Строго говоря, у серного куба не бывает dx^3 и $3xdx^2$, ибо две или три молекулы не могут находиться в одном и том же месте пространства, прирост его массы поэтому точно равен $3x^2dx + 3xdx + dx$. Это объясняется тем, что в математике dx есть линейная величина, но таких линий, не имеющих толщины и ширины, в природе самостоятельно, как известно, не существует, и, следовательно, математические абстракции имеют безусловную значимость только в пределах чистой математики. А так как и эта последняя пренебрегает $3xdx^2 + dx^3$, то здесь не получается никакой разницы.

Точно так же обстоит дело и при испарении. Когда в стакане воды испаряется верхний слой молекул, то высота всего слоя воды x уменьшается на dx , и дальнейшее улетучивание одного слоя молекул за другим фактически есть продолжающееся дальнейшее дифференцирование. А когда под влиянием давления и охлаждения горячий пар в каком-нибудь сосуде снова сгущается, превращаясь в воду, и один слой молекул отлагается на другом (причем мы вправе отвлечься от усложняющих процесс побочных обстоятельств), пока сосуд не заполнится доверху, то перед нами здесь имеет место в буквальном смысле интегрирование, отличающееся от математического интегрирования лишь тем, что одно совершается сознательно человеческой головой, а другое бессознательно природой.

Но процессы, совершенно аналогичные процессам исчисления бесконечно малых, имеют место не только при переходе из жидкого состояния в газообразное, и наоборот. Когда движение массы как таковое прекратилось в результате толчка и превратилось в теплоту, в молекулярное движение, то что же произошло как не дифференцирование движения массы? А когда молекулярные движения пара в цилиндре паровой машины суммируются в том направлении, что они на определенную высоту поднимают поршень, превращаясь в движение массы, то разве они здесь не интегрируются? Химия разлагает молекулы на атомы, величины, имеющие меньшую массу и протяженность, но представляющие собой величины того же порядка, что и первые, так что молекулы и атомы находятся в определенных, конечных отношениях друг к другу. Следовательно, все химические уравнения, выражающие

молекулярный состав тел, представляют собой по форме дифференциальные уравнения. Но в действительности они уже интегрированы благодаря фигурирующим в них атомным весам. Химия оперирует такими дифференциалами, взаимоотношение величин которых известно.

Но атомы отнюдь не являются чем-то простым, не являются вообще мельчайшими известными нам частицами вещества. Не говоря уже о самой химии, которая все больше и больше склоняется к мнению, что атомы обладают сложным составом, большинство физиков утверждает, что мировой эфир, являющийся носителем светового и теплового излучения, состоит тоже из дискретных частиц, столь малых, однако, что они относятся к химическим атомам и физическим молекулам так, как эти последние к механическим массам, т. е. относятся как d^2x к dx . Здесь, таким образом, в принятых в настоящее время представлениях о строении материи мы имеем перед собой также и дифференциал второго порядка, и ничто не мешает каждому, кому это доставляет удовольствие, предположить, что в природе должны быть еще также и аналоги для d^3x , d^4x и т. д.

Итак, какого бы взгляда ни придерживаться относительно строения материи, не подлежит сомнению то, что она расчленена на ряд больших, хорошо отграниченных групп с относительно различными размерами масс, так что члены каждой отдельной группы находятся со стороны своей массы в определенных, конечных отношениях друг к другу, а к членам ближайших к ним групп относятся как к бесконечно большому или бесконечно малым величинам в смысле математики. Видимая нами звездная система, солнечная система, земные массы, молекулы и атомы, наконец, частицы эфира образуют каждая подобную группу. Дело не меняется оттого, что мы находим промежуточные звенья между отдельными группами: так, например, между массами солнечной системы и земными массами мы встречаем астероиды, — из которых некоторые имеют не больший диаметр, чем, скажем, княжество Рейс младшей линии¹, — метеориты и т. д.; так, между земными массами и молекулами мы встречаем в органическом мире клетку. Эти промежуточные звенья доказывают только, что в природе нет скачков *именно потому*, что она складывается сплошь из скачков.

Когда математика оперирует действительными величинами, она тоже без дальнейших околичностей применяет это воззрение. Для земной механики уже масса земли является бесконечно большой; в астрономии земные массы и соответствующие им метеориты выступают как бесконечно малые; точно таким же образом исчезают для нее расстояния и массы планет солнечной системы, лишь только астрономия, выйдя за пределы ближайших

¹ Одно из карликовых государств, входивших в состав второй германской империи. *Ред.*

неподвижных звезд, начинает изучать строение нашей звездной системы. Но как только математики укроются в свою неприступную твердыню абстракции, так называемую чистую математику, все эти аналогии забываются; бесконечное становится чем-то совершенно таинственным, и тот способ, каким с ним оперируют в анализе, начинает казаться чем-то совершенно непонятным, противоречащим всякому опыту и всякому смыслу. Глупости и нелепости, которыми математики не столько объясняли, сколько извиняли этот свой метод, приводящий странным образом всегда к правильным результатам, превосходят самое худшее, действительное и мнимое, фантазерство натурфилософии (например, гегелевской), по адресу которого математики и естествоиспытатели не могут найти достаточных слов для выражения своего ужаса. Они сами делают — притом в гораздо большем масштабе — то, в чем они упрекают Гегеля, а именно доводят абстракции до крайности. Они забывают, что вся так называемая чистая математика занимается абстракциями, что *все* ее величины суть, строго говоря, воображаемые величины и что все абстракции, доведенные до крайности, превращаются в бессмыслицу или в свою противоположность. Математическое бесконечное заимствовано из действительности, хотя и бессознательным образом, и поэтому оно может быть объяснено только из действительности, а не из самого себя, не из математической абстракции. А когда мы подвергаем действительность исследованию в этом направлении, то мы находим, как мы видели, также и те действительные отношения, из области которых заимствовано математическое отношение бесконечности, и даже наталкиваемся на имеющиеся в природе аналоги того математического приема, посредством которого это отношение проявляется в действии. И тем самым предмет разъяснен.

(Плохое воспроизведение тождества мышления и бытия у Геккеля. Но и *противоречие непрерывной и дискретной материи*; см. у Гегеля) ¹.

О «механическом» понимании природы

К стр. 46²: Различные формы движения и изучающие их науки.

С тех пор как появилась эта статья («Vorwärts» от 9 февраля 1877 г.)³, Кекуле («Die wissenschaftlichen Ziele und Leistungen der Chemie»)⁴ дал совершенно аналогичное определение механики, физики и химии: «Если положить в основу это представле-

¹ Эти три строки написаны Энгельсом дополнительно. *Ред.*

² Страница указана по первому изданию «Анти-Дюринга». Это первая страница VII главы первой части: «Натурфилософия. Органический мир». *Ред.*

³ Номер газеты «Vorwärts», в котором впервые появилась VII глава «Анти-Дюринга», печатавшегося в виде серии статей. *Ред.*

⁴ «Научные цели и достижения химии». *Ред.*

ние о сущности материи, то химию можно будет определить как науку об атомах, а физику как науку о молекулах; и тогда сама собой напрашивается мысль выделить ту часть современной физики, которая занимается *массами*, в особую дисциплину, оставив для нее название *механики*. Таким образом, механика оказывается основой физики и химии, поскольку та и другая, при рассмотрении определенных сторон явлений и особенно при вычислениях, должны трактовать свои молекулы и, соответственно, атомы как массы». Эта формулировка отличается, как мы видим, от той, которая дана в тексте¹ и в предыдущей заметке, только своей несколько меньшей определенностью. Но когда один английский журнал («Nature») придал вышеприведенному положению Кекуле такой вид, что механика — это статика и динамика масс, физика — статика и динамика молекул, химия — статика и динамика атомов², то, по моему мнению, такое безусловное сведение даже химических процессов к чисто механическим суживает неподобающим образом поле исследования, по меньшей мере в области химии. И тем не менее это сведение стало столь модным, что, например, у Геккеля слова «механический» и «монистический» постоянно употребляются как равнозначные и что, по его мнению, «современная физиология... дает в своей области место только физико-химическим, или в широком смысле слова механическим, силам» (*Perigenesis*)³.

Называя физику механикой молекул, химию — физикой атомов и далее биологию — химией белков, я желаю этим выразить переход одной из этих наук в другую, — следовательно, как существующую между ними связь, непрерывность, так и различие, дискретность обеих. Итти дальше этого, называть химию тоже своего рода механикой, представляется мне недопустимым. Механика в более широком или узком смысле слова знает только количества, она оперирует скоростями и массами и, в лучшем случае, объемами. Там, где на пути у нее появляется качество тел, как, например, в гидростатике и аэростатике, она не может обойтись без рассмотрения молекулярных состояний и молекулярных движений, и сама она является здесь только вспомогательной наукой, предпосылкой физики. В физике же, а еще более в химии, не только имеет место постоянное качественное изменение в результате количественных изменений, т. е. переход количества в качество, но приходится также рассматривать множество таких

¹ — т. е. в тексте «Анти-Дюринга», в начале VII главы первой части. *Ред.*

² Энгельс имеет в виду заметку в журнале «Nature» от 15 ноября 1877 г., в которой было дано краткое изложение доклада Кекуле. *Ред.*

³ Энгельс цитирует работу Геккеля «Die Perigenesis der Plastidule oder die Wellenzugung der Lebensteilchen. Ein Versuch zur mechanischen Erklärung der elementaren Entwicklungs-Vorgänge», Berlin 1876 («Перигенезис пластидул, или волнообразное порождение жизненных частиц. Опыт механического объяснения элементарных процессов развития», Берлин 1876). Курсив принадлежит Энгельсу. *Ред.*

качественных изменений, обусловленность которых количественным изменением совершенно не установлена. Можно охотно согласиться с тем, что современное течение в науке движется в этом направлении, но это не доказывает, что оно является исключительно правильным и что, следуя этому течению, мы до конца *исчерпаем* физику и химию. Всякое движение включает в себе механическое движение, перемещение больших или мельчайших частей материи; познать эти механические движения является *первой* задачей науки, однако лишь *первой* ее задачей. Но это механическое движение не исчерпывает движения вообще. Движение — это не только перемена места; в надмеханических областях оно является также и изменением качества. Открытие, что теплота представляет собой некоторое молекулярное движение, составило эпоху в науке. Но если я не имею ничего другого сказать о теплоте кроме того, что она представляет собой известное перемещение молекул, то лучше мне замолчать. Химия, повидимому, находится на верном пути к тому, чтобы из отношения атомных объемов к атомным весам объяснить целый ряд химических и физических свойств элементов. Но ни один химик не решится утверждать, что все свойства какого-нибудь элемента исчерпывающим образом выражаются его положением на кривой Лотара Мейера¹, что этим одним можно будет когда-нибудь объяснить, например, своеобразные свойства углерода, которые делают его главным носителем органической жизни, или же необходимость наличия фосфора в мозгу. И тем не менее «механическая» концепция сводится именно к этому. Всякое изменение она объясняет перемещением, все качественные различия — количественными, не замечая, что отношение между качеством и количеством взаимно, что качество так же переходит в количество, как и количество в качество, что здесь имеет место взаимодействие. Если все различия и изменения качества должны быть сводимы к количественным различиям и изменениям, к механическим перемещениям, то мы с необходимостью приходим к тезису, что вся материя состоит из *тождественных* мельчайших частиц и что все качественные различия химических элементов материи вызываются количественными различиями, различиями в числе и пространственной группировке этих мельчайших частиц при их объединении в атомы. Но до этого мы еще не дошли.

Только незнание наших современных естествоиспытателей с иной философией, кроме той ординарнейшей вульгарной фило-

¹ «Кривой Лотара Мейера» называется кривая, изображающая соотношение между атомными весами элементов и их атомными объемами. Статья Л. Мейера «Die Natur der chemischen Elemente als Funktion ihrer Atomgewichte» («Природа химических элементов как функция их атомных весов») появилась в 1870 г. Открытие периодического закона химических элементов принадлежит великому русскому ученому Д. И. Менделееву, впервые сформулировавшему в 1869 г. этот закон в статье «О соотношении свойств с атомным весом элементов». *Ред.*

софии, которая распространилась ныне в немецких университетах, позволяет им в таком духе оперировать выражениями вроде «механический», причем они не отдают себе отчета или даже не подозревают, к каким вытекающим отсюда выводам они тем самым с необходимостью обязывают себя. Ведь у теории об абсолютной качественной тождественности материи имеются свои приверженцы; эмпирически ее так же нельзя опровергнуть, как и нельзя доказать. Но если спросить людей, желающих объяснить все «механическим образом», сознают ли они неизбежность этого вывода и признают ли тождественность материи, то сколько различных ответов услышим мы на этот вопрос!

Самое комичное — это то, что приравнение «материалистического» и «механического» идет от Гегеля, который хотел унижить материализм эпитетом «механический». Но дело в том, что критикуемый Гегелем материализм — французский материализм XVIII века — был действительно исключительно *механическим*, и по той весьма естественной причине, что в то время физика, химия и биология были еще в пленках и отнюдь не могли служить основой для некоторого общего воззрения на природу. Точно так же у Гегеля заимствует Геккель перевод выражения *causae efficientes* через «механически действующие причины» и выражения *causae finales* — через «целесообразно действующие причины»; но Гегель понимает здесь под словом «механический» — слепое, бессознательно действующий, а не механический в геккелевском смысле. При этом для самого Гегеля все это противоположение до такой степени является превзойденной точкой зрения, что он *даже не упоминает* о нем ни в одном из своих своих изложенный причинности в «Логике» и затрагивает его только в «Истории философии», в тех местах, где оно выступает как исторический факт (следовательно, у Геккеля мы имеем здесь чистое недоразумение, результат поверхностности!), и совершенно мимоходом при рассмотрении телеологии (Logik, III, II, 3) ¹, где об этом противоположении упоминается как о той форме, в которой *старая метафизика* формулировала противоположность между механизмом и телеологией. Вообще же он трактует указанное противоположение как давно уже преодоленную точку зрения. Таким образом, Геккель просто неверно списал у Гегеля, радуясь тому, что он здесь, как ему показалось, нашел подтверждение своей «механической» концепции, и этим путем он приходит к тому блестящему результату, что когда естественный отбор создает у того или другого животного или растения какое-нибудь определенное изменение, то это происходит благодаря *causa efficiens*; если же это самое изменение вызывается *искусственным* отбором, то это происходит благодаря *causa finalis*! Зоотехник

¹ Энгельс имеет в виду третью книгу «Большой Логик» Гегеля («Учение о понятии»), отд. II, гл. III. *Ред.*

есть *causa finalis*! Конечно, диалектик калибра Гегеля не мог путаться в пределах узкой противоположности между *causa efficiens* и *causa finalis*. А для теперешней стадии развития науки всей бесплодной болтовне об этой противоположности кладет конец то обстоятельство, что мы *знаем* из опыта и теории, что материя и ее форма бытия — движение — несотворимы и, следовательно, являются своими собственными конечными причинами; между тем как у тех отдельных причин, которые на отдельные моменты времени и в отдельных местах изолируют себя в рамках взаимодействия движения вселенной или изолируются там нашей мыслью, не прибавляется решительно никакого нового определения, а лишь вносящий путаницу элемент в том случае, если мы их называем *действующими* причинами. Причина, которая не действует, не есть вовсе причина.

NB: Материя как таковая, это — чистое создание мысли и абстракция. Мы отвлекаемся от качественных различий вещей, когда объединяем их, как телесно существующие, под понятием материи. Материя как таковая, в отличие от определенных, существующих материй, не является, таким образом, чем-то чувственно существующим. Когда естествознание ставит себе целью отыскать единообразную материю как таковую и свести качественные различия к чисто количественным различиям, образуемым сочетаниями тождественных мельчайших частиц, то оно поступает таким же образом, как если бы оно вместо вишен, груш, яблок желало видеть плод как таковой, вместо кошек, собак, овец и т. д. — млекопитающее как таковое, газ как таковой, металл как таковой, камень как таковой, химическое соединение как таковое, движение как таковое. Теория Дарвина требует подобного первичного млекопитающего, *Proctomale* Геккеля, но должна в то же время признать, что если оно содержало в себе в *зародыше* всех будущих и ныне существующих млекопитающих, то в действительности оно стояло ниже всех теперешних млекопитающих и было первобытно грубым, а поэтому и более преходящим, чем все они. Как доказал уже Гегель («Энциклопедия», I, стр. 199)¹, это воззрение, эта «односторонне математическая точка зрения», согласно которой материя определима только количественным образом, а качественно искони одинакова, есть «не что иное, как точка зрения» французского материализма XVIII века. Она является даже возвратом к Пифагору, который уже рассматривал число, количественную определенность, как сущность вещей.

¹ Энгельс имеет в виду стр. 199 «Малой Логики» Гегеля в VI томе немецкого издания сочинений Гегеля (Берлин, 1840 или 1843). *Ред.*

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Абсолютизм — 160.
Абсолютная истина — см. *Истина*.
Абстракция — 37, 39, 90, 318, 354, 358; реальность и *а.* — 319; *а.* математическая — 351—352, 354.
Агрегатные состояния — 13, 43, 60, 61, 119.
Аксиомы — 38—39, 90, 92—93, 142, 209, 318; математические *а.* — 38, 317, 319, 350.
Акционерное общество, Акционерная компания — 261—262, 269.
Алхимия — 250.
Анабаптисты — 18.
Анализ — 129; *а.* и синтез — 40.
Анархизм — 265.
Анархия — *а.* общественного производства при капитализме — 16, 153, 255—260, 264, 267—268, 279; уничтожение *а.* общественного производства при социализме — 267, 269.
Антагонизм — 131—132, 250, 274; *а.* классов — 255.
Антиномии (у Канта) — 47.
Априоризм, критика априорного метода Дюринга — 33—39, 39—44, 90—96, 318.
Армия — см. *Военное дело*.
Ассимиляция — 77—78, 322.
Астрономия — 54, 58, 82, 353—354.
Атомы — 57, 72, 312, 352—353; формы движения *а.* — 57; атомистика — 314; атомный вес — 292, 312, 353; *а.* и химическое действие — 72.

Б

Белковое вещество — 63, 72—77.
Бесконечность — 44—49; *б.* есть противоречие — 48, 49; *б.* в пространстве — 46—49; *б.* во времени — 46—49; *б.* числового ряда — 44—45, 47—48; прообразы математического бесконечного в действительном мире — 349—354; бесконечное поступательное движение познания — 81—82, 114; «дурная» *б.* — 44, 50.
Биология — 11, 13, 72, 83, 355, 357.
Биржа — 137, 262.
Борьба за существование — 64—66, 71, 135, 257, 264, 267.
Буржуазия — 16—18, 147, 252, 262—263; *б.* и феодализм — 17—18, 98, 153, 154, 251, 252; история развития *б.* — 153—155, 240—242, 251—253; *б.* и пролетариат — 25, 26, 100, 150, 154—155, 241, 243, 245, 255, 268; экономическое, политическое и умственное банкротство *б.* — 266.
Бытие — 22, 26, 34, 39—44, 49—50, 349; основные формы *б.* — 49; *б.* и мышление — см. *Мышление*.

В

Величина — 350—354; постоянная и переменная *в.* — 37; математика постоянных *в.* — 115, 127; математика переменных *в.* — 82, 115, 127; отрицательная *в.* — 114; мнимые *в.* — 37.

Вечная истина — см. *Истина*.
Вещество — 11; см. также *Материя*.
«Вещь в себе» — 60, 313.

Взаимодействие — 20, 22, 23, 67.

Вид в биологии — 64—67, 84; происхождение видов — 70; изменчивость видов — см. *Изменчивость* в.; развитие видов — 65, 71.

Военное дело, война и развитие производительных сил. — Зависимость армии и флота от экономических условий — 156—163, 336—337; материальные основы военного дела — 342—348; военное судостроение и крупная промышленность — 161, 162; общественные отношения и организация армии — 156—161; линейный строй — 342—348; колонна — 342—348; революционная система вооружения всего народа — 158—160, 347; военное обучение — 159—160, 331; см. также *Стратегия*.

Войны — греко-персидские в. — 150; Крестьянская в. в Германии — 18, 100, 324; Тридцатилетняя в. — 93, 173; торговые в. XVII и XVIII вв. — 257; американская в. за независимость — 157; военные поражения Пруссии в 1806 и 1807 гг. — 93, 203, 346; наполеоновские в. — 121, 158, 240, 244; Крымская в. 1853—1856 гг. — 161; франко-прусская в. 1870 г. — 158, 159.

Воспитание — 297; в. при капитализме — 276—277; в. и труд в социалистическом обществе — 278, 279, 305; Фурье и Оуэн о в. при социализме — 277—278; критика взгляда Дюринга на в. — 301—305.

Время — 37, 46, 49—50; пространство и в. — основные формы всякого бытия — 49; бесконечность в. — 46—49; понятие в. и действительное в. — 49—50; в. и изменение — 50; в. как мера труда — 293, 295; в. рабочее — 99, 170, 176, 180—181, 192—193, 195, 278, 291, 294.

Г

Геология — 83, 85; отрицание отрицания в г. — 128.

Геометрия — 130, 317, 350.

Гипотеза — г. в физике и химии — 82—83; г. в изучении живых организмов — 83.

Город — г. и деревня — 274, 276—277, 279—281, 334; крупные г. — 281; противоположность между г. и деревней при капитализме — 276; уничтожение противоположности между г. и деревней при социализме — 277—278, 280, 281.

Государство — 6, 97—100, 150, 153, 165, 169—170, 215, 297—299, 331; возникновение государственной власти — 167—168; роль г. в классовом обществе — 139, 262—265, 334; соперничество между капиталистическими г. и милитаризм — 159—160; государственный капитализм — 262—263, 269; взятие государственной власти пролетариатом — 264; отмирание г. — 265, 269; требование «разумного государства» у французских просветителей XVIII в. — 16—17, 240; критика лозунга «свободного народного государства» — 265.

Д

Дарвинизм — 64—71, 320, 321.

Движение — 20, 52—54, 56—58, 358; д. есть форма бытия материи — 56—57, 62, 319, 358; несотворимость и неразрушимость д. — 13, 57, 62, 358; д. есть противоречие — 113; д. находит свою меру в своей противоположности, в покое — 59; д. и равновесие — 57, 59—60; закон д. — 13; количество д. — 13, 57; активное и пассивное д. — 57; формы д. — 13, 57, 60, 114; механическое д. — 57, 319, 356; молекулярное д. — 53, 57, 82, 279, 352, 356; д. как изменение качества — 356; высшие формы д. — 114; экономическая форма д. — 140.

Дворянство — 17, 153—154.

Деизм — 64, 68, 70.

Демократия — д. античная — 323; буржуазная демократическая республика — 17; буржуазная д. 1848 г. — 160.

Деньги — д. — непосредственное воплощение общественного труда — 292; д. — мера стоимости — 216, 226; д. — всеобщий эквивалент —

190; *д.* — средство обмена — 138; *д.* металлические — 138, 286—288; всемирные *д.* — 288—289; *д.* бу-мажные — 179, 220—221; превра-щение *д.* в капитал — 189—194; юмовская теория *д.* — 223—226; «рабочие деньги» Оуэна — 286, 287.

Деревня — см. *Город*.

Деспотизм — восточный *д.* — 151, 168, 170.

Дефиниции — 78, 321—322.

Диалектика — 10, 13—14, 20, 22—23, 26, 43—44, 59, 112—113, 115—116, 126—127, 152, 311—313, 327—328, 349; определение *д.* — 133, 350; диалектические законы движе-ния — 11—12, 162, 350; диалекти-ческий характер процессов при-роды — 12—14, 313; диалектиче-ское мышление — 14, 20, 24, 115, 313, 314; форма *д.* — 313—314; ло-гика и *д.* — 25, 85; противоре-чивость материалистической диа-лектики идеалистической диалек-тики Гегеля — 23—24, 314—316; см. также *Закон, Материализм и Метод*.

Диалектика и естествознание — 22—24, 313.

Динамическое — см. *Статическое и динамическое*.

Дифференциал — 129—130, 351—353.

Дифференциальное и интегральное исчисление — 113, 127, 129—130, 133, 328—329, 349—354.

Добро и зло — 87—88.

Древние языки — 303—304.

Е

Естествознание — 10—14, 21, 42, 52, 64, 69, 310—311, 316; *е.* теорети-ческое — 7, 10, 12, 23, 312—315; *е.* эмпирическое — 14, 311, 314; развитие *е.* — 21; *е.* и материа-лизм — 25; *е.* и диалектика — см. *Диалектика и естествознание*; *е.* и история — 21.

Ж

Жизнь — 57, 63, 72—78, 114, 319, 321—323; возникновение *ж.* — 69; *ж.* есть способ существования белковых тел — 77—78, 322.

З

Закон — *з.* диалектического мышле-ния — 14, 24; *з.* единства проти-воположностей — 22, 49; *з.* пере-хода количества в качество и ка-чества в количество — 43, 118—121; *з.* отрицания отрицания — см. *Отрицание*; *з.* природы — 34, 132, 141; *з.* движения — см. *Движе-ние*; *з.* сохранения энергии, *з.* превращения энергии — см. *Энер-гия*; *з.* Бойля — 86—87, 292; за-кономерность процесса развития человечества — 23—24; экономиче-ские *з.* товарного производства — 296, 340; *з.* политической эконо-мии — см. *Политическая эконо-мия*.

Заработная плата — 118—119, 182—183, 187, 254; закон *з. п.* — 66, 296; *з. п.* и прибавочный труд — 205—206; *з. п.* квалифицированного рабочего — 189; *з. п.* и промыш-ленная резервная армия — 258; вульгарная политическая экономия в вопросе о *з. п.* — 181—182.

Землевание — общинное *з.* — 138, 164—165, 332, 334; крупное *з.* и его развитие — 164—166, 211, 240—241.

Золото и серебро — 98, 131, 224, 288.

Зоология — 70.

И

Идеализм — 25—26, 130, 327—328, 337; *и.* в понимании истории — 26; извращение действительных свя-зей явлений идеализмом — 24—25, 316; ложный идеалистический исходный пункт гегелевской фи-лософии — 314—316.

Идеология — 35, 90, 317—318.

Идея — идеи — отражения действительности — 317; зависимость *и.* от общественных отношений — 326; «идея» у Гегеля — 24, 315.

Изменение — 20—21, 42, 49—51, 67, 119, 120; время и *и.* — см. *Время*; качественные *и.* — 355—356; ко-личественные *и.* — 355—356.

Изменчивость видов растений и жи-вотных — 64—67.

Индивид — *и.* животный — 13—14; индивидуальные особенности и борьба за существование — 65; индивидуальные изменения — 66—67; *и.* и род — 349—350; см. так-же *Личность*.

Индивидуальная собственность — см. *Собственность*.

Индустрия — см. *Промышленность*.

Истина — 19, 81—87, 142; абсолютная и относительная и. — 81—82, 85—86; «вечные истины» — 79—80, 82—88.

История — 25, 88, 315, 324—326; диалектический взгляд на и. — 10, 26; материалистическое понимание и. — 10, 25—27, 251; природа имеет свою и. во времени — 25; и. человечества — 10—11, 20, 23—24, 33—34, 81, 83—84, 107—109, 167, 299; вся прежняя и., за исключением первобытного состояния, была и. борьбы классов — 26; и. развития человеческого мышления — 11; логические принципы абстрагируются из природы и и. — 34; закон отрицания отрицания в и. — 130—132, 327—328; сознательное творчество людьми своей и. при социализме — 267; идеалистическое понимание и. — 26; метафизическое понимание и. — 26.

К

Капитал — 25, 27, 117—118, 125, 143, 145, 190, 193—207, 258—261, 268; первоначальное накопление к. — см. *Накопление*; превращение денег в к. — см. *Деньги*; постоянный и переменный к. — 117—118; прибыль на к. — см. *Прибыль*; концентрация к. — 125, 139, 262.

Капитализм — 252—264; см. также *Производство*, *Средства производства*, *Присвоение*, *Потребление*, *Государство*.

Категории — 85—86; гегелевские к. «в себе» и «для себя» — 56.

Качество — 13, 355—358; закон перехода количества в к. и к. в количество — 42—43, 118—121, 355—358; качественные изменения — см. *Изменение*; качественный скачок — см. *Скачки*.

Кинетическая теория газов — 13.

Классификация и эволюционная теория — 13.

Классовая борьба — 25—26, 250; старое, идеалистическое понимание истории не знало никакой к. б.,

основанной на материальных интересах — 26.

Классы — 17—19, 26, 88, 147, 242, 250, 259—260, 265—266, 269, 276; общественные к. — продукт экономических отношений — 26; образование к. — 167—171; противоположность к. — 16—18, 89, 138—139, 147, 170—171, 240, 243, 250, 268, 294; уничтожение к. — 89, 100—101, 147, 266, 269; борьба классов и организация военного дела — 156—163; физиократы о к. — 231—235; см. также *Общество*.

Клетка — 11, 13—14, 22, 72—74, 83; клеточное ядро — 72—73; искусственная к. Траубе — 76, 322.

Количество — 13, 42—43, 358; количественные изменения — см. *Изменение*; количественные отношения — 37; см. также *Качество*.

Коммунизм — 12, 18, 247—248; коммунистическое мировоззрение — 8—9; стихийный рабочий к. — 284; см. также *Социализм*.

Конкуренция — 200—202, 240, 256, 268; свободная к. — 25—26, 138—139, 261.

Конституция — 17, 100.

Кооперация — 119, 123, 125, 252, 268.

Крепостная зависимость — 99, 338—339.

Крестьянская война в Германии — 18, 100, 324.

Крестьянство — 99, 160, 253; к. и общинная земельная собственность — 151—152; свободные к. — 166; к. и рабский труд — 150—151, 165; превращение свободных к. в крепостных — 332, 339; к. и крупное землевладение — 166; к. и феодализм — 99, 256; к. как собственник средств производства в средние века — 252; к. при капитализме — 240—241, 255.

Кризис — к. промышленный — 259—260, 262, 270—272; к. денежный — 338; к. торговый — 153.

Л

Латифундии — 165, 334.

Левдэры — 18.

Лионское восстание 1831 г. — 25; л. в. 1834 г. — 26.

Личность — л. при капитализме — 275—277; л. при социализме — 266—267, 278.

Логика — 85; формальная л. и диалектика — 25, 126—127, 311—312; формальная л. и математика — 38, 126—127; л. Гегеля — 34, 43, 63.

М

Магнетизм — 57, 63, 319.

Мальтузианство — 64—66, 71.

Мануфактура — 99, 119, 214, 252, 254, 268; переход от ремесла к м. — 98, 153—154, 257, 276; м. и крупная промышленность — 245, 252.

Марка — 164—165, 256, 339.

Математика — 10—12, 36—39, 48—49, 82, 126—127, 317—319, 353—354; математические отношения — 127; м. возникла из практических нужд людей — 37; м. элементарная — 114, 126—127; м. высшая — 114, 127, 129—130; математическая аксиома — см. *Аксиома*; рукописи Маркса по м. — 12.

Материализм — 25, 34—35, 130, 317—318, 327; действительное единство мира состоит в его материальности — 42; диалектический м. — 10, 25; первоначальный стихийный м. — 130, 327; французский м. XVIII века — 25, 349, 357—358.

Материальность мира — см. *Материализм*.

Материя — 55—57, 357—358; м. без движения так же немыслима, как и движение без м. — 57; несотворимость и неразрушимость м. — 57, 62, 358; строение м. — 353; непрерывная и дискретная м. — 354; бесконечность форм м. — 55; высшие формы движения м. — 114; м. и мышление — 130.

Машина — 176, 257—259, 268, 276; паровая м. — 107—108, 137, 280, 293; прядильная м. — 253.

Мера — 293; м. движения — 59; см. также *Узловая линия отношений меры, Время, Труд и Деньги*.

Меркантилизм — 216—217, 219—222.

Метафизика — 14, 21—23, 59—60, 129, 133—134, 313—314, 349—350; метафизический способ мышле-

ния — 20—23, 54, 113, 115, 313; метафизическое понимание истории — 26; метафизический взгляд на природу — 23; м. XVII и XVIII веков — 313—314.

Метод — 14, 22, 126; диалектический м. — 22, 116, 315.

Механика — 11—12, 37, 53, 58—59, 63, 82, 350—351, 353—355; механическая сила — см. *Сила*; м. масс — 63; м. небесных тел — 63; отношение статического к динамическому в м. — 59; м. знает только количества — 355.

Механическое понимание природы — 354—358.

Милитаризм — м. и прусская система ландвера — 158—159; м. и буржуазная демократия 1848 г. — 159—160; диалектика в развитии м. — 159—160.

Мир — 37, 44—47, 317; м. как связанное целое — 35—36, 318.

Мировоззрение — 127, 130, 314; м. коммунистическое — см. *Коммунизм*.

Мифология — 299—300.

Мозг — 34, 327, 356.

Молекула — 13, 57, 60—61, 63, 72, 82, 292, 351—353, 355—356; молекулярная теория — 119.

Монархия — 156.

Монетарная система — 217.

Монополия — 125, 145, 147, 153, 162, 178—181, 195, 261, 266.

Монотеизм — 130, 300, 327.

Мораль — 87—89, 95; классовые основы м. — 88; м. христианско-феодалная, м. буржуазная, м. просветительская, м. пролетарская — 88; м. и право — 106, 142, 144.

Мышление — 17, 19, 22—23, 40, 79, 317—318, 349; м. и сознание — продукты человеческого мозга — 34; м. — высший продукт органической жизни — 319; м. и бытие — 34, 40—41, 349, 354; законы м. — 311, 317; законы м. и законы природы — 34; формы м. — 34, 317; диалектическое м. — см. *Диалектика*; теоретическое м. — 311, 349; суверенность человеческого м. — 81—82; противоречие в развитии м. — 81—82, 114; историческое развитие м. — 311—312; метафизический способ м. — см. *Метафизика*.

Н

- Надстройка* — правовые и политические учреждения как *н.*, обусловленная экономической структурой общества — 26; философия, религия, искусство как *н.* — 26, 83.
- Накопление* — 258—259, 296; первоначальное *н.* капитала — 125.
- Насилие* — 92—93, 148—156, 167—168, 172—173, 191, 203—204, 239, 331; *н.* и экономическое развитие — 142, 151, 155—156, 162, 171—172, 331—332, 334—337; революционная роль *н.* — 172—173, 331.
- Наследственность* — 65, 67—69, 321.
- Натуральное хозяйство* — 138, 153—154.
- Натурфилософия* — 10—12, 14, 34, 39, 44, 51, 62, 135, 315, 354.
- Науки* — три класса *н.* — 82—85; «вечные истины» в точных *н.* — 82—83; «вечные истины» в *н.*, изучающих живые организмы — 83; «вечные истины» в исторических *н.* — 83—85; *н.* о мышлении — 85, 311.
- Недопотребление* — см. *Потребление*.
- Необходимость* — 27, 44, 107, 267; см. также *Свобода*.
- Неокантианство* — 313—314.
- Неравенство* — 91—93, 96, 131—132, 150.

О

- Обмен* — 98, 137—144, 151—152, 215, 251, 255—256, 290—291, 294—296; производство и *о.* — см. *Производство*.
- Обмен веществ* — 76—78, 321—322.
- Обращение товаров* — 143, 152, 190, 260.
- Общее и частное* — 20—21.
- Общественная собственность* — см. *Собственность*.
- Общественные отношения* — 17, 83, 90—92, 141—142, 265, 326.
- «*Общественный договор*» Руссо — 17, 240.
- Общественный производственный и резервный фонд* — 182—183.
- Общество* — 16, 84, 91, 97, 267, 280, 289—290, 317; развитие *о.* — 182; *о.* определяется экономическими отношениями — 327; деление *о.* на классы — 139, 245, 251, 265—266; развитие *о.* в классовых про-

- тивовоположностях — 89, 167, 170, 174, 195; *о.* рабовладельческое — 150—151; *о.* феодальное — 98—99, 251—252, 256, 267—268; *о.* товаропроизводителей — 185, 255, 290; *о.* буржуазное — 98—99, 240—241, 245, 262—263, 300; *о.* капиталистическое — 260—262; бесклассовое *о.* — 89, 108; социалистическое *о.* — 261, см. также *Социализм*; требование «разумного общества» французскими философами XVIII века — 240.
- Община* — 138—139, 164—170, 293, 323, 332; первобытная *о.* — 97, 150—152, 164, 167—168; разложение первобытной *о.* — 139, 152, 171, 295; русская *о.* — 295, 338.
- Опыт* — 36—38, 317, 328, 349—350; история *о.* — 326.
- Организм* — 13—14, 22, 65, 68, 72—73, 75.
- Органический мир* — 23, 63, 68.
- Орошение* — роль искусственного *о.* в истории восточных стран — 168.
- Оружие* — 155—163, 337, 342—348.
- Отбор естественный* — 64—71, 320; *о.* искусственный — 64—65.
- Относительность* — 14, 57, 81, 291—293; *о.* всякого покоя и всякого равновесия — 57; *о.* познания — см. *Познание*.
- Отношения* — *о.*, отвлеченные от действительных тел — 38; пространственные *о.* — см. *Пространство*; см. также *Количество* и *Математика*.
- Отражение (Отображение)* — 21—22, 90, 299—300, 316, 317, 326—327.
- Отрицание* — *о.* историческое и диалектическое — 328; способ *о.* определяется общей и особой природой процесса — 133; отрицание отрицания — 121—134, 327—329.
- Отрицательное* — см. *Положительное и отрицательное*.
- Ощущение* — 74—75, 78, 110.

П

- Палеонтология* — 70, 302.
- Пантеизм* — 64.
- Партия* — *п.* пролетариата как самая революционная *п.* в истории — 173; *п.* и военная подготовка — 331.

- Переворот* — 98, 268—269, 279; причины социальных и политических п. — 152—155, 251; социалистический п. — 147—148, 182, 263—265.
- Перепроизводство* — 268, 270—272.
- Переходы* — п. и связи в природе — 52—53.
- Познание* — 13, 310; относительность п. — 80—87, 114.
- Покой* — 59—60; п. и движение — 22, 59, 113; относительный характер противоположности между движением и п. — 57, 59, 319; см. также *Движение*.
- Политика, политические отношения, политический строй* — 84, 90—92, 98—99, 153—155, 162—163, 171—172, 204, 242, 326, 332; возникновение политического господства — 167—168; см. также *Экономика и политика*.
- Политическая экономия* — 9, 64, 92, 180, 196, 211, 214, 217, 223, 238, 290, 292, 315, 338; предмет и метод п. э. — 137—141; п. э. в самом широком смысле — 137, 140—141; п. э. в более узком смысле — 141; исторический характер п. э. — 137—138; законы п. э. — 137—138, 141; добуржуазная п. э. — 141; классическая п. э. — 15, 196—197, 213—214; вульгарная п. э. — 181—182, 196; критика дюринговского понимания п. э. — 141—146, 175—184, 202—207, 238—239, 338.
- Положительное и отрицательное* — 21—22, 44.
- Понятие* — 13, 36—37, 90; п. как обобщение данных опыта — 14; п. — мысленные отображения вещей — 21.
- Потребление* — 152, 191—192, 258—259, 266, 293—294; п. при капитализме — 266; недопотребление — 270—272.
- Право* — 83, 90, 97—98, 102—103, 106, 135, 142—143, 164—165, 326, 336—337; правовые учреждения как надстройка — 26; римское п. — 97, 106; французское п. — 102—104, 106, 165; английское п. — 103—104, 106, 165; прусское земское п. — 102—106, 135, 213, 282.
- Прибавочная стоимость* — 27, 178, 183, 190—196, 198—200, 205—207, 239.
- Прибыль* — 182—183, 196—204, 210, 213, 225; п. на капитал — 181, 183, 199, 202—203, 210—213; п. предпринимательская — 203; п. торговая — 199—200; п. аренда-тора — 210—214.
- Принцип* — п. верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории — 34; п. равенства и его исторический характер — 323—326.
- Природа* — п. имеет свою историю во времени — 25, 54; господство человека над п. — 107, 167, 267; см. также *Диалектика и естествознание*.
- Присвоение* — 199, 266; п. в товарном производстве в средние века — 253; капиталистическое п. — 254—255, 264, 268, 332; превращение закона п. товарного производства в закон капиталистического п. — 152; п. неоплаченного труда — 27, 152, 178, 183, 195—196; капиталистический способ производства и основанный на нем способ п. — 193, 197; противоречие между общественным производством и капиталистическим п. — см. *Производство*; способ п. в социалистическом обществе — 263—264, 266.
- Приспособление* — 67—68, 320—321.
- Причинность* — 20—21, 196, 357—358; п. в метафизическом понимании — 21; п. в диалектическом понимании — 22; общественные причины и сознательная деятельность людей при социализме — 267; п. в политической экономии — 300; п. в биологии — 65—67, 83.
- Продукт* — 152, 182—183, 192—193, 195—196, 253—256, 259, 264, 266—268, 278, 293—296; п. труда в древних общинах — 293; п. труда в средневековом обществе — 253—254, 256, 267; превращение п. труда в товары — 151, 253, 268, 290—291; форма стоимости п. — 294; п. общественного труда при капитализме — 253, 268, 291; прибавочный п. при капитализме — 152, 192—193, 196, 200—201, 205, 213; превращение п. труда рабочих в орудие их порабощения — 258; общественный п. при социализме — 123, 266.

- Производительность труда* — 170.
- Производительные силы* — 147, 154—155, 167—168, 170, 241, 250, 252, 260—264, 266, 269, 278, 334; развитие *п. с.* при капитализме, конфликт между *п. с.* и способом производства — 251 — 252, 259—260; развитие *п. с.* при социализме — 267.
- Производственные отношения* — 26, 143, 251, 332.
- Производство* — 143—144, 154, 156, 256—259, 264—269, 269—282; способы *п.* — 27, 138—141, 150, 153, 193, 241, 251—260, 262—263, 278, 330, 332; способ *п.* и общественный строй — 139—140, 193; *п.* и распределение — 139—140; *п.* и обмен — 137—141, 152, 251, 268; общинная собственность на землю и *п.* — 130; мелкое *п.* в Англии — 125; *п.* в средневековом обществе — 252—254, 256; цеховое ремесленное *п.* — 138; *п.* товарное — 152, 253—256, 267—268, 292—293; *п.* капиталистическое — 27, 118, 139—141, 152, 252, 268—269; противоположность между организацией *п.* на отдельных фабриках и анархией *п.* во всем обществе — 257; законы капиталистического *п.* — 140, 201, 255—256; противоречие между общественным *п.* и капиталистическим присвоением — 253—255, 257, 260, 268; *п.* при социализме — 263—264, 267, 269, 278; см. также *Средства производства*.
- Пролетариат* — история развития *п.* — 18, 125, 154, 242, 245, 257; противоположность между *п.* и буржуазией — 241; классовая борьба между *п.* и буржуазией — 25—26; *п.* и коммунистическое мировоззрение — 8—9; пролетарское требование уничтожения классов — 100, 147—148, 325; уничтожение анархии производства пролетариатом — 257.
- Промышленная резервная армия* — 257—260, 268, 294.
- Промышленность* — 98, 150 — 151, 153—154, 156, 161—162, 167, 241, 257, 277, 281; ремесленная *п.* — 98, 150, 153—154; крупная *п.* — 25, 119, 139, 147, 161—162, 164, 241, 245, 257, 277, 279—280, 282; промышленный переворот — 245—246, 268.
- Просветители* — французские *п.* XVIII века — 16—17, 141, 246.
- Пространство* — 43, 46—53; *п.* и время — основные формы всякого бытия — 49; три измерения *п.* — 47—48; пространственные формы — 37—39; пространственные отношения — 350.
- Протестантизм* — 88.
- Противоположности* — 12 — 13, 21, 44, 56, 85—86, 132, 139, 327; взаимопроникновение *п.* — 22; полюсные *п.* — 14, 85; полюсы *п.* — 22.
- Противоречие* — 22, 113—114, 132, 147, 327—328, 330; *п.* бесконечности — 48—49; *п.* в математике — 114; *п.* движения — 113—114; *п.* в высших формах движения материи — 114; *п.* между задачей познания и незавершенностью познания на каждой отдельной его ступени — 36, 81—82, 114; основное *п.* капитализма — 268; *п.* между общественным характером производства и капиталистическим присвоением — см. *Производство*; внутренняя противоречивость гегелевской системы — 24; критика дюринговского понимания *п.* — 112—114.
- Протисты* — 69, 73.
- Протоплазма* — 11, 69, 321.
- Процент* — 196, 198—200, 221—222, 225—226.
- Процесс* — 13, 23—24, 26, 192, 279, 312—313; *п.* развития как подтверждение закона отрицания отрицания — 126, 132—133; *п.* антагонистические — 132.

Р

- Работа механическая* — 59.
- Рабочая сила* — см. *Стоимость, Эксплуатация и Товар*.
- Рабочее движение* — 25—26.
- Рабочие базары Оуэна* — 248.
- Рабочий день* — 181—182, 187, 206, 245.
- Рабство* — 138, 145, 150—151, 169—170, 323, 330, 331; античное *р.* — 169; *р.* как простейшая форма разделения труда — 170; *р.* как форма производства — 330.

Равенство — 17, 96—97, 323—326; развитие идеи *р.* — 96—101; *р.* буржуазное — 17, 99—101, 325; пролетарское требование *р.* — 100—101, 325.

Равновесие — 57, 59—60, 319; *р.* механическое — 57.

Развитие — 11—12, 101, 169, 171, 334; теория *р.* — 70—71; *р.* во времени — 12; *р.* в природе и в человеческом обществе — 22—24, 169—170, 182; история *р.* человеческого мышления — 11.

Разделение труда — 119, 169—170, 215—216, 253, 274—279; *р. т.* и классы — 265—266; *р. т.* в общине — 151; *р. т.* внутри земледельческой семьи — 168—169; *р. т.* между земледелием и промышленностью — 169; *р. т.* и машинное производство — 278—279; *р. т.* и отделение города от деревни — 274—278, 282.

Раздражимость — 78, 322; см. также *Ощущение*.

Раса — 67.

Распределение — 138—141, 143, 146—148, 175, 188, 282, 338—340; события *р.* и классы — 138, 251; противоположности в *р.* — 139; неравенство *р.* — 140, 150.

Рассудок — 318.

Растение — 74—75.

Реальность — законы, абстрагированные от реального мира — 37; реальные отношения и математика — 38.

Революция — английская буржуазная *р.* XVII века — 18, 154; американская буржуазная *р.* (война за независимость) — 157; французская буржуазная *р.* конца XVIII века — 18, 154, 157, 240, 242, 324; *р.* 1848 г. — 172; пролетарская социалистическая революция — 269.

Религия — 69, 88, 243, 299—301, 303, 326—327; фантастическое отражение экономических отношений в *р.* — 299—301; см. также *Христианство*.

Рента — земельная *р.* — 179—180, 197, 198—200, 210—214, 222, 336; теория земельной *р.* в классической политической экономии — 211—214.

Рефлексия — 14.

Рынок — 27, 182, 190—191, 216, 253—256, 259, 268, 272, 294; мировой *р.* — 179, 193, 257, 271, 288.

С

Свобода — с. и необходимость — 106—107, 267, 269; действительная с. при социализме — 108, 269, 278, 300; см. также *Равенство*.

Свободная торговля — 222, 223, 335; см. также *Фритредерская школа*.

Связь — 20, 22, 24—25, 315—316; с. внутренняя — 23; с. систематическая — 35; с. природы — 34, 311—312; с. естественная — 20—21; с. историческая — 20—21, 250; мировая с. — 35—36; всеобщая с. — 312, 314; формы связей — 37.

Семья — разделение труда внутри земледельческой с. — 168—169; рост производительности труда с. и развитие общества — 182; средневековое производство и с. — 253—254, 256; машинное производство и с. рабочего — 258; разрушение с. при капитализме — 245; критика взгляда Дюринга на с. — 301—302, 305—308.

Сила — 11; с. механическая — 13, 51, 56—58.

Синтез — см. *Анализ*.

Система — с. всех мировых связей — 35—36; мир образует единую с. — 318; коперникова с. мира — 54.

Скачки — 63, 267, 353; качественный скачок — 43.

Случайность — 19; с. и закономерность — 24; кажущаяся с. исторических событий — 11.

Собственность — 17, 131, 152—153, 175, 254, 269, 273, 289; общинная с. — 84, 130, 151—152, 327, 332; индивидуальная с. — 123, 126; частная с. — 88, 97, 123—126, 151—153, 252, 327; земельная с. — 164, 197, 339; мелкая с. — 240; общественная с. на средства производства — 123, 266—267, 327; государственная с. — 262 — 263, 269.

Созерцание — 314, 318.

Сознание — 11, 15, 26, 40, 81, 321; с. и природа — 34.

Солнечная система — 12, 23, 54, 314, 353—354.

Социализм — 16, 19, 26—27, 148, 188, 252, 267, 269; с. научный — 20, 27, 191, 269, 282, 327; с. и материалистическое понимание истории — 26—27; с. утопический — 19, 26—27, 242, 250; с. уравнительный — 187; стихийный рабочий с. —

- 188; с. французский — 19, 26; с. английский — 19, 26; первые немецкие социалисты — 19; с. немецкий — 7; с. эклектичный — 19; с. — необходимый результат борьбы двух исторически возникших классов — 26; производство при с. — 263—264, 267, 269, 293—294, см. также *Средства производства*; распределение при с. — 188; собственность общественная и собственность индивидуальная при с. — 123—124; уничтожение противоположности между городом и деревней при с. — см. *Город*; труд при с. — см. *Труд*; воспитание при с. — см. *Воспитание*; личность при с. — см. *Личность*.
- Социалисты-утописты* — см. *Утописты*.
- Спиритуалисты* — 41, 327.
- Способ производства* — см. *Производство*.
- Справедливость* — понятие «вечной с.» у просветителей — 17; исторический характер понятия с. — 84—85; см. также *Равенство*.
- Средства производства* — производство с. п. — 182; с. п. в средние века — 252—253, 267; отделение производителя от с. п. — 268; монополия на с. п. и прибавочный труд — 145, 153; превращение с. п. в капитал — 195—196, 260; концентрация с. п. при капитализме, ее внутренние противоречия — 125, 252—255, 268; с. п. и кризисы — 260—261; господство с. п. над производителем при капитализме — 276—278; с. п. при социализме — 263—264, 293—294, 300.
- Статическое и динамическое* — 56, 58, 62.
- Стоимость* — 117—118, 176—189, 191—193, 218—219; с. и труд — 185, 188, 290—291; с. — выражение общественного труда — 180, 188, 290—291, 294; величина с. — 176; закон с. — 99, 201, 337; с. товаров — 179—180, 185—186, 290; с. и обмен товаров — 290, 295; с. и деньги — см. *Деньги*; с. благородных металлов — 224—226; с. рабочей силы — 27, 169, 192, 294; с. в классической политической экономии — 218—219; с. в вульгарной экономии — 181.
- Стратегия* — 156—163, 336—337, 342—348; см. также *Военное дело*.
- Сущность* — 43—44, 115, 358.

Т

- Тактика* — см. *Военное дело* и *Стратегия*.
- Телеология* — 63, 357.
- Теория* — 242; т. эволюции — см. *Эволюционная т.*; кантовская т. возникновения солнечной системы — 12, 54; кинетическая т. газов — 13; механическая т. теплоты — см. *Теплота*; коммунистические т. XVIII века — 18.
- Теплота* — 13, 57—58, 63, 316, 319, 356; механическая теория т. — 53, 54, 58, 60—61, 312, 316; открытие превращения механического движения в т. — 107—108; связанная т. — 60—61.
- Товар* — 151—152, 185—186, 190—193, 226, 253, 255—256, 291—293; определение т. — 290—291; превращение продуктов труда в товары — 152, 290; общественный характер т. — 290; рабочая сила как т. — 27, 191—193, 294.
- Тождество* — 52, 113, 356—357; абсолютное т. не может само собой притти к изменению — 52; т. мышления и бытия у Гегеля — 41.
- Толчок* — т. в механике — 59; «первый толчок» — 23, 50—51, 56.
- Торговля* — 98—99, 151, 154, 224, 241, 259—260; мировая т. — 98—99, 137, 155, 193.
- Трение* — добывание огня трением — 107—108.
- Трест* — 261—262, 269.
- Труд* — т. как естественное условие человеческого существования — 278; т. рабский — 150—151; т. крепостной — 332; т. общественный — 254, 265, 291—293; т. человеческого вообще — 99, 290—291; т. как мера всех стоимостей — 179—180; т. овеществленный — 188; т. общественно необходимый — 99, 180, 188, 291; т. производительный — 176, 265, 278, 338; т. простой — 185—186; т. сложный — 185—187, 189; т. наемный —

152, 171, 253, 332; т. прибавочный — 192—193, 195, 205—206, 239; разделение т. — см. *Разделение т.*; обобществление т. — 125; противоположность между физическим и умственным т. при капитализме — 275—277; уничтожение противоположности между физическим и умственным т. при социализме — 188, 278; т. при социализме — 278, 293—294.

Тред-юнионы — 248.

Туманность — первоначальная т. — 53—55.

Тяготение — 11, 53—54, 72.

У

Узловая линия отношений меры — 43, 63, 119.

Утописты — 18—20, 242—251, 277—278; утопический социализм — см. *Социализм*.

Ф

Фабрика — 253, 257, 268, 278—280, 305.

Феодализм — 19, 98, 140, 156, 165, 240—241, 256, 267—268, 334; ф. и буржуазия — 17—19, 98, 153—154, 251—252.

Физика — 7, 82, 86—87, 312, 355—356; ф. молекул — 63; ф. атомов — 63.

Физиократы — 223, 228, 231, 237; «Экономическая таблица» Кенэ — 228—237; классы у физиократов — см. *Классы*.

Физиология — 22.

Филология — 303—304.

Философия — 14, 35, 57, 127, 251, 312, 313—314; ф. как надстройка — 26, 83; греческая ф., античная ф. — 20—21, 130, 313—314, 327; греческая вульгарная ф. поздней эпохи — 300; английская ф. — 20; французская ф. XVIII века — 16—17, 20, 240; немецкая ф. — 10, 20, 23, 314; ф. и естествознание — 130,

357; история ф. как подтверждение закона отрицания отрицания — 130—131.

Флогистон — 316.

Фритредерская школа — 316.

Х

Химия — 7, 57, 63, 78, 82, 120—121, 312, 319, 328, 355—356; обмен веществ в х. — 76; х. физиологическая — 76; химизм белка — 63, 77—78.

Хозяйственная коммуна по Дюрингу («социалитет»), ее буржуазная, эксплуататорская сущность — 187, 189, 272—278, 282—289, 295—297, 304—308, 337—338, 341.

Хозяйство натуральное — см. *Натуральное хозяйство*.

Христианство — 94—95, 97—98, 243, 323—324, 327; см. также *Мораль*.

Ц

Целесообразность — 68.

Целое — 35, 313—314; целое и часть — 38.

Цель — 63, 68.

Цена — 191; ц. рабочей силы — 206; монопольная ц. — 177—178.

Цехи — 99, 154, 172, 202—203, 252, 254—256.

Цивилизация — Руссо о ц. — 131—132; Фурье о ц. — 244—245, 249, 333.

Ч

Чартисты — 25.

Частная собственность — см. *Собственность*.

Частное и общее — см. *Общее и частное*.

Часть и целое — см. *Целое*.

Число — 36—37; числовой ряд — 48; ч. у Пифагора — 358.

Э

Эволюционная теория — 11, 13—14.

Эквивалент — 152, 292; см. также Деньги.

Эклектизм — 313.

Экономическая структура общества—26; см. также Надстройка.

Экономика и политика — 98—99, 149—150, 153—155, 204, 243—244, 332—335.

Эксплуатация — 27, 125, 143, 182, 195—196, 260—261, 263, 270—271, 279.

Экспроприация экспроприаторов — 123, 125.

Электричество — 13, 57, 63, 319.

Эмансипация — э. женщины как мерило общей э. по Фурье — 244.

Эмбриология — 70, 302.

Эмпирики — 11—12; эмпиризм английский — 14.

Энергия — кинетическая э. — 13; потенциальная э. — 13; молекулярная э. — 61; закон сохранения э. — 13; закон превращения э. — 13.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

- Анаксагор* (ок. 500—428 до н. э.) — 17.
Анфантен Бартеlemi Проспер (1796—1864) — 31.
Аристотель (384—322 до н. э.) — 20, 84, 215, 216, 311, 330.

Б

- Бабеф* Грахх (Франсуа Ноэль) (1760—1797) — 18, 31, 324, 331.
Беккер Карл Фердинанд (1775—1849) — 304.
Бисмарк Отто Эдуард (1815—1898) — 105, 262, 281, 300.
Блан Луи (1811—1882) — 30, 297.
Богуский Иосиф Юрий (р. 1853) — 86.
Бодо Николай (1730—1792) — 230.
Бойль Роберт (1627—1691) — 86, 292.
Бопп Франц (1791—1867) — 304.
Боссю Шарль (1730—1814) — 329.
Буагильбер Пьер (1646—1714) — 214, 220, 223.
Бэкон Френсис (1561—1626) — 21, 314.
Бюжо Тома Робер (1784—1849) — 346.
Бюхнер Людвиг (1824—1899) — 312, 313.

В

- Вагнер* Герман (1815—1889) — 227.
Вагнер Рихард (1813—1883) — 28, 109.
Вандерлинг Якоб (ум. 1740) — 223, 224, 227.
Вейтлинг Вильгельм (1808—1871) — 19, 189, 286.

- Веллингтон* Артур Уеллслей (1769—1852) — 337, 346.
Виктория, королева Англии (1819—1901) — 247.
Вирхов Рудольф (1821—1902) — 7, 13, 310.
Вольф Христиан (1679—1754) — 314.

Г

- Гален* Клавдий (ок. 131—200) — 83.
Галле Иоганн (1812—1910) — 54.
Гарвей Вильям (1578—1657) — 222.
Гартман Эдуард (1842—1906) — 313.
Гаусс Карл Фридрих (1777—1855) — 48.
Гегель Георг Фридрих Вильгельм (1770—1831) — 11, 12, 16, 17, 20, 23—26, 30, 34—36, 38, 41, 43, 44, 49, 50, 56, 63, 70, 75, 96, 107, 112, 116—118, 121—123, 131, 132, 134—136, 175, 239, 245, 311, 314—316, 318, 328, 349, 354, 357, 358.
Гейзе Иоганн Христиан (1764—1829) — 304.
Геккель Эрнст (1834—1919) — 11, 67—69, 131, 321, 354, 355, 357, 358.
Гексли Томас Генри (1825—1895) — 74.
Гельмгольц Герман (1821—1894) — 11.
Генрих LXXII (XIX век) — 165.
Гераклит (конец VI — начало V века до н. э.) — 20.
Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 89, 136, 303, 335.
Гиббон Эдуард (1737—1794) — 228.
Гиффен Роберт (1837—1910) — 267.
Грибоваль Жан Батист (1715—1789) — 158, 345.
Гримм Якоб Людвиг Карл (1785—1863) — 304.

Д

- Дальтон* Джон (1766—1844) — 312.
Дарвин Чарлз : (1809—1882) — 23, 30, 64—71, 75, 118, 119, 135, 320, 358.
Декарт Рене (1596—1650) — 20, 51, 57, 115, 312.
Дельвинь Анри Густав (1799—1876) — 347.
Демокрит (ок. 460—370 до н. э.) — 312.
Дидро Дени (1713—1784) — 20.
Диоген Лаэртский (прибл. первая половина III века) — 312.
Дитц Фридрих (1794—1876) — 304.
Дюринг Евгений (1833—1921).

Е

- Екатерина II* (1729—1796) — 332.

Ж

- Жерар* Шарль Фридрих (1816—1856) — 119.

И

- Иенс* Макс (1837—1900) — 161, 337.

К

- Кампгаузен* Лудольф (1803—1890) — 102.
Кант Иммануил (1724—1804) — 12, 23, 30, 47, 53—55, 62, 228, 245, 314.
Кантильон Ричард (1680—1734) — 226.
Карлейль Томас (1795—1881) — 241.
Карно Никола Леонар Сади (1796—1832) — 316.
Кауфман К. П. (1818—1882) — 95.
Кекуле Фридрих Август (1829—1896) — 312, 354, 355.
Кенз Франсуа (1694—1774) — 15, 228—237, 249.
Кеплер Иоганн (1571—1630) — 11.
Кирхгоф Густав (1824—1887) — 12.
Коббет Вильям (1762—1835) — 228.
Колумб Христофор (ок. 1446—1506) — 257.
Конфуций (Кун-фу-цзы) (ок. 551—479 до н. э.) — 238.
Коперник Николай (1473—1543) — 54.
Крупп Фридрих Альфред (1854—1902) — 162.

- Ксенофонт* (прибл. 430—355 до н. э.) — 215.
Кэри Генри (1793—1879) — 181, 210, 238, 335.

Л

- Лавуазье* Антуан Лоран (1743—1794) — 220, 316.
Ламарк Жан Батист (1744—1829) — 30, 64, 70, 71.
Лангеталь Христиан Эдуард (1806—1878) — 339.
Лаплас Пьер Симон (1749—1827) — 23, 314.
Ласкер Эдуард (1829—1884) — 328.
Лассаль Фердинанд (1825—1864) — 31, 102, 103, 120.
Лафарг Поль (1842—1911) — 10.
Леверье Урбен Жан Жозеф (1811—1877) — 54.
Левкипп из Абдеры (V век до н. э.) — 312.
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — 30, 127.
Либих Юстус (1803—1873) — 10.
Либкнехт Вильгельм (1826—1900) — 309.
Линней Карл (1707—1778) — 25.
Лист Фридрих (1789—1846) — 216, 217, 238.
Лоу Джон (1671—1729) — 220, 221, 223.
Локк Джон (1632—1704) — 15, 21, 220—223, 225, 226, 314.
Лоран Огюст (1807—1853) — 119.

М

- Мабли* Габриель Боно (1709—1785) — 16, 18.
Майер Юлиус Роберт (1814—1878) — 58.
Макиавелли Никколо (1469—1527) — 337.
Маклеод Генри (1821—1902) — 238.
Мальпиги Марчелло (1628—1694) — 83.
Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — 64, 65.
Мантейфель Отто Теодор (1805—1882) — 38.
Маркс Карл (1818—1883) — 8—12, 14, 15, 27, 31, 43, 99, 101, 102, 115—124, 126, 132, 141, 145, 152, 172, 180, 183—191, 193—202, 205—207, 214, 223—225, 239, 251, 252, 258, 259, 265, 272, 273, 276, 279, 286,

294, 301, 305, 315, 316, 331, 335, 336.
Масси Джозеф (ум. в 1784) — 224, 225.
Маурер Георг Людвиг (1790—1872) — 165.
Мейер Лотар (1830—1895) — 356.
Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — 86.
Меттерних Клеменс Венцель (1773—1859) — 262.
Минье Клод Этьен (1814—1879) — 347.
Мирабо Оноре Габриель (1749—1791) — 237.
Михелет (Michelet) Карл Людвиг (1801—1893) — 34.
Мольер Жан Батист (1622—1673) — 208.
Монтескье Шарль Луи (1689—1755) — 224.
Мор Томас (1478—1535) — 333.
Морган Льюис Генри (1818—1881) — 10.
Морелли (XVIII век) — 16, 18.
Мэн Томас (1571—1641) — 217.
Мюнцер Томас (ок. 1490—1525) — 18, 147.

Н

Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 84, 103, 121, 158, 243, 247, 262, 330, 346.
Негели Карл Вильгельм (1817—1891) — 310.
Никольсон Генри (1844—1899) — 322.
Норс Дадли (1641—1692) — 15, 220—223.
Ньютон Исаак (1642—1727) — 11, 25, 31.

О

Окен Лорейн (1779—1851) — 11.
Оуэн Роберт (1771—1858) — 18, 31, 140, 188, 241, 246—250, 277, 278, 289, 305.

П

Петр I (1672—1725) — 332.
Петти Вильям (1623—1687) — 15, 214, 217—223, 225—227.

Пифагор (ок. 571—497 до н. э.) — 319, 358.
Платон (ок. 428—347 до н. э.) — 209, 215.
Плиний Старший, Гай Секунд (ок. 24—79 н. э.) — 165.
Пристли Джозеф (1733—1804) — 316.
Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — 296, 297.

Р

Рафф Георг Христиан (1748—1788) — 303.
Реньо Анри Виктор (1810—1878) — 86.
Рикардо Давид (1772—1823) — 66, 92, 180, 181, 183, 198, 214, 238, 335.
Родбертус Иоганн Карл (1805—1875) — 206, 272.
Романов Михаил Федорович (1596—1645) — 332.
Роско Генри Энфильд (1833—1915) — 322.
Рохов Густав Адольф (1792—1847) — 298.
Рохов Фридрих Эбергард (1734—1805) — 173, 174.
Рошер Вильгельм Георг Фридрих (1817—1894) — 216.
Руссо Жан Жак (1712—1778) — 17, 20, 92, 93, 97, 131, 132, 135, 143, 240, 297, 324, 328.

С

Саргант Уильям (1809—1889) — 249, 250, 290.
Секки Анджело (1818—1878) — 327.
Сен-Симон Анри (1760—1825) — 18, 24, 31, 140, 188, 241—244, 248, 249.
Серра Антонио (XVI век) — 217.
Сисмонди Симонд де (1773—1842) — 214, 272.
Смит Адам (1723—1790) — 92, 141, 181, 208, 209, 211, 212, 216, 219, 225, 226, 229, 237, 238, 335.
Смит Георг (1840—1876) — 69.
Спиноза Барух (Бенедикт) (1632—1677) — 20, 104, 133.
Струве Густав (1805—1870) — 111.
Стюарт Джемс (1712—1780) — 237, 238.
Стюарты (XVII—XVIII вв.) — 238.
Сэй Жан Батист (1767—1832) — 143.

Т

- Томсон* Вильям (лорд Кельвин) (1824—1907) — 351.
Траубе Мориц (1826—1894) — 76, 322.
Тревиранус Готфрид Рейнгольд (1776—1837) — 11.
Тувенен Луи Этьен (1791—1882) — 347.
Тюрго Анна Роберт Жак (1727—1781) — 237.

У

- Уолпол* Роберт (граф Оксфорд) (1676—1745) — 227.

Ф

- Фейербах* Людвиг (1804—1872) — 54, 315.
Ферье Франсуа (1777—1861) — 238.
Фидий (ок. 500—430 до н. э.) — 306.
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — 30, 136.
Фогт Карл (1817—1895) — 11, 312, 313.
Фридрих II (1712—1786) — 157, 299, 344, 345.
Фридрих Вильгельм III (1770—1840) — 262.
Фридрих Вильгельм IV (1795—1861) — 172.
Фурье Жан Батист Жозеф (1768—1830) — 316.

- Фурье* Шарль (1772—1837) — 18, 31, 140, 188, 241, 244, 245, 249, 257, 260, 277, 278, 333.

Ч

- Чайльд* Джосиа (1630—1699) — 226.

Ш

- Швинингер* Эрнст (1850—1924) — 9.
Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — 30, 44, 136.
Шлоссер Фридрих Христофор (1776—1861) — 227—228.
Шопенгауер Артур (1788—1860) — 313.
Шорлеммер Карл (1834—1892) — 322.
Штирнер Макс (литературный псевдоним Каспара Шмидта) (1806—1856) — 93.

Э

- Эвклид* (IV—III в. до н. э.) — 174.
Эндрьюс Томас (1813—1885) — 318.
Энс Абрагам — 297.
Эпикур (ок. 341—270 до н. э.) — 312.

Ю

- Юм* Давид (1711—1776) — 15, 117, 223—228, 237.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б)</i>	3
<i>Предисловия Энгельса к трем изданиям</i>	5
Введение	
I. Общие замечания	16
II. Что обещает г. Дюринг	28
 Отдел первый. ФИЛОСОФИЯ.	
III. Подразделение. Априоризм	33
IV. Мировая схематика	39
V. Натурфилософия. Время и пространство	44
VI. Натурфилософия. Космогония, физика, химия	53
VII. Натурфилософия. Органический мир	63
VIII. Натурфилософия. Органический мир (окончание)	72
IX. Мораль и право. Вечные истины	79
X. Мораль и право. Равенство	90
XI. Мораль и право. Свобода и необходимость	101
XII. Диалектика. Количество и качество	112
XIII. Диалектика. Отрицание отрицания	121
XIV. Заключение	134
 Отдел второй. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ.	
I. Предмет и метод	137
II. Теория насилия	148
III. Теория насилия (продолжение)	155
IV. Теория насилия (окончание)	163
V. Теория стоимости	173
VI. Простой и сложный труд	184
VII. Капитал и прибавочная стоимость	189
VIII. Капитал и прибавочная стоимость (окончание)	198
IX. Естественные законы хозяйства. Земельная рента	208
X. Из «Критической истории»	214

Отдел третий. СОЦИАЛИЗМ.

I. Исторический очерк	240
II. Очерк теории	251
III. Производство	269
IV. Распределение	282
V. Государство, семья, воспитание	297

Приложения:

Старое предисловие к «Анти-Дюрингу». — О диалектике . . .	309
Из подготовительных работ к «Анти-Дюрингу»	317
Тактика пехоты и ее материальные основы	342
Примечания к «Анти-Дюрингу»	349

<i>Предметный указатель</i>	359
---------------------------------------	-----

<i>Именной указатель</i>	371
------------------------------------	-----